

СУЮН КАПАЕВ

СОЗВЕЗДИЕ
ПЛЕЯДЫ



СУЮН КАПАЕВ

СОЗВЕЗДИЕ ПЛЕЯДЫ

РОМАНЫ

Перевод с ногайского С. Шевелева

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1990

АВ

ББК 84 Ног. 7
К20

Художник Алексей Томилин

916006-2

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЦГБ г. Карачаевск

Капаев С.

К20 **Созвездие Плеяды: Романы. Пер. с ногайск. —**
М.: Советский писатель, 1990. — 448 с.

ISBN 5-265-00896-9

Суюн Капаев — старейший ногайский прозаик, автор многих изданных на русском языке произведений.

В новую книгу «Созвездие Плеяды» вошло переиздание остросюжетного романа «Бекболат», в котором рассказывается о революционных событиях и периоде гражданской войны в ногайских степях. В романе «Созвездие Плеяды» автор рисует поэтический мир детства, воспеваает красоту и величие сельского труда, раскрывает жизнелюбивые гуманистические традиции ногайского народа.

К $\frac{4702490100-136}{083(02)-90}$ 404-89

ББК 84 Ног. 7

ISBN 5-265-00896-9

© Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель», 1990

СОЗВЕЗДИЕ ПЛЕЯДЫ

Книга первая

Прекрасным было мое детство... Как будто вчера только и происходило все: я, босоногий мальчишка, на палочке, будто на коне, скачу по нашей улице, подгоняя себя, как кнутиком, обрывком веревки... Будто мимолетный сон пролетела моя ранняя пора.

Прекрасным было мое детство. Хотя, ты не подумай, читатель, что прошло оно в конфетах и бубликах всяких, например, и не подумай, что было оно чересчур забавным, исполненным веселья. Нет, не то что конфеты-бублики, даже и кукурузный чурек не каждый день мне доставался.

Просто детство есть детство.

Не у меня одного, конечно, в те времена у многих ребят жизнь была нелегкая. Чего только не пришлось повидать!.. Детское сердце — оно что-то чувствовало, понимало, чего-то нет, что-то видели наши детские глаза, чего-то не замечали, но одно ясно понимали я и мои сверстники: пришли времена бурных событий, коренных перемен. Родные мои аулчане, испокон веку жившие привычной жизнью отцов и дедов, в ходе этих перемен отрывались от нее и вынужденно начинали жить иначе, по-новому, как тогда говорили. Иначе — а как? Что это такое — по-новому? Так, сомневаясь, спрашивали себя многие в моем ауле. Одни приняли новую жизнь. Не понявшие ее сделали вид, что тоже поняли и приняли. Некоторые, однако, совсем не смогли понять. Не чувствовали уверенности, сомневались.

В те годы, когда я начал сознавать себя и хоть немного жизнь вокруг, как раз началось учреждение колхозов. «Подождите, немного подумаем, узнаем, что такое колхоз. Когда узнаем — вступим», — говорили мои аулчане. Однако, не дав им подумать, объявили их «врагами» и погнали в Сибирь. Да, многие в то время лишились дома, хозяйства, аула, — большинство так потом и не вернулись в родные края.

Спустя какое-то время, высушив землю, уморив людей, пришел большой голод в наши края. Дай бог, чтоб такой беды ты не повидал, а я не рассказал, мой читатель. Люди, не имея куска хлеба, жевали траву, опухали и умирали. Кто выжил, до конца жизни остался больным. Собранные, накопленные еще отцами и дедами ценные вещи люди везли в горы, места считались нехлебными, а потому и налог был меньше, и обменивали там на зерно. Аул снова разорился. Люди теперь уже сами бежали из родных мест в поисках хлеба — многие тогда разъехались по свету, не вернулись обратно.

Спасаясь от голода, наша семья переселилась ближе к горам. Часть моего детства протекла там: можно сказать, что мое детство прошло и в горах, и в степях. Но хоть от голода и смерти мы и спаслись, от трудностей уйти не смогли.

Минуло еще несколько лет.

Только народ поднялся на ноги, неся страдание и горе, пришла война. С войной окончилось и мое детство. Многие мои сверстники тогда, как и я, позабыв игры, вступили во взрослую жизнь.

Рано довелось мне изведать горечь жизни. Как бывает — не насытится материнским молоком ягненок, так и я не насытился детством, не успел насладиться играми и свободой — быстро прошла моя счастливая ребячья пора. Честно говоря, я и сейчас, дожив до седых волос, если вижу играющих на улице детей, останавливаюсь и с грустной радостью смотрю на них.

И все же мое детство — оно мое, оно было, я не жалею о нем. Эти тяжелые годы, пришедшиеся на долю всего народа, закалили меня и помогли выстоять и в дальнейшем. Как говорят в народе: не знавший горя — не познает и радости. Если бы я не видел всех этих трагических дней, многого потом не понял бы в жизни. Человек не должен бояться трудностей. Поддашься, сникнешь под тяжестью, расслабишься — и рука на работу не поднимется...

Как я уже говорил, в жизни человека самое лучшее, радостное и чистое — это детство. Такое счастливое, светлое время к человеку дважды не приходит. Ах ты мое детство! Что ни наденешь — то и хорошо, что ни съешь — тому и рад. И холод, и жару переносил, не жалуясь.

Детские годы не уходят без следа, тут закладывается основа жизни. Правильно говорят: что в гнезде увидишь — на взлете делаешь; человек, взрослея, многое повторяет из того, что видел в детстве, чему научился — не забывает.

Прекрасное время — детство. Ни горя еще нет, ни боли — чисто детское сердце.

Человек не может забыть тех лет. И когда вспоминает их, сердце то радуется, то печалится. Как дни бывают разные: и ясные выдаются, и пасмурные, — так и прожитые человеком годы. Да, детство не забывается. Особенно к старости все чаще начинаешь вспоминать — как будто с вершины высокой горы смотришь вдаль. Вглядываешься и видишь: там вот светлое-светлое, а подальше — сумрачно. И стараешься смотреть подольше, повнимательнее, как будто что-то потерял.

Здесь мне пришла на ум одна народная присказка.

С палкой в руке, сгорбившись от тяжести лет, ковылял по дороге старик. Увидев его, мальчик удивился: «Наверное, дедушка что-то потерял? Раз уткнулся в землю, значит, что-то ищет?» Подошел к старику и спросил: «Дедушка, что ты потерял? Я сейчас найду». Отдышавшись, старик ответил: «Эх, сынок, сынок, то, что я потерял, теперь не найдешь. Я свою молодость потерял».

Молодость, даже если и тяжелая, — все равно сладкая, как мед. У человека лишь одно безгрешное, незапятнанное, чистое время. Доброму, с открытым сердцем человеку народ говорит: святой, как младенец.

Жизнь человека не стоит на месте, и точно так же незаметно меняются обычаи каждого народа. Даже то, что едят, надевают, чем пользуются в работе, — все постепенно изменяется. Хочу этим сказать: то, что я надевал в детстве, современные дети даже и в глаза не видали. Не готовят уже многие блюда. Во времена моего детства даже земли нашего аула, воды, овраги, бугры совсем другими были. Если вдуматься, немного ведь и времени прошло, а как все переменялось за короткий срок...

Я долго не мог решить, с чего начать свой рассказ о детстве. Все события в памяти перевероршил, в родной аул съездил несколько раз. Каждая такая поездка была

для меня большой радостью. Не раз останавливался я на знакомой улице и думал: «Неужели это те самые места, где я мальчишкой босоногим носился с громкими криками, играя с товарищами?..» Места, конечно, те, да вроде бы и не совсем: и дома, и изгороди будто другие, и даже сама земля на улицах теперь не так пружинит под ногой — каменистой сделалась... «Видать, насыпали много гравия...»

Перед моими глазами вставали образы отца, матери, близких, сверстников. Да, вот эта улица, дома... Я смотрел на них, и они начинали казаться мне прежними. Детские впечатления очень сильные, их не сотрешь.

Наконец я решил начать свое повествование с того, что слышал от отца и матери. Они ведь больше и лучше других помнят и знают о своих детях.

Итак, мои рассказы о моем детстве.

ВОЙЛОЧНАЯ ШЛЯПА

Ногаец с гордостью скажет:
«Меня мужчиной делает шапка».
Долго выбирает шапку себе —
И скажет: «Шапка — моя голова...»

1

Когда у кого-нибудь на голове вижу черную войлочную шляпу, в ушах моих звенит детский плач. Я еще и еще раз смотрю на эту войлочную шляпу и невольно спрашиваю себя: «Как это я малышом помещался в такой шляпе?» И на память приходят слова матери:

— В начале лета родился ты, мой светоч, чтоб жизнь твоя прошла как лето, благослови тебя аллах! Ты был крохотный, мы боялись тебя на руки брать и укладывали в большую отцовскую войлочную шляпу — почти две недели. Я прижимала ее к груди и напевала:

Мой ребенок слаще меда,
Спи, мой ангел, спи.
Баю-баюшки, сынок,
Спи, моя радость, моя сладость...

Прикрыв глаза, прижимая руки к груди, как будто все еще держит меня, маленького, мать напевает:

...Баю-бай, баюшки-бай, мой джигит,
Расти ты большим, моя радость, моя сладость.
Спи, мое дитя, закрой глаза,
Спи, моя радость, чтобы силу скорее набрать...

«Такой маленький? Будет ли когда-нибудь взрослым человеком?» — тревожилась мать. И каждый день молила аллаха, чтобы я выжил, вырос. А когда я вырос, она подносила свои натруженные руки к лицу и благодарила аллаха: «Слава всевышнему, что сын мой стал юношей». А потом — молодым джигитом. А потом — взрослым мужчиной. Много благодарностей вознесла мама аллаху.

Для себя ни о чем особенном аллаха не просила, всегда довольствовалась малым, тем, что есть. «Не следует все время упрекать судьбу, что она у тебя плохая. Нет, раз уж ты живешь на этом свете, могут встретиться и горести, и радости», — часто говорила мама, простая деревенская женщина, своим соседкам, когда те жаловались на судьбу...

«Мой светоч...» И мягкие руки матери гладят мою голову. Перед моими глазами — светлые и яркие глаза моей матери.

Слышу ее нежные слова:

— Тебя, мой светоч, я убаюкивала две недели в черной отцовской войлочной шляпе.

— Почему? — спрашиваю я, не понимая.

— Ты был вот такой крошечный, светоч мой, — мать показывает на правой руке ниже локтя. — Одни рождаются большими, другие маленькими. И еще говорят, некоторые рождаются счастливыми, «в рубашке».

Про родившихся «в рубашке» я в те времена, как ни объясняла мать, толком не мог понять. Понял уже позднее, став взрослым. И многое прочел об этом. Древний турецкий поэт Коркут, гласит предание, родился «в рубашке». И сразу начал говорить. Родившийся «в рубашке» — значит, счастливый. Живший до шестидесятих годов в нашем ауле старик Аджисхак родился, рассказывают, «в рубашке», и когда ему исполнилось сорок дней от роду, он заговорил. Правда это или нет, кто его знает. Аджисхака я видел. Очень был красноречив и остроумен. Если человек остроумен и красноречив, не счастье ли это?

— Ты, светоч мой, после года начал говорить, — рассказывала мама. — А грудь брал до двух лет.

— Ты играл на улице с другими малышами, потом прибежал домой и просил у матери грудь, — рассказывает старшая моя сестра.

И поэтому тогда мои сверстники посмеивались надо мной:

— Ой, такой большой — и грудь сосешь.

Ну и пусть их, а я материнскую грудь просил до тех пор, пока не начал понимать что к чему.

Мать специально не отрывала меня от груди. От большой любви к сыну делала она это. Если подумать, разве легко ей было кормить здорового ребенка до двух лет? И только сейчас, вспоминая, я удивляюсь, отчего так долго не кончалось молоко в материнской груди...

Здесь я хочу напомнить, что сказано о матери в книге «Кабус-Наме», созданной в XI веке.

...Во время войны крестоносцев с арабами был убит единственный сын старой женщины. Старуха, склонившись над телом сына, горькими слезами оплакивала его, — и от боли за сына, от сострадания у нее из груди закапало молоко. Вот как крепка была материнская любовь к сыну...

Трудно измерить материнскую любовь. Из-за своего ребенка мать не раздумывая может броситься в огонь и в воду. Правда, сейчас некоторые и месяца не кормят грудью — тяжело им, видно... В общем, выкармливают искусственно. Напомню поэтому, что у нас в народе говорят: «Кто не насытился материнским молоком, тот не насытится и в жизни».

— Дитя материнского молока должно наестся досыта, создатель так ведь определил. Слава нашему создателю, — говорила мама.

А я, услышав эти ее слова «слава создателю», тут же начинал просить:

— Мама, мама, как тот пророк хотел принести сына в жертву, расскажи, пожалуйста.

Мама, чтоб не обидеть меня, оставляет работу и неспешно, так, чтобы мне легче было понять, рассказывает:

— ...У пророка Халила не было детей. И он после каждой молитвы просил у всевышнего сына. «И если бы ты его дал мне, о всевышний, я бы принес его в жертву», — обещал Халил всякий раз. Всевышний, решив испытать своего раба — исполнит ли сказанное, — послал ему сына. Халил долгое время не мог нарадоваться сыну и совсем забыл про свое обещание аллаху. И вот как-то

ночью во сне аллах напомнил ему... Когда рассвело, Халил выкупал сына, сам надел чистые одежды. Взяв острый нож, повел маленького сына из селения, чтобы никто их не видел, собираясь принести его в жертву всевышнему. И по дороге все никак не мог наглядеться на него: смотрел и смотрел, взгляда не отрывал от малыша.

«Иди впереди меня... иди впереди...» — во все время пути просил он сына, желая в последний раз вдоволь наглядеться на него.

У подножия горы, найдя укромное место, пророк Халил решился совершить обет. Произнес молитву и, исполняя обещанное аллаху, острым лезвием провел по горлу сына. Но нож почему-то не резал. Пророк провел ножом во второй раз — опять не режет. В изумлении Халил полоснул по камню — и нож, не повредивший нежное горло ребенка, рассек черный камень на две части... Поняв, что это воля аллаха всемогущего, счастливый Халил возвратился с сыном домой... А во сне аллах сказал ему: «Ты сдержал обещание — теперь живи с сыном в добром здравии и счастье...»

Я это предание каждый раз слушал затаив дыхание. Перед моими глазами вставал огромный человек с большим острым ножом и маленький мальчик — его мне было ужасно жалко.

— Удивительно, что же это за нож такой, который не мог зарезать человека, а рассек камень? А вот мой друг Шахим вчера делал чижику и чуть не отрезал ножиком палец, — не мог успокоиться я.

— Это воля аллаха, сынок... не говори так, не сомневайся, а то он рассердится, — останавливает меня мама и молитвенно двумя ладонями оглаживает лицо.

— А почему? — спрашиваю я, чувствуя, что не угодил материнскому сердцу.

— Оставь, не спрашивай, сынок, — говорит мама, опасаясь моего греха, и переводит разговор на другую тему: — Не в пример другим детям ты, сынок, когда был маленьким, вовсе не был плаксивым. Да исполнится воля аллаха, чтобы жизнь твоя была счастливой!

— Что, я даже совсем без крика родился, мама? — широко открыв глаза, спрашиваю я.

— Нет, — объясняет мама, — любой ребенок, когда рождается, конечно, кричит. Человек, рождаясь, вдыхает первый воздух и плачет, а умирая, выдыхает последний, — тихонько так, «ох» — и все.

После этих слов мама умолкает, сидит задумавшись. Мне кажется, что она просто устала рассказывать, и я тоже молчу, не беспокою ее. Я жалею маму.

— Вот такие, мой светоч, истории, — говорит мама и поднимается. — Засиделись мы с тобой, как будто делать нечего, а работы больше, чем волос.

— Мама, а куда ты дела ту войлочную шляпу? — спохватываюсь я.

— Берегу ее, единственный мой, вместе с первыми твоими волосами. На самом дне сундука, — объясняет мама, кивком указывая на большой обитый белой жестью сундук.

— Пойдем, мама, покажи, — и я тяну маму за рукав, пытаюсь поднять.

Мама была легкая на подъем, подвижная. Имела привычку начатое дело быстро доводить до конца. Ни в коем случае сегодняшнюю работу не оставляла на завтра. Услышав мою просьбу, она сразу встает:

— Пойдем, сынок, конечно. Как же ты ее до сих пор не видел?.. — и уже сама тянет меня смотреть сокровище.

Со скрипом поднимается крышка сундука. Мать достает со дна свернутую старую войлочную шляпу, расправляет и дает мне посмотреть.

— Только не вырони то, что внутри! Там твои первые волосы, свет мой.

Я внимательно и с некоторым недоверием рассматриваю мягкие прядки внутри войлочной шляпы.

— Мама, ведь волосы в шляпе мягкие, а у меня на голове жесткие, — сомневаюсь я.

Мама начинает объяснять:

— В шляпе, сынок, твои первые волосы. У человека они бывают мягкие и легкие, как пух. А по мере того как их сбривают, они становятся все жестче и гуще. Первый раз твою голову побрили, когда тебе исполнился год. Твой дядя Шапай брил. Такой обычай. Отец устроил большой той, собрал всю родню.

Я внимательно слушаю маму. Она мне подробно рассказывает о дяде, о том по случаю бритья моих волос. Я позже много раз видел дядю Шапая, он был очень добрый, сердечный человек. Во время войны, когда получили похоронку на него, я заплакал...

Потом мама объясняет, как она мне изготовила первую войлочную шляпу.

Сначала она чесала шерсть, мыла ее, потом сделала шляпу, обшила поля каемочкой из тесьмы. Я эту войлочную шляпу, помню, надевал только летом. Да, еще мама сшила к шляпе ремешок-подбородник, тоже из тесьмы, чтобы ветер не унес шляпу с головы. Вот этот-то ремешок и спас меня однажды, не дал утонуть.

Был жаркий летний день. Старшая сестра брала меня и свою дочь вместе с соседским мальчиком Шахимом с собой на речку, там она стирала белье. Мы, дети, играли на берегу. Как это случилось, не знаю, но упал я в воду. А в этом месте было глубоко. Шахим и дочь — вот они, рядом, на берегу, — но что они могли сделать? Шахим побежал к моей сестре, показывая рукой на воду, где я уже почти тонул. Только войлочная шляпа не погружалась и держала меня какое-то время на плаву. Этой минуты хватило, чтобы я остался жив, — сестра бросилась в воду и спасла меня.

Дочь моей старшей сестры была мне почти ровесницей. Между старшей сестрой и мной родилось девять детей. Но все они долго не жили и умирали то от оспы, то от скарлатины. Осталось нас двое, старшая сестра и я. Дочь сестры звали Шайдат.

Как-то зимой мама затопила печку, а сама пошла по делам к соседям. Мы с Шайдат играли дома возле печки. Может быть, Шайдат стало холодно, не знаю, но она близко подошла к пылающим дровам, и от языка пламени загорелся подол ее платья. А я ни пламя погасить не сумел, ни даже выбежать на улицу, позвать на помощь старших не смог — растерявшись и напугавшись, спрятался за большой шкаф. Маленькая девочка, когда одежда загорелась, отчаянно закричала. Видно, услышав, из сарая пришел отец — а у Шайдат уже почти все тело было обожжено. В то время, как сейчас разве, в аулах доктора были? На лошади отвезли девочку в районную больницу, да все равно спасти не смогли. Вот так умерла старшая дочь сестры — от ожогов. И ее лица я так и не помню, слишком маленький был.

2

Разные шапки и шляпы носил я за долгую жизнь. Но самое дорогое для меня воспоминание — черная войлочная шляпа, изготовленная из шерсти черного барашка. Если увижу у кого-то на голове похожую —

всматриваюсь, не такая ли, как та, что делала для меня мама, вышивала, украшала своими руками...

Войлочная шляпа... Про нее мама и сестра много мне рассказывали. Только вот в каком году, в каком месяце я родился, когда же меня, крошечного, положили в войлочную шляпу, так и не могли ответить. Призадумавшись, мама вспоминала: когда отец первый раз вышел на сенокос, тогда ты родился, мой свет. В тот год как раз очень хорошо поднялась трава. Отец косил на меже Саламат, и прискакал из аула вестник, требуя суюнши (подарок) за радостную новость. А отец, услышав о рождении сына, бросил косить, быстрокрылой птицей долетел до аула. В подарок за хорошую весть подарил тому человеку барана. Он не только барана, если бы у нас был верблюд, и его бы отдал, мой хороший. Ведь он сильно переживал, что останется без сына. Остался без сына — значит, нет наследника, значит, прекратился, умер весь род. Девочки у ногойцев не так в почете были, как сыновья: считали — выйдут замуж, и все, будут принадлежать чужому роду. Вот потому-то у отца, когда ты родился, радость была большая, особенная.

— Абай¹, в каком же году я родился? — очень мне хотелось точно установить время своего рождения.

Мама молчала. Потом, подумав немного, отвечала:

— Вырастешь, сынок, узнаешь. Я же говорю, что в пору сенокоса...

Лишь отец год моего рождения указал точно — по двенадцатилетнему восточному циклу.

— В год мыши, в месяц мамыр в последнюю неделю в четверг родился сын. Вначале год мыши — раз, год коровы — два, год змеи — три... — так он пересчитал мои годы...

Правильно все пересчитал. По этому древнему календарю двенадцать лет обозначены именами животных, и отец научил меня их названиям. Я помнил их наизусть. Год мыши, год коровы, год змеи, год лошади, год обезьяны, год курицы, год кабана, год зайца, барана, барса, собаки и улитки...

Месяц мамыр — это май.

— В черной войлочной шляпе ты спал около двух недель, светоч мой! После этого тебя перенесли в люльку, — продолжала свой рассказ мама.

¹ А б а й — мама (ногойск.).

Как только родится ребенок, отец и мать ищут люльку. Если нет у самих, покупают или на время берут у кого-нибудь из соседей. Есть ли грудной ребенок, нет ли — независимо от этого в каждом доме должна быть люлька. Хранили ее очень аккуратно, передавали из поколения в поколение, от дедов к внукам. Если люлька не нужна была человеку, который ее сохранил, то она могла понадобиться соседу, а не соседу, так просто кому-нибудь в ауле. Люлька, в которой спал я, тоже досталась мне от деда, так рассказывала мама. Кто его знает, скольких детей пеленали в ней до меня. Только моя мама пеленала в ней своих одиннадцать детей. Я у мамы самый младший — одиннадцатым ребенком лежал в этой люльке.

До сих пор помню ее, стоит перед глазами. Четыре резные ножки, боковины и спинки украшены узором. Человек, который ее изготовил, конечно, вложил все свое мастерство, старался от души. Наверное, этот мастер, работая над люлькой, думал: пусть ребенок, который будет в ней лежать, когда вырастет, удивится его искусству, а может, даже захочет превзойти его. И если этот умелый мастер сам рано ушел из нашего мира, талант его души и рук до сих пор живет в его люльке.

В этой люльке после меня пеленали детей моей сестры, а затем и моих детей. В пятидесятые годы, когда я переехал в город, сестра на время отдала люльку соседским детям. Вот как долго переходила люлька из рук в руки! Потом она все же исчезла. Если бы я жил в ауле, то, думаю, сохранил бы ее. Конечно, в последнее время, с появлением детских колясок, многие перестали пользоваться люльками, но все же люльки были гораздо удобнее, я думаю. В люльке ребенок лежал прямо, позвоночник не деформировался, детская моча стекала по трубочке из полой кости, и пеленки всегда были сухие. Завязки, чтобы пеленать, шили из вельвета или из другой ткани, но всегда поярче. Эту люльку, хорошо запеленав ребенка, можно было поместить на арбу или подвесить на лошадь. Короче говоря, предки наши придумали ее для кочевой жизни. Ногайцы высоко ценили люльку. Дом, где ее не было, называли домом без света, пустым домом. И действительно, как может дом без детей быть радостным. И еще — люльку нельзя было ставить возле дверей, а качать пустую люльку считалось большим грехом, верили, что в ней после этого не будет ребенка.

День, когда меня впервые положили в люльку, сестра моя очень хорошо запомнила и до сих пор иногда рассказывает мне о нем.

Назначили той пеленания в люльку на четверг.

Пеленание в люльку у ногайцев и есть обычно праздник. Мужчины едят мясо, пьют бузу, женщины лакомятся медом, баурсаками¹.

Дети радуются больше всех, не расходятся до тех пор, пока той не закончится. Их угощают баурсаками, пирожками, медом, но все-таки лучшим лакомством, самым сладким, считалось то, что выхватывали они сами из-под носа у разносчиков. Вокруг самого ловкого, который унесет больше всех, собирались остальные ребята — смотрели на него как на джигита. И этот мальчик все, что унес, делил между сверстниками. И для меня всегда тоже выхваченные без разрешения баурсаки были сладкими, как мед.

Меня в люльку первый раз положила бабка-повитуха, принимавшая роды у моей матери, бабушка Карачай. Перед пеленанием она взяла меня на руки и благословила:

...Давай возьму, возьму на руки,
Давай положу в люльку мягкую,
В мягкую пеленку заверну,
Рот и носик облизну...

Запеленав, покачивая люльку, говорила:

...Ляу-ляу, дитя, мой милый,
Укачаю тебя, а ты закрывай глазки,
Будь красивым, как цветок,
Расти скорее, мой светоч...

Когда ребенок засыпает в люльке, собравшиеся на праздник женщины угощаются медом с баурсаками. У двери гурьбой, вытаращив глазенки, ожидает своего ребенка — при виде тарелок с медом и горячих баурсаков и у них текут слюнки.

— Дайте же детям мед с баурсаками, — произносит одна из женщин.

И младшая сноха, из тех, что разносят еду, подзывает ребят и сажает их вокруг низенького столика — сы-

¹ Баурсаки — кусочки теста из пшеничной муки, обжаренные в масле. Их употребляют в пищу многие прежде кочевые народы.

пыра. Дети, наклонившись над тарелками, быстро уплетают мед, облизывают посуду, хватают баурсаки в руки, толкаясь, выбегают из дома на улицу.

— Вот у нас сколько баурсаков,— хвалятся перед ребяташками с других улиц, дразнят их.

Церемония заканчивается. Народ расходится. Возле люльки на низком стульчике остается мать. Она баюкает свое дитя:

Ляу, ляу, малыш, ляу, малыш,
Спи спокойно, мой малыш.
И днем и ночью одно пожелание мое —
Будь сильным, мой малыш.
Спи, малыш, закрывай глазки,
Мягка, как перина, люлька твоя,
Не зная горя, мой малыш, расти...—

напевает мать и легонько покачивает люльку.

— А спал ты, сынок, в люльке больше двух лет. Наверное, очень привык к ней,— рассказывала мама.

Мама брала меня из люльки, чтобы я развеялся, и напевала (слова передала мне сестра):

Ноги крепче расставляй, сыночек,
Быстрее крепким расти.
В месяц по полвершка расти,
Расти, мой малыш, расти...

Сначала я начал садиться, с любопытством оглядывал из люльки комнату. Потом стал подниматься, а мама держала меня за руки.

Держись, сынок, держись,
Стань на ноги, сынок, стань.
Крепче на ногах будешь стоять,
Зарежу на той белого гуся,—

напевала мама, радуясь тому, что я поднялся.

Когда я научился немного стоять на неокрепших ножках, мама устроила полагающийся по такому случаю той. На праздник были приглашены соседи. Вначале мама из пшеничной муки испекла твердую, как камень, пресную круглую лепешку. Старшая из собравшихся женщин поставила меня еще на нетвердые ножки и прокатила эту лепешку между моих ног. «Крутись по земле, как это колесо, и сам с хлебом ходи всегда» — так пожелали мне тогда. Потом прямо передо мной землю прорезали ножом. Это делается для того, чтобы жизненная дорога ребенка была прямой...

Сколько обрядов совершается у ногайцев, пока ребенок не вырастет!

Вот еще, например. Моим родителям надо было предугадать мое будущее. Собрались родственники, пришла бабушка-повитуха и совершила этот обряд. Посадила меня на войлочный ковер, положила передо мной книгу, нож, дудку. И начали гадать, что же я, ребенок, первым возьму.

— Ты, сынок, из всех предметов выбрал книгу. Так это и оправдалось, слава аллаху. Вот ты и пошел сейчас учиться, — говорила мне мама, еще когда я поступил в педучилище.

Есть еще обычай — выкручивание языка, — разумеется, символическое. Делают это, когда ребенок начинает произносить первые слова, чтобы вырос красноречивым. Конечно же, не каждому позволяют совершить столь ответственное дело — лишь тому, кто сам красноречив, умеет говорить, тому и дают скручивать. Не подумайте, что, скручивая язык, он причиняет боль ребенку, делает это, в общем, для вида. Но вот становится ли ребенок красноречивым именно от скручивания — кто его знает, проверить трудно.

— И твой язык мама заставляла скручивать, — рассказывает сестра. — Для этого она пригласила словоохотливую Абидат.

Абидат была из тех, о которых говорят, что им сам черт плюнул в рот. А сколько она знала поговорок! На вечерах, на свадьбах умела переспорить даже мужчин. Пока сидели за угощением, она могла сочинить песню.

— И у тебя, братишка, язык был хорошо подвешен, прямо как у Абидат. Если что-нибудь услышишь, не останешься, пока все не разузнаешь, — рассказывает моя сестра, когда мы начинаем вспоминать мои детские годы. — Не зря, видать, пригласили тогда Абидат.

3

Но самый главный обычай был — наречение, дарование имени ребенку.

Именем нарекают ребенка,
Чтобы носил его с честью,
И имя, названное однажды,
Осталось в народе его...

Родители долго выбирали мне имя. Потому что оно ведь не на год или два дается, на всю жизнь. Иногда и после смерти живет. У нас есть такая поговорка: «Хороший человек умрет — имя остается, плохой умрет — одежда остается».

Имя мне выбирали отец, мать и близкие родственники. Советовались долго. Ведь если в ауле кто-нибудь запачкал своим поведением какое-то имя, то этого имени уже никто своему ребенку не даст.

— Нашла,— сказала мама отцу после долгого раздумья.— Суюном пусть будет. Пусть в радости проходит его жизнь.

«Суюн» — в буквальном переводе: «радуйся».

Отец некоторое время молчал. Кажется, никто в ауле не испачкал это имя. Суюн, сын Якуба, — в Совете писарь, грамотный человек, в ауле его ценят, тут хорошо. Кто же еще есть в ауле с таким именем?

Мама ждала, что же он скажет. Но отец, пока не посоветовался со своими родственниками, не дал своего согласия. Он обратился к старшим:

— А что, если ребенка назвать Суюном?

И только когда имя понравилось старикам, отец сказал матери:

— Пусть в жизни мальчика будет счастья много, дочь Кыдыралия, счастливое пусть будет имя.

На третий день после моего рождения отец и мать созвали близких родственников, пригласили почетных людей аула, зарезали барашка и сделали той, на котором мне и дали имя. Собравшиеся поздравляли отца и маму, желали счастья, пили бузу, ели мясо, лакомились медом.

В тот же день мулла с минарета местной мечети известил аул о появлении человека с новым именем. Тогда же выписали свидетельство о рождении в сельсовете.

— В ту ночь, когда тебя нарекли, отец подарил охотнику Амету барана и попросил его стрелять в честь твоего имени,— вспоминает и сейчас моя сестра.

Конечно, отец мог и не давать барана охотнику, мог попросить кого-нибудь другого, любого, у кого было ружье, но нет, он сделал так от большой радости, ведь родился сын! Пусть аул узнает.

Охотник Амет, когда выпил одну чашку бузы, выстрелил один раз, когда выпил две чашки, второй раз

выстрелил, выпив же третью — разгорелся, решил — давай-ка я смету плетеную трубу хаты. Выстрелил Амет, но после трех чашек бузы даже и не коснулся пулей трубы, а попал в соломенную крышу. От пули солома загорелась, занялся верх дома — собравшийся народ, бросив веселье, кинулся таскать воду из колодца. Еле погасили огонь.

— Шора, а ты знаешь, что когда тебе отец давал имя и отпраздновал это выстрелами, чуть не запалил и ваш дом? — не раз слышал я от соседей, когда уже подрос.

Недрузги отца зло говорили:

— С огнем родился ребенок! Даже когда его нарекали, смотрите, разгорелся огонь!

«С огнем родился ребенок». У этих слов есть и особый смысл. Об этом я расскажу в главе «Очаг».

— Говорят — что ж, пусть говорят, всем рот не закроешь. Разве есть для ногайца что-либо дороже огня? Не дай бог оторваться от родного очага, — так рассудил отец, не обращая внимания на слова недругов.

На свадьбах, на больших торжествах выстрелы из ружья с древних времен были в обычае у ногайцев. Я сам, еще ребенком, видел на свадьбах: когда невесту забирали в дом жениха, под хлопанье в ладоши раздавались и выстрелы. Сколько печных труб снесено лихими стрелками! Выстрелами из ружья, как я понимаю, хотели донести весть о радости до всего народа.

Еще и еще раз грохнул выстрел... Напившись бузы, Амет не жалел патронов. Торжество, посвященное моему наречению, длилось до полуночи.

В комнате, где праздновали женщины, на самом почетном месте восседала бабка-повитуха, Карачай-аей, которая, как у нас выражались, «резала мой пупок». Она была женой младшего дяди отца, карачаевкой по национальности, поэтому люди в ауле звали ее не по имени, а просто Карачай. Имя народа сделалось ее личным именем. Она привыкла к этому обращению и даже не думала обижаться. Помню из детских лет — были у нас на улице и Абаза, и Карачай. Пример тому, что еще в старину народы предгорий жили дружно, смешивали кровь.

Бабушка Карачай приносила людям в ауле радость и облегчение. Все ее хвалили, говорили, что руки у нее золотые, шутка ли, отрезанная пуповина не должна

быть ни короткой, ни длинной, должна иметь определенный размер.

«Место, где отрезали пуповину» — так говорили у нас в ауле о родине. Каждый человек любит свою родину, место, где отрезали пуповину.

И сейчас я вспоминаю бабушку Карачай, перед глазами встает она — высокая, худощавая, краснощекая, длинноносая и черноглазая, чуть сутулящаяся. Слышу, как произносит она ногайские слова, ее живой голос. Бывало, встретит меня, обязательно погладит по голове, скажет ласковое: «Сынок». А я, только завидя ее, раскинув руки, бежал обнять.

Карачай-аей умела вылечивать и раны, и обыкновенные болячки. Изготовленные ею мази — «сразу вылечивали», говорили в ауле.

Мое имя понравилось бабушке Карачай.

— Расти, чтоб много было у тебя в жизни. Радуйся, — сказала она, прижимая меня, тогда еще крошечного, к себе.

...Пери собрались,
Дали малышу красивое лицо.
Родственники собрались —
Хорошее имя назвали, —

напевала она, покачивая мою люльку.

В свидетельстве о рождении значилось, что я — Суюн. Однако хоть и записали в свидетельство, в скором времени никто меня в ауле так не называл. Мое имя сделалось совсем другим. И с этим вторым именем прошло мое детство, прошла юность. И посейчас в ауле многие меня так и называют — Шора.

Вы можете спросить, почему, не успело прозвучать одно имя, мне тут же дали новое. В этом заключен особый смысл. В старину, да и в годы моего детства еще, многие матери в нашем ауле, кроме настоящего имени, давали детям и второе. Иные, не зная происхождения такого обычая, считали, что вторые имена — нечто вроде ласкового прозвища. На самом же деле этот обычай остался с древних времен. Видимо, еще с тех пор, когда ногайцы были язычниками. Просто так народ обычай не создает. Второе имя ребенку давали, чтобы сохранить, уберечь его от проклятий. Говоря иначе, настоящее имя просто-напросто прятали, считалось, что если его часто произносить, то в человеке поселится злой дух. И в ре-

зультате ребенок под вторым именем, как будто другой человек, ходил по земле. В прежние времена этого обычая придерживались всерьез. У знаменитого ногайского батыра Эдиге тоже было два имени: Эдиге и Кувылгыл. И в старых песнях говорится о втором имени. Ночами, тем более если приходилось останавливаться в степи, никогда не называли истинное имя воина. А если слышался вой — «волки воют», говорили младшие, старшие же поправляли: «Не говори так, скорее скажи: «сжатая пасть», чтобы его пасть так и осталась сжатой». Оказывается, если сказать «волк», то он мог прийти, поэтому надо было называть его «сжатой пастью». И сейчас многие старики вместо «волк» произносят «сжатая пасть». Странный вообще-то обычай. Хоть говори «волк», хоть не говори, он ведь не слышит, что ты сказал. Тем не менее обычай утвердился. И точно так же утвердился обычай называть человека вместо настоящего имени вторым, так сказать, защитным. Этот обычай существовал не только в нашем народе, и другие охраняли таким способом детей от злого взгляда.

Второе имя мне дал отец, так и сказал матери: первое дала ты, теперь второе дам я сам. Он назвал меня именем ногайского батыра Шора. Пусть сын вырастет джигитом, таким же славным батыром, пожелал, наконец, отец.

Имя Шора с древних времен известно в тюркских народах. В 732 году в Орхоно-Енисейских памятниках встречается имя Мойын-Чоры кагана. Древнее имя. Разница лишь в том, что одни народы пишут это имя с буквой «Ч», другие с буквой «Ш». «Шора» на древнем тюркском языке означает «охрана». Отец, зная это, думаю, еще и пожелал: мол, пусть его все время охраняет бог.

Отец и песню любил «Шора-батыр». Помню: опершись на маленькую подушку и полулежа на тахтамете¹, посадив меня возле, он пел эту старинную песню. Я, конечно, тогда не воспринимал до конца содержания песни, не мог оценить богатства ее языка, таланта сложившего ее старинного певца. Ее содержание, ее язык и посейчас удивляют многих любителей поэзии.

Отец пел. Голос его то возвышался, то утихал — будто легкий ветерок проносился над травой. И лицо отца то сияло, то смотрело тучей. А я слушал затаив

¹ Тахтамет — деревянная кровать в виде топчана.

дыхание: конь Шора-батыра вихрем летел по степи, он в одиночку побеждал полчища врагов.

Конечно, я просил рассказать (то есть спеть), что было дальше.

Отец соглашался. Когда он пел о том, как Шора после убийства коварного князя прощался с отцом и матерью, с родным очагом и уходил в степь, спасаясь от преследования княжеского рода, уходил ночью, чтобы его не заметили, уходил навсегда, мне становилось ужасно жаль батыра, и я все думал о дальнейшей его судьбе: что же с ним станет?

Когда же отец подходил к месту, где Шора показывает свою могучую силу, я радовался от души. Вот это место.

Шора-батыр подъехал к крайнему дому в ауле. Увидел, что тут живет мастер-колесник, во дворе — колеса и арбы. Когда Шора-батыр спросил у хозяина, не покажет ли он дом нужного ему человека, мастер сначала ничего не ответил. Насадил колесо от арбы на ось и, подняв ее вместе с колесом, показал наконец направление: «Вон тот дом, кунак». Шора-батыр сразу понял, что хозяин хотел похвастаться силой. Он подождал, пока мастер не надел на ось оба колеса. И тогда, подняв ось уже с двумя колесами, переспросил:

«Тот ли дом, уважаемый человек?»

Мастер, увидев силу своего гостя и поняв, что напрасно хвастался перед ним, покраснел...

С трепетом сердца слушал я конец песни, когда погибает богатырь.

Шора, не желая сдаваться многочисленным врагам, хотел переплыть широкую и глубокую реку. Но на самой середине вражеская стрела пронзила его, и он, погибая, говорит:

Я ухожу на дно реки,
Но я не умираю.
За эту вот кровь, что сейчас окрасила реку,
Поднявшись со дна, отомщу врагам...

И сейчас, когда я слышу эту поэму о богатыре, перед моими глазами встает наш дом, очаг, тахтамет и, конечно, отец. Я даже чувствую запах кизячного дыма.

У ногайцев почти все поют. Поют в радости и в горе. Поют, когда человек рождается, поют, когда человек умирает. Над покойником женщины совершают плач, поногайски — бозлау. В нем говорится о достоинствах

умершего. Слышишь бозлау — сердце сжимается... и в то же время удивляешься, как это женщины умеют так мастерски, так складно импровизировать, сочинять без подготовки плач-песню...

Мама к моему имени — Шора — прибавила ласкательное окончание «тай», что означает «жеребенок». И стал я таким образом не Шора, а Шоратай.

И сейчас, если кто-то обращается, издали кричит: «Шора», я думаю, не отец ли окликает, а если слышу «Шоратай», думаю, не мама ли моя зовет...

Конечно, я и сам понимаю: это лишь игра воображения. Нет уже ни мамы, ни отца, и сам я в немолодых годах. «Сладкий мой...» — этих ласковых, заботливых слов я уже ни от кого не услышу.

Вот таков мой рассказ о том, как мне дали сразу два имени...

Конечно, я не один на этом свете с двумя именами, многих так нарекали. Не могу сказать о других, которое из своих имен они больше любят. Я, например, оба имени люблю. Но все равно, когда я приезжаю в аул и кто-нибудь из родственников окликает: «Шоратай», — настроение у меня сразу поднимается.

Кто его знает, может, это второе имя, должное сохранить меня от несчастий, может, это второе имя просто было более счастливое? Кто знает...

Некоторые родители, чтобы ребенка не сглазили, чтобы никто не завидовал ему, специально выбирали имя похуже, непривлекательное. В нашей округе среди моих сверстников были Котыр (Чирей), Яманбийке (Плохая девочка), Карабала (Черный ребенок).

Вот видите, сколько надежд возлагали ногайцы на второе имя.

Нет, наверное, счастливее и удачливее человека, который бережет имя, данное ему отцом и матерью. Такой человек может сказать, что хоть малой толикой оплатил долг перед родителями...

Так как в детстве никто не называл меня настоящим именем, в своем рассказе о тех временах я буду называть себя Шора.

Поднявшись из люльки, в которой я лежал, я начал, еще нетвердо и неумело, ходить по комнате — и почувствовал тепло родного очага. Очаг нашего дома согрел меня, как и материнские руки.

Итак, наш очаг.

ОЧАГ

У кого горит очаг, пылая ярко, —
У того всегда в доме счастье.
А там, где еле тлеет очаг, —
Там в доме горе...

1

Дом начинается с очага, говорят в нашем народе. Если в доме не горит очаг, значит, это не дом. Поэтому и я хочу рассказать о домашнем очаге.

Предки наши хотя и жили в кибитке, посередине ее разводили огонь. Рассевшись вокруг огня, они вглядывались в небо через отверстие-дымоход. Его называли — шыгарак. Смотрели через шыгарак и видели высокое небо. У ногайцев есть пословица: пусть не шатается шыгарак. Если он не будет шататься, значит, юрта твоя стоит крепко, значит, семья твоя живет дружно. Иными словами: если дымоход кибитки не шатается — и дым идет прямо, а если дым идет прямо — говорят, что и семья в благополучии.

Посередине — огонь. Рядом — сыпыра (маленький низкий столик), низкие стулья, щипцы для огня, кочегда, подвешенный на цепь большой круглый казан, тут же расстелен цветной войлочный ковер для отдыха. Вот такие были в старину у ногайцев вещи в той комнате, где находился очаг, центр дома.

Круглый очаг, круглая плетеная труба, над ней круглый небосвод. Вокруг круглого очага сидели люди. И старики, и молодые, и дети — вся семья.

Это — картина очага, виденная мною в детстве. Так как сыновья, женившись, не отделялись сразу от родителей, как сейчас, вокруг очага собиралось довольно много народу. Даже тогда, когда сыновей бывало много, они все равно не покидали родительский очаг. Дом отца был для них дорог.

У старика Динислама было пятеро сыновей, все женатые — и все жили в одном дворе, питались из одного котла, грелись возле одного очага — отцовского. Всеми снохами в доме командовала свекровь, Мархаба. Она их воспитывала по-своему, и каждая выполняла в доме свою работу: одна пиццу варила, другая хлеб пекла, третья стирала... И все вели себя спокойно, не ссорились. Особенно хороши были эти невестки Мархабы, когда шли по воду с ведрами. Одетые в одинаковые платья в

одинаковых голубых платках, они своим видом украшали улицу. Каждый день два раза ходили молодухи на реку, и люди долго смотрели им вслед. Никто никогда не слышал, чтобы в доме Мархабы случалась ссора. Однако раздор начался тут же, как только умерла старая Мархаба. Сразу же снохи начали одеваться каждая по-своему, перестали вместе ходить по воду. Началось с малого, и в конце концов старший сын отделился от большого дома, а потом потихоньку и другие. Так разрушилась большая семья.

Таких больших семей в нашем ауле в прежнее время было много.

Сейчас молодые не успеют жениться, торопятся отделиться от родителей. Жизнь стала другой, времена — как кипящий казан. Как меняется время, так меняются и нравы. У ногайцев есть хорошая поговорка: не приведи аллах остаться без родного очага. Очаг — корень дома. Где человек построит свой очаг — дороже места для него нет. Это его место на земле, родное ему — с него и начинается Родина.

Куда бы ни забросила судьба человека — он стремится домой, спешит возвратиться к своему очагу. Для него дороже ничего нигде нет и не будет. В нашем народе самое тяжелое проклятие: чтобы потух твой очаг. В счастливом доме он всегда горит ярким пламенем. В несчастливом огонь тусклый и быстро угасает. Если погаснет очаг, то и дом рухнет.

Отец и мать самым почетным местом в доме считали очаг. Мать старательно поддерживала в нем огонь, чтобы не остыл и ночью, а утром, проснувшись, раздувала пламя. Таким образом и днем и ночью в доме не затухал огонь. Если отец собирался в дальнюю дорогу, то, прежде чем выйти, ставил ногу на угли очага, чтобы благополучно возвратиться домой. Наш очаг был большой, как и в каждом ногайском доме. Потому что в каждом доме жизнь совершалась вокруг очага.

В нашей главной, очажной комнате не было печи. Над огнем — широкий круглый плетеный дымоход. Внутри него — крепкая железная цепь, а на цепь подвешивали казан.

В очажной комнате хранились посуда и продукты. У матери было два казана: один большой круглый, с ушками, другой — обыкновенный чугунок. В старину существовало немало вещей, так сказать, общественных, которыми пользовался весь квартал. Например, коже-

мятка для выделывания кожи, ручная мельница, пожарная ступка — кели, ступка для перца — ауенкели, сито. Каждый, кому нужно было, мог взять их у соседа. В старину, рассказывают, из-за сита исчез целый аул. Люди и сейчас укажут место, на берегу Малого Зеленчука, где он стоял, теперь там множество маленьких курганов — вроде бы могилы тех умерших аулчан. Сейчас возле этих курганов расположился аул Кош-Хабль; так вот на восточной стороне, недалеко от дороги, и видно скопление курганов. И будто бы эти курганы — захоронения тех аулчан, что погибли в споре за сито, так говорят люди. Может, правда, может, и нет, кто его знает, но рассказ переходит от поколения к поколению. Это место до сих пор называют Элек-Кырган — Погибшие за сито.

В нашем очаге и днем, и ночью горел кизяк. И редко когда снимался казан с цепи. Вошедшие люди, если мама в это время готовила, желали: «Пища чтоб была обильной и чтобы люди хорошо насытились, дочь Кыдырали». «Пища чтоб была обильной» — это одно из лучших пожеланий, а если хотят тебя проклясть, говорят: «Пища чтоб была необильная, чтобы потух огонь». Огонь. По дыму очага узнавали, готовит ли тот или иной дом пищу. Было принято делиться едой с соседями, с бедными. Помню, моя мама всегда выделяла часть приготовленного для нищих, для бедных. В те времена, когда я был маленький, много людей ходило по дворам, просили подавания. Конечно, не все аулчане отличались щедростью. Встречались и прижимистые.

Вот одна из баек о таком прижимистом хозяине, забывшаяся мне, — ее рассказывали в ауле.

Жил такой жадный человек — сам выдавал жене продукты к обеду, при этом все отмеривал. И вот однажды, желая получить на обед суп с пшеном, повесил над огнем казан, а сам, уходя, предупредил жену: «Женщина, пока вода закипит, я успею сходить к соседям на той, посмотрю и быстро вернусь». Однако сразу вернуться ему не удалось, а вода в казане меж тем уже всю кипела, и ее становилось все меньше и меньше. Ждала-ждала жена, пока не надоело, а потом решила: пойду-ка позову мужа. И отправилась на той. Пришла, а муж ее всю веселится, танцует. Увидела это жена и не знает, что делать. Постояла, постояла, потом сообразила, придвинулась поближе к кругу и, хлопая в ладоши в такт музыке, стала напевать: «Хозяин мой тан-

цует, значит, и казан мой кипит...» Муж, сразу догадавшись, о чем сообщила жена, прошел круг в танце, и, приблизившись к тому месту, где она ждала, под музыку выкрикнул: «Эй, один раз в ладоши». Опять прошел круг и, снова оказавшись возле жены, добавил: «Если этого мало, еще раз в ладоши».

Жена, без труда поняв, как распорядился муж, вернулась домой и засыпала в кипящую воду одну горсть пшена, затем, подумав, что этого, пожалуй, мало, она добавила еще одну горсть — и получился прекрасный суп. Гости же на празднике истолковали слова женщины так: «Жизнь моя хороша, поэтому муж мой танцует...»

Вот видите, в нашем народе казан и жизнь могут быть сопоставлены в разговоре. Если жизнь твоя хороша, то и казан твой хорошо варит.

О родственниках по крови ногайцы говорят: «Братья, разделившие один казан». «Казан» — здесь означает жизнь, очаг, дом. Из одного очага, из одного дома отделившиеся братья — вот о чем поговорка.

Ногайцы обычно топили дровами и кизяком. Сейчас кизяк редко кто заготавливает. Помню, отец зимой и летом в загоне для скота, засучив рукава, большим кетменем (род мотыги) резал хорошо утоптаный овечий навоз. Кизяк готовили и с помощью особой формы. Вначале навоз растаптывали, как глину, пуская лошадь или волов, потом этот размягченный навоз нарежали формой — получалось нечто вроде кирпича.

Мне в детстве немало пришлось поработать этой формой. Ведь в степях, где не осталось уже лесов, чем топить, как не кизяками? Кизяк вообще испокон века был главным топливом для ногайцев.

Здесь я хочу напомнить о том, что животное для ногайца было всем: давало и еду, и одежду, и топливо. Более двадцати видов пищи из мяса и более тридцати — из молока приготавливают ногайцы. Из кожи да шерсти — обувь и одежду. Навоз — и дома, и в степи — топливо. В степи, где пасся скот, собирали высушенный навоз для костра. Дома собирали свежий навоз и готовили тонкий кизяк — япаша. Его женщины налепляли на плетень — чтоб скорее сох. Хорошо высушенный кизяк — япаша — прекрасно горел.

Моя мать навоз смешивала с половой или же с измельченной соломой, поэтому ее япаша пылала, как сухие дрова.

Япаша горит ярким пламенем, я сижу возле огня и слушаю рассказы отца. Отец вспоминает степь, бегущие табуны — как волны, запах сухого япаша бьет в нос, в нем слышен и терпкий запах полыни.

— На зиму я уже наготовила огромную кучу япаша, отец Шоратая, — говорит мать, видя, как отец следит за языками пламени.

— Хорошо, есть и целый воз кизяка, только бы вот еще арбу дров на растопку. Если аллах даст, на следующей неделе надо будет съездить в Карагашский лес. Ты, дочь Кыдырали, свое сделала, теперь очередь за мной, — отзывается отец.

Перед моими глазами встает раннее утро, мать, засучив рукава, готовит япашу, лепит на плетень. Потом снимает с плетня сухие... Собранные япаша во дворе — как хорошо сложенный стог сена.

Мать лепит япашу до самых последних дней осени.

— Ну, хватит, довольно, дочь Кыдырали, когда они у тебя теперь высохнут? — останавливают мать соседские женщины.

— Высохнут или нет — все равно надо двор очищать от свежего навоза. Я сразу два дела делаю: топливо готовлю и двор очищаю, — отвечает мать соседкам.

Если же очаг вдруг угасал, за огнем посылали к соседям. Я и сам, еще ребенком, случалось, брал в руки совок с горящими углями. Давать огонь и брать огонь было в обычае у ногайцев. И поэтому про соседей, с которыми тесно общались, говорили в старину: «Те, у которых брали и которым давали огонь». Это выражение и посейчас сохранилось в народе как поговорка. У врагов огня не просили: огонь от недругов, наверное, не приносил тепла.

— Кто бы он ни был, просящему огонь нельзя отказывать. Не дать огня — большой грех, — так завещала мне и сестре мать.

Она не застала тех времен, когда этот обычай перестал существовать. Не могла она знать, что в каждом доме будут спички, электроплитки, зажигалки и прочее.

Ужинали мы обычно возле очага при неярком свете огня. Лампу зажигали в торжественных случаях и когда приходили гости. По вечерам отец и мать всю свою домашнюю работу переносили к очагу. Ее всегда было — не переделать. •

Мама сперва мыла посуду. Потом кипятила молоко, готовила сыр, сбивала масло. Когда эти работы были

выполнены, брала в руки прялку. На зиму она вязала для отца и для меня теплые носки. Еще готовила она отцу теплый башлык.

Как-то, помню, мама сшила хорошие чарыки из сафьяна. Все соседи с удивлением смотрели на ее работу. Чарыки мама умела шить с разными орнаментами. Сафьян для чарыков они с отцом тоже выделывали сами.

Сперва кожу с неделю мочили в шате — растворе из кислого молока с дрожжами, чтобы легко сошла шерсть. Потом отец обрабатывал эти заготовки на кожемялке. После этого еще руками мяли по вечерам. А уж затем готовый сафьян красили в нужный цвет. Хороший сафьян получался из козлиной шкуры. Таким же образом выделывали кожу крупного рогатого скота для зимней обуви и на подошвы...

И у меня достаточно было своих забот возле очага по вечерам. Считал и пересчитывал свои альчики: сколько выиграл, сколько проиграл. Или же сушил на огне вылепленных днем из глины лошадей и овец.

Никто из нас не сидел без дела. Горел огонь в очаге, и каждый возле него был занят своей работой.

Наш дом был покрыт камышом. У окон с утра до вечера чирикали воробьи. Эта картина часто мне вспоминается и сейчас. Проносились ласточки, перед дверями кудахтали куры и гоготали гуси, мычали телята. Весело шумел весь двор.

Распахнув двери дома, в солнечные дни можно было увидеть вдалеке белоснежные вершины двуглавого Эльбруса — по-нашему, Карлы-тау. Отец, выходя по утрам во двор, глянув на гору, говорил:

— Сегодня макушка Эльбруса открыта, если даст аллах, день будет хороший.

Если же у вершины горы собирались тучи, отец предсказывал плохую погоду. Вообще, можно сказать, что Эльбрус для народов, живущих у его подножия, был чем-то вроде барометра.

Наш дом стоял прямо над обрывом. Внизу днем и ночью бурлила Кубань — шум реки доходил до нас как напев какой-то дикой мелодии, мы к нему привыкли.

Посередине нашего дома расположилась большая кухня, по бокам две комнаты: одна — в которой мы все спали, другая называлась гостиной. В старину без комнаты для гостей дом не считался домом. Почет гостям

оказывали большой. «Гость — старше отца», «Гость — посланец аллаха», «Если издалека придет шестилетний гость, то шестидесятилетний старец должен стоя приветствовать». Недаром так говорили наши мудрые старцы о гостях. Эти поговорки передавались от отцов и дедов младшим поколениям: гостей надо было принимать с почетом.

И отец мой, встречая гостя, радовался, как будто увидел родственника. Беспокоился — что подать ему кушать, что ему дать выпить. Мать, замечая такое старание отца, говорила:

— Ты последним куском готов поделиться с людьми. Думаешь, они ценят твою щедрость, отец Шоратая? Нет, считают тебя наивным простаком, себя же почитают умными.

Эти слова повторяли и родственники. Однако отец не принимал такие разговоры всерьез.

— И других человек как себя должен уважать, разве это неправильно — беспокоиться о других? — так отец стоял на своем.

В словах матери и родственников была, конечно, доля правды. Некоторые из наших аулчан посмеивались над открытыми людьми, держались заносчиво. Как говорится, считали простоту за недостаток и задирали нос. Держались и разговаривали многозначительно, словно знали нечто такое, чего остальным не дано. С такими простые люди не сходятся. И, побаиваясь этих умников, мать упрекала отца: мол, не умеешь себя держать с другими. На нашей улице я и сам успел повидать одного такого — считал себя всезнающим, желал учить остальных. Люди ему дали ироническую кличку — «Умник», а так-то звали его Сайпу. С этим умником у отца частенько случались ссоры. «И его вина была в аресте отца», — говорила потом мама. Может, и была, однако отец на него зла не держал. Отец ушел в тюрьму, а немного спустя, когда нагрязнул голод, ушел в землю Умник. Когда же отец вернулся домой и узнал, что Умник умер, он сходил к его родным и выразил соболезнование. Что же сделаешь, умершему все надо простить, говорил отец.

Вот так отец беспокоился за чужих, а те в ответ пытались уколоть его побольнее. Хоть и пытались, однако что бы ни делали, как ни старались, но правда всегда побеждает зло. Если бы не так, этот свет поблек бы давно.

Когда я был маленький, помню, в нашем доме не переводились гости. Особенно по субботним дням из многих аулов на арбах, на лошадях приезжали, чтобы затем отправиться дальше, в Невинномысск, на базар. Среди кубанских ногайских аулов ближе всех к Невинномыску расположен наш. Поэтому родственники по матери из аула Тохтамыс, родственники по отцу, а также сестры, вышедшие замуж в аулы Алакай и Шабаз, — практически все, добиравшиеся на базар, по дороге обязательно останавливались у нас. Двери нашего дома и сердца матери и отца были открыты для гостей. Иногда родственники отца, видя, что в наш дом заглядывает многовато приезжих, сетовали: «Родственники твоей жены совсем тебя разорят». Отец отвечал с легким сердцем: «Ну и пусть не забывают нас, гости ведь тоже со своим хлебом едут». В нашем доме и постель для гостей, и еда всегда были самые лучшие.

Даже в голодные годы, когда мы жили в горах, теснясь в одной комнате, дом наш был не без гостей. Кто бы ни заглянул, место всегда находилось, все лучшее из еды ставили перед гостями. И, как справедливо говорил отец, из-за этого мы не обеднели...

Вспоминая ту жизнь, позже я написал стихотворение «Ногаец гостю рад».

...Если увидит гостя ногаец — обрадуется,
будто родственника увидел.
Скажет: сегодня у меня радость, принарядится
как на праздник...

И, конечно, вспоминая обычай гостеприимства, нельзя не сказать еще раз о том, что ногаец всегда рад своим родственникам. Даже очень дальним родственникам всегда рады. Полагалось знать всех родственников до седьмого колена — и ведь знали. «Мы вот с таким-то из одного котла ели, — значит, родственники». Так говорили, если была хоть капля общей крови. Родство всегда принимали близко к сердцу. Конечно, это неплохой обычай. Доброжелательность друг к другу, близость к родным — это всегда хорошо. Те, что считались родственниками, избегали вступать между собой в браки. Сейчас этот обычай теряется, дальние родственники женятся, выходят замуж.

Все наши обычаи заставляли людей близко общаться друг с другом. Поэтому-то у ногайцев дом без гостей не бывал.

В годы моего детства в нашем доме, не то что сейчас, мебели имелось мало, и что не было предметом первой необходимости, не держали. Да если б и хотели завести что-то сверх обычного — где возьмешь? Ногайские аулы в те годы с городом практически не общались. Поедет кто-нибудь на базар, приобретет на вырученное какую-нибудь городскую вещь, и вот уже вся округа знает: «Такой-то недавно с базара железную кровать привез». В бедных домах обычно пользовались доставшейся еще от дедов и прадедов утварью: деревянные чашки, мялки для выделывания кожи, кадушки, деревянные ложки, ручная маслобойка, деревянная кровать. И я еще застал семьи, не знавшие иной мебели, современных предметов домашнего обихода.

При входе в нашу кухню видишь стоящие возле очага небольшой медный таз и кувшин — кумган. Кумган и таз — главная примета ногайского дома и самые почитаемые в нем вещи. Без них не бывает ни дома, ни семьи. У нас говорят: отрекись от веры, но не отрекайся от кумгана. В этих словах заложен большой смысл. Кумган и таз — признаки чистоты. Если в доме кумган не блестит чистотой, то хозяйку этого дома называют перяхой. Каждый человек перед едой и после еды мыл руки. В некоторых домах в гостиных специально для гостей держали кумган и таз. Вообще у ногайцев еще с давних времен чистота была на первом месте, ценилась особо. Еще тогда хорошо понимали, что чистота — основа здоровья, а значит, и всей жизни.

На кухне поближе к очагу на стене подвешена деревянная полка для посуды. На ней множество фарфоровых, глиняных тарелок и чашек, большая чаша для заваривания чая, деревянные ложки, солонка, деревянные чашки. Тут же ауенкели — ручная ступка, обычно из железа или бронзы. В ней мать толкла перец, а в голодные годы, если доставала, и зерно. Наша бронзовая ауенкели дошла до военных лет, я это хорошо помню.

В старину, когда в степи еще не было мельниц, кочевники вообще широко пользовались ступой. Об этом у нас сохранилась пословица: «В хороший дом попавшая сноха — сноха, в плохой дом попавшая сноха — пестик для ступки». И правда, молодуха, оказавшаяся в «плохом» доме, весь день трудилась, не выпуская пестика.

Из вещей, помещавшихся на полке, мне больше всего нравились резные ложки для чая. Сегодняшние люди уже и не видели их, и название их исчезает, и мастера, которые их изготовляли, ушли из этого мира, забылись. А ведь были нужны и удобны... Что поделаешь, такова жизнь, со временем какая-нибудь старая вещь исчезает, на ее место приходит новая.

На кухне стоял и низенький трехногий обеденный столик — сыпыра, и несколько низких стульев. В комнате у стены — низкий тахтамет — топчан, покрытый пестрым войлочным ковром. На нем отец дремал по вечерам, пока готовился ужин. И я на нем играл, кувыркался, переворачивая дом вверх дном.

На кухне также было множество больших и маленьких горшков. В одном держали воду, в других масло, сыр, подсоленное кислое молоко — аурша, соленый творог — курт. Когда я вижу в сегодняшних музеях выставку старинных кувшинов — амфор, сразу вспоминаю нашу кухню, расставленную глиняную посуду моего дома.

Ауршу готовили из густо заквашенного и подсоленного кислого молока. Густое кислое молоко еще раз процеживали через сито, гущу собирали в бочку и подсаживали. Мать готовила ауршу осенью, а зимой с мясом и мамырсой — ничего вкусней нет, объедение.

Курт — засушенный соленый творог. Простой творог через два-три дня прокисает, а курт может храниться годами. Его можно есть как сыр, с мясом, с картошкой, с хлебом. Мы, когда были детьми, круглыми кусочками курта лакомились на улице, как конфетами.

Еще на кухне на деревянных крючках висело несколько бурдюков из овечьей шкуры. В одном из них сёк (жареное и очищенное просо, его едят со сметаной), в другом талкан — мука из жареной кукурузы, в третьем — курт. Был и бурдюк, где хранилось сливочное масло. В детстве я слышал и такое:

Если нет в очажной комнате бурдюка с маслом,
Значит, дом этот бедный.

Рядом с плетеным дымоходом на доске висят деревянный черпак, шумовки, скалка...

В гостиной стояла высокая железная кровать с четырьмя шариками на спинках, четыре стула. Над кроватью мать повесила узорчатые яркие войлочные коврики. На стене — деревянные крючки для одежды. По-

середине комнаты — стол, у двери — медный тазик и медный кумган.

В угловой комнате, где мы спали сами, — две кровати, несколько низеньких стульев, сундук. На стене на деревянных крючках висит одежда отца и матери. Кроме этих вещей, в нашей комнате, можно сказать, и не было больше никакой мебели. В мои детские годы в ауле железная кровать, стулья со спинкой случались только в одном-двух относительно зажиточных домах. Даже зеркало имелось не в каждом. А у нас в гостиной на стене между окнами висело настоящее зеркало, правда, уже старое, пошедшее в нескольких местах черными пятнами. Когда я упомянул об окне, вот еще что вспомнил. В длинных, под соломой, аульских домах обычно бывало два или четыре окна, а стекла были собраны из нескольких кусков.

Раз вспомнил про сундук, надо сказать о нем побольше. Потому что в ногайских домах в те годы очень ценили сундуки.

3

Наш семейный сундук был высокий, узорчатый, крепленный белым железом. Как рассказывала мама, он нам достался от бабушки. И потом, после смерти мамы, им еще довольно долго пользовалась сестра, хранила память мамы и бабушки. Муж ее, опасаясь древоточца, заставил выбросить старую вещь, а так, если бы он не настаивал, сестра и дольше бы держала этот сундук.

В те времена сундук был чем-то вроде теперешнего шкафа. Храня в нем самые дорогие свои вещи, хозяйки носили ключ с собой, хотя дом обычно не запирался, замков я не помню. Если человек что-нибудь хорошо умел хранить, о таком в нашем народе говорили: «Этот прямо как замкнутый сундук». О людях с открытым сердцем говорят: «У хороших людей душа — золотой сундук». Наверное, эти поговорки появились тогда, когда сундуки имели большую ценность.

Когда я был ребенком, я всегда знал, что хранилось в нашем сундуке и чего там нет. Обычно сундук бывал туго набит. «Дочь Кыдырали очень бережлива», — говорили соседские женщины, видя, как мать хранит каждую вещь, — когда-нибудь да пригодится. А мать им отвечала: «Если нужное не сбережешь, понадобится — не найдешь».

В сундуке хранилась масса замечательных вещей, возбуждавших мое мальчишеское любопытство. Оставшиеся еще от бабушки старинный женский головной убор, красное шерстяное платье, вышитое узорами, серебряное ожерелье, женские нагрудные украшения. Если у дочки родятся девочки, они и наденут, думала мама, для них и хранила. Только вышло так, что эта одежда и украшения не пригодились и моей сестре — в других вещах вышла замуж. И все равно бедная мама, не думая об этом, хотела сохранить, передать их внукам по дочери или моим будущим дочкам. Мама не думала, что каждое время приходит со своими законами, одеждой, украшениями, мебелью. И дочери сестры, и мои дочери видели старательно сбереженные мамой вещи и — зачем лукавить — смотрели на них, как на старые музейные реликвии.

Шапку, часы, книги мама хранила для меня.

— Дорогой мой, единственный, вот вырастешь большим, да будет воля аллаха, вот эту шапку наденешь, часы положишь в нагрудный карман, книги возьмешь под мышку и пойдешь в школу — мектеб. Неграмотный человек темный, невежественный, а грамотный талантливый. Какой у тебя дед был ученый человек! И ты будь таким. — Она вынимала из сундука книги, показывала мне, потом старательно вытирала переплеты и заново прятала в сундук.

Кто его знает, может, и действительно я повернулся лицом к учебе из-за этих вот слов матери. У ребенка, который знает материнские наставления, материнские надежды с малых лет, — материнское входит в кровь.

Но я так и не смог надеть дедову шапку, и книги его не прочитал, да и часы не носил. В начале тридцатых годов мама услышала, что представители власти подозрительно относятся к людям, которые хранят старинные книги, и тогда большинство из них она раздала, остальные сожгла. Какие ценности горели в огне! А шапка исчезла в голодные годы... Да, вот так вот предназначенные для меня вещи бесследно исчезли. Но не исчезли из памяти слова деда по матери, завещанные мне: «Когда вырастет внук, прочтет мои книги». Слова деда, переданные мамой, послужили для меня добрым советом, я стал стремиться к учебе.

И еще в сундуке хранили деньги, куски ткани для одежды, конфеты, сахар и другие замечательные вещи. Меня в те годы больше всего в сундуке интересовали

куски пиленого сахара. Я тянул маму за подол «Дай...» — и тащил ее в комнату, где стоял сундук. Получив желанный кусочек, выбегал с ним на улицу к приятелям: «Кызый-кызый, вот он, сахар!» И ребяташки, разинув рот и широко открыв глаза, смотрели с завистью на мои руки. Иногда бывало, что кто-нибудь постарше, дав мне какую-нибудь игрушку, забирал мой сахар. Мама в таких случаях никогда, даже если я плакал, не выбегала на улицу, не ругала никого из ребят. «Дети сейчас поругаются, сейчас помирятся», — говорила она в такие минуты.

Браслеты, ожерелье, серебряный пояс сестра в голодные годы отвезла в горные аулы и обменяла там на картошку и на кукурузу, чтобы мы не умерли с голоду. Это был тот самый тысяча девятьсот тридцать третий. Все ценные вещи аулчане тогда меняли на зерно.

Из тех дорогих для семьи вещей, что я видел в сундуке, удалось сберечь только дядины часы. Вначале их сохранила мама, потом сестра. И сейчас, когда я пишу эти строки, они лежат на моем письменном столе. Я берегу их — это память о тех, кого уже нет.

Еще в сундуке хранились отцовская выходная коричневая черкеска, голубая сатиновая рубашка и черный шерстяной кафтан, которые он надевал на праздники. Черкеску, сшитую в относительно молодые годы, отец продолжал носить до старости. Ворот стал тесноват, и отец ходил не застегиваясь. В те времена, не как сейчас, одежду обновляли редко — не каждый год. Обычную, не праздничную, носили до тех пор, пока не начнет рваться. Выходную одежду берегли, надевали раз или два в году.

В сундуке хранилось все самое сокровенное, дорогое в доме. Поэтому эти сундуки мы так и называли — «секретный сундук».

Кроме секретных сундуков были еще и обычные ручные сундучки, нечто вроде сегодняшних сумок или саквояжей. В них женщины держали нитки, иголки, всякие мелочи. Девушки в них хранили серьги, кольца, бусы, одеколон.

Ручной сундучок нашего дома был тоже разукрашен узорами и обит железом — просто загляденье.

У жадного человека сундук сразу не откроется. Что в нем есть, чего в нем нет, никто не знает. У таких людей большая часть накопленного после смерти появляется из сундучка — вроде как клад вырыли. У щедрого

человека наоборот — сундук сто раз на дню открывается.

— Щедрость — открытость сердца. Щедрый человек — добрый, уважает людей. А уважительный человек на плохое дело не пойдет, — говорил отец, когда мать время от времени начинала укорять его, что, мол, очень уж он прост, открыт, то одно сделал не так, то другое, слишком доверчив.

В наше время сундук — большая редкость. Зачем сейчас сундуки, если нынче сами дома — закрытые сундуки. Сегодня люди, пока на дверь не повесят — один изнутри, другой снаружи — захлопывающиеся двойные замки, за ворота не выходят.

Сундук. Этой вещью пользуются со времен наших предков. Если в каком-нибудь доме я вижу сундук, смотрю с интересом: не сундук ли это моей матери? И многое приходит мне на память.

4

Плетеная труба над очагом на кухне сделана была широкой и высокой, — видно, отец беспокоился о том, как бы искры из трубы не попадали на камышовую крышу, да не случилось бы пожара. Плетеную трубу хорошо обмазали глиной, чтобы ненароком и сама не загорелась.

Над очагом на цепи подвешен казан, днем и ночью горит огонь. Особенно ярким, особенно красным он делается вечером, когда садится солнце. Отец об этом мне, маленькому, говорил так:

— Днем солнце всех нас освещает. Нет ярче света, чем солнечный, даже и огонь бледнеет перед ним. А когда уж солнце садится, тогда приходит время огня, он становится ярким — ярким и красным. Вот какую силу имеет солнце. Это великое чудо...

Такое чувство, такое уважение к солнцу отец, безусловно, перенял от своих родителей, если считать дальше, от наших предков. А предки наши еще с языческих времен отдавали дань уважения солнцу, как великому чуду и источнику жизни...

Когда я вспоминаю наш очаг, перед моими глазами предстает отец с деревянным вертелом в руках, на вертеле — куски баранины, — отец жарит ее над пламенем, над горящими кизяками. В деревянной большой ча-

ше — белая-пребелая мамалыга. Я смотрю, как отец жарит мясо, и у меня текут слюнки.

— Сейчас, сейчас будет готово, сынок, — видя мое нетерпение, говорит отец и перемещает вертел туда, где жар посильнее. Потом эти куски баранины, прожаренные докрасна, он дает мне: — Очень хорошо получилось, попробуй, — говорит отец.

И мы с ним вдвоем едим приготовленные на кизячном огне шашлык с мамалыгой.

Когда отца нет дома, я прошу маму:

— Абай, дай мне на вертеле кусок мяса, я сам прожарю.

Мама режет кусочками сушеное мясо, нанизывает на вертел. Я прожариваю его над огнем. Может быть, сегодняшнее «шашлык» произошло от нашего «шанш» — вонзай. В детстве я часто сам жарил мясо на вертеле. Такая еда в старину у ногайцев считалась первой едой.

Но больше всего я был охотником до жаренной на вертеле кукурузы. Ах, как хорошо жарится свежая кукуруза на кизячном огне! Сладкая получается — точно мед. «Ешь кукурузу и пей воду, если не поправишься — удивишь, ешь яблоки и пей воду, если не похудеешь — удивишь». Не зря так говорят в народе. Жаренная на огне кукуруза очень сытная. Два-три початка — и до вечера есть не захочется.

Огонь в очаге особенно жарко горел по вечерам. Потому что мама начинала готовить вечернюю еду.

Вечерняя еда в ногайской семье — главная. Мясо, суп шорпу готовят на ужин. Утром и в обед члены семьи вместе не собираются. Кто за скотом ухаживает, кто в поле. А вечером все возвращаются домой. И еще, наверное, эта привычная поздняя трапеза у ногайцев связана с определенным образом жизни. Ведь ногайцы издавна занимались скотоводством. Едва забрезжит рассвет, человек, умеющий держать в руках палку (взрослый или ребенок), позавтракав оставшейся с вечера едой, должен был выходить со скотом в степь. В обеденный час собирать к юрте весь скот, расплзшийся по степи, трудно, хлопотно. Поэтому пастухи, выходя утром из дома, еду брали с собой и днем обедали в степи. Оставшиеся дома женщины, беспокоясь об ушедших с самого раннего утра, не отведавших горячей пищи пастухах, все, что было хорошего, готовили на вечер.

И мама моя варила на вечер мясо в большом казане с ушками. В конце дня мы все собирались вокруг стола — сыпыра — у очага и ужинали. Если мы, дети, начинали болтать за столом, мама останавливала: «Когде едите, не разговаривайте, это грех». Сейчас я, конечно, согласен с матерью. Потому что, когда перед тобой лежит еда, разве это хорошо — разговаривать? Конечно, нехорошо, — или разговаривай, или ешь.

Иногда отец, — наверное, если в этот день возвращался домой не очень усталым, — сидя возле очага и глядя на кусок неба, который виднелся в плетеной трубе, подзывал меня к себе и показывал:

— Вон там, сынок, Улкер, созвездие Плеяды. Подойди посмотри отсюда на небо.

И я, закинув голову, вытянув шею, смотрю, будто в бинокль, на виднеющиеся в дымоходе звезды.

— Вон туда гляди, влево от трубы. И левее луны, сынок, — отец руками ласково поворачивает мою голову, помогая скорее отыскать Улкер. — Как пасущиеся овцы рассыпались эти звезды, видишь. И поэтому в народе их называют Улкер, то есть «рассыпавшиеся».

Много интересных вещей рассказывал мне отец, глядя на небо. Он умел, например, по звездам, точно по часам, определять время, в том числе по созвездию Плеяды и по Большой Медведице; глядя на Венеру или Полярную звезду, умел найти дорогу ночью в степи. Деда моего в народе даже называли звездочетом. Вид звездного неба подсказал и такое сравнение. «Как созвездие Плеяды, рассыпавшись, кочевал наш народ по степи. Одни в горах, другие в песках», — помню, говорил отец.

Сейчас, у очага, отец вздыхает задумчиво, смотрит куда-то вдаль, будто увидеть хочет кого-то, разглядеть. Потом оборачивается ко мне:

— Знаешь, сынок, ты очень похож на своего деда, пусть ему земля будет пухом... и нос, и губы... и вообще лицом схож.

Какой же у меня нос? Я ощупываю его на всякий случай. Как по нему можно узнать, что я похож на деда?

Отец продолжает свою мысль:

— Все-таки это интересно. Человек из мира совсем не уходит, что-то от него остается в потомках.

Ночное небо усыпано звездами, попробуй разберись, где какая. Я задираю голову и, будто могу их различить,

гляжу наверх. Отец, конечно, знает, что я только делаю вид...

— Пойдем, сынок, выйдем во двор. Я тебе все по порядку покажу. Пойдем, пойдем, — отец выводит меня из дома, показывает рукой: — Вон, видишь, это Большая Медведица. Видишь, семь звезд выстроились как ковш. Вглядишься хорошенько.

Я старательно смотрю в ту сторону, куда указывает отец. Какие же это звезды?

— Вон семь звезд выстроились, — строго повторяет отец.

Я, конечно, не хочу рассердить его.

— Увидел семь звезд! Вон там! — говорю я отцу, отсчитав первые попавшиеся.

— Молодец, сынок, запомни: человек, который хорошо знает звезды, если даже один останется в степи, не заблудится. И еще — по Большой Медведице можно определить время. Если в летние ночи хвост семи звезд смотрит в землю, значит, наступает утро. Поэтому говорят: «Пока Большая Медведица не дотронется до земли, табунщику не будет утра». Большую Медведицу еще называют в народе «Ети каракшы» (Семь воров). Говорят, Большая Медведица у Плеяд украла одну звезду, поэтому Плеяды в небе гонятся за Большой Медведицей.

Я пристально всматриваюсь в небо, чтобы увидеть, как же это они гонятся. В бездонной глубине мигают золотые точки, и мне и вправду кажется, что одни звезды убегают от других.

Не отрывая взгляда от неба, отец продолжает:

— По созвездию Плеяды твой дед определял, какое наступает время года, предсказывал погоду. В начале лета ночью Плеяды появляются с запада, в начале осени — с востока, в начале зимы их над головой видно. Запомни, чтоб в памяти осталось, — несколько раз повторил отец.

Потом он показывает на небе белую широкую дорогу — Млечный Путь.

— Ногайцы называют — «Птичья дорога». Некоторые иначе: «Овечья дорога» Или: «Дорога пахаря».

Я смотрю на небо: как ни трудно мне различать звезды, которые показывал отец, птичью дорогу я вижу сразу. Узнать ее легко — вот теперь я что-то могу показать и сам.

Отец продолжает дальше:

— Ай, бедный твой дед много мне рассказывал про звезды, чтобы и я много знал. Я же к его речам совсем не прислушивался. Как бы хорошо было, если бы я все запомнил... Да, человек в молодости многого не понимает, не знает, потом жалеет, но уже поздно. Ведь все вот так и передается от поколения к поколению: отец рассказывает, сын запоминает, а потом и сам расскажет своим детям. Объяснить другим все, что ты сам знаешь,— это очень хорошо,— растолковывает отец. Ему хочется, чтобы я очень хорошо понял...

Кончив говорить, отец смотрит на небо. И я смотрю. Хотя я и долго гляжу на мигающие звезды, все же не могу различить, какая из них Полярная, которые — созвездие Плеяды или Большая Медведица... Позже, когда я немного подрос, я, конечно, научился их находить. А еще позже прочитал про звезды много книг, тогда вот и вспомнилось мне все, о чем рассказывал отец.

О Птичьей дороге русские говорят: «Млечный Путь». Переводят это выражение с греческого языка. О Млечном Пути у греков есть такое сказание. Один царь ушел на войну и долго не возвращался домой. И тогда его жена просит у богов, чтобы они ей вернули мужа; она поднимает грудь к небу, слегка сдавливает пальцами, и из сосков брызжет молоко. И вот это ее молоко и осталось белеющей в небе дорогой. Царь увидел над собой Млечный Путь и, следуя небесному указанию, смог найти дорогу к дому.

О созвездии Плеяды наши говорили, что оно старше всех остальных звезд. Верили, что оно находится где-то посередине между Солнцем и Луной и состоит из множества звезд, нам-то видны всего лишь семь-восемь, а на самом деле их гораздо больше.

Ногайцы издавна считали звезды, давали им свои названия. Не только мой дед, многие узнавали по ним время суток, определяли смену времен года, находили путь к дому. И я тоже после рассказов отца научился узнавать время. Это знание мне потом очень пригодилось, когда я оставался один в степи.

В молодости какую только работу не выполнял. И по ночам приходилось: пас лошадей, волов; на элеваторе зерно караулил, пахал на тракторе... И в такие ночи приходилось определять время по звездам. Со звездами провожал почь, по звездам предсказывал погоду.

В старину ногайские дети не умели считать, но о природе знали куда больше нынешних. На тот случай,

если останется один ночью в степи, ребенок должен был уметь найти дорогу к дому — для того его и учили узнавать звезды. Разумеется, никто не думал о том, чтобы сделать своих детей астрономами. Но все, что пригодится в жизни, детям старались передать.

Конечно, я не скажу, что в старину каждый человек знал тайну звезд. Умные, любознательные — те знали. Такие, что слышали от отцов и дедов, все запоминали и виденное не забывали. Каждый, кто обладал знанием, не скрывал его от других, передавал любому. Не разделивший своего знания с другими людьми, унесший с собой в гроб, считался грешником.

— Тайна неба велика, как и само небо, многое еще не раскрыто. Каждая звезда сама — целый мир, большой рассказ, — говорил отец.

А луна. И про нее отец тоже многое рассказывал. Нам, детям, не разрешалось махать рукой, показывать на луну, так как там, объяснял отец, голый маленький пастушок пасет свою отару. «Когда ты показываешь пальцем, пастушок думает, что ты его стыдишь, и он стесняется». Помню, если я нечаянно показывал на луну, сразу же прикусывал палец.

Помню еще, как отец рассказывал о том, что день и ночь вместе делятся на двенадцать частей, и перечислял их названия. И посейчас наш народ использует такое исчисление времени.

У дня различается шесть периодов: рассвет, утро, куслук — время до полудня, полдень, обед и экинли — часы до захода солнца. И у ночи шесть периодов: сумерки, время ясы — два часа после сумерек, время, когда ложатся спать, первые петухи, вторые и третьи петухи.

Каждый период длится два часа. Значит, вместе у дня и ночи — двадцать четыре часа.

Этот счет и деление суток наш народ принес из глубокой древности...

Показав мне звезды, отец шел в конюшню, проверял лошадей, потом шел в загон для коров, проверял их тоже. Он делал это каждый вечер. Удостоверившись, что все в порядке, брал меня за руку:

— Пойдем, сынок, теперь отдохнем. И Большая Медведица показывает — нам уже пора спать.

После еды, лежа на тахтамате, отец еще беседует со мной.

— Тебе же утром рано вставать, — напоминает мама.

— Сейчас, сейчас, — отвечает отец и продолжает свой рассказ.

Я слушаю, раскрыв рот.

Мама согрела воды, моет посуду. Даже когда мы уже легли спать, все занимается возле очага домашними делами.

Вот сейчас она, согнувшись, чистит казан после мамалыги. И приговаривает:

— У неряшливых женщин пригар на казане бывает толщиной в палец. Чтобы не собирать пригара, надо после еды хорошенько скрести дно.

Дети очень любят остатки мамалыги, поскребыши. И я любил крутиться возле матери, когда она чистила казан. Поджаристые корочки в казане казались мне медом.

Если во время свадьбы ногайской девушки вдруг выпадает снег, гости говорят:

— Она так скребла казан, пока все дно не продырявила.

На такие шутки никто не обижается.

— Зато наш казан всегда был чистый, — не смущаясь, отвечает девушка.

Когда я утром просыпаюсь, мама уже возится подле очага. И я удивляюсь:

— Абай, ты, что ли, совсем не ложились, до сих пор возле огня?

Мама ласково улыбается в ответ:

— Проснулась, свет мой. Вон там кумган и тазик, умой лицо и руки, я очень вкусный чай приготовила. Сейчас будешь чай пить. — И снова поворачивается к очагу.

Затем мы с мамой пьем ароматный желтый, как мед, поперечный чай с копченым сыром. А отец уже с утра пораньше, совершив утреннюю молитву, ушел по делам. Я обычно не видел, как отец вставал, как пил чай. Он поднимался рано и уходил из дома, пока я спал.

В плетеной трубе над очагом были укреплены две-три жердочки. На них мама подвешивала и коптила матакуя — копченый сыр. Зимой матакуя можно есть и с мамалыгой, можно и с чаем. И хорошо его брать путнику в дорогу: не гниет, не портится, вообще долго хранится.

Мама моя хорошо пекла хлеб. Соседи говорили: хлеба, выпеченного руками дочери Кыдырали, никак не наешься. Помню: мама всегда не торопясь мешала тесто.

— Хорошо вымешанное тесто хорошо пропекается, оттого и вкус хороший, — повторяла она. Мама у очага никогда не ходила без косынки, — а вдруг волос в еду попадет...

Когда мы кончаем завтракать, мама берет в руки прялку. У нее не было времени сидеть сложа руки. Разве могла ногайская женщина, покончив с домашней работой, пойти куда-нибудь — ну, скажем, в гости? Я уже говорил, что мама кроме меня родила еще десять детей. Из них выжила только одна дочка, старшая. Отец, когда матери было уже под сорок, боясь, что останется без наследника, что потухнет очаг его дома, привел новую жену, — конечно, получив прежде согласие матери. И вот молодую привели в дом. В первую ночь отец с новой женой лег в крайней комнате, а мама в кухне разожгла в очаге большое пламя, сидит, переживает, сердце ее словно тоже огнем горит. Вдруг, встрепенувшись, она набирает в совок горячих углей, идет в крайнюю комнату, где легли отец с молодой женой, подымает одеяло и горящие угли сыплет на них. В те времена, не то что в современных домах, всяких там крючков да задвижек не было. От испуга молодая жена убежала в чем есть и больше не появлялась, даже за вещами не пришла. Про этот случай в ауле до сих пор пожилые люди помнят, не без улыбки спрашивают: «Так ты той, которая на молодую жену мужа огонь высыпала и прогнала ее, ты Крымсады сын?» Подобное слышал я от многих. После этого случая мама меня и родила. Родила как бы назло отцу. Интересное дело — жизнь, чего только в ней не случается.

Хотя дым из плетеной трубы возвращается в комнату, но дым родимого очага глаз не режет. Наши предки и предки наших предков с детства сидели у плетеной трубы очага, нюхали дым кизяка, грелись его теплом. Как само детство, так и очаг детства сладки в воспоминаниях.

Какое-то время центром всей жизни для меня, маленького, был очаг. Затем я научился спускаться по ступеням, потихоньку вышел во двор, познакомился с ним. Обследовав двор, я заинтересовался, что же там

дальше, на улице, и потихонечку выбрался через двор на улицу.

НАША УЛИЦА

I

Много улиц в нашем ауле.

Но есть одна, самая дорогая для меня.

Какими бы улицами я ни проходил, по пыльной аульской улице скучаю всегда, скучаю и сегодня...

Человеку дорог дом, где он родился, дорога и улица, где он вырос. Всю ее, вдоль и поперек, со всеми ямами и буграми, со всеми поворотами и закоулками знает он и помнит. С первых своих шагов, едва начав передвигаться, малыш знакомится со своим двором, а затем, после того как выберется за калитку, изучает улицу. Улица в это время кажется ему целым миром. Да так оно, по сути, и есть.

Увидев улицу, малыш прежде всего удивляется незнакомым людям.

Наша улица. Моя улица. Не знаю, может, по сравнению с другими, она и кривая, и узкая. Но какая бы она ни была, это моя родная улица, на которой я вырос. Здесь я появился на свет. Эта улица вывела меня на дорогу жизни. Дорог у меня было много. Однако, сколько бы их ни было, одна из них все равно возвращала меня на мою улицу, в мир моего детства.

Когда я вижу свою улицу, чувствую себя счастливым. Смотрю на знакомые дома и дворы и завидую тому, кто видит это чаще меня. Все мне здесь знакомо, особенно дорого. Здесь я впервые ступил на землю. И многое в моей жизни связано именно с этой улицей. Шумная ватага ребятишек — живой ее голос, близкие моему сердцу люди — родственники, добрые соседи — все они встают передо мной. Многие из них уже ушли из жизни, но я вижу у молодых то походку-повадку, то знакомые черты тех людей, которых уже нет. Правду, видно, говорят, что человек совсем не умирает, оставляет след в жизни.

Когда я впервые осознанно оглядел улицу, я подумал, что вот он — наш аул. Этот день я был первым, когда я увидел родной аул.

Первый соседский дом, куда я забрел, — там жила семья старухи Урхии. Мама давала им огонь иногда,

брала и у них, а если хотя бы раз в день не навевывалась, то на душе у нее было беспокойно. И я в детстве почти не вылезал с соседского двора. По вечерам вместе с другими ребятами с нашей улицы сидел у очага бабушки Урхии, слушал сказки, шутки-прибаутки. Урхия была замечательной рассказчицей. И очень любила детей — никогда не хмурила брови, глядя на наши проказы.

Вечер. Мы, дети, сидим вокруг очага, бабушка Урхия с прялкой в руках, рассказывает нам сказки. Когда матери узнавали, что мы в доме Урхии, они не беспокоились о нас.

Ярко горит огонь, старуха продолжает рассказ. Мы, раскрыв рты, жадно слушаем. Ее мягкий приятный голос я и сейчас еще слышу, когда начинают рассказывать сказки.

«В ранние-ранние времена, когда без крыльев летали птицы, без листьев деревья давали плоды, без соли варилась пища, без дыма горел огонь... когда праздники считались плохими, а плохим другом считалась совесть... В эти старые-старые времена...»

Услышанные от бабушки Урхии в детстве сказки и сейчас остались в памяти. Иногда я их рассказываю детям. Хотя, конечно, куда мне до нее — она-то была прекрасной сказочницей.

У бабушки Урхии было два сына и две дочери. Когда я еще был ребенком, оба ее сына уже давно привели в дом невесток и растили своих детей. И все они, три поколения, жили вместе, под одной крышей, в небольшом домике Урхии. Жили, не ведали, что такое ссора, обида. И каждый слушался бабушку Урхию. Много видавшая умная старуха всегда давала дельный совет, и все это знали.

Ярким пламенем горит кизяк. Мы, дети, тесно сидим вокруг очага, а бабушка Урхия, не ленясь, рассказывает.

Вот одна из сказок, которая мне запомнилась сразу. Может быть, потому, что действующие лица были мне, так сказать, близки, все они жили в нашем доме.

...Почему собака не любит кошку?

В давние-давние времена жил-был один очень бедный парень, и всего-то имущества у него было — лохматая собака да большая кошка. Однажды собака и кошка играли друг с другом, и вдруг кошка как-то неловко упала, и от ее лапы в земле осталась ямка. Па-

рень смотрит — а в ямке веревочка, потянул — открылся верх тулука — кожаного мешка. Быстро вытащил тулук из земли — а в нем золото, и среди золота еще и замечательной красоты перстень.

«Ай, аллах, все это золото — к чему оно мне, лучше бы у меня были бы дом и пища, чтобы я был согрет и сыт», — думает парень, держа в руках перстень.

Не успел он так подумать, как у него появляется дом, а в доме — накрытый стол, да еще и молодая хозяйка в придачу — дочь хана.

Зажил парень счастливо.

Но пришел день — и убежала дочь хана, захватив волшебный перстень.

Увидев это, собака и кошка отправились на поиски пропажи, то есть дочери хана и перстня.

Долго бродили они по свету. Усталые и голодные, все же нашли они за тремя морями хана и его дочь.

— Вот теперь, если ты незаметно не украдешь перстень, то я тебя съем, — говорит собака кошке.

— Украду, только не ешь меня, — обещает кошка.

Ханская дочь спала, спрятав перстень за щеку. Тогда кошка поймала мышь и говорит ей:

— Если ты мне не поможешь, то я тебя съем.

— Отпусти, пожалуйста, я помогу тебе, — взмолилась мышь.

Ночью мышь подобралась к ханской дочери и хвостиком пощекотала ей в носу. Та от этого чихнула, перстень выпал изо рта, кошка подхватила его и убежала.

Дело сделано!

Кошка садится верхом на собаку, и они скачут домой. Переплыли благополучно два моря, а когда одолевали третье, кошка нечаянно уронила перстень в воду.

Делать нечего. Вдруг они видят рыбаков — и в надежде полакомиться остатками улова направляются туда. Действительно, удалось им насытиться обедками, и пришла пора двигаться дальше. Вдруг один из рыбаков, только что выпотрошивший большую рыбину, кричит товарищам:

— Смотрите, что рыба проглотила — золотой перстень!

Тогда собака страшно зарычала, залаяла, рыбак от неожиданности выронил перстень — кошка подхватила его и была такова, с ней и собака.

И снова день и ночь скачут они к хозяину. Когда в доме оставалось уже немного, наступила ночь, и расположились они на почлег. На заре кошка тихонько встала и неслышно, чтобы собака не заметила, убежала с перстнем к хозяину. Парень ужасно обрадовался, благодарил кошку, ласкал ее. Отомстил дочери хана, женился на дочери бедняка. Но собака с тех пор не любит кошку, говорят. Как только увидит кошку, ужасно злится...

Эту сказку я особенно любил и все время, помню жалел, что наши собака и кошка не такие ловкие и умелые как те, из сказки. Помню еще, что я нашу кошку подпускал к собаке, чтобы они играли вместе, — думал, может, тогда нашелся бы волшебный перстень... Дети ведь легко смешивают сказку с жизнью.

В мои детские годы, помню, каждая соседская старушка что-то рассказывала детям — то песни, то сказки, то загадки... Были среди них такие, что хранили в памяти сотни сказок и песен и умели красиво их передать — и детям, и взрослым. И самой дорогой платой сказительнице были доброе слово и наши благодарные и счастливые лица. Сейчас таких старушек уже не найдешь. Перевелись. Или не знают сказок. Если рассказывают, так по книжкам, не народные предания, а выдуманные книжные истории...

Изо дня в день я понемногу знакомился со своей улицей. После бабушки Урхии я забрел в дом, где обнаружил мальчика моих лет, ставшего моим лучшим другом. Дом был очень просторный, с красной черепичной крышей — после нашего он мне показался настоящим дворцом. И лестничка у этого дома была высокая. Мы, дети, вспрыгивали на ступеньки — как будто взлетали в небо. В доме жила большая семья Мустафы Айтикаева — их фамилия известна среди ногайцев.

Так вот, первым моим другом, с которым я сам познакомился в ауле, и стал младший сын Мустафы Айтикаева. В начале этого повествования я уже назвал его имя — Шахим. Сперва мы играли в игры, которые видели у старших детей, подражали им. К нам присоединялись другие соседские ребяташки. Скоро мы с Шахимом до того привязались друг к другу, что даже есть один без другого отказывались. Кончилась эта дружба скоро и страшно. Нам еще не исполнилось и семи лет, когда голод унес из жизни Шахима. И с тех самых дней,

оставаясь семилетним ребенком, я уже не бегал так беспечно по улице. Я уже понял горе.

В то лето, когда умер Шахим, в наших краях случился страшный голод, люди опухали и умирали. Голод унес не только Шахима, но и многих других ребят. Вот так ушло мое детство, и я окунулся в работу. Но об этом я расскажу позже, а сейчас продолжу разговор о нашей улице.

Прежде чем узнаешь всех жителей аула, знакомишься с людьми со своей улицы. Так было и у меня. С ними я вырос, и они на всю жизнь остались в моей памяти. Начинаю вспоминать улицу — и вижу ее прежний облик, дома тех лет. И губы мои шевелятся, я спрашиваю себя: «Что случилось с нашими соседями, с которыми вместе рос, с Айтикаевыми, с Азаматом и его семьей?» Жившие на этой улице целым родом — исчезли, ушли, как будто их там никогда и не было... Я вспоминаю их и печалюсь, настроение мое тут же падает. Конечно, это вечное — кто-то рождается, кто-то умирает. Как говорит народ: «И жизнь есть на земле, и смерть есть на земле».

Улицу нашу я за день проходил от начала до конца по меньшей мере раза два, утром выгонял телят на выпас, а вечером встречал их. Наш дом стоял прямо над обрывом, над рекой, в начале улицы, здесь она упиралась в Кубань. И зимой, и летом мимо нас шли женщины с ведрами, вели мужчины скотину на водопой, бежали дети гурьбой: летом купаться, зимой с горки кататься, на льду играть.

На улице возле обрыва жили все наши, вся наша родня. А в дальнем конце, упиравшемся в подножие горы, жили Яугайтаровы. Некоторые думают, что в старину улицы были без названий. Нет, названия имелись. Некоторые и сейчас называются по-прежнему. Наша, например, до сих пор носит имя Оракова — человека, который основал аул. Наша улица — сердцевина аула.

Улица тоже меняется, как и весь аул. Сколько раз она изменила облик с тех пор, как я стал себя сознавать! В детстве я видел дома под соломенными крышами — от года к году они постепенно исчезали. Особенно большие перемены принесли послевоенные годы, старого осталось совсем мало. Соломенные крыши, вместо забора — глубокие канавы, кучи золы на обочинах — молодые даже и не знают, что это такое. С этих бугров золы мы,

дети, зимой катались на санках, а летом, прячась за нами, играли в войну, в «красных» и «белых».

По утрам и вечерам наша улица раньше других наполнялась мычанием коров, меканием баранов и колаем собак, становилась шумной, живой. А сейчас тишину пререзают гуденье тракторов, машин да грохот мотоциклов. И хоть бы просто пререзали тишину, а то ведь и воздух отравляют черными газами!

Теперь я хочу остановиться вот на чем. Говорят, люди обучаются, подражая. Что ребенок увидит в детстве, что человек увидит в молодости — то и в зрелом возрасте будет делать, воспитывается привычка. В те далекие годы все хорошее, что я видел в жизни старших, я думал привнести и в свою жизнь. Невдалеке от нас жил парнишка по имени Хамзат, симпатичный и крепкий. Для нас, мальчишек, он был олицетворением силы и справедливости. Если ребята затевали драку, он правого не оставлял в обиде. Каждый из нас, детей, мечтал быть таким, как он. Не могу сказать, кто же из тогдашних мальчишек вырос похожим на него, просто не знаю. Но это правда, что у смелых мы старались перенимать смелость, у сильных отвагу. Вот так и росли.

2

Дважды наша улица умирала и дважды оживала. Первый раз в 1933 году, когда был большой голод. Вторым раз во время войны. В тот голодный тридцать третий год многие покинули свои дома, покинули в надежде где-то найти хлеб и не умереть, остаться в живых. После голода часть из тех, кто уцелел, вернулась в свои дома. В последующие более сытные годы в опустевшие дома из соседних кварталов переселились молодые семьи, улица ожила. Но после войны опять многие дома закрыли свои двери. Поэтому сейчас на нашей улице живут новые люди, новые семьи. Несмотря на это, когда заходит разговор про нашу улицу, мы вспоминаем фамилии, роды, которые жили тут испокон веку, мы говорим о них — «наши»... Что скрывать, если кто-нибудь с нашей улицы покроет себя дурной славой, переживаем, но и тем более — если доброе имя соседа прославится, от души радуемся.

Объединяющее начало улицы прежде чувствовалось особенно сильно. Пришедший к нам с другой улицы мальчишка чувствовал себя как будто в чужом ауле.

И мы не могли успокоиться: зачем забрел, какое он имел право, пришел ли он нас проверить — и так далее... Переживали до тех пор, пока чужак не уходил. Действительно, случалось и так, что приходил вначале один-единственный «разведчик», высматривал, разузнавал про нас, а потом налетала целая гурьба ребятишек, и начиналась потасовка. Поэтому мы всегда были настороже.

Когда встречались мальчишки с разных улиц, обычно возникала драка. Дрались до первой крови (из носа), но не отступали. В большинстве случаев нас разнимали взрослые. Если удавалось прогнать пришельцев и следом за ними ворваться на их улицу, то мы считались победителями. Уличная эта вражда была довольно своеобразной: хоть и дрались, на следующий день встречались как ни в чем не бывало. А места возле школы, возле магазина считались нейтральными, и ни одна улица не претендовала на них.

Не только мы, дети, но и взрослые парни, которым впору было жениться, дрались со своими сверстниками улица на улицу.

Особенно оживленно было у нас по утрам и вечерам. К вечеру не меньше чем половина жителей собиралась на пригорке — сидели, разговаривали, глядели на быструю шумливую Кубань. Как правило, старики засиживались допоздна. В те времена в ауле стариков было много. И еще не было, как сейчас, радио и телевизора. Вот и получалось — одно развлечение — улица, общение. Человек, услышавший какую-нибудь новость, тут же приносил ее соседям. Конечно, не у всех хватало досуга на долгие беседы. Мой отец, к примеру, особенно не рассиживался за разговорами: взрослых сыновей или младших братьев, на которых можно было опереться в хозяйстве, у него не было, приходилось успевать поворачиваться самому.

Благодаря этим старикам, сидящим на улице, аулчане узнавали новости из города или из других мест. Обычно над рекой собирались после того, как стадо спускалось в аул. Перед сумерками женщины хлопотали дома, готовили ужин, а мужчины вели неспешный разговор. Но вообще старики собирались на пригорке за день несколько раз, благо время позволяло.

И сейчас перед моими глазами предстают образы аксакалов нашей улицы. Напротив нашего стоял дом старшего брата отца Ажемея. Он раньше всех приходил

и садился на пригорке, поглаживая часто-часто свою густую белую бороду. Потом приходил Мустафа Айтাকাев. Завидев их, опираясь на палку, поторапливались, боясь опоздать, Ботасов Денислам, Муса Казак, Камболат Туркмен. Сбоку подсаживались мужчины помоложе, но ненадолго. Они почти не участвовали в разговоре, не перебивали стариков, слушали молча; только когда кто-нибудь из стариков задавал вопрос, отвечали.

Муса Казак — смуглый, узколиций, очень подвижный. Раньше служил в казаках, потому народ и дал ему такое прозвище. Хоть и поведал уже Муса сто, тысячу раз аулчанам о том, как он воевал в империалистическую и в гражданскую, если кто попросит его: «Ну-ка, Муса, вспомни, как ты одним ударом кинжала срубил голову сразу двум врагам», — он сразу же, откашлявшись, начинает рассказывать. Иногда, увлекшись, и присочинит что-нибудь лишнее, вызывающее усмешливое недоверие. Я часто слышал рассказы Мусы Казака.

А Рамазан Балшебек (Большевик)? Он тоже любил вспоминать о том, как воевал с белыми. Подняв вверх правую руку, будто с оружием, он вскрикивал: «Шашки наголо!» — и показывал, как зарубил офицера из армии Шкуро. Собравшиеся слушали с неизменным интересом. Почему-то, однако, Рамазан Балшебек никогда не рассказывал об Отечественной войне — по крайней мере, я сам не слышал. Может, не хотел, слишком свежа была рана.

И брат отца Ажамей был очень красноречив, умел заморозить слушающих. Он хорошо знал старинные пословицы и песни, если запоет песню «Эдиге», люди подчас не замечали и прихода утра.

Обычно Ажамей начинал с присказки: «Слова разбегутся — бедняк разбогатеет». Думаю, что этот, как теперь говорят, обмен информацией и идеями, то есть нормальное человеческое общение, и вправду можно признать разновидностью богатства.

Среди собиравшихся стариков на пригорке у Кубани молчунов было мало. Один вспоминал песни, притчи, другой просто рассказывал о том, что видел и слышал. Слово рождало слово, завязывался общий разговор, от новостей, от случаев переходили к более важному, судили о жизни, загадывали о будущем.

Из рассказов тех времен до сих пор помнят аулчане разговоры Шерпедина, Келемета и Лакаша Безбожника.

Однажды в разгар беседы один из аульских остряков по имени Янду — а он и сам знал много разных историй — начал подшучивать над Келеметом:

— Ну и говорун наш Келемет, на базаре в Невинномысске поспорил с одним русским — так не дал тому рта раскрыть. Если бы я сам не видел, как он чешет по-русски, ни за что не поверил бы.

Собравшиеся в ожидании словесного поединка на-вострили уши. Похвала Янду в адрес соперника задела Шерпедина, он надулся:

— Это, наверное, был не русский — какой-нибудь обрусевший мусульманин, а тебе он показался русским. Как ни убеждай, а все знают, как Келемет говорит по-русски.

Келемет ерзает на месте, соображает, чем бы прикрыть рот умнику, думает, как бы перед собравшимися высмеять Шерпедина. И вдруг вспоминает, как давеча тот разговаривал со своим русским другом из Беломечетки. У Шерпедина в дороге оборвались кожаные ремни на подводе с сеном, пришлось помучиться. Рассказывал он об этом другу так: «Кожа беребка парбался, я долго-долго трудно делался...», — а тот его поправил и сказал, что русские эту «веревку» называют «ремень».

«Ну, сейчас, умник, я тебя пристыжу». И Келемет повернулся к Шерпедину:

— Шерпедин, как это русские называют веревку из сыромятной кожи?

Не ожидавший такого вопроса, Шерпедин сморщился, будто его облили холодной водой. Все сидящие с интересом глядели на него — как он выкрутится. Однако Шерпедин сразу ничего не смог ответить и смутился. Поняв это, Келемет с превосходством оглядел соседей. А те, в свою очередь, с уважением посмотрели на Келемета. Тут Шерпедин понял, что надо спасать положение и ответить хоть что-нибудь. Неприязненно глянув на Келемета, объявил:

— Что они скажут — русские на нее говорят «кожаный беребка», вот что. Ты, видно, подумал, я не знаю этого, а? — он повысил голос.

— Ха-ха-ха, — громко засмеялся Келемет.

Сидящие ждали окончания спора — кто же окажется прав — и смотрели по очереди то на Шерпедина, то на Келемета. Дело в том, что никто из них не знал, как русские называют веревку из сыромятной кожи.

— Чего ты смеешься раскрыв рот? Я говорю правду, — рассердился Шерпедин.

Келемет захохотал еще пуще:

— Да ты мертвеца рассмешишь, Шерпедин! Если уж не знаешь, так честно бы признался!

— Почему не знаю, прекрасно знаю! На волосяную веревку русские говорят «волос беребка», на сделанную из кожи говорят «кожаный беребка». Если хочешь, можешь поехать спросить не то что в Невинку, но даже и в Ростов, — уже совсем уверенно ответил Шерпедин.

— Нет, — сказал Келемет, чувствуя, что победил Шерпедина в глазах присутствующих. Однако хотел насладиться торжеством полностью и выдерживал паузу.

Несколько человек из собравшихся уважительно обратились к Келемету:

— Ну, Келемет, как же они называют эту веревку?

Келемет сразу не ответил, заважничал, напружинил грудь, тяжело вздохнул, затянулся самокруткой. Потом оглядел собравшихся, кивнул в сторону Шерпедина:

— Не говори на «а» — «ме»! Если не знаешь, то и молчал бы, я бы давно сам уже сказал, — и снова затянулся.

— Ну и говорил бы, Келемет, чего мучаешь людей, — взмолились соседи.

— Так вот! Русские на эту веревку говорят «римен». Знайте же «римен»! — подняв поучающе палец, повторил он.

Собравшиеся люди, раскрыв рты, смотрели на Келемета как на всезнающего. Кто-то льстиво наклонился к нему:

— Ой, как ты хорошо говоришь по-русски, куда там Шерпедину до тебя.

Услышав это, Шерпедин не остался в долгу:

— Келемет по-русски знает лучше, чем по-ногайски. Если не веришь, спроси у него, что такое «каткат». Даю слово, не знает!

Келемет молчал. Молчал потому, что действительно не знал, что это за штука такая — каткат. Конечно, не он один — многие не знали, поэтому взгляды обратились теперь к Шерпедину. Шерпедин, в свою очередь

надувшись от важности, выжидающе смотрел на Келемета. А тот, давая понять, что не знает, признавая поражение, опустил голову. Радуюсь, что застал соперника врасплох, Шерпедин начал свою речь победителя:

— Вы думаете, мы знаем все ногайские слова? Как бы не так! Так вот: каткат — он встречается в песчаных степях. Сам похож на ящерицу. Уши большие. Наши предки знали, а мы не знаем! — И Шерпедин с гордостью оглядел собравшихся.

Келемет, испугавшись, что соперник совсем его опозорит, быстро вмешался:

— Шерпедин, что ты переводишь разговор на другую тему! Ты думаешь, люди не понимают, для чего ты все это говоришь?

Шерпедин не сразу ответил, сначала раскурил трубку. «Ах, нашел», — сказал он сам себе и, глядя победительно на Келемета, заключил:

— Если много слов не знаешь в собственном языке, то в чужом языке незнание и по давню простительно. Сам подумай, Келемет... — И тоном, и всем своим видом он дал понять, что на этом спор следует прекратить. Лучше, чем он сказал, сказать уже невозможно.

— И то правда, если подумать. — поддержал Шерпедина самый старший из присутствующих, Денислам.

Остальные, призадумавшись, опустили головы. Наступила минута молчания. И в этой тишине раздался чей-то тихий голос:

— Идет Лакаш Безбожник.

Сидящие, услышав это, повернули головы в сторону улицы, затем, переглянувшись, оживились. Они уже позабыли спор Шерпедина и Келемета. Некоторые про себя шептали: «Откуда взялся этот отверженный аллахом». Другие обрадовались: Лакаш сейчас принесет новости, он читает газеты, общается в Совете.

Лакаш Безбожник, прищурив свой единственный глаз, поздоровался с присутствующими.

Одни приветливо ответили ему, другие и рта не раскрыли. Те, кто помоложе, уступили Лакашу место с краю. Ногайцы и дома, и в общественных местах выбирают место и садятся, учитывая возраст. Но и на почетном месте есть своя иерархия.

Затем сидевшие по соседству спросили:

— Какие новости на свете, Лакаш?

Кто-то чуть не проговорился и не добавил «Без...», но вовремя запнулся. Привыкший к устойчивым слово-

сочетаниям язык чего только не произнесет. Лакаш пристально, сдвинув густые черные брови, посмотрел на несдержанного, но сдержавшегося, а затем начал рассказывать новости из газеты «Горец». Начав с областных новостей, дошел до войны японцев с китайцами. Потом сказал и о немцах.

— О, наш Лакаш молодец, чего он только не знает, — простодушно удивился кто-то из сидящих.

Закончив новости, Лакаш заторопился:

— И чего это я тут рассиживаю, у меня дома много дел!

— Чтоб тебе дороги не было, слепой кабан, — буркнул себе под нос Казмамбет-мулла, глядя вслед Лакашу, а людям сказал по-другому: — Что, неужто вы верите этому одноглазому безбожнику?

— Конечно, Казмамбет, ведь он правду говорит, наш Лакаш Безбожник, — ответил сидевший рядом с муллой человек с густыми черными усами. — Газеты он очень хорошо читает...

Мулле не понравились слова соседа. Надув толстые губы, он прошептал еле слышно:

— Что бы я сказал тому разбойнику, который выбил ему один глаз? Как хорошо, сказал бы я, если б и другой выколол! Тогда бы проклятый безбожник не читал ни газет, ни чего другого, не болтал бы при народе почем зря.

Лакаш от рождения был здоров и имел оба глаза. Правый глаз ему выбил плетью бандит, противник новой власти.

«Это ты болтаешь, что нет на свете аллаха, сын собаки?! Отвечай, есть на свете аллах или его нет!» — сидя на коне, здоровенный бандит хлестал его плетью.

Лакаш в то время, в начале двадцатых, был одним из предводителей группы атенстов. Поэтому бандит не случайно избивал его.

«Говори немедленно, есть аллах или нет!»

И все хлестал плетью.

Лакаш, поняв, что, если он не ответит, бандит его сейчас убьет, закричал:

«Есть, есть! И не один, а даже два есть!»

«Откуда два?»

Бандит в удивлении опустил плеть.

Лежавший на земле Лакаш поднял руку к небу:

«Один там. — Потом показал на бандита: — Другой — ты».

Бандит не понял насмешки Лакаша.

«Эге, все равно заставил тебя сказать, что есть аллах на свете».

С тем он и уехал, а Лакаш остался жив.

После этого дня и окривел Лакаш. И после всех этих событий стали его называть — Лакаш Безбожник.

В ту минуту, когда мулла проклинал Лакаша, Лакаш тоже думал о мулле.

«Ты посмотри, сидит как ни в чем не бывало! Глазками зырк, зырк... Думает, люди не знают, что по ночам в его дом наведываются абреки. Что один из главарей их сватает засидевшуюся дочь его... Подожди у меня, я тебя еще пристыжу принародно...»

Спустя небольшое время на посиделках кто-то спел песенку, сочиненную Лакашем про муллу Казмамбета:

Набеги делают абреки на аул,
Дом Казмамбета для них открыт.
Свидания ждет в доме этом
Засидевшаяся девушка.

Эти слова моментально разлетелись по аулу. И, конечно, достигли ушей муллы. Задели за душу, ох, задели! И без того уже в народе не слишком уважали муллу, а теперь он и вовсе потерял авторитет.

Эту песенку и до сих пор поют в нашем ауле...

В мои детские годы, помню, много появлялось слухов. Люди слышали и видели невиданное и неслыханное дотоле их предками, передавали соседям. С новой властью пришло и много событий, течение жизни все ускорялось. В разговорах сидевших на улице появились новые слова: «колхоз», «комсод», «партия», «комсомол» «ликбез». Молодые все реже теперь сидели по вечерам над рекой — ходили в ликбез, учились грамоте. Соседские женщины занимались в одной из комнат в доме моего зятя. Тетрадь моей старшей сестры, выданную в ликбезе, я, маленький, всю исчеркал, и она ужасно переживала, ведь ее надо показывать учителю... И стар, и млад, все в нашем ауле тогда учились. Те, кто в двадцатые годы, не ленясь, ходил в ликбез, позже работали в колхозе учетчиками и на других «руководящих должностях». На заборах тех домов, где проводили занятия, появились плакаты: «Ликвидируем безграмотность».

На нашей улице было много детей. Как сейчас вижу — из каждого дома выбегают по три-четыре мальчика, кричат, смеются. Собираются ватагами, играют со своими ровесниками. Каждый день у ватаги — новый предводитель. Те мальчишки, которые не могут найти своих сверстников и включиться в игру, стоят печальные, как сироты. Предводителем ватаги не выбирают кого попало. Им становится самый смелый, самый сильный и ловкий. Остальные ребята безоговорочно выполняют все его приказы. Непослушного атаман сразу же ставит на место: вначале просто стыдит, а если не помогает — тогда совсем не подпускает к себе, не берет в игру. Вот и попробуй после этого бунтовать!

Притом, что у каждой ватаги имеется собственный вожак, над ними всеми есть еще и самый главный атаман, хозяин всей улицы. Его верховенство признают абсолютно все ребята. Отобрав со всей улицы самых сильных и ловких, он отправляется драться на другую улицу. Все его так и называют — «атаман».

Атаманом моей родной улицы был Хамзат, наш родственник, поэтому моя мама просила его: «Хамзат, ты присматривай за Шоратаем». И в трудную минуту он меня выручал и помогал мне.

Однажды мы с Шахимом играли на берегу реки. Вдруг откуда ни возьмись перед нами двое мальчишек, оба старше и сильнее нас... Напугали, забрали у меня свистульку, которую отец привез с базара. Ну что мы могли поделать — так и остались с раскрытыми ртами.

— Подожди, Шоратай, я вот того чернявого мальчишку знаю. Он с Наймановского квартала. И, кажется, его зовут Аматау, — сказал Шахим. Потом, подумав, добавил: — Давай мы про него Хамзату скажем. Он ему покажет. И заставит отдать твою свистульку...

— Давай!

Я обрадовался, как будто игрушка была уже у меня в руках, и мы побежали к Хамзату. Запыхавшись, прилетели... Не зная, как его вызвать на улицу, крутились возле дома, но никто не выходил. Повесив головы, мы отправились восвояси.

Ну кто же мне теперь еще подарит такую свистульку! Если узнает отец, укорит: «Эх ты, слабак, позволил отнять свистульку таким же мальчишкам, как и сам! Был бы я на твоём месте, сам бы у них отнял что-ни-

будь!» Поразмыслив об этом, еще более опечаленный, я сказал Шахиму:

— Ты, Шахим, пока не говори моей матери, что у меня отняли свистульку.

— Ты что! — успокоил он меня и отправился домой. Мама поняла мое настроение еще с порога.

— Что случилось, светоч мой? — забеспокоилась она. — На тебе же лица нет!

— Да ничего. Поругался с Шахимом, наверное, поэтому... — оправдывался я.

— Из-за чего вам ругаться? Шахим ведь к тебе хорошо относится, — не поверила мама, ставя на стол тарелку с сыром и деревянную миску с кислым молоком. — Уж не обидел ли кто тебя, ты такой слабенький...

Я еще не успел доесть сыр, как влетел Шахим:

— Быстрее, Шоратай. Хамзат домой пришел!

Я вскочил, схватил с крючка войлочную шляпу и бросился из дому.

— Что у вас случилось? — кричала вслед мама.

— Бежим скорее, матери потом расскажем, — тянул меня друг за руку.

Пыхтя, добежали мы и опять начали кружить у дома Хамзата.

— Наверное, не пришел еще, с чего ты взял? — сказал я Шахиму, устав ждать.

— Почему не пришел? Честное слово, я сам видел из своего окна, как он входил...

— Может, это кто-нибудь другой?

— Ой, да я Хамзата не то что за полверсты, а и за две узнаю! А от нашего дома до его всего ничего. Наверное, обедает...

И тут, потягиваясь, из дома показался Хамзат. Завидев его, мы оба изо всех сил закричали:

— Хамзат! Хамзат!

— Ну, чего вам?

— Нам надо кое-что тебе сказать! — заикаясь, начал Шахим.

Переминаясь с ноги на ногу, Хамзат нехотя подошел к забору. Мы с Шахимом смущенно поглядывали друг на друга. Наконец, осмелев, заговорил мой друг:

— Аматау, знаешь, с Наймановского квартала, так вот он вырвал свистульку у Шоратай и унес.

— Как это унес?! — удивленно повысил голос Хамзат.

— Кто его знает?.. Взял и унес, — объяснили мы.

— Эх, вы, вдвоем не смогли победить Аматау! Порзники, иначе и не назовешь вас,— заключил наш атаман и выбежал на улицу.

Мы пустились следом.

Как только мы оказались в Наймановской части аула, Хамзату встретился длинный худощавый мальчик.

— Маулт! — строго остановил его Хамзат, схватив за плечо. — Найди-ка мне быстренько Аматау! Я буду ждать здесь, на улице, а ты сбегай да поищи его. Как найдешь, махни рукой. Понял? — Он будто приказ отдавал.

Маулт постоял немного, подумал, где бы можно было найти Аматау, потом побежал к подножию горы. Хамзат приказал нам присесть, чтобы не видно было, сам прислонился к дереву, картинно заложив ногу за ногу, и сказал:

— Если не найдет, я им тут устрою, они, видать, давно дожидаются.

Однако прошло несколько минут, и Маулт свистом подал сигнал Хамзату. Хамзат впереди, мы за ним, прячась, быстро двинулись туда, куда звал Маулт.

— Он сейчас дома, вот-вот выйдет.

Но Аматау не показывался — похоже, заметил все-таки нас из окна, испугался. Мы еще немного подождали, и тогда Хамзат и Маулт вошли к нему в дом.

Вскоре Хамзат вышел и подал мне свистульку:

— Свою вещь так просто не отдают другому, за нее надо бороться. Возьми свою свистульку, но если еще когда-нибудь позволишь себя обидеть, не то что не верну, но и скажу твоему обидчику, что он правильно сделал,— так отчитал меня Хамзат.

Я, не зная, что ответить, молча выслушал атамана. Его слова дошли не только до моих ушей, но и до моего сердца, и тут же пришла мысль: «И мама, и Хамзат как будто сговорились, оба называли меня слабаком. Наверное, они правы. Нельзя, конечно, давать себя в обиду». Эта мысль и потом не покидала меня, и, когда кто-нибудь силой пытался отобрать у меня игрушку, я дрался за свое как мог.

Хамзат всегда заступался за маленьких с нашей улицы. Иногда он водил ребятишек на другую улицу, чтобы проучить того или иного драчуна.

Естественно, в драке ни та, ни другая сторона не желает оказаться побежденной. Бьются до последнего,

и в результате у кого нос разбит, у кого синяк под глазом, у кого губа вздухла. Победившие до следующей драки не уступают превосходства, главенства, и что они скажут, побежденные должны исполнять. Приходится подчиняться. Закон драки, как тогда говорили.

Прежде чем приступить к бою, чтобы раздражить соперников, стороны начинали оскорблять друг друга как только можно. Ребят из квартала Кангылы мы громко дразнили так:

Кангылы. Кангылы. Кангылы,
Следи за дном казана,
А то останешься голодным.
Дети Кангылы — трусы,
Если стукнешь половником.
Головы их отлетят с грохотом...

Ребята из квартала Кангылы злятся и, не отставая от нас, отвечают:

Орак, Орак, он неисправим.
Дети Орака обжоры —
Не насытятся и десятью курами...

Мы на это тоже ужасно злились — наша бы воля, так и отрезали бы негодяям языки!

Если ты смел, то должен найти слова, способные раздражить «противника». И не какие-нибудь там простенькие словечки, а такие, чтобы разили насмерть. Но кто бы подсказал нам эти единственные, разящие наповал слова? И здесь не обошлось без Хамзата.

— Хорошие слова нам подскажет Кули, только надо ее как следует попросить. И, наверное, придется отдать ей наши копейки, — так сказал Хамзат и сам отправился уговаривать Кули.

Кули была единственной дочерью у родителей, красавица на удивление. До шестнадцати лет росла как все мы, а потом произошла беда: у нее помутился разум. Сначала редко, потом все чаще Кули словно бы теряла рассудок, а уже перед самым концом ее даже парализовало. В ауле знали, отчего она заболела. С ней вместе рос соседский парень, они дружили с детства, вскоре и полюбили друг друга. Если не виделись день, он им казался годом. Не сегодня завтра юноша и девушка должны были пожениться, но случилось несчастье. На ту сторону реки ушел табун лошадей. Парень, которого любила Кули, отправился за ними и при переправе утонул. Вот с того дня Кули и занемогла. Все спрашивала:

«Хозяин воды не пришел меня забирать?», и спрашивала так, бедная, до самой смерти, говорили аулчане. Я тоже часто слышал эти слова от Кули. Все жалели ее. Но в народе всегда находятся глупцы, и иногда злые несмышленные дети кричали: «Хозяин воды идет, быстрее убегай!» Услышав такие слова, Кули сперва испуганно оглядывалась, потом гладила себя по голове, смеялась громко, плакала: «Сейчас, сейчас, я только схожу домой и выйду» — и бежала в сторону дома. Если поблизости находились взрослые, они, конечно, ругали и прогоняли мальчишек.

И вот эта самая Кули умела сочинять песни. И любовь ее, и жизнь ее — все ушло в песню.

Когда она пела про любовь, люди затихали и вытирали слезы.

Как сейчас вижу ее — молодая женщина идет по дороге и громко поет. Слышу ее звонкий чистый голос:

Любовь впитывается в кровь,
И парень тот вошел в мое сердце...

Давно ушла из жизни Кули, но и до сих пор в ауле поют ее песни. Никто уже не помнит, что песни эти сочинила Кули, — говорят, мол, их создал народ...

Так вот наш атаман Хамзат сказал Кули, что ребятам нужны острые дразнящие слова, чтобы дать достойный отпор. Она согласилась — и в адрес каждого квартала, враждовавшего с нами, сочинила по злой песенке — смешной и обидной.

Кули пересказала дразнилки Хамзату, Хамзат нам, а мы сразу же донесли их до ушей своих противников.

Итак, мы были вооружены.

Да, с тех пор в ауле ни у кого не было лучших куплетов для оскорбления соперников. Правда, потом, когда наши противники разузнали, что дразнилки сочиняет Кули, они пробовали высмеивать нас: «Что бы они делали, если бы за них не сочиняла дурочка Кули?» Да только нам что, мы все равно за словом в карман не лезли:

Найман, Найман, Найман,
И пяти копеек не дадут за вас в базарный день...

Да, сильно злились дети Наймановского квартала. Понимая это, мы еще громче пели обидные куплеты.

И эти дразнилки, которые Кули сочиняла для нас, тоже до сих пор не позабыты, хотя самой бедной Кули давно нет на свете.

Не то что дети — тогда частенько и взрослые из разных кварталов мерились силой. Я сам видел, как наши отцы и братья с кольями в руках дрались с неприятелями из квартала Бестава...

Аматау хоть и вернул мою свистульку, но не успокоился. Однажды я возвращался с реки один, и вдруг как из-под земли вырос передо мной мой обидчик.

— Эхе-хе, как ты мне хорошо встретился, Шоратай, будешь сейчас у меня прыгать на задних лапках! — и схватил меня обеими руками.

Я сразу же подумал о свистулке, которая лежала у меня в кармане парусиновых штанов. Умру, но свистульку не отдам, твердо решил я.

— Сначала давай сюда свистульку! — закричал Аматау. — А ну, вытаскивай ее из кармана!

Я похлопал по штанам и заявил, что свистульку оставил дома.

— Врешь, вон она у тебя из кармана торчит! Ну-ка, вытаскивай!

Тут я, конечно, испугался — сейчас он опять отберет мою свистульку! — и, изо всех сил оттолкнув обидчика, пустился бежать.

Аматау меня довольно быстро догнал. Но все равно я ему свистульку не отдал: как только он схватил меня за шиворот, я бросил ее в заросли лебеды. «Чем тебе отдавать, лучше я ее совсем потеряю», — решил я.

Аматау, увидев, что я выбросил свистульку, начал меня бить. Но я мужественно сопротивлялся, а когда вконец выдохся, хорошенько куснул его.

— Ты что! Чего кусаешься, как собака?! — закричал мой недруг.

В ответ я еще сильнее укусил его.

Нашу драку увидел какой-то человек, гнавший лошадь на водопой. Глядя на Аматау, он сказал:

— Такой здоровый, а дерешься с маленьким, и не стыдно тебе?! Эх, ты! — так он развел нас.

В тот день до самой темноты я ползал на коленях в лебеде, отыскивая свою свистульку. Не нашел. Да и как ее было найти в таких густых зарослях... В мои детские годы в ауле росло много густой лебеды. Сейчас уже нет.

И на следующий день я искал, но игрушка как сквозь землю провалилась.

Свистулька пропала, однако с того дня Аматау ни разу не приставал ко мне. Когда встречались, он, ни слова не говоря, только злым взглядом провожал меня...

5

Улица полна ребятишек, крики, шум, игра.

Каких только игр не было в мои детские годы!

Больше всего я любил альчики, иначе бабки. Эта игра была одной из первых и любимых для нас, ребят той поры. Да и как не любить ее детям потомственных скотоводов!

Мама и отец специально для меня собрали маленький мешочек альчиков. Как ни рассчитывали родители, что этих костей мне хватит на целое детство, их не хватило даже на месяц. Пока учился метать, я все и проиграл. Но хотя и потерял свое «богатство», не жалел об этом, сам добыл альчиков и продолжал играть, осваивая необходимые тонкости. Альчики я купил у других детей за копейки. Как говорят, побежденный не успокоится, пока не победит, — так и я не мог бросить игру в альчики. «Принеси шырпапа, Шора, я тебе вот такой сака (большой альчик, бита, иногда залитая для тяжести свинцом) дам», — говорили мне ребята постарше. И я приносил им, выпросив у матери шырпапа, то есть копейки.

Дети частенько выдумывают свои собственные названия для обыденных вещей. Я тоже в свое время говорил не «деньги», а «шырпапа». Откуда оно взялось, это слово, почему — теперь и сам не могу объяснить. О шырпапа и сейчас вспоминают еще мои приятели по играм тех давних времен, когда заходит разговор о детстве.

Прошел месяц ли, год ли, уже не помню, и я наконец постиг искусство игры в альчики. Мой сака (напоминаю, что это тяжелый альчик, бита) каждый раз переворачивал альчик противника. Теперь уже я сам начал собирать в сшитый мамой мешочек выигранные у ребят кости. Часть я оставлял себе, остальные менял на другие игрушки. Отец, увидев, что собранные им альчики я проиграл, но набрал новые, сказал так:

— Дети не пасут скот, доставшийся от родителей, до конца жизни. Им всегда желаннее добытое своим трудом...

Этот мешочек с альчиками я пополнял вплоть до голодного 1933 года. Каждый вечер развязывал его и перебирал альчики. Пока не увижу свой любимый, особенно точно бьющий большой альчик, сердце мое не успокаивалось.

Сака — сейчас это слово почти забыто, не встречается в живой речи, если перевести дословно — «важный», «главный».

Мой сака был серого цвета, и поэтому дети называли его «шал сака». От частого употребления шал сака сделался блестящим, словно специально отполированный.

— Твой шал сака, наверное, заколдован, поэтому всегда попадает и выигрывает! — злились ребята при моей очередной победе.

Но разве я мог им объяснить, что прежде, чем научиться хорошо играть в кости, я проиграл очень много альчиков, которые мать с отцом собирали для меня долгое время? Нет, этого я ребятам объяснить не мог, да и не хотел.

Когда нам надоедала игра в альчики, мы начинали бегать по улице вдоль и поперек, гоня мяч. Хоть и звался он мячом, но, конечно, был не резиновый. Эти мячи нам матери делали из шерсти или из тряпок. Мяч из шерсти подпрыгивал лучше, чем из тряпок. «Беглый мяч», «мяч с пятью ребятами» — много было разных игр.

Борьба тоже была одной из первых наших игр. Когда дети начинали бороться, тут же рядом собирались и старшие, давали советы, подсказывали двум борющимся группам. «Эй, не давай слабину, а ну-ка подножку ему! Вот так, так!» — подбадривали нас. Если кто-нибудь падал побежденным, его опять заставляли бороться. Боролись долго, пока силы не кончатся. Можно сказать, это была своего рода школа, не только укрепляющая тело, но и воспитывающая волю и упорство.

Борьба — одно из первых развлечений ногайцев. Ногайский ребенок, как только научился ходить, учится бороться.

— Кто из вас первым ухватится вот за это, тот и джигит, — так взрослые, подняв указательный палец, говорили нам, малышам. Это уже было подготовкой к борьбе, к воспитанию упорства в жизни.

Упавший не насытится борьбой, говорят в народе, — так и мы, хоть и падаем, все равно продолжаем бороться. А взрослым только это и нужно, они все время под-

бадривают, подстрекают нас затевать схватки. В ауле боролись и взрослые, и дети, так что слово «джигита» было не пустым звуком.

Еще я любил игру в чижики, или в чижа. Эта игра у нас сейчас абсолютно забыта. А были ведь и другие игры! Бросали камень, играли в ножнички, в палки — множество их было тогда, немудреных детских игр.

Одно тут надо сказать: ни одна игра просто так, без причины, на пустом месте не возникала — все они чем-то были нужны, полезны для ребенка: укрепляли здоровье, силу, развивали ум и способности, закаляли характер.

6

По воскресным дням до самого позднего вечера мы, мальчишки, торчали на улице, не сводили глаз с дороги, по которой к аулу спускались арбы. Когда, интересно, вернутся наши отцы, уехавшие на базар, что же они нам привезут? Баранки, калачи или конфеты? Некоторые из ребят хвастались, что им кроме баранок могут привезти еще и новую рубашку.

В мои детские годы базар ценился высоко. Если люди собирались ехать на базар, готовились заранее, как к важному событию. Что нужно купить, что продать, — все обдумывали заранее. Для нас, теперешних, поездка в Москву, наверное, не имеет большего значения, чем для того времени поездка на базар.

У кубанских ногойцев базар существовал обычно в двух местах: в Пашиинске и Невинномысске. Из нашего аула чаще ездили в Невинномысск. Правда, некоторые добирались даже и до Армавира.

Отец собирался на базар задолго и основательно. Вначале решал, что же можно продать, а потом уже начинал думать, что необходимо купить. Здесь он никак не мог обойтись без матери:

— Ну, дочь Кыдырала, говори, что нужно для дома, — объявлял он и, подумав, добавлял: — Домой много чего надо, но откуда достать на все сил. Поэтому говори вначале самое необходимое. И что будем продавать. Учти — большой прибыли не принесет. Одна кожа, четыре овечьи шкуры и пять мешков кукурузы.

После этих слов отец с матерью рассуждали, что же нужно в первую очередь для дома. Отец молча, выжидающе смотрел на мать.

— Нужных вещей много, но... — мама запнулась.

— Так что же?

— Два ведра купишь, то ведро, в которое сливаем молоко, продырявилось, я его залепила тряпкой. Потом купишь метров десять — пятнадцать бязи для нижнего белья. Да не забудь соли и посмотри еще фитиль для керосиновой лампы. И еще хорошо бы, если б купил для Шоратая, отец, ботинки. Если сможешь. С рождения только одни ботинки наш Шоратай износил, а вот Смай для троих своих детей денег не жалеет, покупает... а мы... — мама с нежностью посмотрела на меня.

Я подбежал к отцу и начал просить:

— Акай, ну можно, и я с тобой поеду на базар!

— Не знаю, сынок. Мне или за тобой смотреть, или вести торговлю... Лучше ты поедешь, когда мать соберется. Ботинки я тебе куплю, а может, и сапоги возьму, сынок, — пообещал отец, чтобы успокоить меня.

Но я не унимался:

— Да, ты мне уже давно обещаешь, только говоришь, а сам не берешь! Когда я сплю, тихонько уезжаешь! Вон Алитай уже два раза на базаре был, а я еще ни разу!

Отец ничего не ответил, молча посмотрел в сторону матери. Мама, видя мой умоляющий взгляд, сказала:

— Возьми, отец, теперь он уже, слава аллаху, большой мальчик.

Я обрадовался так, как будто уже подъезжал к базару. А отец встал с места:

— Ну, договорились, теперь я пойду приготовлю арбу. — Сказал и вышел из комнаты.

Мама меня уложила спать очень рано — отправлялись в дорогу еще затемно, со вторыми петухами. Я долго не мог уснуть, боялся, как бы отец опять не обманул, даже собирался совсем не спать, чтобы не прозевать отъезд. Но сон все равно взял свое, и ночью мама меня еле разбудила.

Отец уложил меня в арбе на сено, накрыл буркой и сказал:

— Спи, сынок, к утру мы как раз доедем до базара.

Я лежу в мягком как пух сене, смотрю на мигающие звезды. Арба качается, как люлька. Отец изредка понукает лошадей.

За Ажел-йылга арба выкатила на гору, лошади пошли легче. Я некоторое время еще не сплю, под постукивание колес высматриваю на небе созвездия Плеяды,

Большой Медведицы и другие. Отец время от времени оборачивается, спрашивает:

— Спишь, сынок?

— Нет, акай, — отвечаю я.

Разве может спать человек, едущий на базар!

Но, как я ни крепился, через некоторое время, опьяненный запахом душистого сена, уснул. Теперь я уже ничего не слышал, ни стука колес, ни голоса отца. А во сне видел себя скачущим на вороном коне.

— Вставай, сынок, уже подъезжаем к Невинномыску, — разбудил меня ласковый голос отца.

Когда я открыл глаза, было уже совсем светло. За нашей арбой ехала еще одна. Это, наверное, наш сосед Мазем, отец вечером говорил, что и он собирается на базар.

Вдруг раздался близкий гудок паровоза.

— В Невинномыске большая станция, паровозы там все время гудят, — объяснил отец, заметив, что я вздрогнул от резкого звука.

— Доехали до мельницы Баранова, сынок, вон смотри на то здание, — отец кнутовищем указал на высокий дом с высокой трубой. Протирая сонные глаза, я с удивлением смотрел на откуда-то взявшееся строение.

— Мельница балсобка дает белую, как вата, муку. Испеченным из этой муки хлебом не паешься. Баранов был богатым мельником. Сейчас она принадлежит государству.

Отец некоторое время рассказывает мне историю этой мельницы. Моему детскому сознанию трудно было переварить все детали. В подробностях историю мельницы я узнал, когда повзрослел. Тогда уже мне не раз и самому приходилось возить зерно на эту мельницу. Отцовское «балсобка» оказалось обыкновенной «вальцовкой». Мельница эта стоит и сейчас. Конечно же ее реконструировали, и теперь она самая большая в наших краях.

Когда переехали Кубань, отец показал на тянувшиеся вдоль дороги крытые железом дома:

— Вот и въехали мы в Невинномыск, сынок, сейчас и до базара доедем.

Мне эти дома представлялись огромными. По сравнению с ними дома в нашем ауле были маленькие и тесные.

— Какие большие! Наверное, в них живут большие люди? — удивлялся я.

Солнце поднялось на пол-аршина от горизонта, когда мы подъехали к базару. Сюда, как и мы, со всей округи съезжались на арбах и верхом ногойцы, абазины, русские и черкесы.

Огромная площадь. Тьма народа. Гул как в улье. Люди все время двигаются. По окраинам площади — арбы, лошади, быки.

Отец с Маземом пригнали арбы в какой-то угол, лошадей привязали и положили перед ними сена. Затем отец снял с арбы товар, назначенный к продаже, и разложил на земле. Я тоже соскочил с арбы; боясь отойти далеко, с удивлением смотрел на кишашую людскую толпу.

Через некоторое время к нам подошли какие-то люди в странной одежде, я такой прежде не видел. Начали о чем-то говорить с отцом. Потом один из них купил у отца шкуры, другой два мешка кукурузы.

— Я уже все продал, Мазем, ты посматривай за моей арбой и за мальчиком, а я пойду куплю ребенку конфеты и пряники. — Отец, обрадовавшись, что быстро сбыл товар с рук, оставил меня возле Мазема, а сам нырнул в толпу.

Здесь надо бы сказать, что отец, как он сам говорил, не любил мелочиться, когда бывал на базаре. Рублем меньше, рублем больше — это его не волновало. Потому-то он никогда не возвращался, как некоторые, с непроданным товаром или без покупок, что надо было продать, продавал, что надо было купить — покупал. Такой человек, как говорится в народе, где-то проиграет, но где-то и выиграет.

— Видишь, какой твой отец хороший торговец, а мы здесь до сих пор канителмся, — Мазем, нервничая, несколько раз прошелся возле своих товаров.

А я, переживая, что отец меня покинул, крутился возле Мазема. Базар гудел, не затихая ни на миг. Слышались отдельные выкрики: «Кому сапоги!», «Кому штаны!» Я с удивлением смотрел на спящих людей, слушал торговцев. Мне тоже хотелось войти в толпу и поближе посмотреть на всех этих людей. Но Мазем не спускал с меня глаз...

В это время появился отец с булкой русского хлеба, связкой баранок и бутылкой сидра в руках. Увидев его, я бросился ему навстречу.

— Вот я тебе баранок принес, сынок. — Отец повесил мне на шею связку. — Ешь все, я еще куплю. Еще

я тебе должен купить ботиночки. Сейчас только немного поем и пойду искать.

Я, не отрывая взгляда от отца, снимал со связки баночки и жевал. Отец с Маземом разломил булку. Чуть меньше половины бутылки ситро они оставили и мне.

Отец снова отправился за покупками. Наказал: жди, смотри никуда не ходи, — и опять попросил Мазема, чтобы не спускал с меня глаз. На этот раз я с удовольствием отпустил отца — он же должен купить мне хромовые ботинки!

Если я случайно попадаю раз в год, а то и реже, на базар в Невинномысске, всегда вспоминаю свое первое впечатление. И удивляюсь тому, как люди, приехавшие на базар в те годы, чувствовали себя наверху блаженства оттого только, что ели белый хлеб и пили сладкую воду. Сейчас же, почти все, кто едет на базар, нормой считают выпить бутылку водки и съесть несколько шашлыков. И ныне, оказываясь на базаре, я пристально разглядываю сидящих на своих арбах аулчан, как будто надеюсь увидеть среди них отца... Я слышу разные голоса, перед глазами серые, черные, голубые, белые рубашки, пиджаки, плащи. Но не видно широкой отцовской войлочной черной шляпы...

Сегодняшние базары, мне кажется, по сравнению с прежними намного меньше. Может быть, так виделось моим детским глазам, — что ни конца ни краю не было тому базару, на который я приехал с отцом?

Когда заходит разговор о базаре, я сразу вспоминаю, как однажды мама пошла на базар в голодное время.

Это было тогда, когда мы жили в горах. Мама вместе с нашим соседом Азизом отправилась рано утром в Красногорку. Азиз был большой шутник, и он хорошо знал, что моя мать не знает русского языка. Когда до базара уже осталось совсем немного, он решил проверить, что же будет делать дочь Кыдырали, если останется одна, — спрятался за забором и стал наблюдать. Мама, повертевшись-покрутившись, не найдя Азиза, растерялась. И неловко спросила у идущего мимо русского: «Красногор базар куда?»

Азиз, услышав эти слова, не удержался от смеха и подошел к матери. Он до смерти вспоминал потом эту историю и всегда, как только встречал маму, спрашивал, шутя: «Красногор базар куда?»

«Бесхитростная и добрая была твоя мать», — частенько повторял он мне.

На этот раз отец вернулся уже с покупками. В одной руке он держал большое жестяное ведро, под мышкой еще что-то. Я сразу подбежал к нему:

— Купил ботинки?

— Купил, сынок, купил! Вот теперь будешь ходить в новеньких ботинках, сынок. Ни у кого из мальчиков нашего квартала таких ботинок нету, — радовался отец.

— Покажи, покажи скорее!..

— Сейчас, сынок. Только пойдем к арбе.

Черные новенькие ботинки со шнурками глянцево блестели на солнце. Мне они казались самой лучшей, самой дорогой вещью на этом большом базаре. Теперь я не смотрел ни на продавцов с товарами, ни на покупателей — только на свои ботинки. Я прижимал их к груди, как будто кто-нибудь мог отобрать их у меня, и мне, конечно, хотелось скорее примерить обновку. Отец посадил меня на арбу, я стащил с ног чужаки, и отец надел мне ботинки. Оказалось, что они великоваты.

— Вот и хорошо, что большие, — на следующий год тоже пригодятся. Ноги-то твои растут. Я специально побольше размером взял, — объяснил отец.

Он всегда так покупал одежду и обувь для меня — с запасом на будущее. Кстати, эта его манера перешла и ко мне. Я тоже, когда сам начал приобретать вещи для себя и для детей, всегда выбирал «с запасом».

Я, конечно, сразу же захотел пройтись в обновке, но отец не разрешил:

— Ты их сейчас запачкаешь. Дома будешь надевать. Пусть мать их увидит новыми.

Я снял ботинки, опять натянул свои засохшие чужаки. Мазем все еще не продал свой товар.

— Мазем, что ты так долго торгуешь? Ты, наверное, спрашиваешь, как тот Сорок пять? Давай-ка я сейчас все быстро распродам, — заявил отец, увидев, что сосед явно просидит без толку до вечера.

С этими словами он начал рассматривать кожи Мазема, оценивая их качество и соображая, за сколько же можно их продать. Осмотрев, сказал:

— Да чтоб не погас твой очаг! Кожи-то совсем затвердели! Твои шкуры напоминают мне товар того бедного Шкура-конкаткайства, ты о нем слышал, Мазем?

Мазем уныло кивнул.

— Надо было хорошо беречь, чтоб не пересохли, — укоризненно сказал отец Мазему. — Какие хорошие

шкуры, только вот вида нет. Да, не сумел ты их сохранить.

Здесь мне хочется отметить, что отец очень бережно относился к вещам. Шкурки зарезанных барашков, шкуры крупного скота — каждую он тщательно обрабатывал. Солил, затем натягивал на прутья, чтобы шкурка не сжималась, потом сушил. Сушил не сразу на солнце, а сначала в тени, постепенно. Того, кто этого не делал, отец считал просто лентяем. «Добро собирается по мелочам, не в один раз. Трудом добытая вещь не должна даром пропадать», — любил он повторять и матери, и соседям.

Выслушав отца, Мазем не стал возражать, промолчал в знак согласия. Чуть подумав, ответил:

— Хоть по дешевке отдай их, Имамали.

— Сейчас посмотрим, — сказал отец и, ухватившись за край кожи, приподнял ее. Начал громко зазывать покупателей: — Хороший кожа! Дешево продам!

Пока отец продает, давайте послушаем рассказ о Сорок пять и о Шкура-конкаткайстве.

Шейду Амит, человек уже преклонного возраста, за всю жизнь ни разу не торговавший на базаре, однажды присоединился к соседям и отправился продавать телку. Перед дорогой родственники объяснили ему: «Ни много, ни мало, проси сорок пять, отдавай за эту цену». Амит не знал русского языка. На базаре всем, кто подходил к нему, он повторял: «И пятьдесят не надо, и шестьдесят не надо, давай только сорок пять».

Слышавшие такое на базаре аулчане добавляли потом, рассказывая дома, к этим суммам и в пять раз большие, — мол, давали Амиту и триста за телку, а он нет, гнет свое: сорок пять — и ни копейки больше. И с тех пор Амита и прозвали — «Сорок пять». Ногайцы вообще народ острый на язык, никого без прозвища не оставляют, всем стараются найти поточнее и посмешнее. И сейчас еще потомков Амита дразнят: «Сорок пять».

А вот еще случай из нашей аульной жизни той поры.

Как-то Кипшак Эсберген, не знавший по-русски ни слова, отправился на базар продавать шкуры. Дорога перовная, ямы, кочки. По дороге с арбы у него свалилось несколько шкур, а он и не заметил. Когда же приехал на базар и решил похвастаться, ах, какие у меня шкуры, то увидел, что остались-то всего две-три. Сообразив, в чем дело, он начал объяснять русским покупа-

телям: «Шкура-каткаткайство арба прыг-прыг, шкура-калгайства...»

Я эти рассказы привел не для того, чтобы пристыдить своих аулчан, посмеяться над ними. Нет, это были люди с чистым сердцем. В те годы какой ногаец хорошо говорил по-русски? Один-два, наверное. Только-только начинали учиться понимать по-русски, и то единицы, первые...

Спустя какое-то время отец сторговался, не помню уж, дорого ли, дешево ли, но он продал шкуры Мазема.

— Ну вот, Мазем, магарыч с тебя, торговлю я закончил, — и протянул сильную руку соседу.

— Ва-алла, что такое магарыч? — И Мазем принес две бутылки ситро.

Торговлю закончили до полудня. Мне отец купил еще пряников и петушка-свистульку. Теперь я, усевшись в сено на арбе, жевал пряники, был счастлив и мечтал поскорее добраться до своих друзей и похвастаться свистулкой и новыми ботинками. Ботинки находились в мешке, а мешок лежал возле меня. Я все время трогал его рукой.

Отец с криком «шу!» «шу!» поднимает кнут, понукает лошадей. Как говорится, домой и лошади быстрее идут, — так и мы легко добрались к вечеру домой.

* * *

На другой день я проснулся и встал раньше обычного. Мне не терпелось скорее показать свои новые блестящие ботинки приятелям. Как только встал:

— Абай, где мои ботинки? — спросил у мамы.

Мама подала мне их, похвалила нас с отцом за покупку и попросила меня:

— Сынок, ты аккуратно носи их, не обдирай носки.

Я кивнул. Надев ботинки, не выпив даже чая, вышел на улицу. Но там, как на грех, никого не было. Тогда я пошел прямо к Шахиму. Но Шахим отчего-то сразу не заметил моих ботинок, зато его мама тут же поздравила меня с обновкой и долго разглядывала наше приобретение. Потом решила, что ботинки хорошие, и они купят такие же Шахиму.

Но на второй день мне уже не разрешили их надеть.

— Походи пока, сынок, в чувяках, а ботинки наденешь на праздник, скоро курман, — сказала мама.

Так я эти ботинки носил два года.

Часть баранок, пряников и других гостинцев и я, и другие ребяташки отдавали Муниру. Если кто-нибудь из нас надевал новую рубашку или штаны, привезенные родителями с базара, Мунир ходил, опустив голову, и молча смотрел на свою сорок раз залатанную рубашку. «Если у ребенка нет отца — он сирота, если матери нет — тысячу раз сирота», — недаром так говорят в народе. Мачеха обращалась с Муниром сурово. Чаще всего он с утра до вечера сидел дома, нянчил маленькую дочь своей мачехи, редко играл с нами на улице.

Мунир был еще грудным, когда умерла его мать. Спустя год отец снова женился на женщине с ребенком. Он думал, что новая жена будет хорошей матерью и для его сына, но она стала злой ведьмой в его доме. Собственную дочь лелеяла, а беззащитного Мунира как только ни мучила. И телят заставляла пасти, и только родившегося малышку нянчить, и огонь разжигать, и золу вычищать из печи. Ни поиграть с другими детьми, ни даже поесть вдоволь ему не доставалось. Дни его были как у того сироты в песне:

...Ой какая моя мачеха,
Своему сыну дала два куска хлеба,
Своей дочери — большой кусок,
А мне дала с ноготок,
Ой, какая моя мачеха, моя мачеха.
Не дай бог никому такой мачехи...

«И у сироты будет праздник», — вспоминали соседи поговорку, видя тяжелую жизнь Мунира. Но не для Мунира оказалась эта поговорка. Голод скопил его одним из первых. Злая мачеха выкормила своих детей, а для Мунира бедного и ложки молока не оставила. В ту зиму он был совсем раздет и ни разу не выходил из дому покататься на санках, только с завистью смотрел из окна на играющих ребяташек...

Вспоминаю, как улицы, обычно шумные, звеневшие детскими голосами, начали пустовать. Это было время, когда появилось кино. Если в аул приезжала кинопередвижка, все вокруг замирали — ребятня сбегалась в бывшую мечеть смотреть новое чудо.

В те времена, в самом начале, кино было немым. В день, когда должны были показывать кино, мы с раннего утра крутились возле мечети. Наверное, боялись, что опоздаем или прозеваем. Деньги на билеты собирали, копили от случая к случаю по копейкам. Некоторые

бегали и к торговцу, собиравшему кости (в мои детские годы по аулам ходили мелкие торговцы и скупали у населения кости, тряпки и т. д.; конечно, кости собирали только мы, ребята).

Когда я сейчас приезжаю в аул, редко вижу, как это бывало раньше, сидящих на улице людей. Каждый теперь в своем доме, — как говорится, и на собаку прикрикнуть человека не отыщешь. Конечно, теперь любую новость можно услышать, не выходя из дома: радио и телевизор все сообщат и объяснят.

Прежде по улицам ходили нищие — с котомкой за спиной, с палкой в руках, в мохнатых больших шапках — призывали людей: «Делайте добро во имя аллаха». Каждый дом старался дать нищему милостыню — садика, дабы помянуть своих умерших и чтобы живых не оставляло благополучие.

Много людей видела наша улица. Одно поколение сменило другое. Когда я сейчас смотрю с одного конца ее на другой, разное приходит мне на память. Перед глазами встают и умершие, и живые. Самые лучшие годы моей жизни — детство — прошли здесь. С этой улицы началась моя дорога в большую жизнь.

Первые нетвердые шаги я сделал с помощью мамы. Научившись ходить, я с мамой отправился в центр аула, там был магазин, где и увидел тех, кто живет за пределами моей улицы.

После магазина я узнал школу.

Потом я начал ездить к родственникам из других аулов.

На моей родной улице я увидел и хорошее, и плохое, и свадьбы, и драки, и рождения, и смерти...

Моя улица мне очень дорога. Я прошел немало улиц, видел и выложенные узорчатым мрамором, и застеленные чистыми, как стекло, камнями... Но ни одну из них я не могу сравнить с пыльной родной моей улочкой. Куда бы ни заносила меня судьба, я старался поскорее вернуться и увидеть ее — дорогую мне, тесную и кривую... Это моя родина.

Улица, на которой я так часто спотыкался в детстве, — разве заменишь ее другой?

Через свою улицу я вышел на другие улицы аула. Значит, я увидел свой аул.

МОЙ АУЛ

Мой аул — золотая колыбель моя,
Баюкал меня с детства,
Вырастил, взлелеял,
Чтобы стал я джигитом...

1

Наш аул раскинулся в верховьях Кубани, на изгибе реки. Если смотреть сверху, с горы, — напоминает серп. Земли тут много, и земля богатая. Почва черная-пре-черная, жирная, что ни посади, все вырастет. Поэтому-то, наверное, и выбрали наши предки это место. «Если строишь дом, выбирай соседа, если берешь землю, выбирай воду». О красоте Кубани я расскажу в другой главе.

В ауле нашем есть и свои небольшие равнины, и бугры, и обрывы. Все улицы начинаются у возвышенности и подходят к берегу Кубани. Этими улицами аул разделен на кварталы. Еще при основании его каждый род селился в своем отдельном квартале. В центре аула поселились люди из рода Орака — и так и начали называть эту часть — квартал Орака. Наверное, с этого квартала и пошел наш аул.

В отличие от других аулов, у нашего — два названия. И оба до сих пор живут, как бы соревнуясь в памяти людей.

В старину его называли — Орак-аул. По рассказам стариков, на эти земли вначале пришли люди Орак-мурзы, и этим именем и стал называться аул. Одного из Ораковых, Бiazрука, застал мой отец. У него было три сына. Двух из них я и сам встречал в начале шестидесятых годов, оба тогда жили в Москве. Старший — Забит-Герей, полковник в отставке, и средний — Мурад-Герей, режиссер. Мы несколько раз встречались, много беседовали.

При жизни моего отца князя Ораковы уже не правили в ауле.

Забит-Герей и Мурад-Герей хоть и были княжеского рода, но против советской власти не выступали, наоборот, поддерживали ее. Их отец в конце двадцатых годов обучал грамоте детей бедняков, а Забит-Герей в тяжкие для нашего народа годы проливал кровь на фронте. Вернулся с войны со множеством орденов и, как я уже говорил, в звании полковника.

По рассказам стариков, в 1928 году (тогда мне был один год) наш аул переименовали в аул Эркин-Юрт. Наверное, народ думал, что теперь он свободен, сам себе хозяин, потому и назвали аул Эркин-Юрт, что означает «свободная территория». Это сделалось официальным названием. Но все же старики и посейчас называют его по-прежнему: Орак-аул.

Откуда переселился наш аул, я вам, конечно, точно сказать не могу. Об этом никто нигде не писал, точных сведений нет. Но хоть и не осталось никаких письменных указаний, испокон веку существует предание о переселении. Вот его суть — как рассказывал мне Мурад-Герей Ораков и как помню я слышанное еще от моего отца.

Аул основали пришельцы с гор, из мест возле нынешней речушки Койдан. Вначале аул остановился в пойме Кубани. Но когда вода в реке поднималась, дома затапливало, и тогда аул переселился на нынешнее, более возвышенное место. Когда я был еще ребенком, я на старом месте видел могилы тех людей. На могильных камнях можно было различить родовые метки эсеев, кыпшаков, керейтов, найманов. В голодные годы, а потом и в военные на эти кладбища никто внимания не обращал, и сейчас могилы сровнялись с землей и почти не видны, а прежде ногайцы, проходя мимо, бросали сверху горсть земли, поэтому могильные бугры не исчезали, а сохранялись.

Про наш аул Мурад-Герей мне несколько раз повторил, наверное, для того, чтобы я лучше запомнил:

— Территория южнее нынешнего города Черкесска — и вплоть до Карлы-тау (Эльбруса) называется «Тохтамышские высоты». В детстве я слышал, что в этих местах были ногайские могильники.

Кто его знает, может, так оно и было, и наши аулчане действительно пришли из тех мест. Правда, я слышал, что многие из тамошних ногайцев ушли в Турцию, и следы их потерялись.

Первые аулчане по принципу «где жизнь — там и смерть», прежде чем строить дома, выбирали место для кладбища. Место имел право выбрать не всякий, только знающий человек, и должно оно быть не каменистым. Это первое кладбище, которое было основано одновременно с аулом, действует и поныне. Теперь оно оказалось посреди аула. Позже, когда в ауле образова-

лось несколько отдельных кварталов, в каждом из них возникли свои кладбища.

Это — история аула. Она говорит, что аул существует более двухсот лет. Поэтому и рассказов об основании и жизни аула много.

Так вот, центральный квартал (ямагат) и сейчас называется — Орак. Затем идут Балта, Бештау. Наверное, жители первого появились из аула Балта, а вторые переселились из Бештау, это место возле Пятигорска.

Нынче кварталы не очень отличаются друг от друга, не то что в старину. А тогда мало того что различались домами и улицами, но даже и люди внешне не походили друг на друга. Если в одном квартале жили красноты, с голубыми глазами, то в соседнем — смуглые, раскосые. Правда, со временем, благодаря многочисленным бракам между кварталами, все смешалось.

Наверное, не найти ногайского аула без курганов, наподобие тех, что в глубокой древности оставили скифы. В наши дни археологи под этими курганами отыскивают захоронения, различные предметы ушедшей жизни.

Один из самых больших курганов в северной части аула — «Батага-тюбе», в переводе на русский «Курган совета». В старину у этого кургана собирались люди на совет, здесь решали различные общественные дела.

Когда по новой дороге поднимаешься на гору, прямо под обрывом — еще два кургана. Их называют «Курганы-близнецы». Они стоят рядом, и впрямь схожи, как близнецы. В нижней части аула и на горе также много курганов: Кара-тюбе, Айгыр-тюбе, Лыгиз-тюбе, Эгиз-тюбе.

Где возвышенности, там, конечно, и низины.

В ауле много балок: Манка-йылга, Ажел-йылга, Шонтык-йылга, Кара-йылга. Раньше там было немало родников, летом водились дикие утки.

Я уже говорил, что все улицы аула, спускаясь, упирались в Кубань, и на этих улицах в старину, по обычаю, селились родственные семьи. По их фамилиям и назывались улицы. И сейчас в ауле есть улицы Алакай, Каракай.

Лишь одна улица тянется поперек, с одного конца аула до другого, — центральная. Через эту большую улицу соседи общаются друг с другом. С нее начинается

проселок, ведущий в гору, а там, на горе, он вливается в большую дорогу, связывающую наш край с другими краями. Аулчане так и называют ее — Большая дорога.

Центральная улица. И стар и млад, выйдя на нее из своего квартала, чувствует себя как будто в другом ауле.

Здесь же расположились колхозная контора, клуб, Совет, магазин, сюда въезжаешь в аул, отсюда и выезжаешь. А люди, живущие на этой улице, чувствуют себя как бы жителями крупного города: «Ва, да чтоб не сгорел твой очаг, как только приедешь, приходи прямо ко мне, тебе не придется петлять по улицам, я живу на центральной!»

Когда люди бывали свободны от работы, хоть раз в неделю, и старики и молодые выходили на центральную улицу побеседовать.

В старину аул по этой улице водил вора и предавал позору. Моя сестра в свое время видела такую сцену.

Человек идет, еле переступая ногами, низко склонив голову, готовый провалиться сквозь землю. На спине висит сырая овечья шкура. За ним — трое здоровых муртазаков (милиционеров). Так предают позору вора, который украл овцу. За муртазаками бежит босоногая ватага ребятишек. Из каждого дома выходят люди и проклинают вора. Процессия движется с одного конца аула до другого. Это было уроком и предупреждением для всех, попробуй после такого украсть что-нибудь!

Ребятишки, в какой бы части аула ни жили, обязательно собирались по такому случаю на центральной улице.

Сейчас наш аул сильно изменился. Люди, которые видели его сорок — пятьдесят лет назад, и сравнить не могут с сегодняшним. И хочу описать его таким, каким я видел его детскими глазами.

2

Когда я был ребенком, на центральной улице на месте пынешнего клуба стояла сложенная из тесаного камня большая мечеть с высоким минаретом. Это была главная мечеть аула. По пятницам здесь собирались верующие — совершали юма — намаз. Пятница у мусульман считается выходным днем, никто не должен работать. Кроме Юма-мечети в каждом квартале была и своя собственная мечеть, поменьше. Мечеть нашего квартала называлась Ак-мечеть (то есть Белая).

Старики рассказывают, что она была сложена из камней мечети, которая вместе с крепостью стояла когда-то на вершине скалы у слияния рек Кубани и Малого Зеленчука. Ногайцы это место называют Ажи-кала, то есть крепость Ажи. По преданию, рядом с крепостью и красовалась мечеть из белого камня. Ее так и называли: Белая мечеть. И сейчас еще станица за рекой называется Беломечетинской. Потом, говорит предание, некий воинственный народ напал на эти места и все поверг в прах. Кровь лилась рекой. Даже Кубань, повествует легенда об Ажи-кала, покраснела от крови.

Развалины сейчас почти не видны — соседние аулы и станица Беломечетинская брали отсюда камень для строительства домов.

Наш аул Орак расположен на левом берегу Кубани, а станица Беломечетинская на правом.

В детстве я много раз проходил и проезжал на арбе возле Ажи-кала.

В развалинах Белой мечети сохранилось множество маленьких бугорков, их опоясывала канава. Ребята-пастухи частенько находили там кости и другие предметы, обломки глиняной посуды. Когда я с мамой ходил в аул Алакай или в аул Токтамыс пешком, то на вершине Ажи-кала мы обычно отдыхали. С высоты далеко было видно вокруг. Я смотрел на родной аул, видел крытые камышом строения и удивлялся:

— Абай, как много домов в нашем ауле. А где наш дом среди них?

Мама прикладывала ладонь ко лбу, загораживаясь от солнца, а другой рукой показывала:

— Прямо над обрывом наш дом.

И я тоже, как и мама, прикладывал руку ко лбу.

— Очень далеко, светоч мой, поэтому не видно, — объясняла мама, и я, забыв про аул, начинал собирать разбросанные тут и там обломки древней глиняной посуды.

Очистив их от земли, рассовываю по карманам своих черных полотняных брюк.

— Зачем ты столько берешь, тебе же будет тяжело идти, — говорит мама.

— Я Мариат подарю. — объясняю я (Мариат была дочкой маминой сестры, моей ровесницей).

— Мариат уже большая девочка, она с этими черепками уже не играет, — говорит мама, а сама с интересом

поднимает с земли осколок кувшина и внимательно и задумчиво рассматривает его.

— Что ты там разглядела, абай? — спрашиваю я.

Мама не сразу отвечает, вытирает осколок подолом платья.

— Сынок, когда-то эти черепки были посудой. В этом кувшине жившие здесь люди или воду держали, или мед, кто его знает. А сейчас видишь, что осталось. Вот это и называется — жизнь. Сегодня есть, завтра нет. Когда-то ведь здесь все было в расцвете, а сейчас смотри — пепелище, — говорит мама невесело. Она опять смотрит на осколок. — Видишь, как их много. Сказывают, здесь была большая битва. Люди убивали друг друга. И никого не осталось из того народа. Сколько царей, сколько ханов ушли на тот свет, и с ними их царства. Когда подойдет время — и мы уйдем, ничего не поделаешь. Вот что такое жизнь.

Я собираю черепки, словно это золотые слитки. Может, в тот день и родилось во мне желание поездить, поискать свидетельства забытой старины. Сейчас у меня на полке хранятся всевозможные черепки из древнего Хорезма, из древнего Эфеса, из Херсонеса...

— Хватит сидеть, нам еще далеко добираться, пошли, светоч мой. Время идет.

— Подожди немного, абай. — говорю я, не желая так скоро уходить с этого места. Передо мной встает картина битвы, я вижу черные тучи воинов с саблями, бьющих друг друга...

— В прах превратившееся место, светоч мой, опасно — нельзя долго задерживаться, — говорит мама и поднимается.

— Абай, а почему?

— Пошли, сынок, по дороге все расскажу, — отвечает мама, ступив на узкую дорожку для арбы.

Я вприпрыжку бегу за ней и, боясь, как бы она не забыла про обещанное, тяну за рукав: расскажи, мол.

— Люди говорят, что в заброшенных местах по вечерам собираются нечистые духи — шайтаны. Упаси нас аллах от них, сынок. У тебя еще все впереди, будь осторожен, опасайся таких заброшенных мест...

Я киваю в знак того, что все понял.

— Вон, светоч мой, уже видна узкая дорога Карткешу. Теперь до Шабаз-аула рукой подать.

Узкая дорожка, спускавшаяся с Ажи-кала и ведущая к Малому Зеленчуку, и называлась Карткешу.

Спустившись с Карт-кешу, можно увидеть на том берегу реки аул Алакай. Когда мы ездили с отцом на арбе, возле Карт-кешу переходили реку и обязательно заезжали в аул Алакай, там жила младшая сестра отца Ажихани. А сейчас мы с мамой идем в аул Шабаз к вышедшей сюда замуж Зинап. Это средняя сестра отца.

При спуске с Карт-кешу сразу же открылся аул Алакай. Я попросил маму, чтобы она показала дом Ажихани, но так и не понял, где он расположен.

— И к Ажихани зайдём? — спросил я.

— Сегодня идем к Зинап, когда будем возвращаться, посмотрим, — ответила мама.

Через некоторое время, пройдя расстояние в пятнадцать верст, мы пришли в аул Шабаз. В то время люди ни на какой транспорт не надеялись, из одного аула в другой ходили пешком.

Одну ночь переночевали в ауле Шабаз, а на следующий день отправились в аул Тохтамыс. Вначале пошли в дом моей бабушки по матери, она приходилась мачехой моей маме. Когда жена моего дедушки умерла, он женился на другой. Мама относилась к мачехе как к родной матери, и я это видел. О них никто не сказал бы — «падчерица», «мачеха». Бабушка умерла уже после смерти моей мамы. Как маму, я похоронил и бабушку.

У маминых родственников я вдоволь наигрался. Ногайцы говорят, что ребенок дочери слаще меда, — так и меня в Тохтамысе ласкали, не жалели ничего, угощали всем, что было.

Сейчас и Ажи-кала распахали мощные трактора — все возвышенности, все косогоры сровняли. Дорога, которая раньше проходила по Ажи-кала, заросла, когда была проложена новая по западной стороне аула. Эту дорогу старики и сейчас еще называют «новой».

Юма-мечеть была у нас в ауле самой красивой постройкой. Ее двери и окна покрывал резной узор, все любовались им.

С высокого минарета пять раз в день слышался звучный голос муллы Ниатажи, призывавший верующих к молитве — намазу.

Аульские мечети, кроме главной, за какой-то день исчезли, как будто их и не было вовсе. Их разрушили. Юма-мечеть не стали сносить, у нее лишь свяли минарет, и вплоть до пятидесятих годов там был клуб.

То, что происходило в этом клубе, тоже в свое время немало волновало людей. Помню, как заинтересовало и напугало жителей аула кино. Как это было удивительно, когда на стене появлялись, будто шайтаны, и двигались маленькие человечки. Суеверные люди тут же повернули дело совершенно в другую сторону, истолковали по-своему. Вот видите, говорили они, теперь в мечети начали показывать шайтанов. Многие из аулчан и сами не ходили в клуб, и детей не пускали. А мы, ребяташки с нашей улицы, все же бегали смотреть кино. Может, если б не Хамзат, и не ходили бы — он нас заставил. Прежде чем взять с собой, потребовал, чтобы мы достали копейки. Пришлось, конечно, выпрашивать у матери.

Когда мама услышала, что мне нужно идти смотреть кино, она удивилась, задумалась, а потом потихоньку спросила:

— Зачем тебе это кино, сынок, люди не одобряют...

— Я вместе с Шахимом, мама... Да ты не бойся, с нами и Хамзат пойдет. Он нас никому в обиду не даст, — уверял я, решив, что мать боится, как бы нас кто-нибудь не обидел.

— Чтоб земля не приняла этого Хамзата, это он все выдумывает! Кино-мино... это он вас теребит. Такой здоровый, не может, что ли, без вас, маленьких, обойтись. Мне денег не жалко, сынок, — неожиданно закончила мама. — Только...

Я сообразил, что она просто не хочет пускать меня в клуб, но я тогда не понимал почему. Сейчас мне ясно, что мама, как и другие женщины аула, не желала, чтобы я ходил в кино из-за того, что его показывали в мечети, боялась прогневить аллаха. Но что бы она ни говорила, деньги она мне все же давала и в кино в конце концов отпускала. Очень добрая она была, моя мама.

Мы бегом бежали к Юма-мечети. Подбежав, видели, как несколько пожилых женщин, взяв в руки длинные палки, выгоняли из толпы игравших детей своих собственных и заставляли их немедленно идти домой. Однажды одна из них, схватив своего сына за плечо, втащила его во двор мечети и, глядя на сидящих во дворе в ожидании сеанса людей, начала кричать:

— Подождите, бессовестные, вот посмотрите, заест вас чертов дух. Этого хотите?

— Сюда идите, ишь рты пораскрывали, зеваки. — Хамзат потащил нас подальше от крика.

Не желая показываться взрослым, до начала кино мы стояли в тени у забора. Когда все вошли, Хамзат взяв у нас с Шахимом деньги, ввел нас в мечеть. Там уже было полно народу. Мы забились в уголок.

Фильм начался, и — зачем скрывать, — увидев на стене мельтешащие тени, я вздрогнул от испуга, даже вскакивал несколько раз. Хамзат дернул меня за рукав: «Садись, трус!»

В тот день я впервые в жизни смотрел кино. Тогда мне, наверное, не было и шести лет.

Хотя я и здорово напугался, вернувшись домой, несколько раз с восторгом рассказывал о кино отцу с матерью. Не знаю, понравилось им это или нет, но я с нетерпением ждал нового фильма. Его долго не было, наверное, только спустя месяц, а может и больше, в мечети снова устроили сеанс. Второй раз я уже пошел в кино один.

Вот так я вначале в Юма-мечети посмотрел кино, а потом, много позже, когда был учителем, перед началом фильма при собравшемся народе, случалось, рассказывал уже о значении кино в нашей жизни.

Недалеко от Юма-мечети, на углу нашей улицы и центральной, стояла школа. Сейчас там Дом пионеров. Известные люди нашего аула учились именно в этой школе. По словам стариков, ей, наверное, уже больше ста лет. Сколько поколений видели ее стены! Я и сам познал грамоту впервые именно в этой аульской школе, а потом и других ребятишек учил здесь же. Когда я приезжаю в аул и вижу старую школу, сразу вижу и себя — маленьким мальчишкой с букварем и тетрадками.

На центральной улице с утра до вечера «так-тук» — стучал молоток в кузнице. На селе кузница — необходимость, в те дни не было, наверное, человека в ауле, не нуждавшегося в кузнице. А сам кузнец, естественно, был личностью всем известной и уважаемой.

Много полезного делал людям Салим, мастером был своего дела. Колесо на арбу, лемеха для плуга, подковы для лошади, вилы, гвозди, ножи, что ни возьми, все умел изготовить. Как говорили в ауле, и пуговицу из железа выкует.

Я ребенком вместе с отцом ходил в кузню и, помню, очень удивлялся: что же это за человек такой — с ног до

головы в черной копоти — и железа раскаленного не боится?

Был Салим среднего роста, широкоплечий, сильный. Когда я его увидел впервые, он, с трубкой в зубах, тяжелым молотком, словно играючи, бил по наковальне. Дымит гори, дымит трубка в зубах у кузнеца. Я смотрю, как сжимаются мехи, смотрю на беседующего с отцом закопченного человека — есть от чего рот раскрыть. Все мне удивительно здесь. Гур-гур — горит уголь, на углях — красное раскаленное железо. Кузнец берет его клещами, кладет на наковальню и начинает бить молотком.

«Так-тук» — опять несется над улицей.

— Пока он не закончит с этим горячим куском железа, не будет разговаривать, — объясняет мне отец.

Возвращался отец от Салима довольный — я несу в руках новенькую подкову для лошади.

И сейчас, рассказывает Керей, выстроивший дом на месте бывшей кузницы, как только начнешь копать в огороде, натыкаешься на угли. Конечно, это правда. Куда бы делись горы угля, который сжег Салим.

На центральной улице помещался и магазин, крытый белой жстью. Аулчане называли его магазином татарина Ибрагима. Ибрагим занимался торговлей и был одним из первых богатеев аула. Его магазин стоял долго, до шестидесятых годов.

Аульский Совет находился не на центральной улице, а на западной окраине аула, под горой.

В ауле дома были в основном с плетеными трубами над камышовыми крышами. Но некоторые состоятельные люди начинали уже покрывать свои дома черепицей. Если загорался какой-нибудь дом, то моментально сбегался весь квартал, пожар тушили вместе. А на следующий день люди собирались снова и сообща покрывали дом новой кровлей. В старину аулчане были очень внимательны друг к другу. Старались исполнять просьбы, не отказывали в помощи. Спешили навстречу и в беде, и в радости...

3

Наш аул соседние селения в годы моего детства прозвали еще «Сыйпама аул» — то есть «Глаженный аул». Современники могут и не поверить мне на слово, с чего вдруг, подумают, что еще за «глаженный» аул, как это

аул можно гладить? Но так было на самом деле, я и сам много раз слышал, как наших сельчан называли «сыйпама-сыйпама» («глаженный — глаженный»). Правда хоть и слышал, но сам лично «сыйпаму» не видел, все это случилось до меня.

В темноте что-то или кто-то, никто не знал, ходило по домам и всех людей гладило. Не било, ничего не крадо, только гладило спящих людей. Было твердо известно, что если в тот момент, когда «сыйпама» — так называли это странное явление — тебя гладит, пошевелинешься или закричишь, он сейчас же может убить или сделать калекой. Поэтому и лежали люди молча, когда их посещал «сыйпама». Были и такие старики, я помню, что вроде бы даже видели его. Вот один из таких рассказов.

«...Был летний темный вечер. Наверное, уже перевалило за полночь. Люди сладко спали. Вдруг во дворе громко-громко залаяла собака. Я удивился, чего это она так громко лает. Прислушался. Собака подошла к хлеву и еще громче залаяла. Что ж это я лежу, подумал я и, взяв вилы, вышел во двор. Увидев меня, собака начала лаять в сторону калитки. Тут я заметил, что у калитки стоит что-то белое-пребелое, длинное... Прочитав молитву, я шагнул... Собака двинулась следом. И тут это белое длинное начало отступать назад. Мы вышли за калитку, но на улице это белое превратилось вдруг в черное и враз растаяло. Я очень удивился, как это, белое — и растаяло в темноте. Вот так я видел «сыйпаму».

«Голову ты нам морочишь. Если б ты его увидел, упал бы в обморок, и все. Хвастун ты просто», — ответил на этот рассказ другой старик, выслушав, однако, со вниманием.

Некоторые храбрецы в нашем ауле хотели проверить, а вдруг и к ним придет «сыйпама», и начали сторожить по ночам. Но к ним, как будто знал, что его поджидают, он не приходил. В основном «сыйпама» посещал те дома, где не было мужчин, и гладил женщин. Входя в дом, он не трогал ни вещей, ни мебели, правда, как-то смешал соль с мукой, а муку с водой. Да еще однажды вроде бы у лошадей в конюшнях заплел гривы в косички, иногда, говорят, на хороших жеребцах ночью ездил.

Вот так на некоторое время «сыйпама» взволновал наш аул. Никто не знал, что же это такое и откуда оно

взялось. Все происходящее напоминало сон: сказка не сказка, быль не быль. Люди терялись в догадках.

В старину в домах не было замков или там крючков. На дверях — обыкновенные примитивные щеколды. Многие верили в джиннов, в шайтанов. «Сыйпама» находил и гладил именно таких суеверных.

Правда о «сыйпаме» стала в ауле известна позже, много лет спустя. Я и сам видел одного из тех, кто гулял ночью под видом «сыйпамы». В то время он уже постарел, хотя сохранял бодрость, умел хорошо играть на губной гармошке и был очень веселым и большим шутником. Когда люди говорили ему: «Ты, Ажимурат, в ауле многих погладил», — он ничего не отвечал, только улыбался. Если бы народ в свое время узнал, что «сыйпама» — это он, то, возможно, его и убили бы камнями. Но сам он никогда не рассказывал о проделках молодости — прекрасно знал, что нельзя этим хвастаться. И люди продолжали верить, что действительно посещала их какая-то сверхъестественная сила «сыйпама», думали, что аллах специально прислал ее, — так и ушли с этой мыслью на тот свет многие аулчане.

Таково предание нашего аула о «сыйпаме». А соседние селения даже выдумали песенку, чтобы высмеивать наших:

Ласкал и гладил «сыйпама»,
Баюкал по ночам
Дома Орак-аула,
Без этой ласки никто не мог заснуть...

Сейчас о «сыйпаме» почти никто уже не рассказывает, забыли о нем. Разве что старики, когда речь заходит о давних временах, вспоминают эту историю. Но хоть и вспоминают, да как-то неохотно. Не хотят, наверное, выставлять напоказ наивность и глупость своих предков. Ну а те, у кого душа нараспашку, оправдываются: мол, темные были, чему угодно верили. Конечно, теперь ясно — это никакой не джинни был, а просто кто-то хорошо подшутил. Но в селении, мол, никого не нашлось, чтобы вовремя раскусить шутника. Что правда, то правда.

В нашем ауле конечно же были смелые люди, готовые бороться с кем угодно. Однако же при словах «джин», «шайтан» и их души посещало смятение. Поэтому-то никто и не хотел связываться с «сыйпамой», ну а потом, когда все же нашлись смельчаки и начали сто-

рожить по ночам, «сыйпама» исчез, пропал, под землю ушел, как говорили аулчане.

4

Все меняется со временем. Сегодняшняя молодежь не знает ни очагов, ни лакшинов (это цепь над очагом, к ней подвешивали казан), не следят ребятишки и за звездами, глядя в широкую плетеную дымовую трубу. И, рассматривая старые вещи в музее, одни верят, что когда-то люди действительно пользовались ими, а другие не очень.

Прошрое аула осталось в памяти стариков. Уже при моей жизни сменилось три поколения. Старики моего детства давно ушли из жизни, а что они оставили по себе хорошего — существует в ауле и сейчас, передается из уст в уста. Плохое же ушло с ними, забылось.

Состарилось и второе поколение.

И третье, мои сверстники, ребятишки времен немого кино, идет уже к старости. Жизнь требует постоянного обновления.

Как на одной руке все пальцы разные, так и люди в ауле. Всякие встречаются — мудрые и глупые, тихие и грубияны. Сейчас я вспоминаю один из рассказов матери о грубияне Тока.

...У Тока была очень добрая, жалостливая жена. Свет так устроен, что нередко хорошим людям в спутники попадают дурные и, наоборот, негодным частенько достаются хорошие.

Жена Тока как-то из чистой белой шерсти сшила для мужа чекмень. Желая обрадовать, надела его на Току. А тот из-за вредного своего характера, не разбираясь, обругал и жену, и новый чекмень: мол, сшит плохо, взял да и разорвал его по швам. А жене строго наказал, чтобы она за ночь сшила заново... И та, бедная, не сомкнув глаз, всю ночь работала, исполняя прихоть мужа. Тока пригрозил жене, — мол, если к утру новый чекмень не будет готов, убьет ее, как собаку.

Я сам этого дурного Току не видел, но помню его жену. Добрая, приветливая была женщина...

В ауле у нас был и свой полоумный, по имени Ярой. Хоть и был дурачком, никогда никого не обижал. Жил подачками, зимой и летом не снимал с головы побитой молью барашковой шапки. Летом ходил босиком. Если шел дождь, он закатывал штанины до колен и специ-

ально шлепал по грязи. Очень нравилось ему ходить, когда все люди сидели дома.

Так вот этот Ярой умер из-за такого же полоумного, как и он сам, по имени Кеток, только тот был из соседнего аула Алакай. В зимний холодный день Ярой и Кеток встретились в нашем ауле на поминках. Хорошо поели, и захотелось им пить — по несчастью, и тому и другому сразу. Чтобы напиться воды, они, не долго думая, отправились на Кубань. Найдя прорубь, дурачок нашего аула Ярой наклонился первым. Наклониться-то наклонился, да не достал до воды. И тогда Кеток схватил Яроя за ноги и толкнул его в прорубь, — хотел таким способом напоить приятеля. Так и утопил бедного Яроя дурачок аула Алакай. После этого вернулся на поминки и стал спрашивать: «Люди, я похож на убийцу?» Сам же и ответил: «Я убил вашего Яроя. Сейчас его утопил». Собравшиеся, конечно, ему не поверили, что возьмешь с дурачка. Однако когда Ярой долгое время не показывался, пришлось поверить.

Кроме этих двух дурачков я в наших местах больше не видел бродячих полоумных.

Если глупцов насчитывалось всего один-два, то джигитов у нас было в достатке. И сейчас перед моими глазами стоят парни, прославившие нашу округу силой, умением и характером. О некоторых из них я расскажу в других главах. А певцы нашего аула были известны далеко окрест. Когда они пели, люди слушали затаив дыхание.

Много пели песен в ауле, но иногда случались и слезы. Без них жизни не бывает.

Непостоянен этот свет,
Есть и горы в нем, есть и равнины,
Люди живут в этом мире,
И песни есть у них, есть и слезы... —

частенько себе под нос напевал мой отец.

В мои детские годы в ауле ставили не заборы — плетни. На кольях этих плетеных оград красовались лошадиные черепа. В детстве я очень удивлялся, для чего это вдруг понадобилось выставлять их напоказ. Понял, когда повзрослел. Оказывается, хозяева выставляли черепа, желая отвести от дома недобрый глаз. Этот обычай, наверное, остался еще с языческих времен.

В некоторых домах вместо оград рыли канавы — для того чтобы во двор не забредал скот.

Сейчас аул не знает канав. Заборы у нас высокие, из красного кирпича, в крайнем случае — обыкновенные железные. Посмотрит незнакомый человек — решит что перед ним крепость. Некоторые не хотят даже общаться с соседями, не видят необходимости. Если чужая курица забредает случайно во двор, поднимается страшный переполох. Было б им под силу, они и воробью не разрешили бы влететь в свой двор. К счастью их и спокойствию, воробьев сейчас мало, не чирикают они везде, как в старину.

В прошлые времена люди бегали друг к другу за огнем. В каждом доме, перед тем как ложиться спать, огонь чуть прикрывали, чтобы утром легко можно было разжечь очаг. Если он все-таки гас, обращались к соседям. Сосед с соседом, улица с улицей были связаны незримой нитью, не могли жить друг без друга, это сблизало, все чувствовали себя как бы родственниками.

В мои детские годы в ауле мало кто занимался огородом. Возле дома помещался хлев, загон для скота. Народ в основном занимался скотоводством. Только на северной окраине аула жили три-четыре семьи, которые имели сады. Вот эти-то фруктовые деревья и притягивали к себе всех мальчишек аула. Особенно известен был у нас сад Теубеж Салиха. Мы, дети, боясь перелезть через высокий колючий забор из березы, глотая слюнки, смотрели на большие красные яблоки. И сейчас я помню вкус этих яблок, сочных, как дыни. Почему-то думаю, что таких сладких и вкусных яблок теперь нет. О, эти сады! Сколько они нам, детям, приносили хлопот! Чтобы попасть за ограду и отведать желанных плодов, сколько заноз получили мы в ноги, сколько царапали лица о колючки, сколько нас хлопали крапивой по голым задницам. Удивительная пора — детство. Всему завидуешь, не умея ценить собственный дом: что за забором, то и желанно, то и манит.

Два раза на моей памяти наш аул трясло. Трясло не землетрясение: один раз — голод, когда люди опухали без еды и умирали. Второй раз — пришла кровавая война.

Страшный голод случился в 1933 году. Мне тогда было шесть лет. Лучше бы я не понимал ничего... Ребята, с которыми я бегал по улицам, гарцевал на пруты-

ках-лошадках, теперь, не находя куска хлеба, питаюсь одной сурепкой, опухали и умирали. Эта картина до сих пор перед моими глазами.

Умер мой самый верный друг Шахим. До сих пор это мучит меня, колет сердце. И сейчас люди моего возраста, если увидят на земле кусок хлеба, поднимают его.

Отец так говорил матери об этом голоде:

— Ты посмотри, как совпадает, голод двадцать первого и тридцать третьего случился в год курицы. Недаром наши предки завещали, что год курицы — год нехватки, суровый год. И еще в народе говорят: «Год курицы — собирай по крохам, авось беда минует». Но в двадцать первом хоть и не было у людей зерна, зато был скот. Те, кто ел мясо и пил молоко, не умирали, хотя и тогда много людей скосило. Нынешний же год очень страшен, — вздыхая, замечал отец.

Правду говорил отец: голод 1933 года был страшен, многие, очень многие так и не смогли пережить его. В тот год в наших краях нельзя сказать, чтобы ничего не взошло, урожай собрали. Не очень богатый, но все-таки. Однако почему-то, как рассказывали старшие, то зерно, что было у людей, власти отобрали под видом «излишков». Чтобы не умереть с голоду, люди начали прятать то немногое, что у них было. Кто в землю закопает, кто в доме припрятает. Но и в тайниках находили. Прятавших обвиняли во вредительстве, называли подкулачниками и отправляли как «врагов народа» в Сибирь. В августе 1932 года вышел специальный декрет: того, кто украл у государства хлеб, жестоко карали. Кто не смог для себя ничего оставить, начали голодать.

Особенно тяжело пришлось на лето тридцать третьего года.

Есть было совсем нечего, люди жевали сурепку. лебеду. У кого чудом сохранились коровы, резали их. Чтобы не погибнуть, чего только ни делали: некоторые семьи отправлялись в степь, раскапывали мышинные норы под скирдами соломы и вытаскивали оттуда собранные грызунами на зиму зерна кукурузы, пшеницы. Вот так и пытались спастись, использовали любую возможность.

Наша семья около месяца жила на макухе и свекле. Когда начало скручивать животы и не было уже сил, нам помогли добрые люди. И сейчас помню, как поздней холодной осенью мать, нешком пройдя около пятнадцати верст до хутора Дубянска, ночью принесла три крас-

ные свеклы и одну макуху. Чтобы суп был чуть наваристее, мать бросала в горшок горсть макухи. Красная свекла и макуха не дали нам умереть с голода, и хотя сил они придавали немного, животы не скручивало. И сейчас, когда я проезжаю на машине мимо Дубянской, я думаю, может, хоть кто-нибудь да остался из тех, что когда-то спасли нас, живет еще там... Ах, если бы сейчас знать, который дом... Бедная мама знала...

Чего только ни сделаешь, чтобы выжить. Некоторые прослышав, что где-то там в каком-то овраге лежит павшая лошадь, чтобы не помереть с голода, шли и несли домой это мясо, радовались, что хоть так могут насытиться. Дрались из-за падали, кто посильнее и унесет больше, а слабому достанется лишь, чтобы заглушить голод. Каждый хотел продлить жизнь — хоть на один день. Хотя бы на час. Надеялись, вдруг да изменится завтра что-то к лучшему. Но это светлое завтра медлило — и каждый день уносил все новых жителей аула на тот свет...

Никому не пожелаю увидеть голодающего человека. Лицо, ноги опухают, живот вздут. Глаза выпучены, как у лягушки. Вспомнишь — и врагу не пожелаешь...

Да, такое видели мои детские глаза...

Сколько людей умерло...

Сколько, чтобы не умереть, ушли в другие края. Никому было закапывать мертвецов, и они по три-четыре дня оставались в опустевших домах. А когда и закапывали, то как придется, лишь бы прикрыть землей.

Двери, окна — нараспашку, дома брошены.

Не находя пищи, собаки уходили в леса и дичали.

Аул летом тридцать третьего опустел, одичал, колодцы стояли открытыми, дворы зарастали.

Сердце болит не только тогда, когда переживаешь трудности, но и когда о них вспоминаешь. И мое сердце сжимается, едва я слышу о голоде, перед глазами возникают опухшие, полные страдания лица ребят с нашей улицы: Шахим, Амит, Алат, Каламат.

Если бы не было этого голода...

Особенно Алат был очень способным. Он еще не ходил в школу, а уже знал наизусть букварь своего отца, который занимался в ликбезе. Если он слышал от взрослых какую-нибудь песню, то тут же мог повторить ее, у него была очень хорошая и музыкальная память. Вот такой мальчик не нашел куска хлеба, чтобы выжить...

Выжили, пережили голод те, кому суждено было выжить, и весной они с новой надеждой взглянули на землю. Хоть и слабые были, но старались, работали, выбивались из сил. «Если сегодня в землю не вложишь труда, что будешь есть завтра?» — думали люди.

Аул начал пахать землю. Но беда настигла некоторых и теперь, уже во время посева: изголодавшись, они набросились, стали жадно есть обработанную ядохимикатами посевную кукурузу...

Беды тридцать третьего года дотянулись до лета тридцать четвертого.

В период прополки наш зять Адиль-Гирей отвез меня в бригаду, работавшую и жившую в поле. Хоть и мизерный, но для работников там выдавали паек: три раза в день баланду из кукурузной муки.

— Верхом на лошади будешь работать, заниматься культивацией посевов. И окрепнешь от работы, и с голоду не умрешь, — сказал зять.

Что я мог ответить? Я молчал.

Адиль-Гирей попросил в бригаде, чтобы люди присматривали за мной — мальчиком, как бы не свалился.

— Почему нет, пусть работает. Нам же его не на руках носить, будет на лошади, не бойся. Пока он с нами, присмотрим, — отозвался мужчина средних лет, высокий, симпатичный и известный в ауле своей добротой, звали его Валит.

— Хорошо, Валит, тогда тебе поручаю нашего Шору. — обрадовался Адиль-Гирей.

— Ладно, — ответил мужчина тихо. — Работать-то будем, коли не помрем с голода.

— Выживете, аллах поможет! Скоро созреет новый урожай, уже немного осталось. Надо как-то дотянуть... — так же тихо произнес зять. Повернулся ко мне: — Ну, хорошо, Шора, я уезжаю, ты остаешься работать с Валитом.

Как только родственник уехал, у меня испортилось настроение, и я повесил голову.

— Ничего, братишка, держись джигитом, — подбодрил меня Валит. — Здесь много таких, как ты, ребят. Подружитесь.

С того дня я больше месяца не показывался в ауле, работал в степи.

Культиватор тащила лошадь, на лошади сидел мальчик — осторожно направлял ее между рядами кукурузы, чтобы не порезать посевы. Сзади культиватор поддерживал взрослый или подросток постарше.

Сидеть верхом — работа ответственная, того гляди, лошадь свернет с междурядья. Если прозеваешь — культиватор срежет посевы.

После работы уставшие ребяташки кучей, тесно прижимаясь друг к другу, укладываются спать в одной из комнат полевого стана. Перед этим стряпуха Канбийке дает нам по половнику баланды. Мы быстро все выхлебываем, а потом еще дома облизываем ложку и чашку. Эти остатки кажутся нам медом, и мы так стараемся, что и мыть не надо.

Ночью с нами в комнате спит возчик Арун, он доставляет на стан бочку с водой. Иногда, если ему не спится, он рассказывает нам разные истории. А когда ему удастся полакомиться выскобленными со дна казана остатками — поскребышами, он бывает особенно разговорчив. В таких случаях Арун много рассказывает о волках и, видя, как мы слушаем его с раскрытыми ртами, увлекается, даже начинает привирать.

— ...Вчера я спускался на своей арбе в аул. Прямо над балкой Ажели увидел: чьи-то темные силуэты преградили мне дорогу. Глаза горят — ужас! Что делать? И тут я понял, да это же волки!

— Ты произнес его имя, Арун, скажи скорее — «карыскыр», а то он придет к нам, — перебил рассказчика один из самых бойких и самый старший из нас, Мамет, зная, что в народе существует поверье: не произноси «волк» — придет.

— Правильно, Мамет, заговорился я... Да, что я хотел рассказать? А... так вот — я не растерялся, схватил в руки вилы. Решил — если они на меня кинутся, со всей силой ударю. Но они тихо-тихо так отступили, и я перевел наконец дыхание...

Мамет, сообразив, что водовоз завирается, насмешливо спросил:

— Арун, может, то, что тебя напугало, были вовсе не волчьи глаза, а просто обыкновенные светлячки?

— Ай, Мамет, никогда ты ни во что не веришь! Клянусь духами мертвых! Теперь веришь? — поклялся Арун.

Мамет молчит, видно, засыпает уже. А мы, младшие, еще слушаем. Арун, воодушевившись нашим внимани-

ем. начинается еще один рассказ. Вообще-то мы, ребяташки, слушаем его с любопытством, только боимся историй про волков.

Однажды ночью Арун проснулся от воя волков и разбудил нас всех.

— Совсем обнаглели. Слышите, как воют, — сказал он нам, поднялся с лежанки, подошел к окну и встревоженно замер.

Мы с Юсупом, перепугавшись, плотно прижались друг к другу.

— Вот, вот, все ближе воют, подбираются к стану, — голос Аруна, казалось, дрожал от страха. Немного помолчав, он перевел дух и уже спокойнее добавил: — Хоть бы они не тронули моих волов, проклятые. Я им!..

Мы лежали молча. Каждый думал: «Неужели правда — этот Арун не боится волков? Тогда, наверное, и то правда, когда он рассказывал, как волки появились перед ним на дороге?» Так думали мы — и краешком глаза следили за нашим водовозом: как это он не страшит-ся в окно смотреть?

— Я схожу во двор, гляну, не бегут ли серые в нашу сторону, а то, может, пугануть придется, — заявил вдруг Арун и твердой рукой отворил дверь, вышел из хаты наружу.

«Ва, да он совсем ничего не боится, прямо навстречу волкам идет!» — с восхищением подумал я, и Арун представился мне героем, богатырем, которых воспевают в сказках.

Откуда было нам, детям, знать, что Арун всего лишь заставлял нас слушать далекий приглушенный вой волков, от страха чего ни услышишь! А сам, желая прихвастнуть, прикидывался смельчаком.

На следующий день после работы, когда мы рассказали Мамету, как Арун прошлой ночью, ничуть не испугавшись, разогнал стаю волков, Мамет расхохотался:

— Надо было меня разбудить! Ну и хвостун этот ваш трусливый Арун! Там, где нет собаки, говорят, лает лиса! Он же перед вами, глупыми, героя из себя строит...

Но все же Арун был добрый, хороший — любил ребяташек, всегда рассказывал нам, младшим, что-нибудь интересное, неважно, что и выдумывал иногда. По мере сил старался помочь нам, утешить. А то и просто вспоминал сказки, какие знал.

Аруна давно нет, погиб, бедный, на Курской дуге а вот одну из сказок, рассказанных им, я и сейчас храню в своей памяти — и передам вам.

...В давние-предавние времена это было, когда глупая дочь хана судьей сделалась, когда кожаный мешок в войлочный обратился, когда у вороны клюв был из кости, когда столбы, подпиравшие небо, на землю повалились — вот в те незапамятные времена случилась такая удивительная история.

В один прекрасный день шла через мостик по своим делам коза, а навстречу ей — волк, худой и голодный. Увидел он козу, раскрыл пасть, показывает острые зубы и говорит:

— Я тебя сейчас съем!

Коза сначала ужасно перепугалась, а потом подумала и отвечает:

— Не ешь меня, серый волк! Видишь, какая я худая, ребра можно сосчитать, все равно голодный останешься. А возьми-ка ты на обед жирного, курдючного барашка, он идет следом за мной. Ты здесь подожди, а он скоро покажется.

Волк обрадовался, что получше обед ему достанется, представил, как будет лакомиться жирным курдюком — и у него потекли слюнки.

Через некоторое время к мосту подошел барашек.

— Я тебя сейчас съем! — говорит волк и выпучил страшно свои горящие глаза.

— Зачем я тебе нужен, дорогой волк! Совсем недалеко отсюда застрял в болоте жирный, упитанный жеребенок. Ты же хорошо знаешь, каким сладким бывает мясо жеребенка. Ешь его на здоровье! Только поторопись, не теряй времени — как бы тебя кто не опередил! — отвечает барашек.

Волк зажмурился от удовольствия — в нос ему словно бы уже ударил приятный запах жеребятины. Скорее, скорее поспешил он туда, куда показал барашек.

И правда, вскоре увидел он жеребенка, застрявшего в болоте. Увидел — и говорит:

— Я тебя сейчас съем!

Жеребенок, он умный был, тут же отвечает волку:

— Конечно, дорогой, ешь меня на здоровье! Только сам подумай — не в болоте же тебе обедать! Выведи меня вон на ту сухую полянку — там ты меня и съешь!

Давай подсоби сзади, чтобы я скорей выбрался из болота, — ты же проголодался уже, я вижу!

Волк, обрадовавшись такому повороту дела, старательно начал помогать жеребенку, подталкивать его, чтобы тот побыстрее выбрался из болота. Ах, представлял волк, как он вкусно сейчас пообедает! Да не тут-то было! Как только передние ноги жеребенка ступили на сухую, твердую землю, он встрепенулся, мотнул головой и задними ногами крепко лягнул волка в морду. Бедный волк от такого удара остался без зубов...

Упал волк на землю и завыл от бессилия и злобы.

Тут увидела волка ворона, летевшая мимо, и спрашивает:

— Что это с тобой, Серый? Чего ты так жалостливо воешь?

— От злости я сейчас вою и валяюсь по земле! От собственной глупости и жадности потерпел! Ты подумай только, ворона! Сначала я отпустил, не стал есть худую козу, позарился на жирного барашка. Не стал есть барашка, позарился на сладкого жеребенка. И все трое обманули меня, дурака! Так мне и надо! Да еще без зубов остался. Нет, не зря я вою и катаюсь по земле! Плохо быть глупым и жадным!

Мы, ребяташки, радовались и удивлялись находчивости козы, барашка, но особенно нас удивлял и восхищал смелый жеребенок...

Арун был рад, что мы довольны его сказками. А мы, благодарные, всегда по вечерам крутились возле него...

Итак, я работал на культивации вместе с Валитом.

Я сидел на лошади и направлял ее по рядам, а Валит сзади держал ручки культиватора; он захватывал только один ряд.

Как я уже говорил, вообще Валит был высокий, довольно крепкий, но сейчас он еле ноги таскал от голода и, похоже, чем-то уже болел. В жаркий летний день, весь вспотев, держась за ручки культиватора, Валит с трудом переводил дыхание.

— Шора, придержи немного лошадь, чуть передохнем, — просит он, и я вижу, что ему тяжело дышать, он хватается ртом воздух, как рыба, вынутая из воды.

Я, конечно, сразу останавливаю лошадь.

Немного переведа дух, Валит говорит мне:

— Ну, хватит отдыхать, пошли... а то эта собака Силей из бригадного стана увидит. Потихоньку погоняй, братишка.

Я не сразу трогаю лошадь, даю этим понять, — чего, мол, он должен бояться всякого косоного Силеймена, пусть еще немного отдохнет, без сил же человек... Так и сказать хочу, но не решаюсь и поэтому, обернувшись, лишь замечаю:

— Откуда ему увидеть, мы же далеко, агай.

Валит, тяжело опершись о ручки культиватора, навалившись на него всем своим длинным худым телом, надсадно, с хрипом дышит.

Я думаю: «Ах, агай болеет, отдохнул бы в бригадном доме», — но не смею произнести вслух.

Валит, как бы читая мои мысли, говорит:

— Сейчас бы, сынок, отдохнуть в прохладном доме. Эх... ну да ладно... Погоняй лошадь. Сегодня совсем мало прошли мы с тобой. Не знаю почему, но что-то я окончательно выбился из сил. Грудь давит... — Он сухо кашляет, долго не находя облегчения. Лицо его бледное, лоб в испарине, запавшие глаза с тоской смотрят на молодые зеленые побеги кукурузы. Тяжело дыша, Валит продолжает: — Шора, уже немного времени осталось до спелости... Еще месяц — и начнут появляться початки. А после, через неделю, можно будет варить их, молочные... Вот тогда, браток, жизнь победит... — Он сглатывает слюну.

Я тоже смотрю на молодые побеги кукурузы. Они еще совсем маленькие, а Валит почему-то думает, что они вот-вот начнут выбрасывать початки. Наверное, хочет так думать...

Под легким ветерком тихо шелестят нежные кукурузные стебельки. Два человека — один взрослый, другой ребенок — смотрят на них, словно умоляя, чтобы росли скорее.

— Вырастут, Шора, вырастут, верь мне. Вот пойдут дожди, и они сразу поднимутся на вершок. Скоро... скоро пройдет время... лишь бы дожить до этих дней... — еле слышно произносит Валит. — Трогай, браток, до обеда еще один ряд должны пройти.

С чувством острой жалости к ослабевшему напарнику, я потихоньку двигаюсь с лошадью вперед.

Когда солнце поднимается высоко, Валит просит меня:

— Шора, посмотри, флаг уже подняли?

Я вытягиваю шею и смотрю в сторону бригадного стана. Нет, долгожданного флага, знака обеденного перерыва, еще нет. Ах, как было бы хорошо, если бы он уже висел тогда!..

— Эту баланду она варит так, как будто жесткое бычье мясо разваривает, эта Канбийке,— жалуется упавшим голосом Валит.— Эх! Силеймен небось в прохладной комнате с Канбийке заигрывает, разве им понять, как мы здесь устали и с голоду валимся. Недаром говорят, сытый голодного не разумеет.

«Как это могут два взрослых человека — и играть», — не понял я тогда слова Валита.

Валит неожиданно, будто подавился, зашелся кашлем.

Я останавливаю лошадь.

Откашлявшись, обессиленный, он обращается ко мне как к ровеснику:

— Шора, ты не обижайся на мои слова, это я со злости. Теперь уже и не думаем, что говорим,— он словно бы оправдывается передо мной.

Я не знал, что мне ответить. «С Канбийке заигрывает», «Ты не обижайся, что я так сказал...» Что я мог понимать тогда?

«Случится-то корова тайно, да отелится на виду», — говорят в народе. По-сказанному и вышло: зимой того года стряпуха Канбийке родила девочку. Этот слух прошел по всему аулу. Ребенок был светлый-светлый, точно как Силеймен. Несмотря на это, большого удивления не было, люди никого не осуждали: до того ли им было по тем временам? Да и власть была в руках таких, как Силеймен. Попробуй что-нибудь скажи! Они в ауле выбирали красивых женщин, пугали Сибирью — и что хотели, то и делали с ними.

И хотя Валит в тот день, страдая от голода и немощи, в сердцах сказал правду, он осуждал себя за то, что не сдержался в присутствии ребенка. И сейчас, когда я вспоминаю этот разговор, я думаю о его большой порядочности: он мне потом несколько раз повторил: «Ты не обижайся на меня, что я так сказал...»

Когда мы наконец одолели еще один ряд на поле, Канбийке вывесила-таки флаг над дверью полевого стана. Увидев его, я от радости подпрыгнул на лошади:

— Агай, флаг повесили!

На посеревшее от усталости лицо Валита словно бы вернулась жизнь, он посмотрел веселее.

— Слава аллаху,— пробормотал он бескровными губами.

Лошадь будто поняла, что мы торопимся к долгожданной баланде, и тоже заторопилась. Дойдя до конца полосы, Валит, торопясь, распряг лошадь и сказал мне:

— Шора, отгони на ту сторону дороги, пусть до нашего возвращения попасется.— Он, бедный, даже забыл снять с лошади хомут.

— Агай, ты же не снял хомут,— подсказал я.

— Тьфу, посмотри-ка, забыл! Давай, братишка, сниму.— Пыхтя от напряжения, Валит снял хомут.

И мы отправились по заросшей дорожке в сторону полевого стана на обед.

Несколько раз Валит останавливался перевести дыхание. Показывая на свои колени, жаловался:

— Не знаю, отчего они так ноют?

Я шел рядом с ним, стараясь не забегать вперед.

— Вот уже месяц, как не брал в рот нормального куска хлеба, как тут не обессилеть... Вдобавок еще и этот кашель... Особенно сегодня мне почему-то плохо,— еще раз пожаловался Валит. Он с трудом передвигал ноги и почти все время теперь кашлял.

— Вы не заболели, агай?— спросил я его с сочувствием.

Валит промолчал.

Когда мы пришли на стан, Канбийке, закатав рукава, большим деревянным половником разливала из большого черного казана похлебку.

Мы с Валитом подошли к казану и смотрели на Канбийке как на самого важного человека в мире. Плеснув едва ли не меньше половины глиняной чашки похлебки, она даже и не взглянула на нас. Стряпуха не любила Валита: причиной тому была взаимная неприязнь Силеймена к Валиту.

Валита не жаловали из-за его прямоты. Если он видел неправду, то частенько не выдерживал, говорил при всех. Поэтому бригадир и держал его в онале.

Однажды Валит сказал Силеймену, что тот, кроме крика, ничего не знает, что в старые времена даже князья не кричали на своих рабов так, как он кричит на людей. Бригадир сильно рассердился и, подняв свою плеть, пообещал:

— Ты дожدهшься, я тебе обе ноги в один сапог вставлю!

— Нет, не умрешь ты своей смертью! Все надеешься на родственника из сельсовета? Да разве можно давать власть таким, как ты?! Сейчас мир на вашей стороне, если бы не это, я бы тебе показал! — разозлившись, ответил тогда Валит...

С тех пор Валит стал первым врагом для Силеймена. Бригадир рассказал о нем и своему родственнику Аждауту, председателю сельсовета. Силеймен и Аждаут были двоюродными братьями.

— Надо было его отстегать хорошенько, чтобы в следующий раз рот не разевал, кабан проклятый! — посоветовал председатель.

С того дня и пошло: они словно поклялись со свету сжить Валита.

Отныне и Канбийке стала косо смотреть на Валита. Когда разливала еду, ему наливала одну жижу. Валит это видел, но из-за похлебки не решился ругаться с женщиной. Перетерпел. А сегодня не выдержал, взял чашку и вяло сказал:

— Канбийке, откуда в тебе столько злобы ко мне? Что я сделал тебе плохого? Хоть бы аллаха побоялась...

— Что он там болтает? — угрожающе произнесла стряпуха, подняв половник вверх.

— Вот уже сколько дней ты даже из похлебки льешь одну воду, нет в тебе аллаха, Канбийке, — повторил Валит, отходя от казана.

Канбийке взвилась:

— Ты посмотри, что этот наглец говорит, а! Хочешь сказать, что я тебя специально морю голодом?!

Есть, есть такое: слабый при виде более слабого торопится показать силу.

Стряпуха, глядя на беззащитного больного человека, тоже решила показать себя и кричала так, будто ее кто ударил.

Все мгновенно притихли. Никто не решился сказать: «Канбийке, он же тебе ничего не сделал, а только сказал правду». Уставившись в свои глиняные чашки, каждый боялся лишь одного: а вдруг и его потом оставят без ба-ланды.

Пронзительный крик Канбийке оглушил Валита, перед глазами его все расплылось, он пошатнулся. Чашка с похлебкой чуть не выпала из рук. Стоявший сзади человек отвел беднягу в тень, к стене дома, посадил и сказал:

— Ах, Валит, что же поделаешь, если сейчас их время, ты посмотри, как она взорвалась. Что поделаешь, мы сейчас бессильны. Ешь не торопясь. Ну, я пошел, у меня много работы.

Валит, чувствуя себя подавленным, жалея, что связался с этой ведьмой, начал есть. Я присел рядом. Поев, он отдал мне свою чашку.

— На, Шора, отнеси, не хочу ее видеть.

Он сегодня даже не облизал, как обычно, ложку, не смотря на то что был очень голоден, — похоже, даже не почувствовал вкуса пищи.

Я отнес чашки и поставил их на большой стол возле очага, где складывали посуду. Искоса взглянул на стряпуху. Та исподлобья смотрела в мою сторону. Испугавшись, что она сейчас накричит и на меня, я поскорее вернулся назад. Валит все еще сидел, привалившись к стене дома и прикрыв глаза. Пусть немного подремлет, подумал я и потихоньку сел возле него.

— Пришел, Шора? — спросил Валит, не открывая глаз.

— Пришел, агай. Немного отдохни, — сказал я как взрослый человек, жалея его.

Валит промолчал. Я тоже не стал разговаривать, смотрел то на отдохавших в прохладе людей, то на гору. Люди, понурив головы, сидели молча. Каждый думал о том, как он проживет завтрашний день, и проживет ли. Тишину прорезало только жужжание мух. Вдруг все зашевелились и донеслось слово «идет». Это прозвучало как свист плетки. По очереди начали подниматься, только Валит не пошевелился. Я дернул его за руку. Но он словно не почувствовал. Тогда я потряс его за плечо:

— Агай, вставай, люди пошли на работу — и мы пойдем.

Я боялся, что за опоздание бригадир опять нас будет ругать.

Валит, как будто крепко спал, не шелохнулся.

В это время раздался грозный окрик бригадира. Я обернулся: подняв свою плеть, бригадир шел в нашу сторону. За ним, переваливаясь с ноги на ногу, семенила толстая, как бочка, Канбийке.

— Скорее вставай, агай! — закричал я что было мочи.

Валит с трудом открыл глаза и посмотрел на меня. Но не встал, лишь молча пошевелил губами, будто что-то хотел сказать.

— Силеймен идет! — еще громче закричал я.

— Ты посмотри, как этот саботажник разлегся, я тебе сейчас покажу, как вместо работы спать! — закричал бригадир и плетью изо всей силы полоснул Валита по голове.

Валит дернулся было, хотел приподнять ушибленную голову, но не смог, — голова свесилась на плечо.

— Ты посмотри, он еще притворяется! Вредитель! — Бригадир еще раз ударил лежащего человека.

Когда плеть со свистом вновь обрушилась на голову несчастного Валита, я, будто это полоснули меня, закрыл глаза и пронзительно закричал.

Когда же бригадир, распаляясь, вытаращив свои зеленые, как у ящерицы глаза с красными прожилками, зыркнул на меня и хотел в третий раз ударить плетью Валита, я с диким криком повис на его руке.

Силеймен хотел освободиться от меня, но я вцепился намертво. Наконец он больно разжал мои пальцы, и тогда я в бешенстве укусил его. Наверное, сильно укусил, потому что Силеймен сразу же подбросил меня кверху и резко кинул наземь.

К счастью, я упал не на твердую землю, а в траву и, подпрыгнув, как мячик, вскочил на ноги.

И сейчас удивляюсь, как достало у меня силы, ловкости. Откуда что взялось — у меня-то, еще не окрепшего, ослабленного голодом ребенка? Я не раскисал и продолжал кричать:

— О, люди, Силеймен убивает Валит-агая! Быстрее бегите сюда! — С этим я ринулся к помещению стана, надеясь, что кто-нибудь да и услышит.

Мой крик не понравился Канбийке, она пыталась меня остановить:

— Что ты кричишь, гаденыш! Прекрати!

Но я ее не слушал, метался из стороны в сторону и кричал, пока меня наконец не услышал наш аулчанин Карадау, смазывавший неподалеку колеса брочки. Он бегом бросился ко мне.

— Что случилось, сынок? — спросил он, ничего не понимая.

— Агай, скорее, там бригадир Валита избивает до смерти! — закричал я.

— Где? — спохватился Карадау.

— У задней стены дома.

Он тотчас же поспешил туда, я за ним.

Добежав, Карадау, огромный ростом и сильный, сразу же выхватил плеть из рук бригадира и несколько раз крепко стегнул ею Силеймена. Потом отшвырнул плетку далеко в сторону:

— Добиваешь умирающего человека, сын собаки! Нет в тебе аллаха! Кто тебе дал право убивать человека! Совсем обнаглел!— Он со злостью плюнул в сторону Силеймена.

До сих пор никто не то чтобы плетью, но и плохим словом не решался задеть бригадира, и сейчас Силеймен, размахивая в бешенстве руками, последней бранью стал поносить Карадау, угрожая ему скорой расправой.

— Перестань, Силеймен, по-хорошему говорю! Надо спасти умирающего!— пытался уговорить бригадира Карадау.

Но тот не унимался, рот его был полон желчи:

— Кто ты такой, чтобы меня трогать! Да я сейчас твои две ноги в один сапог воткну! Если я этого не сделаю, значит, я — сын собаки!— набросился он вновь на Карадау.

— Перестань!— еще раз предупредил его Карадау.

Но куда там! И тут бригадир схватил его за шиворот.

— Ах, если ты так!..— Карадау вывернулся и, крепкими руками взяв бригадира за ворот, стал душить.

Силеймен захрипел, руки его повисли плетью.

Канбийке завывала:

— Ямагат! Люди! Карадау убил Силеймена! Быстрее сюда!— и начала бегать вокруг лежавшего на земле бригадира.

Никто к ним не подошел — на стане мужчин уже не было. В тени дома лежали только две ослабевшие от голода женщины, но и на эти крики они даже не подняли головы.

Карадау отнес бесчувственного Валита на топчан в комнату, потом сказал мне:

— Сходи, сынок, принеси воды.

Я бегом вернулся с полной кружкой.

Карадау смочил пересохшие губы Валита.

— Валит, слышишь меня, Валит?

Валит был без сознания.

— Подождем немного, может, в себя придет. Да надо бы его в аул свезти...

Я смотрел то на Валита, то на Карадау. Мое юное сердце стонало и мучилось, если бы я мог, я и сам, не задумываясь, придушил бы бригадира. Эту мысль я носил с собой не то что несколько дней, а несколько лет. Может быть, и всю жизнь... Я думал — надо мне было совсем откусить руки этому зверю, чтоб неповадно было... Чувство ненависти не покидало меня до тех пор, пока я не узнал, что Силеймен умер.

Карадау долго сидел, задумавшись, возле Валита. Крутил одну самокрутку за другой и курил, курил. Потом встал и начал ходить по комнате, разговаривая сам с собой. С улицы доносился каркающий голос Канбийке. Силеймен уже очнулся, но не решался войти в дом, боялся Карадау. «Ко мне не подходи, подойдешь, не говори, что не слышал, — задушу», — боялся, что Карадау тут же выполнит обещанное.

— Канбийке, пусть кто-нибудь сбегает в Совет, найдет Аждаута. Он Карадау быстро в район отправит. Теперь его место только в Сибири. Гнить собаке там! — выкрикивал Силеймен на улице.

— Сибирь... Ты и твой родственник привыкли Сибирью людей запугивать! Вы стали хуже сына мурзы Тогана — Мурзабека, — пробурчал себе под нос Карадау, услышав слова бригадира. — Нет, я в вашу Сибирь не поеду. Если и поеду, прежде хоть одного из вас отправлю на тот свет. А потом еще подумаю, ехать ли самому в Сибирь. — Он опять прошелся по комнате, вернулся к Валиту, положил руку ему на лоб. Потом, будто что-то решив, сказал громче: — От ожидания толку нет, надо что-то делать. Не похоже, что он быстро придет в себя. Давай-ка отвезу его домой, в аул. — Карадау говорил, словно бы советуясь со мной. — И о себе надо подумать. А то другие прежде подумают.

Сказав так, Карадау подтянул тонкий ремень с медной бляшкой на поясе, надвинул войлочную серую шляпу на лоб и, посмотрев на меня, заключил:

— Ты, сынок, посиди тут. Я быстро запрягу лошадей. Мне теперь в ауле оставаться нельзя, эти собаки от меня не отстанут. Но Валита надо отвезти домой. Если ему и не суждено выжить, пусть умрет дома. А собаке Силеймену его преступление даром не пройдет. Жизнь долгая... Она сторицей возвратит. — С этими словами Карадау вышел из комнаты.

Я оставался возле лежавшего на деревянном топчане Валита. Через несколько минут Карадау подогнал к дому арбу.

— Совсем обессилел, бедный. Легче воздуха стал — а какой могучий джигит был. — Карадау поднял Валита и перенес его на арбу.

Услышав, что бригадир до полусмерти избил Валита, бросив в поле культиватор, к стану прибежал еще один наш аулчанин, Амит. Глядя на бесчувственного Валита, он прослезился.

— Да-а, на свете сейчас хозяйничают негодяи вроде Силеймена. Он же убил бедного Валита, — горестно прошептал Амит, вытирая глаза.

— Амит, хватит того, что я сделал, ты его не трогай. Я эту сволочь без всякой пощады отхлестал плетью. Совсем обезумел, чуть не придушил негодяя. Вот сейчас отвезу бедного Валита домой и свои дела начну устраивать. Мне надо быстрее уехать из аула. Ты пока этого никому не говори. У меня к тебе просьба, Амит. Присмотри за моей семьей. Дай аллах, случай подвернется, я их заберу. Ну, давай, счастливо оставаться, я поехал. А то Аждаут с милиционером могут нагрянуть. Да, Амит. Пока зять этого мальчика в стан не прибудет, присмотри и за сыном Имамали, — попросил он, не забыв в суматохе про меня, и арба тронулась.

Мы с Амитом долго глядели вслед удалявшейся арбе.

Там, чуть ссутулившись, сидел огромный человек в большой войлочной шляпе. Огромный, бессильный человек.

Кто знает, о чем в эти минуты думал Амит, я же гадал, вернется ли Валит работать в поле. Я и подумать не мог, что видел Валита в последний раз.

Через два или три дня мы в степи услышали печальную весть.

Валита жалели все, но один человек ходил как ни в чем не бывало. Силеймена не мучила мысль, что он виноват в смерти Валита. Наоборот, не стесняясь, рассуждал вслух, обвинял умершего: мол, он симулировал, вредил, а когда работал в поле, нарочно портил ряды кукурузы. Еще добавлял, что Валит, такой-сякой, оскорблял плохими словами его, бригадира, человека, который душой стоит за советскую власть...

Люди молчали и молча спешили скорее уйти подальше от бригадира. А тот чувствовал себя правым,

никого не сторонился, ему и в голову не приходило, что он убил человека. И никто не сказал Силеймену, что он убийца. Как говорят ногайцы: если возле хана свой человек, то твоя лодка и по суше поплывет. У Силеймена был свой человек при власти — вот и попробуй с ним поссориться...

Да разве только эта жертва была на совести Силеймена и Аждаута! Многих, многих они безвременно отправили на тот свет. Одних невиновных, которые разоблачали их, говорили слова правды, с грубо приклеенным ярлыком «вредитель», «саботажник» они отправляли в Сибирь, других сжили со света здесь, в ауле...

В тот день Силеймен смотрел на меня как на заклятого врага. Если бы рядом не было Амита, наверняка набросился бы с руганью, а может, и с плеткой. Но возле меня люди, и он ограничился словами:

— Упрямяк, как отец. И тебе не повезет, гляди, вслед за отцом отправишься. Таким только одна дальняя дорога — в Сибирь!

— Перестань, Силеймен. Как можно такое говорить ребенку, а? — перебил его Амит.

— Да разве он ребенок! — зло отрезал бригадир.

— Пошли, сынок. Что с ним связываться, он так или иначе истолкует все по-своему, нам во вред, — сказал Амит и увел меня в дом, подальше от глаз Силеймена.

Время залечивает раны, заставляет многое забыть. Аулчане забыли и про местного «аллаха» Аждаута. Но если скажем, что его забыли все, мы будем не правы. Его помнят потомки многих безвинно погибших людей, таких, как Валит. Наши люди не умеют долго хранить обиду, они уповают на то, что аллах отомстит виновному сторицей. И посейчас в нашем ауле живут потомки Аждаута и Силеймена. Никто с них не спрашивает за грехи предков. Да, человек многое прощает...

Бригадир сначала не хотел отпускать Амита на похороны Валита. Но тут взбунтовались даже женщины, и Силеймен испугался, уступил. Амит выполнил просьбу своего друга Карадау, наведаясь и к его семье. Три-четыре человека хоронили Валита. Вы спросите: разве не было больше людей в ауле? Я отвечаю: такое было время.

Карадау отвез в аул беднягу Валита, больше я его не видел.

В тот же вечер Аждаут приказал, чтобы Карадау доставили в Совет.

— Я эту собаку отправлю туда, где собак запрягают! — грозился он.

Но люди, присланные из Совета, дома Карадау уже не застали.

Карадау исчез на долгие годы. Жил он в горах, а вернулся в аул лишь после того, как Аждаута не стало.

Я встретился с ним, когда уже был взрослым парнем.

— Ва, ты тот мальчик, который жил в стане, когда я отвозил Валита? Машалла¹, большим джигитом стал! — искренне, как родному брату, обрадовался мне Карадау. Конечно, он уже не был тем великаном, которого испугался Силеймен, — передо мной стоял теперь пожилой, с согнутой спиной, медлительный человек. Длинные черные усы сделались белыми, поредили...

Вечером после отъезда Карадау Амит отвел меня к себе. Спать я лег рядом с ним. Долго не мог уснуть, перед глазами возникали то Валит, закрывший голову от удара, то Силеймен. В ушах слышался свист плети. Стараясь прогнать мучительные видения, я сильнее зажмурился, но это не помогало, и я, прижавшись к Амиту, спросил:

— Акай, как себя чувствует Валит?

— Спи, сынок, все в руках аллаха. Думаю, он поправится, — ответил Амит и погладил меня по голове.

В ту ночь мне снились ужасные сны. Волки, раньше появлявшиеся вдалеке, теперь выли у самых дверей. Потом они набросились на наших лошадей, которых мы с Валитом впрягали в культиватор. Огромный серый волк вцепился лошади в заднюю ногу... Я с криком проснулся.

— Скажи «бисмилла», сынок, — сказал Амит и крепко прижал меня к груди...

¹ М а ш а л л а — возглас одобрения.

На следующий день чуть свет я уже снова отправился в поле на культивацию, но не с Валитом, к которому я так привык, а с молодым парнем по имени Хусин.

Хусин был красивым и стройным, белолицым, с тонким орлиным носом. Утром он пришел, разбудил меня:

— Вставай, братишка. Теперь мы с тобой вдвоем будем работать. Ты меня знаешь? Мы с тобой с одной улицы. Я сын Айшат.

Я с большим трудом разлепил глаза, посмотрел на говорившего и, конечно, узнал его. «Ва, это же тот Хусин, который убил самого богатого и сильного человека нашего аула, Карабая», — сообразил я и от неожиданности даже вздрогнул всем телом.

Тут в комнату вошел Амит и сказал мне:

— Шора, в поле с Хусином вместе пойдете. Слушайся его, он тебе как брат. Вставай, умойся и поешь. Теперь ты с ним будешь работать.

В те времена мы, дети, смотрели на Хусина, убившего могучего Карабая, с трепетом. Потому-то я и вздрогнул, увидев его.

Хусин... Я буду работать вместе с Хусином, который убил известного на всю Кубань богача Карабая. Как же так?.. Неужели это правда? Я не верил своим глазам, то закрывал, то открывал их. Но высокий красивый черноглазый парень не исчезал. Неужели это действительно он, знаменитый Хусин!

Отец рассказывал мне историю убийства Карабая.

В ауле об этом в свое время много говорили. Вспоминают и в наши дни.

Карабай (Черный бай) не был ни мурзой, ни даже просто человеком знатного рода.

Начинал нищим, но разбогател на грабежах, так говорили люди.

В молодости Карабай был конокрадом. По ночам рыскал голодным волком по аулам, крал лошадей, перегонял и продавал в других местах. Как говорится в народе, кто ворует — у того скота много. Так Карабай и разбогател. Потом он до того втянулся в это грязное дело, что, если за день ничего не украл, не мог спокойно уснуть. Рассказывали, что в такие ночи он воровал из ограды соседей колья, хотя бы один — да украдет. Кто

знает, может, и это правда. Человек ведь ко всему привыкает. Привык, вероятно, к воровству и Карабай.

Кто не видел света, и днем зажигает лампу, — ногайцы любят эту поговорку. И Карабай, разбогатев, не здоровался ни с ханом, ни с бедняком. Даже с мурзой аула, самим Мурзабеком поссорился. Взял себе двух жен, завел батраков. Нищий разбогатеет — и с братом разругается, говорит мой народ. Карабай захотел стать хозяином аула. А в это время уже была революция, устанавливали новую власть. Народ выбрал в правление достойных, образованных представителей. Малик, сын Янбека с нашей улицы, стал первым председателем Совета в нашем ауле, первым представителем новой советской власти. Справедливый, честный был человек. Поэтому аул и выбрал его головой.

Богач с народом не согласился. Его возмутило то, что ему предпочли какого-то нищего. Демонстративно отказался выполнять постановления Совета. Малик вызвал Карабая и пристыдил его. Это богачу не понравилось:

— Кто ты такой, чтобы мне указывать! — заявил он председателю.

— Меня выбрал народ, чтобы я проводил в жизнь решения новой власти, — так ответил Малик.

— Я тебя не выбирал, я тебя и не признаю, — ответил богач, и с того момента они стали заклятыми врагами.

«Головы двух баранов в один казан не умещаются, или я, или Малик», — решил Карабай.

Вечером он выпил с друзьями, вышли на улицу. Дождавшись в укромном месте Малика, который возвращался с заседания правления, они, как барана, зарезали его кинжалом.

У Малика остались сын и дочь.

За убийство председателя Совета Карабая не судили: он кому надо дал взятку, да еще отдал за пролитую кровь положенную древним обычаем плату — кун, — и так и остался на свободе. Конечно, в другое время такое Карабаю даром бы не прошло. Но тогда новая власть только утверждалась в крае, на аулы совершали набеги остатки белогвардейских войск, все было шатко, неспокойно. Пользуясь этим, Карабай отправил людей к родным и близким Малика со словами: «По обычаю предков, я согласен заплатить за пролитую кровь кун. Обязуюсь также воспитать и содержать сирот, мальчика

и девочку, до совершеннолетия». На том дело и кончилось. До времени, правда.

Плата за кровь. В давние времена восточные народы называли ее — кун. У нашего народа существовала даже пословица: «Кун раба — невысок». Да, когда убивали бедного, размер куна и впрямь оказывался невысок. Это был страшный обычай. Трудно понять, как и чем можно оплатить смерть человека! Тем не менее до установления советской власти у нашего народа, как и у некоторых других, этот обычай существовал. Богач за убийство мог заплатить — и оставался на свободе, бедняка же за убийство ссылали в Сибирь.

Хотя от пролитой крови иногда и откупались, в то же время у нашего народа существовал обычай кровной мести. Родственники убитого клялись отомстить убийце. Если у убитого оставался сын, кровная месть становилась главной целью его жизни.

Карабай за убитого председателя Малика отдал три коровы, два вола и одного ездового коня. Кроме того, он обязался содержать сирот — сына и дочь убитого. Этим он хотел откупиться — да не вышло. Чуть повзрослев, сын Малика отомстил убийце отца.

Хотя, кто знает, думал ли юноша накануне, что именно в этот день случится неотвратимое...

В теплую осеннюю ночь в ауле устроили большой той, свадебный праздник. На свадьбу пришел и юный Хусин: он обязан был присмотреть за своей красавицей сестрой Гульбахар.

Свадьба была в разгаре. Юноши и девушки танцевали во дворе. Хлопушки разрывали тишину ночи. Нежная мелодия гармони, казалось, привлекала на праздник всю округу. Слышались возгласы: «Карс-карс!» И танцующие юноши волчком вертелись в тесном круге зрителей.

Девушки в легких цветастых платьях плавно плыли в танце.

В теплом ночном воздухе витал запах степной полыни, иногда слышался цокот конских копыт.

Хусин появился на свадьбе, когда та была в самом разгаре. Он оглядел танцующих, затем отыскал взглядом Гульбахар — и сразу успокоился, только сердце слегка защемило: сестра, хоть и красавица, стояла с краю, так и не отважилась выйти на середину круга —

помнила, что сирота. Но рядом с ней... Тут настроение парня поднялось: неужели это Юлдыз? Да, она. Стоит рядом с его сестрой...

Юлдыз (это имя означает «Звездочка») едва исполнилось шестнадцать лет, она совсем недавно начала появляться на свадьбах. Жила на одной улице с Хусином, утром и вечером ходила по воду и часто украдкой бросала взгляды в сторону его дома: увидит его во дворе или у калитки — и сердце готово выпрыгнуть из груди, ноги прирастают к земле. Так бы и стояла с утра до ночи... Но что толку, Хусин не замечал девушку...

Однажды теплым летним вечером Юлдыз с ведрами спешила домой.

— Куда так торопишься, Юлдыз? Случилось что?

Девушка, вздрогнув, обернулась и увидела Хусина. Некоторое время от смущения она не находила слов, смотрела в землю. Потом, набравшись храбрости, тихо сказала:

— А-а, это ты, Хусин?

Мягкий голос Юлдыз показался Хусину сладким голосом сказочной красавицы. Он не удержался и подошел ближе.

— Что ты сегодня так поздно пошла на реку?

— С прополки поздно вернулась, Хусин. А ваш участок ведь рядом с нашим, верно?

Может, они еще долго бы говорили, но на дороге показались два парня.

Девушка сразу отошла от Хусина и прибавила шагу.

— О, Хусин, со свидания возвращаешься? — пошутил один из парней.

— Да нет, случайно встретились.

Хусин растерянно посмотрел на него и пошел прочь. Он был раздосадован, что ребята помешали ему поговорить с Юлдыз.

Юлдыз, ни разу не обернувшись, торопливо ушла.

«Что это со мной? Первый раз, что ли, ее увидел?» — думал он, стараясь успокоить себя. Но мысли о Юлдыз преследовали его весь вечер, пока он не погрузился в сладкий сон.

Он думал о девушке и утром. Проезжая мимо дома Юлдыз, надеялся увидеть ее. «Может, они уже уехали в поле?» — спрашивал он себя и не сдержался, спросил об этом у сестры, как будто она могла знать.

Гульбахар посмотрела на него с интересом, но ответила сдержанно:

— Видно, уехали. Они же не ждут, как мы, пока солнице поднимется.

И в поле Хусин то и дело бросал взгляды в сторону участка отца Юлдыз Кемата. Заметив цветастое платье девушки, Хусин наконец-то успокоился.

А вечером, глядя, что семья Кемата погружается на арбу, сказал сестре: «Давай собирайся, едем».

С того дня два юных сердца потянулись друг к другу. Юлдыз тогда шел четырнадцатый, а Хусину пятнадцатый год...

Хусин поднял голову и еще раз посмотрел в сторону девушек. Наконец Гульбахар тоже увидела брата и шепнула подруге. Сердце Юлдыз встрепенулось...

— Ты уже здесь, Хусин? Что ж ты в круг не выходишь! — к юноше подошел его друг Межит. Взяв Хусина за локоть, он подвел его к парням, которые стояли вокруг танцующих и азартно хлопали в ладоши. — Стань вот здесь, сейчас будешь танцевать. Я уже успел два раза станцевать орду.

Хусин подвернул рукава черкески и начал вместе с остальными усердно хлопать в ладоши.

Парень по имени Шапай, из нашего с Хусином квартала, выскочил внезапно в круг и с криком «Каре» («Хлопайте») закружился в огненном танце.

— Что за человек, не даст другим станцевать, — недовольно заметил Межит, он-то хотел вытолкнуть в круг Хусина.

— Ничего, Межит, пусть покажет себя, куда спешить, — успокоил Хусин друга.

Шапай станцевал блестяще.

— Выходи быстрее, давай! — воскликнул Межит, подтолкнул Хусина, словно боясь, что кто-то другой займет его место. — Иди быстрее!

Оказавшись в середине круга, Хусин стеснительно направился к девушкам. Он видел Юлдыз, и сердце его учащенно билось. Юлдыз сделала уже шаг навстречу — но тут же перед Хусином предстала совсем другая девушка, спеша перехватить его. Хусин огорчился, но иного выхода не было, и он пустился в танец. Ораду он исполнял мастерски: его легкое, ладно скроенное тело кружилось так быстро, что казалось, он не танцует, а летит. Друзья не жалели ладоней, а женщины, глядя на стройного гибкого парня, начали переговариваться.

— Ла-а, чей это парень, который так хорошо танцует? — с одобрением спросила одна.

— Да сын того несчастного, убитого Малика, — вдруг пренебрежительно отозвалась другая.

Услышав эти злые слова, Хусин споткнулся, кровь ударила в голову.

— А мой отец его в люди вывел, — продолжал тот же голос. — Да, заработал парень на крови своего отца, вся одежда на нем — от нас. А то куда бы ему на танцы!

Словно стрелы вонзались в сердце юноши.

Хусин посмотрел в сторону женщин — и в свете подвешенной к ветке дерева керосиновой лампы увидел старшую дочь Карабая.

Но он не прервал танец, не доставил удовольствия врагам отца. Кончив танцевать, он поклонился девушке и вернулся к Межиту.

Его трясло как в лихорадке. «Значит, на крови своего отца и за счет доброты ее отца я стал человеком...» Обида молотком стучала в висках.

— Что с тобой, Хусин? — спросил Межит, заметив, что его друг мечется, не может найти себе места.

Хусин ничего не ответил. Он не знал, что делать, но надо было что-то делать... «Может, подойти к ней и заставить взять свои слова обратно? — подумал он, но тут же остановил себя. — Нет, так нельзя. Наивно рассчитывать, что я услышу что-нибудь кроме насмешек, оскорблений, а то и крика. Разве пристойно мне, мужчине, браниться с женщиной?» Так рассуждал он, но оставаться на свадьбе все равно уже не мог. Сказав Межиту, что ему необходимо отлучиться, Хусин поспешил домой.

Удивленной его ранним приходом матери он объяснил, что разболелась голова, и не раздеваясь бросился на кровать. Противоречивые мысли долго не давали ему уснуть.

Время подошло к полуночи, пропели первые петухи. Но Хусин не мог отогнать печальные, тревожные, жестокие думы.

«Может, сейчас же пойти и убить Карабая?»

В отчаянье он несколько раз вскакивал с постели и тут же ложился опять, прислушиваясь к тому новому, что происходило в нем.

«Успокойся, — словно говорил ему внутренний голос. — Конечно, надо отомстить, но не торопись и не го-

лыми же руками — люди ведь и засмеют. Надо, но чтобы без осечки, чтобы до смерти...»

— Я должен отомстить за отца, — словно давая клятву, вслух произнес Хусин.

Рано утром он уехал к дяде в Кушкен-аул.

— Что случилось? — обеспокоенно спросил раннего гостя Янбек. Как известно, слишком ранний гость не к добру.

— Да все нормально, дядя. Просто решил поведать вас, — объяснил Хусин, почувствовав, что тот встревожился.

— Ну, тогда хорошо. Как здоровье моей сестры? — облегченно вздохнул Янбек.

Потом они вместе позавтракали. Дядя расспрашивал Хусина про аул, интересовался жизнью односельчан.

— Председателем Совета все тот же Саду? В прошлую пятницу я его видел в райцентре. Просил, чтобы он присмотрел за тобой.

Хусин думал, с чего начать разговор, и поэтому был рассеян, слушал Янбека без особого внимания. Почувствовав, что племянника что-то беспокоит, дядя спросил:

— Хусин, по-моему, ты хочешь мне что-то важное сказать?

Хусин не нашелся, поперхнулся, у него задрожал подбородок.

— Говори, братишка, не скрывай, — подбодрил Янбек парня, догадываясь, что известие будет неприятным.

И Хусин, волнуясь, рассказал дяде горькую правду.

— Пролить кровь нехорошо, племянник, — Янбек покачал головой. — Да и времена изменились.

У Хусина чуть сердце из груди не выскочило.

— Дядя, мне нельзя кровь проливать, а таким людям, как Карабай, можно, да? Потому что им разрешается убийство человека оплатить кровью безвинного скота, так, что ли? — скороговоркой выкрикнул он.

«Мало этим собакам, что убили отца, так еще нороят надругаться над юношей, который только-только вырастет, еще уважение людей заслужить должен. Значит, получается — он человек лишь благодаря их подачкам! Ах, сволочи! Такие слова не то что сердце

поранят, но и камень расколют», — с горечью думал Янбек, но, стараясь успокоить племянника, сказал:

— Это нелегко — убить человека, большую беду на себя накличешь. Поэтому, братишка, возьми себя в руки, успокойся. Сейчас новая власть крепко на ноги становится. Она не простит таким, как Карабай, содеянное ими зло. Подожди, не надо кипятиться.

Но Хусин уже не слышал этих слов дяди, взгляд его был прикован к висящему на стене ружью.

Молчание племянника Янбек расценил по-своему. Он решил, что юноша внял его уговорам. Поэтому еще раз попросил племянника:

— Хусин, сегодня заночуешь у нас, благо спешных дел у тебя в ауле нет. У меня-то работы больше, чем волос, да еще из района кто-то приезжает. Я уйду в Совет, а ты не спеша, попей еще чаю, отдохни, погуляй по нашему аулу.

— За меня не беспокойся, дядя, занимайся делами, я, наверное, и вправду заночую, — ответил Хусин.

— Ну вот и хорошо. — Дядя торопливо вышел из дома.

Потом Янбек не раз укорял себя за свою поспешность, что по-настоящему, по-мужски не поговорил с юношей.

Оставшись один, Хусин снял со стены ружье, внимательно осмотрел. «Ружье хорошее, а патроны где интересно?» — подумал он и, повесив ружье на место, начал соображать, где в доме могут храниться патроны. В тот момент, когда он хотел выдвинуть ящик стоявшего в углу старого комода, в комнату вошла жена дяди.

— Племянничек, что ж ты дома один-одинешенек сидишь, пошли, я тебя чаем напою, — сказала она и увела Хусина на кухню.

Есть совершенно не хотелось, но ради приличия Хусин залпом без хлеба выпил чай и встал из-за стола. Он хотел поскорее найти патроны.

— Я сегодня поднялся очень рано, голова что-то болит. Пойду в ту комнату, прилягу, — сказал он тетке.

— Иди, дорогой, только я сейчас кровать расстелю, — ответила женщина.

Как только за хозяйкой закрылась дверь, Хусин быстро осмотрел ящики комода и ничего не нашел... «Где же патроны? Не может быть, чтобы их не было. Не станет же дядя хранить ружье без патронов, правда, с тех пор как он стал работать писарем в Совете, на охо-

ту ходит редко. Все равно должны быть. Вот только где?» Юноша внимательно осматривал комнату. Взгляд его остановился на висевшей у двери большой черной бурке. Он вскочил со стула и снял бурку. Под ней на гвозде висели патронташ и обрез. Хусин от удивления рот открыл, когда увидел обрез. Взял его в руки, внимательно осмотрел. «Раньше у дяди обреза не было, может, дали, потому что в Совете работает?» — подумал юноша. Патроны к обрезу были тут же в патронташе. «Хорошо, что обрез... Повешу под чекмень — и днем могу уйти», — решил Хусин. Он взял три патрона, подумал, что достаточно. Затем надел черкеску, спрятал обрез под нее. Осмотрел себя, не заметно ли со стороны, что он прячет оружие. «Нет, не заметно, — решил. — Да и кто обратит на меня внимание?» Ему хотелось быстрее уйти домой.

— Оставайтесь с миром, — попрощался он с хозяйкой, — я уйду. Совсем забыл, вместе с другом я должен быть вечером на свадьбе.

— Ля-а, племянничек, кто же так делает? — расстроилась та. — Разве можно так скоро уходить! И дядя твой рассердится на меня, что я так рано тебя отпустила...

Хусин не слышал уже этих слов, он спешил домой. Спешил отомстить за отца...

Весть о том, что сын Малика Хусин убил Карабая-богача, потрясла весь аул. По поводу кончины Карабая, честно говоря, в ауле мало кто горевал. «Отомстил за отца, храбрый парень», — говорили многие. Но все же новая власть не одобрила действий Хусина. Приехал человек из района и увез его с собой. Допросили. Хусин рассказал все как было. Учитывая несовершеннолетие юноши, его осудили на два года. Так, в свои неполные шестнадцать лет, Хусин отомстил за своего отца...

Это только небольшое из тех разговоров, что я в детстве слышал про Хусина.

В первый день работы с Хусином я, как и при Вали-те, почти не оборачивался назад, к напарнику, который держал рукоятки культиватора. Внимательно следя за

полосой, я старательно подгонял лошадь. Сам не знаю почему, я чувствовал какую-то робость.

— Шоратай, молодец,— сказал вечером Хусин.— Ты не срезал ни одного стебля кукурузы, хорошо управлял конем.

Я промолчал. Но от таких слов у меня, конечно, поднялось настроение.

Когда я укладывался спать, ребята в стане поинтересовались:

— Ну, как Хусин? Накричал на тебя?

— Нет, наоборот, похвалил,— похвастался я.

Некоторые поверили мне, другие нет.

— Рано радуешься,— сказали они.— Он еще кожу твою сдерет...

На следующий день Хусин разговаривал со мной как с ровесником, другом. После обеда, когда мы сели отдохнуть, он, поглаживая дрожащие на ветру молодые стебли кукурузы, сказал:

— Если б они быстро выросли, народ бы так не мучился. Ты видишь, братишка, как сейчас трудно людям. Сколько выстрадал наш народ...— и тяжело вздохнул. Потом поднял голову и, посмотрев на меня, добавил:— Кто не умрет, тому и этой кукурузы хватит. Через месяц-полтора урожай созреет. Как только початки молоком нальются, можно будет и жарить, и варить. Что опасно, Шора,— это переест. Изголодавшийся организм не сможет принять много пищи, умрешь. Ты слушаешь, братишка, что я говорю?— Последние слова он произнес раздельно, чтобы я получше понял.

Я, конечно, слушал его со всем вниманием. Слова Хусина потом подтвердились. Когда початки налились молоком, некоторые в ауле, наевшись их до отвала, так и не оправались.

— Понял, агай,— ответил я.

После этого дня, увидев, что Хусин разговаривает со мной как с братом, я перестал робеть в его присутствии и делился с ним своими детскими мечтами, мыслями. Сначала я поинтересовался:

— Хусин-агай, а почему бригадир Силеймен избил беднягу Валита?

Собственно, я хотел спросить, зачем бригадир убил его и отчего никто не заступился. Конечно, я выразился не очень точно, но как умел. Однако Хусин хорошо понял, что я имел в виду. Некоторое время он молчал, потом, будто рассердившись, заговорил быстро-быстро:

— От подлости избил, собачье отродье. Он избил слабого, больного человека. И в этот момент рядом не оказалось настоящего джигита. Такого негодяя, как Силеймен, надо бы убить без суда и следствия. Да, сейчас их время... Он, собака, работает, как будто ничего не случилось, более того, совсем с цепи сорвался, кидается то на одного, то на другого. Есть у него Аждаут в Совете, а то давно бы уже сам в тюрьме сидел. Но недолго таким негодьям в нашем ауле бесчинствовать. Про убийство бедного Валита некоторые написали в область. Рано или поздно, братишка, справедливость должна восторжествовать... Почему люди из района не замечают бесчинства шайки Аждаута, интересно? — И он помрачнел.

— Хусин-агай, а почему время ихнее? — спросил я.

— Сейчас они хозяева в ауле. Аждаут председатель Совета, другой его двоюродный брат — животновод в колхозе, а Силеймен — бригадир. Как видишь, вся власть у них в руках. Когда кто-то из них совершает преступление, другой его покрывает. Рука руку моет. На почетном месте должен сидеть честный, умный, это не место дурака, негодяя, говорят в народе, но сейчас в нашем ауле властвуют бесчестные, неумные люди. Пусти козла в огород, так говорят про таких людей. А что вытворяет другой родственник Аждаута, Ислам, — язык не поворачивается сказать. Сесть верхом на человека — слыханное ли дело? Даже мурзы так не поступали. Вот какая у нас теперь жизнь в ауле. Эти гады от имени новой власти творят свои грязные дела. Нашли прикрытие: мол, кулаки и их приспешники мешают новой жизни, идет непримиримая борьба... Все у них — кулаки и приспешники.

Я, честно говоря, в тот раз не понял, как это можно оседлать человека, будто он лошадь. Позже еще услышал про эту дикость. Односельчане с отвращением вспоминают о ней, когда говорят про то тяжелое время.

А было так. Однажды Ислам, напившись, улегся возле речки на бережку. Когда же, спустя некоторое время, он очнулся, увидел, что лошадь его через протоку перешла на островок посреди реки. Пока Ислам размышлял, как до нее добраться, на берегу показался Нарик из ямагата Орак, искал тут теленка. Ислам подзвал его и закричал:

— А ну, подкулачник проклятый, быстро перевези меня на тот остров, а то я тебя живо отправлю к твоему родственнику Манка в Сибирь!

Нарик понял так, что он будет лишь поддерживать Ислама, и согласился:

— Конечно, переведу. Сними только чуваки.

— Почему это я должен их снимать! — повысил голос Ислам. — Перевезешь меня на спине!

Нарик, словно его ударили обухом по голове, аж присел от неожиданности и испуга.

— Вставай быстрее, а ну, саботажник! — прикрикнул Ислам и хлестнул его плетью-камчой.

Вылупив от страха глаза, Нарик принял Ислама на спину.

Оседлав бедного Нарика, Ислам так и переехал через протоку.

Позор этот увидели пришедшие по воду женщины.

Говорят, что Нарик, конечно, боялся не за себя, а за свою семью. Боялся, что и его, как и старшего брата, вышлют вместе с семьей в Сибирь...

И Ислам, и Нарик давно уже покинули этот мир. Но одного из них вспоминают с отвращением, а другого жалеют...

Я опять спросил:

— А почему они хозяева?

Хусин молча смотрел то на меня, то на дальние горы. Потом снял с головы старую темную войлочную шляпу и, почесав бритую голову, ответил:

— Когда вырастают волосы, голова чешется, браток.

Стараясь сообразить, отчего это Хусин не отвечает на мой вопрос, я не спускал с него глаз, ожидая продолжения.

— А-а, ты говоришь, Шора, почему хозяевами стали? Да просто грамотных было мало, вот некоторых и допустили к власти. А те, в свою очередь, собрали около себя своих, таких же... Аждаут тоже окружил себя подхалимами, которые выполняют любую его волю. Людей поумнее он и близко не подпустит, подхалимы из местного начальства в район не сообщат, что он тут творит. Дрожат за свои места. К примеру, председатель колхоза Мурадасыл. Своим умом ничего решить не может, выполняет лишь то, что говорит Аждаут. Человек, у которого нет своего ума, всегда живет под властью другого. Однажды на собрании Мурадасыл должен был прочитать бумагу из района и по глупости начал читать

совсем другое — перепутал, не разобрался. Тогда встал Аждаут и сам повел собрание. Но Мурадасыла после этого позора все равно не освободили от должности, потому что Аждауту нужны люди, слепо выполняющие его волю, а не умные. Где нет собаки, там и лисица лает, говорит народ. Собрал Аждаут вокруг себя подхалимов — те и восхваляют его... Видишь, братишка, какие дела... Как потом все сложится — посмотрим. Но так не может долго продолжаться... — Хусин говорил медленно, словно пытаюсь объяснить мне, как все это получилось с Аждаутом, с Силейменом, но сейчас я думаю, что он больше для себя говорил, сам пытался понять, что же происходит в ауле и в районе. Надеялся, может быть, и на Москву: там, мол, разберутся в делах нашего аула, тогда и переменится все к лучшему. А на что еще было надеяться?

— А-а-а, — протянул я, как будто все понял, хотя то, что он говорил об аульном начальстве и подхалимах, плохо доходило до меня.

— Олла, билле, Шора, а ты любознательный! Из тебя что-то да получится! Хорошо, когда стараешься узнать то, что непонятно. А теперь давай-ка на лошадь, мы с тобой засиделись, — как будто боясь, что я опять задам какой-нибудь наивный вопрос, на который нет ответа, сказал Хусин и поднялся с места.

Я быстро вскочил на лошадь, вывел ее на середину поля и погнал по полосе. Хусин затянул песню и взялся за рукоятки культиватора.

Лошадь была послушная, я следил, чтобы она не выходила из междурядья, а сам весь превратился в слух.

Кружит в небе орел,
Вольная птица, смелая птица.
А я гляжу на него с завистью,
Почему нет крыльев у меня?..

Хусин поет песню и смотрит на небо. Я думаю — что же он там видит такого интересного? — и тоже гляжу. Оказывается, высоко над нами кружит большая птица. Небо чистое, голубое, как вода нашей Кубани. И поэтому птица тоже кажется голубоватой. Я оборачиваюсь назад, смотрю на Хусина, а он все поет:

Не кружи надо мной, орел,
Сердце мое не тревожь,
Нет у меня крыльев, подобных твоим,
Сердце мое не тревожь...

В небе над нами кружит орел, тихо шуршат на ветру молодые стебельки кукурузы. Песня летит по широкой степи. И, словно вслушиваясь в обращенные к нему слова, кружит и кружит орел...

— С песней, браток, время быстрее летит, — говорит Хусин.

За нашей спиной, на уже культивированном участке, степной ветер колышет разноцветные косынки девушек, — они заняты прополкой. Девушки выносливые — терпят голод, довольствуются баландой, что варит Канбийке. А вот некоторые женщины совсем обессилели: прополочили немного — и садятся отдыхать.

Хусин отрывает взгляд от неба и смотрит назад, на девушек.

— Устали, наверное. Отдохнули бы немного, что ли...

Я тоже смотрю в сторону девушек.

— Шора! — говорит мне Хусин. — Видишь голубую косынку?

Я смотрю внимательно, но из-за дали не могу разобрать, которая голубая, которая серая. Не понимаю, как это Хусин умеет определить цвет косынки с такого расстояния!

Тогда я, конечно, не мог этого знать, узнал позже. Голубая косынка — это была его любовь, его Юлдыз.

Не суждено было им соединиться. Выжили Хусина из аула негодяи. Долго не выходила замуж Юлдыз, все ждала. Но не возвращался Хусин в аул. Началась война. Юлдыз вышла замуж за нелюбимого человека. Вся ее жизнь прошла в горе...

Я поглядываю на солнце: скоро ли обед? В животе уже урчит, сильно хочется есть. Утром я, как и все, выпил стакан черного чая с тоненькой и маленькой кукурузной лепешкой. Да не из чистой кукурузной муки, а с отрубями.

Я смотрю то на солнце, то в сторону полевого стана.

Ближе к обеду я уже почти не свожу взгляда со стана, надеясь увидеть вывешенный флаг. Наконец, подпрыгиваю на лошади, кричу:

— Вывесили, агай!

Стряпуха Канбийке смотрела на Хусина не так, как на Валита. Когда мы вдвоем подходили к ней, я видел, что она словно заискивает:

— Пожалуйста, братишка, сегодня я сварила густой суп. — И, доставая черпаком с самого дна казана, наливала Хусину побольше гущи.

Хусин, держа наполненную миску, не спешил отходить от стряпухи, ждал, пока она не нальет и мне. Проследив, чтобы тарелка и у меня была полная, он удовлетворенно говорил:

— Вот так-то, — и только тогда садился есть.

Хусин знал, конечно, что Канбийке подкармливает нас не из сострадания и доброты. Так он мне и сказал:

— Хитрая, ведьма! Ты думаешь, она старается из уважения ко мне? Как бы не так. Снаружи — улыбка, а на деле готова съесть. Ее этому Силеймен учит. Они боятся, если я разозлюсь — что-нибудь вытворю. Что ни говори, я же человека убил... — Помолчал, потом добавил: — Пусть боятся, сволочи, таких и убьешь — не прогадаешь. Они же убивают невинных! Пусть боятся, чтоб у них все внутренности ссохлись! Таких жалеть не надо, браток.

Хусин был умный, добрый и веселый, легкий в движениях. Еще он был хорошим певцом. За культиватором частенько слышался его голос. Я учился его песням, запоминал слова.

— Пой, Шора. Песня настроение поднимает. Кто поет — тот долго живет, — говорил он, подбадривая меня.

Некоторые куплеты я и сейчас помню наизусть.

У Хусина был хороший голос. Когда он пел, казалось, само поле поет. «Как такой добрый человек мог убить другого человека?» — мучил меня вопрос. Лишь повзрослев, я нашел ответ...

В те дни, когда я работал с Хусином, он рассказывал мне много интересного. Наверное, он хотел, чтобы я услышал и запомнил, а может, просто выговаривался, облегчал душу.

Мне, например, памятны такие его слова: «Э-э, Шора, мы говорим, что мир стал плохим. Это неправильно, не мир испортился, это злые люди портят его. Он кажется им тесным. Плохой завидует тому, кто лучше его, кто умнее. Вот я — совершил тяжкий проступок... Но мне ведь не то что человека жизни лишить, курицу зарезать не хочется. Эти плохие люди выводят других из себя, толкают на дурное...»

Вот он устал, садится и, посмотрев на виднеющиеся вдали белые вершины Эльбруса, говорит:

— Ах, сидеть бы сейчас там, у вершины Эльбруса, есть свежее масло и запивать айраном. Высокая гора. Наверное, с вершины все вокруг видно как на ладони...

Я с восхищением смотрю в сторону вершин и спрашиваю у Хусина:

— Вот ведь интересно, мы здесь чуть от жары не умираем, а там белый снег. Почему так?

Он не спеша начинает мне объяснять. Я слушаю. И сейчас, когда я вижу вершину Эльбруса, я вспоминаю Хусина и то, что он мне тогда говорил. Какие у него были крылатые мечты! И как несправедливо мало сбылось...

Хусин никогда не изменял себе. Такой уж был человек. Всю жизнь не мог терпеть несправедливости и всю жизнь боролся со злом. Ведь если бы он умел подлизываться, подлаживаться, разве ходил бы за культиватором? Нет, он был бы начальником, сидел бы на должности. Но он не мирился с такими, как Аждаут, и много раз открыто говорил об этом. Желая любой ценой выжить его из аула, Аждаут отправил Хусина работать в поле. Видно, рассчитывал, что, если Хусин заупрямится, откажется, можно будет объявить его саботажником и выслать в Сибирь. Но Хусин разгадал злой умысел и решил, пока будет работать в поле, разобраться, посмотреть что к чему...

Мы даже не успели закончить наше поле кукурузы, как пришлось расстаться. Хусин внезапно уехал, да вроде так далеко, что глазом те края не увидишь, и вестей о них не услышишь. Правда, перед отъездом он пришел со мной попрощаться. Поднял на руки, поцеловал, крепко обнял. Потрепал по холке свою белую кобылу, прижался к морде щекой, постоял немного и сказал:

— Белая кобыла — прекрасная лошадь, братишка. Видишь, голову опустила, все чувствует, как человек... Особенно разлуку... — Я удивленно смотрел на Хусина. Вдруг он оторвался от лошади, подошел ко мне и, положив руку на плечо, произнес: — Ну, Шора, будь здоров. Мне необходимо уехать из аула, иначе нельзя. Надолго ли, нет — кто знает. Но пока здесь хозяйничают эти собаки, мне возврата нет. Вчера ночью, ты уже спал в это время, я с Силейменом по душам поговорил: «Если еще раз тронешь кого — убью». Он аж затрясся. Большой

трус. Нет, боюсь, не вытерплю этого подлеца... особенно после смерти Валита. Да и с Аждаутом, сам знаешь, что вышло. В общем, Шора, я покидаю пока аул. Посмотрю и чужие края. Может быть, скоро вернусь, я думаю, все-таки найдется закон и для этих современных князей, рано или поздно призовут их к ответу...

Он снова несколько раз обнял меня.

Я заплакал.

А Хусин, пока не скрылся из виду, часто оборачивался и махал мне рукой.

О причине внезапного исчезновения Хусина из аула люди говорили шепотом. Тогда про такие вещи невозможно было говорить громко.

А было так. Днем на полевом стане кто-то прочитал в газете слова «Пусть вечно живет наш дорогой Сталин!», Хусин заметил: «Конечно, пусть живет, но неплохо, чтобы и мы по-человечески жили...» Не подумал, что его слова быстро станут известны... Канбийке срочно доложила Силеймену об услышанном, да и еще кое-что от себя добавила, присочинила. Тот, будто поймав жар-птицу, понес эту весть своему родственнику Аждауту и тоже от себя кое-что добавил, присочинил. А Аждауту только того и надо, тут же позвонил куда следует.

— Завтра-послезавтра сына Малика Хусина отправят туда, где запрягают собак. Там и сгниет, — хвастался вечером пьяный Аждаут в доме у своей любовницы Эминеш, которая была родственницей матери Хусина.

Недолго прожила Эминеш с нелюбимым мужем, рано овдовела, и новоиспеченный хозяин аула, запугав красивую женщину, принудил ее к сожительству.

Услышав его хвастливые слова, Эминеш испугалась. Она помнила о родстве и решила, что сегодня же вечером, еще до ночи, предупредит Хусина о нависшей опасности. Когда очень надо, человеку даже шайтан помогает, говорит народ. Так и Эминеш удалось найти повод уйти из дому:

— Давай, Аждаут, ложись, у меня сестра заболела, надо проведать, — сказала она пьяному мужчине, побежала к сестре Хусина и рассказала об услышанной от Аждаута угрозе...

После этого дня я думал, что никогда больше не увижу Хусина. Но правильно сказано: гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется. Хорошая по-

словица. Через одиннадцать лет мы с Хусином встретились вновь. Обрадовались друг другу, как братья...

Вечером, когда я сел ужинать, мама сказала:

— Сын Малика Хусин вернулся с войны, на одну ногу хромает, бедный.

— Хусин?!— Я вскочил с места.

— Хусин, сынок. Джигит всегда подвиг совершит. Он с детства был отважным, смелым. И на войне храбро сражался, вся грудь в медалях да орденах. Офицером стал.

— Погоны золотом сверкают,— добавил отец, который уже видел Хусина.

Я еле дослушал. Так и не поужинав, в одной рубашке, схватив войлочную шляпу, бегом бросился к дому Хусина. Там уже было полно людей, которые пришли поприветствовать воина. Все окружили его, о чем-то говорили, расспрашивали. Я, едва переведя дыхание, некоторое время растерянно переминался с ноги на ногу, затем подошел к сидящему на табуретке человеку в военной форме, взял его за руки и тихо сказал:

— Со счастливым возвращением, агай.

Хусин поднялся, оглядел меня с головы до ног. Потом, посмотрев мне в глаза, произнес:

— Извини, никак не могу вспомнить...

Не успел я объяснить, кто я такой, как он громко воскликнул:

— Неужели это ты, Шора?! О, ты большим джигитом стал!— Хусин еще раз оглядел меня и вдруг крепко обнял.— Вах, Шора, большим джигитом стал, молодец!— повторял он, не разжимая объятий.

Люди заинтересованно смотрели на нас. Хусин объяснил всем:

— Мы с Шоротой — давние друзья, чтоб в ваших домах всегда было счастье!— Обернувшись ко мне, добавил:— Шора, а ты не забыл, как мы вместе работали в поле?

— Не забыл, агай. Разве такое забывается!— ответил я радостно; у меня было такое чувство, словно вернулся старший брат.

— Каким джигитом вырос, а!— Он усадил меня рядом с собой.

— Хусин-агай, если бы я увидел вас в другом месте, то тоже не узнал бы. Вся грудь в медалях и орденах, и сами капитаном стали...— говорил я, отчего-то смущаясь... Душа моя была переполнена.

И в тот день, и позже Хусин не рассказывал мне, как воевал, за что получил боевые награды. Объяснил коротко: «Долг перед Родиной выполнил». Как ни спрашивали его, не в пример другим, он ничего не говорил про свои подвиги, не любил... Но, конечно, в ауле секретов не бывает — так или иначе, а люди узнали о его геройстве.

Когда я вернулся от Хусина, отец сказал:

— Видал, каким бравым офицером стал? Молодец сын Малика. С детства было видно, что героем вырастет. — Отец от всего сердца радовался, что Хусин вернулся, да еще с боевыми наградами. — Ты знаешь, сынок, сколько он мыкался по стране из-за негодяев Аждаута и Силеймена! «Советская власть — наша власть», — кричал Силеймен, а когда немцы наступали, подошли сюда — дезертировал. А Хусин, которого они хотели объявить вредителем, видишь, с чистой совестью выполнил свой долг перед Родиной, не жалел своей жизни. Вот, сынок, как бывает! Настоящих людей узнаешь в трудные дни... Пока Хусин бился с врагами, Аждаут воевал с нами, крестьянами. О, сколько они навредили аулу, не мне говорить! Да и не одному аулу — всей нашей власти! Вот они-то и были истинными вредителями! Уничтожили почти всех трудолюбивых крестьян, одно время даже некому было работать в поле. Пили, кутили, гуляли, пока не прикончили то, что отобрали у крестьян-работяг.

Слова отца долго не выходили у меня из головы, я задумался. Люди, которые в тридцатые годы кричали «наша власть», с приходом врага укрылись в безопасные места, желая сохранить свои жизни. Это я видел сам. И факт, что некоторые аульные «активисты» 30-х годов служили у немцев...

Опять мы с Хусином около шести месяцев работали вместе. Он был начальником караульного поста в заготзерне, а я грузил в вагоны мешки. Время после войны было голодное, каждый справлялся как мог.

— Шора, знаю, что трудно. Но все равно ты должен кормить стариков, отца и мать. Здесь хоть и немного, но дают муку, иногда отходы зерна. Как говорится, кто не боится пчел, мед кушает. Так что при зерне голодным не останешься. Даст бог, скоро все переменится к лучшему. Война кончилась, потерпи... — Так говорил мне Хусин, когда я жаловался, что трудно поднимать мешки.

Я следовал советам Хусина: терпел, не ныл, что тяжело. Я все время чувствовал поддержку Хусина, его плечо.

Когда собрали новый урожай, стало полегче, люди повеселели, а мы с Хусином снова расстались. Я уехал в город — поступать в педучилище. Тогда в аулах не хватало учителей. Юношей и девушек, окончивших семь-восемь классов, в педучилище принимали без экзаменов. Но если бы не Хусин, я бы, наверное, так быстро не решился уехать. Однажды, когда в ауле появился человек, набиравший студентов, к нам в дом пришел Хусин и сказал мне об этом.

— Как же мне быть? — спросил я его.

— Надо поехать, братишка. Не думай ни о чем, езжай. Если не сейчас, потом и вовсе учиться не захочешь. Повзрослеешь, семьей обзаведешься. Сейчас самый раз, — ответил мне Хусин.

— Иди, сынок, мы как-нибудь проживем, я пойду сторожем в колхоз. Нам много ли надо, корова есть, перебьемся. Иди учись. Знание — это свет жизни, — сказал и отец, успокаивая меня...

После моего отъезда Хусин долго не прожил в ауле. Женился на женщине из соседнего аула, переехал туда. Но все равно, несмотря на расстояние, разделявшее нас, мы изредка виделись. Не забывали друг друга. Когда я, окончив педучилище, вернулся в родной аул, он радовался, как мальчишка:

— Наш Шора учителем стал, машалла ему!..

Тяжкие раны войны укоротили жизнь Хусина. В начале шестидесятых он умер. Но люди помнят его. Когда заходит речь о мужестве, справедливости, аулчане вспоминают именно Хусина. Джигит умирает, имя остается, говорят про таких людей...

9

Я возвратился с поля в аул, когда на столе у людей появился хлеб нового урожая и голод наконец-то отступал.

«Пора тебе в школу, время подошло», — сказала мне мама.

Первого сентября, повидав в достатке тяготы и лишения взрослой жизни, я неожиданно вернулся в детство — подошло время идти в первый класс.

Учился я легко, с удовольствием.

После того как летом, по жаре, я работал полный день на культиваторе, сидеть и слушать учителя в прохладном классе или старательно готовить уроки дома для меня не составляло труда.

Отец очень хотел, чтобы я учился хорошо.

— Не богатство делает человека умным, умным делает учение. Богатство зачастую только портит человека. Вот у наших односельчан, у Муратали и Алима, было по тысяче овец, а они от жадности ни разу сытно не покушали. А что собирали в течение многих лет, отобрали у них в один день. Так что, сынок, грамотным будешь — и себе хорошо, и народу польза, — говорил мне отец, вдохновляя на учебу.

Мама, собираясь отвести меня в первый раз в школу, спела песню, которую слышала от своих старших подруг:

На бешмет гвоздику приколола,
Чтоб хороший запах был.
Тебе в руки книжку дала,
Чтобы с радостью читал...

Когда я в первый раз попал в школу, мне показалось, что больше здания, чем школьное, на свете нет. Раскрыв рот, я некоторое время рассматривал высокий потолок и портрет на стене. Что это портрет Сталина, я сообразил не сразу. После знакомства с нами директор школы показала на портрет и сказала:

— Дети, это наш великий вождь товарищ Сталин.

— Знаем! — крикнули несколько ребят.

Я же видел изображение Сталина впервые в жизни и с большим интересом рассматривал портрет. «Наверное, он великан... Вот ведь и учитель тоже говорит — «великий вождь», — предполагал я.

Школа была из красного кирпича. (Сегодняшняя школа построена позже, в 1936 году. В ней я тоже учился.)

— Пойдем, пойдем, мальчик, садись вот сюда, — повел меня учитель ко второй парте и ласково погладил по бритой голове.

В тот день я был одет по-праздничному. На мне была голубая рубашка с накладными карманами и черные бязевые штаны, на ногах сшитые из черного сафьяна чуйяки. Черную войлочную шляпу я повесил на вешалке возле дверей.

Мама, передав меня с рук на руки учителю Али, попросила:

— Ну, дорогой учитель, вручаю сына тебе. Аллах, после аллаха — ты. Пусть учится — будет таким учителем, как ты.

— Конечно, будет, Крымсаде, только пусть старательно занимается, — ответил учитель и, посмотрев на меня, добавил: — Хорошо будешь учиться, да?

Я кивнул в знак согласия.

Мечта моей мамы сбылась. Ровно через пятнадцать лет после того дня, как она высказала свою надежду, я пришел в школу учителем. И тогда, помню, мой старый учитель Али предупредил, что первый урок кажется молодому педагогу таким же трудным, как и в первом классе — ученику.

И первую книгу я увидел в тот свой первый школьный день. Это был букварь. Сначала учитель высоко поднял его, чтобы все видели, потом начал рассказывать. Я не отрывал глаз от букваря, затаив дыхание, слушал учителя. А сам думал — вот бы и мне подержать в руках! Да, это так: до того дня я ни разу в жизни не видел книги.

— Букварей на всех не хватит, поэтому на двух ребят я дам по одному, будете вместе читать. Скоро директор привезет еще, тогда всем достанется, — объявил учитель и пошел по рядам, раздавая буквари.

Мы с замиранием сердца ждали минуты, когда сможем прикоснуться к книге. Вдруг мое сердце вознеслось к небу, руки сами устремились к учителю...

— Это тебе, по очереди с соседом будешь читать, — сказал Али, протягивая мне книгу.

Я вскочил и, как хрупкий цветок, бережно принял букварь. Вытерев парту локтем, я положил его на чистое место. И я, и сидевший рядом мальчик больше не прикасались к нему, пока учитель не сказал, чтобы мы открыли наши книжки.

Этот букварь мы с Темирбеком, моим соседом по парте, проносили год, почти не запачкав. Лишь однажды Темирбек принес книгу в класс с еле заметной кляксой, — мне тогда показалось, что это грязь на моем лице, и я очень мучился.

Первая книга, первые буквы. Слова, которые мы составляли из этих букв: «мама», «отец», «Родина».

Иногда думаю, а не потому ли я полюбил так сильно книги, что именно мне первому протянул учитель букварь? Кто знает.

Как и первая книга, так и первый учитель остаются с нами навсегда, на всю жизнь.

Нашего учителя звали Али Ажимусаевич. Он учил нас грамоте, учил чувствовать прекрасное вокруг.

Учителям начальной школы в те годы приходилось нелегко. Не каждая семья отправляла детей в школу. «Будет учиться — русским станет, лучше пусть дома сидит», — говорили некоторые аулчане, и учитель должен был ходить по домам, терпеливо растолковывать что к чему.

Преподаватели разыгрывали для нас, детей, настоящие спектакли. Когда я был в первом классе, на новогоднем вечере показали спектакль «Карайдар и Кызылгуль». Там играл и наш учитель Али. Мое детское изображение уносило меня в будущее — я уже видел себя таким же учителем, как Али, и это я, а не он играл в спектакле прекрасного и влюбленного Карайдара.

В тот раз я решил во что бы то ни стало выучить всю поэму. Ее у меня, разумеется, не было, да и читал я еще плохо. И я рассказал обо всем отцу: и о поэме, и, конечно, о том, как учитель Али играл Карайдара. Я хотел, чтобы отец помог мне.

Отец знал эту песню, но не полностью, отрывками. Позже, когда я уже бегло, без запинок стал читать, он достал мне тоненькую книжку «Карайдар и Кызылгуль», хотя это было не так-то легко; в те годы книги в аулах не продавались. Ради меня отец купил ее, заплатив втридорога.

Я начал читать поэму, не торопясь. «Карайдар и Кызылгуль» — старинная песня, встречалось много незнакомых мне слов. Я спрашивал о них у отца, он старался объяснить мне непонятное.

Отдельные места поэмы я вскоре выучил наизусть и декламировал их перед друзьями. «Ты как настоящий йырау — певец», — удивлялись тогда ребята.

Это были мои первые опыты чтения песен наизусть. Я не успокоился, пока не выучил всю поэму. Помню, уже в третьем классе я декламировал полный текст в школе перед учащимися.

Но отец думал не о поэмах — он хотел, чтобы из меня вышел хороший счетовод. «Главное в жизни — знать счет. Тогда будешь знать что почем», — говорил он.

Поэтому дома он частенько заставлял меня складывать, вычитать и, когда я правильно и быстро отвечал, искренне радовался: «Ва, наш Шора арифметику отлично знает, хорошим счетоводом станет, даст аллах!» Если же я не мог быстро решить задачу, от всего сердца огорчился. Поэтому, чтобы доставить радость отцу, я усердно занимался и арифметикой. Еще в первом классе мог решать задачки и для второго. Думал, вот бы хорошо — стать счетоводом и исполнить мечту отца. Однако пока я рос, то ли авторитет счетовода понизился или что-то другое переменялось, но в старших классах я об этой профессии уже не думал.

Когда я успешно закончил первый класс и перешел во второй, мы переехали в горы; там же жила и моя единственная сестра, её муж работал на шахте. Поэтому мне пришлось учиться в другой школе. Я расстался со своими старыми школьными друзьями. С некоторыми из них я повстречался вновь в старших классах. А иных и вообще никогда потом не видел.

Темирбек, который сидел рядом со мной за партой в первом классе, погиб, подорвавшись на mine... Другой мой друг, Каирбек, остался без руки, стал инвалидом — тоже из-за немецкой мины...

А сейчас я хочу вспомнить о журчащей, рожающей чудесные мелодии нашей реке и о событиях, происшедших на ее берегу.

НЕ ВИДЕЛ РЕКИ ПРЕКРАСНЕЙ

Кубань, моя радость, сладость
детства.
Я рос на берегу твоём, и волны
Твои баюкали меня.
Ивы низко склонились к тебе
И нежно целуют воды твои.

1

Каждому, я думаю, родная земля представляется раем, а вода родной земли, естественно, самой вкусной водой в мире. И мне тоже родные места, родная вода кажутся лучшими на всем белом свете.

Да, не существует реки прекрасней, чем Кубань! Ее вода чистая, как выпавшая утром роса, сладкая, даже

и летом холодная, прекрасно утоляет жажду. Волна ее сверкает хрусталем под солнечными лучами...

Кубань и в наших местах, в предгорье, не слишком широкая, а в горах и того уже. Похожа на ручей, только течение очень быстрое. При желании можно перейти на другой берег, достаточно лишь подвернуть штаны.

Даже большая река начинается с малого истока, так же как большая дорога — с незаметной тропинки. Вот и наша речка берет начало возле снежных вершин серебристым ручейком. Добежав до предгорья, она разливается, делается глубже. Потому что с разных сторон вливаются в Кубань разные малые речушки и ручейки. У каждой речушки и ручейка есть свое название, они добавляют свой вкус в кубанскую воду, и вот так постепенно становится Кубань полноводной, глубокой, широкой рекой.

Я родился в верховьях Кубани. Как говорят ногайцы, я — кубанец. Вода Кубани — в моем сердце и крови, мелодия ее течения кажется мне колыбельной песней моей матери.

Кубань-река! Чего ты только не повидала! На твоих берегах кочевали куманы, табунами ходили кипчакские кони, тебя переезжали аланы. На твоих берегах выросли скифские курганы. И до сих пор находят в тех холмах могилы, а в могилах — памятники древней жизни, сохранившиеся за многие тысячелетия. Многого видела ты, Кубань!

А сколько песен сложено и спето про тебя!

Бродил я по берегам твоим и пил сладкую воду...
Много я видел рек, но не видал реки прекрасней,
Не видал, Кубань, такой реки, как ты...

Сегодняшняя Кубань, конечно, уже не такая, какой видели ее мои мать и отец. Родившись на ее берегах и прожив тут много лет, отец любил Кубань, рассказывал о ней много легенд и былей.

...Кубань, сынок, в мое время была не такой. Была глубокой, по берегам стояли густые леса. Весной она разливалась и затопляла луга. Вышедшая из берегов река чего только не приносила! Здесь можно было собирать дрова, много дров, чтобы хватило на зиму. Сейчас, видишь, Кубань обмелела, редко разливается. Вроде и немного лет прошло, а все изменилось неузнаваемо. Почему так, не знаешь, сынок? — спрашивал отец

и внимательно вглядывался в меня, будто желая понять, слушаю я его или нет.

Он был прав, сомневаясь, я его слушал невнимательно. Помню, замешкался, не зная, что и ответить.

— Видишь, сынок, человек сильнее всех. Лишь он один изменяет все на свете, — сказал отец, отвечая сам себе.

— Почему? — спросил я, не поняв, но заинтересовавшись.

— Эхе, наконец-то твои уши в моих руках. Слушай, что скажу. Человек — велик. — Он покорила даже горы, где раньше лишь дикие звери бродили. Но жил бы он мирно, и все было бы хорошо. А он, добывая камень, прокладывая дороги, рубит леса. Когда редуют леса, снега становится меньше. Когда меньше снега, мелеют реки. Видишь, сынок, как в природе все связано...

Теперь я внимательно слушал отца, но все-таки не понимал полностью смысла услышанного. «Почему это после рубки леса мелеют реки?» — думал я недоверчиво.

Не только я, но даже и взрослые люди с нашей улицы, случалось, смеялись над его доводами. Особенно Кыяс Сайпу. Услышав от отца, почему в реке стало меньше воды, он надрывался от хохота:

— Смотрите, какой умник нашелся! Других за дураков считает. Какое отношение имеет срубленное дерево к воде?

Я сам помню эти насмешки. Отец и Кыяс Сайпу не могли жить в мире.

Как-то отец пришел домой, дрожа как осенний лист, очень злой. Не стал ужинать, все повторял:

— Послушать только, этот Сайпу взялся людей учить! Лучше бы я умер.

Мать, стараясь успокоить его, говорила:

— Сам же сказал: от дурака умных мыслей не дождешься. Если бы какой умный спорил, другое дело. Перестань, отец Шора, мучить себя.

— Что ты говоришь, дочь Кыдырала, разве бы я злился, если бы умный человек учил. Я потому и злюсь, что дурак хочет других учить, — стоял отец на своем.

В тот вечер я уже заснул, а отец все не ложился. И утром его злость еще не прошла. Не выпив чаю, уехал на работу. Едва отец — из дому, как к нам забежала соседка и рассказала, что накапуне отец схватил Сайпу за грудки, порвал рубашку, ну и так далее. Сообщила это

матери — будто радостную весть принесла. Сболтнула да и пошла, а мама до вечера не могла успокоиться.

— За слово, даже неумное, разве можно рвать человеку рубашку? Разве можно быть таким вспыльчивым? — говорила она.

Хотела даже сходить к Сайпу и попросить прощения, но побоялась отцовского гнева. Когда же отец вернулся домой, пыталась его самого отправить к Сайпу мириться, да отец не пошел. Не захотел идти к тому, кто считал себя умнее всех.

Позже я много раз сам был свидетелем, как отец, не выносивший фальши, несправедливости, безбоязненно высказывал свое мнение любому. Из-за этой своей правдивости он терпел в жизни много лишений. Мать частенько пеняла ему:

— Ах, что ж ты не такой, как все! Вечно тебе надо до всего докопаться. Такие, кто правду-матку в глаза говорят, даже и родным не нравятся, а чужим тем более. Вот потому все и сыплется на тебя.

Мама повторяла это до самой смерти.

— А почему я должен быть таким, как все? Я похож на самого себя и вовсе не стремлюсь походить на других. Есть люди, которые постоянно лгут, а когда ты говоришь правду, они извращают смысл сказанного тобой. Возьми Сайпу. Он еще желает учить всех! Ты говоришь, люди не любят меня. Не любят — ну и что? Я все равно на черное не скажу, что оно белое. Ты это знай, дочь Кыдырали! — так говорил отец и остался верен своим словам до конца.

2

Отец много рассказывал мне также и про животных, которые обитали на берегах нашей реки, в том числе и легенды. Большую часть услышанного я уже успел забыть. Что поделаешь — время... Но в моей памяти остались, смешавшись с рассказами о природе, несколько сказок — про лесного человека с острым топором на груди и длинными волосами и про ведьму-албаслы.

Особенно родители любили истории про лесного человека. Вот одна из них, где я стараюсь сохранить наивность подлинника.

В давние времена, когда кожаный мешок в войлочный обратился, когда жил человек с длинным носом,

для которого была специальная подпорка, в те времена охотились как-то люди одного хана и у подножья большой горы возле целебного источника увидели вдруг огромного волосатого человека. Донесли хану — тот приказал своим людям во что бы то ни стало поймать волосатую диковину. Приказ есть приказ. Не выполнишь, хан всех перевешивает. Стали думать, как поймать этого лесного человека. Один мудрый старик предложил: это чудище обязательно должно днем или ночью спуститься к источнику, поэтому место вокруг родника надо залить смолой. Чудище придет напиться — и застрянет в смоле.

Сделали так, как подсказал старик. И в ту же ночь лесной человек и вправду попался — застрял в смоле. Связали его, привели к хану. Сбежался народ, уставились — не могут поверить своим глазам. А лесной человек не смотрит на людей, хмурый да злой сидит. Ничего не ест, не пьет, гордо ждет в неволе свою смерть.

Поехали хан и его люди на базар и взяли с собой лесного человека — похвастаться хотели, чтобы все на базаре подивились и сказали: да, истинная правда, у хана действительно имеется лесной человек. Так и получилось. Собрались все, кому не лень, глазают, головами качают: люди-то хана — истинные джититы, надо же, поймали взаправдашнего лесного человека.

Повели чудище по базару. Вдруг возле купца, который продавал сапоги, всегда хмурый лесной человек неожиданно улыбнулся — так, вроде сам себе. Хан и его люди сильно заинтересовались: почему это он вдруг ни с того ни с сего улыбается? Что такое с ним случилось? И хан решил спросить потом об этом у самого лесного человека.

Возле арбы, где сидел мужчина и играл с мальчиком, лесной человек еще раз улыбнулся. Прошли дальше — и снова лесной человек сделался хмурым.

Невдалеке раздались выстрелы. Подошли, оказывается, там состязались в меткости. Народ ликовал, одобрял, подбадривал стрельцов. Хан и его люди тоже включились. Лишь один лесной человек опустил голову на грудь, и слезы покатались по его волосатому лицу.

По дороге домой хан призвал лесного человека к ответу. Тот хмуро смотрел в землю. Сколько хан ни спрашивал — молчит, и все. Тогда хан начал угрожать: мол, скоро его убьет, — и все равно лесной человек молчал. А хану ужасно хотелось узнать, почему этот дикий лес-

ной человек то улыбнулся, да еще два раза, а то вдруг огорчился сильно? Прямо терпеть не мог, мучило его любопытство. Но как заставить лесного человека заговорить? Наконец когда были использованы все методы — и хорошее слово и угроза, — хан сообразил: отпустит лесного человека на волю, если тот даст наконец нусть и необычный, но правдивый ответ.

Лесной человек поднял голову и удивленно в первый раз посмотрел на хана.

— Да, да, отпускаю на волю, только ты объясни все по порядку. Хан зря не скажет, а если скажет, то обязательно выполнит, — подтвердил он свое решение.

И лесной человек начал:

— Великий хан, действительно ты велик, коль и меня держишь в плену. Но есть в жизни такое, над чем ты не властен. В первый раз я улыбнулся возле кушца, который торговал сапогами. Ты не заметил, хан, там один человек хотел купить сапоги и все время спрашивал: «Долго ли будут носиться, хватит ли на три года?» Тогда я не выдержал и улыбнулся. Ибо этому человеку оставалось жить всего-навсего три дня, а он рассуждал о трех годах. Не глупо ли это, хан?

Затем я улыбнулся возле мужчины, который играл с мальчиком, ласкал его и называл единственным сыном. Я и тут не выдержал, улыбнулся. Этот мальчик не его сын, жена прижила его с работником, который в ту минуту сидел под арбой, слушал, как богач ласкает его сына, и тоже улыбался. Ясно теперь, о великий хан?

Лесной человек внимательно посмотрел на хана, будто спрашивал, доволен ли он.

Хан сидел на арбе задумчивый и внимательно слушал лесного человека.

— А когда раздались выстрелы, почему ты так сильно нахмурился?

— Ой, хан, как ты не понимаешь, — удивился лесной человек. — Ведь выстрел — это смерть, он обрывает чью-то жизнь. На базаре люди показывали, как они сегодня или завтра будут убивать кого-то. Меня или тебя. Вот поэтому я и огорчился так сильно, что слезы покапались из глаз моих...

Хан подивился разуму лесного человека — и отпустил на волю.

Говорят, с того дня лесной человек стал более осторожным, не поддается на хитрости и уловки охотников и живет в непроходимых горных местах.

Вспоминаю сказки про ведьму — албаслы.

...Однажды какой-то джигит около большой реки поймал албаслы, привел ее в аул и заставил выполнять работы по дому. Он вырвал у нее один волос с головы и положил между страницами корана. Когда волос находится в коране, оказывается, албаслы не может убежать.

И вот как-то из дома ушли все взрослые, остались ребенок и албаслы. Ведьма начала слезно просить малыша, чтобы тот вытащил из корана волос и отдал ей. Ребенок, ничего не понимая, выполнил просьбу ведьмы. Тогда освобожденная албаслы окунула его головой в кипящую в казане воду и убежала...

Ногайцы никогда не называли албаслы по имени, считают, что если произнести ее имя, она тут же и появится. Называют иносказательно: «Прошлогодняя».

Вторая сказка — про Кутлыкая, который сам был абреком, а в качестве жены имел албаслы. От нее у него родился замечательный сын-джигит. Когда мальчик вырос, он стал известным батыром Эдиге.

Интересно, что древняя легенда связывает имя батыра Эдиге с албаслы. Может быть, это обусловлено тем, что его хотели преподнести слушателям как необыкновенно сильного и смелого человека, поскольку в жилах его течет кровь албаслы, и тем самым приподнять Эдиге над простыми смертными. Отец джигита Кутлыкай долгое время жил в изгнании. Там, в изгнании, у него и родился сын, поэтому в народе Эдиге звали еще и Кувылгулом — Изгнанником. Когда же Эдиге вырос и обрел силу, он убил хана и сделался единовластным правителем огромного ханства...

Это все — древние, похожие на сказку легенды, где отголоски действительных событий причудливо сплелись с вымыслом. Когда заходил разговор про албаслы, мама опасно наставляла меня:

— Светоч мой, дома ли, в другом ли месте, днем ли, вечером ли, если тебя кто-нибудь окликнет, не спеши отзываться. Не откликайся, пока три раза не назовут твое имя. Это албаслы — чтобы ее имя исчезло, как я сказала! — то есть Прошлогодняя, может тебя окликнуть. Потому, светоч мой, услышав зов, считай до трех!

Эти слова мама много раз повторяла, желая, чтобы я хорошо усвоил.

Вот еще из рассказов про лесного человека.

Он большой и сильный, похожий на нас и в то же время весь обросший густыми волосами, как медведь. И на груди его растет острый топор! Захочет — убьет встречного этим топором, захочет — в живых оставит. Сам живет в густых, непроходимых лесах. Так рисовали образ лесного человека взрослые в своих рассказах. А от отца я слышал и историю.

Давно-давно один джигит пошел в густой лес по дрова и увидел лесного человека. Он понял, что тот будет следить за ним. Вечером джигит развел костер, а на большое бревно набросил бурку: пусть лесной человек подумает, что под буркой джигит и спит. В полночь к костру пришел лесной человек и, действительно решив, что под буркой ее владелец, грудью навалился на бурку. Под его тяжестью топор надвое рассек бревно. А подкравшийся сзади к лесному чудовищу джигит убил его...

После этого рассказа, помню, отец заметил:

— Видишь, сынок, какое хитрое существо — человек. В природе никого нет умнее и хитрее.

Сказочное лесное существо. Про него поется и в древней ногайской песне «Копланлы-батир». Но там нет упоминания про острый топор на груди, а поется о том, будто у чудовища нос острее, чем топор. И Копланлы-батир убивает лесного человека так же, как и джигит в сказке, обманув тем, что набросил бурку на бревно...

И про хозяина воды — водяного — много рассказывали. Если человек тонул, говорили, что его призвал к себе хозяин воды.

Теперь про таких сказочных персонажей вспоминают реже. Но во времена моего детства видели и хозяина воды, и албаслы, и лесного человека. Что бы там ни говорили, но они тогда частенько были на языке. Может быть, просто родители не хотели, чтобы дети в одиночку ходили в глухой лес или на речку. В этом, конечно, был свой смысл.

3

Когда я был маленьким, отец часто повторял, что Кубань уже не та. Мол, раньше она была полноводной, бурливой. Но и я помню, летом, когда в горах таяли снега, Кубань сильно разливалась, неся в себе и бревна, и вырванные с корнем деревья. Люди, боясь подходить

к берегам разбушевавшейся реки, наблюдали издали. Особенно мы, ребяташки, разинув рты, с утра до вечера глазели на разлив и внимательно следили за дикими яблоками, их несло течением, вместе со всяким мусором.

Был день во время разлива Кубани, который я не могу забыть.

Утром, я еще не встал с постели, прибежал, захватившись, мой друг Шахим.

— Шоратай, вставай быстро, река разлилась! Пойдем посмотрим, — звал он. — Может, и яблок-дичков насобираем!

— Смотрите, будьте осторожны, к берегу близко не подходите, стойте на пригорке! — наказала нам моя мама.

Мы с Шахимом вприпрыжку побежали к реке. Тут же забыв предостережение мамы, не понимая опасности, спустились к самой воде. Глядя то на плывущие бревна, то на качающиеся на волнах яблоки-дички, я даже не успел заметить, как Шахим нагнулся, пытаюсь подхватить плывущее большое яблоко, и свалился в воду. Волна тут же накрыла его. Через секунду я увидел, как мой друг вынырнул и отчаянно замолотил по воде руками. В те времена мы немножко уже умели плавать. Но как может справиться с необузданной мощью стихии слабый мальчик? Волны, перекатываясь, увлекали Шахима вниз по течению.

Я, растерявшись, не зная, что делать, закричал:

— Сюда плыви, сюда!

Но высокие волны тащили моего друга все дальше и дальше. Тогда, поняв, что ему самому не выбраться, я начал махать стоявшим на пригорке людям и кричать: «Человек тонет!» И от испуга, что Шахим захлебнется, стремясь помочь ему, я шагнул в бушующую реку. Тяжелая волна тут же накрыла меня с головой. Теперь я уже не видел Шахима...

Если бы не стояли на пригорке мужчины, наблюдавшие за половодьем, кто знает, где бы нашли наши с Шахимом тела.

— Ты, Шоратай, истинный друг, не бросил товарища в беде. Настоящий джигит и должен быть таким, — сказала, успокоившись, мать Шахима, Абаза-кеншек, и вытерла слезы. — Добро всегда возвращается сторицей...

Соседи звали мать Шахима «Абаза-кеншек», и мы, дети, думали, что это и есть ее имя. Откуда нам было тогда знать, что она абазинка и что у нее прекрасное настоящее имя — Какуна. Но раз уж наши родители называли ее «Абаза», то и мы, ребятишки, обращались к ней так же.

Так вот — слова Абазы-кеншек о том, что добро возвращается сторицей, я сразу не связал с тем, что случилось много раньше. А потом понял. Я тебе говорил, читатель, что, когда я был еще малышом и свалился в реку, Шахим, обливаясь слезами, поздравил сестру и та вытащила меня. Так он спас мне жизнь. Об этом я рассказал в главе «Войлочная шляпа».

«Да, добро возвращается сторицей. Если это в твоих силах, надо помочь попавшему в беду», — учил меня отец.

Мальчик, выросший на берегу, разве он может не знать тайн реки! Мое детство прошло на берегах Кубани, и я знал, когда река разливается, когда она мелеет. В летние дни я, как рыба, не вылезал из воды; если уставал плавать, валялся на горячем песке или бродил по берегам Кубани и искал среди голышей камень с дыркой. Когда находил, очень радовался и нес его домой. Дома мы продевали сквозь дырку веревку и подвешивали камень на крюк. Считалось, что человек, нашедший такой камень, становится счастливым. В поисках этого счастья мы, мальчишки, исходили немало километров по берегам Кубани. Я два раза чуть не утонул. Но все равно я не боялся реки, наоборот, она еще сильнее притягивала меня. Я быстро научился плавать, в девять-десять лет способен уже был пересечь разлившуюся, бурную реку. Это потом мне очень пригодилось в жизни.

Ногайцы любят воду и дорожат ею. Как могут не понимать цену воды люди, которые познали жажду в знойных ногайских степях! Нам, детям, родители строго-настроено запрещали мочиться в реку, потому что это большой грех. Мы не смели ослушаться старших. Стирать в реке также считалось грехом.

«Нельзя бездумно относиться к реке. Как и все в природе — она дорогого стоит», — говорят в моем народе. В этих словах заложен глубокий смысл. Сейчас многие слишком легкомысленно относятся к воде. Счи-

тают, что она — даровая, бесконечная, и бездумно загрязняют ее. Скажешь — обижаются. Какое тебе дело до общей реки, говорят. Но в подлунном мире ничто не вечно, одно зависит от другого, и неисчерпаемые, казалось, богатства могут иссякнуть от варварского отношения к ним.

Как-то раз отец увидел, что мы, ребяташки, хлещем по воде хворостинками, которые были для нас тогда и конем, и плеткой. Он подошел и сказал:

— Эй, ребята, нельзя бить по воде, это большой грех. Не думайте, что река неживая, она, подобно всему живому, отличает хорошее от плохого.

С того дня я перестал хлестать по воде палкой. Когда за этим занятием заставлял кого-нибудь, я повторял слова отца.

Я тогда же понял значение слов, сказанных отцом, и часто вспоминаю их и сейчас. «Не думайте, что она неживая...» Как верно! Разве может река быть неживой, когда она дает начало всему живому! Если подумать — для человека ценнее и чище воды нет ничего...

Все это я к тому рассказываю, что наш народ издавна умел ценить и беречь воду и этот завет передавал из поколения в поколение.

4

На берегах Кубани летом бурно росли кустарники, осока, густой камыш. В них обитали лягушки, в воде у берега водилось много рыбы. Об этом сказал в своей песне старинный наш поэт Асан Кайгылы:

Борщевик у реки, как локоть,
Ежевика, как сердце.
Облепиха, как урюк,
Лягушки, как овцы, шумят,
Рыбы, как жеребята, беснуются...

«Рыбы, как жеребята, беснуются...» Да, в нашей Кубани попадались и очень крупные экземпляры, а в нашем селе жили умелые рыбаки, некоторые — настоящие мастера. Я тоже в детстве пробовал удить, и не без успеха.

Под Килегей-яром, в небольшом рукаве Кубани, образовался омут, берега его густо поросли осокой. Омут считался одним из самых рыбных мест.

Мы, малыши, часами замороженно смотрели, как взрослые ребята вытаскивают из воды переливающихся

на солнце рыбин, нанизывают их на прутик, — и бешено завидовали. Нам тоже хотелось рыбачить, но мы не знали, где достать крючки. И речь не о заводских — те вообще редко у кого можно было встретить — хотя бы какие-нибудь. Многие рыбаки делали крючки сами: раскачивали на огне обычную иглу и сгибали. Но тогда игла тоже была на вес золота.

Однажды парень по имени Анош, увидев, что мы с Шахимом с завистью следим за ним, сказал:

— Если уж вам так хочется удить, смастерите удочки и удите сами.

— А где крючок возьмем, Анош? — спросили мы в один голос.

— Завтра принесете мне иглы и по двадцать копеек, я вам такие крючки сделаю! Только опустишь в воду — сразу вынимай, рыба сама будет ловиться! — пообещал Анош, сильно вдохновив нас своими словами.

Сначала мы было обрадовались, но потом стали думать, как же взять иглы и где раздобыть деньги.

— Я знаю, где мать иглы хранит, была не была, возьму одну незаметно, — обрадованно заявил Шахим, будто уже держал в руках иглу.

— И я знаю, — подтвердил я.

— Ну, давай домой!

И мы побежали по домам.

Поев, я заглянул в комнату, где на стене висело большое зеркало. За зеркалом мама хранила кусочек ткани с наколотыми на него иголками. Я встал на табуретку и протянул было руку — но в этот момент в комнату вошла мама. Увидев меня, она спросила:

— Что ты делаешь, светоч мой?

— Смотрюсь в зеркало, — соврал я, растерявшись и не зная, что ответить.

Мама заметила мою растерянность и ласково сказала:

— Пошли, светоч мой, на кухню, я тебе сахар дам. Ты почему не доел, а?

— Не хочется, абай, — ответил я, скосив глаза в сторону зеркала и боясь, что теперь уж мне не добыть иголку.

Мама за руку увела меня на кухню, достала с полки кусочек сахара и дала мне. В другое время я бы несказанно обрадовался угощению, но сегодня я взял кусок почти неохотно и, присев на маленький табурет, начал с хрупом лениво грызть лакомство. Хотя зубы мои

дробили сахар, а рот наполнялся сладостью, все мое внимание было приковано к зеркалу в соседней комнате. Я надеялся, что мама выйдет куда-нибудь и тогда я наконец-то раздобуду иголку. Но мама не выходила из дома до самого вечера, пока не пригнали с пастбища коров. Когда же она, взяв ведро, ушла доить, я бегом бросился в комнату, достал из-за зеркала кусочек ткани, вытащил иглу, спрятал ее в карман рубашки и сел на прежнее место.

Мама подоила корову, вернулась в дом. Она сразу заметила, что настроение мое улучшилось, обрадовалась и протянула мне миску:

— На, сынок, выпей молочка.

Я с удовольствием выпил густое, как сливки, молоко и, сославшись на то, что завтра надо рано подняться, отправился спать. Правда, я долго не мог заснуть. Думал о том, как наутро встречу с Апошем и как он мне сделает крючок. В ту ночь во сне я видел огромных рыб с чешуей, отливающей золотом...

Утром я попросил у мамы двадцать копеек, объяснил, что надо купить удочку.

Когда я прибежал на берег, Апош уже ловил рыбу. Увидев меня, он улыбнулся и спросил:

— Шырпапа принес, Шоратай?

— Принес! — ответил я и, разжав кулак, показал двадцать копеек.

— А иголку?

— Еще вечером в карман положил!

— Дурачок, разве иголку в карман кладут? Чем шырпапа в руках держать, лучше бы иголку в руки взял! — бросил Апош сердито.

Я с испугом полез в карман и обнаружил, что иголки там нет.

— Да, Шоратай, и сегодня ты не сможешь удить рыбу. Ты как тот парень из древней сказки. Он по дороге нашел иглу и бросил ее на арбу, где лежали дрова. Приехал домой, дурачок, и похвастался перед матерью своей находкой. Мать спрашивает, где же иголка, а он: «В арбе, бросил между дровами» — и начал ее искать. Как можно среди дров найти иголку, а! Мать обругала сына и говорит: «В следующий раз если найдешь, то приколи на грудь». В следующий раз этот парень нашел на дороге нож и, проткнув свой кафтан, приколот его на грудь. А когда вернулся домой, сразу же подошел к матери, показывает и хвалится, мол, сделал так, как ты

советовала... Вот, Шора, ты мне напомнил этого парня. Разве иголку кладут в карман? — посмеялся надо мной Апош.

От обиды я чуть не заплакал. Решил — будь что будет, побежал домой и сказал матери:

— Абай, быстрее дай иголку. Апош хочет мне сделать крючок.

Мама, видя мое волнение, ответила:

— Не спеши, светоч мой, успокойся. Апош никуда не денется.

— Быстрее, абай, ради бога! — взмолился я.

— Перестань, светоч мой, что с тобой? Сейчас дам. Утром как раз подметала пол и нашла вот эту иглу. Хорошо, что никто не наступил. Вот она тебе и пригодилась. Бери, светоч мой, — и мама протянула мне иголку.

Это была та самая, которую я вчера положил в карман.

На берег я летел птицей.

В тот день я наловил столько рыбы, сколько потом никогда уже не приходилось. Не подумайте, что крючок получился очень уж хороший, необыкновенный. Просто в те времена в нашей реке действительно было много рыбы. Кое-кто из умельцев ловил даже руками.

Когда я принес рыбу домой, мать и отец обрадовались. Половину улова мама подарила старухе Урхии, объяснив, что это первая рыба, которую наловил сын. Старуха тоже обрадовалась и пожелала, чтобы сын всегда радовал родителей...

Каждая река шумит по-своему, говорят ногойцы. И у нашей Кубани свой неповторимый голос. Он отличается от шума других рек. Но это может понять лишь тот, кто вырос на берегах Кубани.

Похоже, вода даже влияет на характер и здоровье человека, который живет на берегу. Например, у людей, выросших возле моря, бывает звонкий, чистый голос, из них часто выходят хорошие певцы. А люди с берегов Кубани умеют прекрасно плавать, хорошо переносят холод. В наших местах течение бурное, вода холодная, и, я думаю, Кубань сформировала и мой характер, закалила тело. Я пил воду ее, как материнское молоко, я рос, плавая в ее волнах, ныряя в них, как рыбка, и прыгая на берегах, как козленок.

Моя Кубань, моя любовь. На твоих берегах прошло мое пахнущее медом детство. Наш дом стоял на высоком берегу Кубани, и через маленькое окошко, обращенное к воде, я слышал плеск и удары волн, слышал их днем и ночью. Возможно, именно эти звуки, этот ритм и вдохновили меня петь. Я начал писать стихи. Наверное, и мои предки пели свои песни под музыку волн. И сейчас, став уже пожилым человеком, я с огромным удовольствием прихожу слушать звуки реки. Она шумит, рассказывает и о былом, и про сегодняшнее, а я, подстраиваясь под ее музыку, складываю слова стихотворения:

Поднимая брызги, я, как рыба, плавал в реке,
Возвращаясь из странствий, приходил на твой берег...

Да, я любил бродить по твоему берегу, Кубань, я пил твою сладкую, как щербет, воду.

Много рек я повидал за свою жизнь, но нет реки прекрасней тебя, моя Кубань! Моя жизнь, моя песня, мое счастье, мое горе... На твоих берегах прожили свой век мои предки. Когда я вижу аулчанина, который поит коня, или вижу пришедшую по воду женщину, они для меня — словно отец и мать. Помню, отец, возвратившись с работы, наспех ужинал, вел лошадей на водопой. А мама несколько раз в день ходила с коромыслом на реку. И всегда, помню, повторяла: «Хорошо, что вода близко».

Кубань текла рядом. Спустившись с горки, мы пили ее воду.

Моя Кубань. На ее берегах проходит моя жизнь. Пусть проходит. Пусть не оставит судьба мое бездыханное сердце в других краях. Когда я появился на свет, мама обмыла меня водой из Кубани, так пусть, когда я умру, аулчане тоже обмоют мое тело водой из Кубани. Большого уважения мне не надо. Это моя мечта. Когда сбывается мечта — каждый человек счастлив.

А сейчас я хочу рассказать истории, связанные с водой.

Огненные лучи летнего солнца раскалили землю. Даль — белесая от зноя, а на небе — ни белого пятнышка. Поверхность воды блестит, как вылизанная миска.

В ауле тихо. Все живое попряталось от жары. Даже курицы укрылись в тени заборов, лежат там, разинув клювы и вытянув ноги. И наша собака улеглась в тени сарая, высунув розовый язык. Лишь мама не отдыхает. Усевшись под стеной дома на маленькую табуретку, она тарамысом (самодельная нить из жил) шьет отцу чувяки. Иногда рукавом утирает бисеринки пота со лба. Толстая нить едва пролезает в ушко иглы.

— От жары весь мир скоро пересохнет, велика сила аллаха, хоть бы дождь пошел, я-алла, я-расулалла, — говорит мама и, испрашивая у аллаха воду, двумя руками оглаживает лицо.

Послушав день, другой, третий такие слова, я все никак не мог взять в толк, почему этот аллах не выполняет просьбу мамы, жалко, что ли, ему воды?

Мама, согнувшись, шьет чувяки. Я замечаю, как по ее лицу сбегают капельки пота:

— Мама, сними платок, потеть не будешь.

— Нет, — говорит она. — Нам нельзя снимать платки.

— Почему? — удивляюсь я.

— Женщины должны ходить в платках, — произносит мама сухо, тоном обозначая неуместность моего вопроса.

Откуда мне было знать, что в те времена ногайским женщинам запрещалось ходить простоволосыми?

Я сидел около матери босоногий, в тонкой хлопчатобумажной рубашонке и стрелял из своего ружья, которое купил за двадцать копеек у Топыша. Обманул он меня, но что поделаешь. Но я бы купил ружье не то что за двадцать копеек, а даже и за рубль, так сильно оно мне нравилось. Разве можно было удержаться от соблазна, глядя, как Топыш расхаживал по нашей улице и стрелял из разных своих самодельных «пушек»? Вот я и выпросил у мамы двадцать копеек и купил у Топыша «ружье».

Старшие ребята ходили в лес и мастерили эти ружья из бузины. Мы тоже ходили в лес на берегу реки и приносили домой прутики. Один прутик становился конем,

другой камчой — и с визгом носились дикие конные орды по мирным улицам аула. Это было одной из любимых наших игр. Если детей собиралось много, мы создавали конную армию. Разделившись на две группы, «воевали» между собой. Одни были «красными», другие — «белыми».

Мама шьет чувяки, а я занят игрой.

Послюнявив комочек конопли, я запроваляю его в «ружье» и сильно дую. Он с треском вылетает — чем не пуля! Эта конопля растет в овраге, как камыш. Мы, дети, срывали стебли и, просушив их на солнце, снова замачивали в воде. Затем очищали, мяли... Из обработанной конопли получались пращи для метания камней, уздечки для наших «коней», поводья...

Вдруг со стороны Кубани до меня донесся крик ребятшек. Первой на шум отреагировала дремавшая под сараем наша собака Долай. Вскинула голову, насторожилась. Испугавшись резкого движения собаки, разлетелись в разные стороны и всполошенно закудахтали куры. И мама, отложив шитье, прислушалась к голосам. Я вскочил с места и побежал на улицу.

— Светоч мой! Там ребята играют в деревянную куклу! — подсказала вдогонку мама.

На улице никого не оказалось, и я вернулся домой. Но вскоре опять послышались ребячьи голоса.

— Светоч мой, я сейчас для них что-нибудь приготавлию. — Мама отложила шитье и поднялась с места. — Они уже в нашем квартале, может, и к нам завернут.

Я, гадая, что же мама такое будет готовить и что такое деревянная кукла, поплелся за ней. Мама сначала вымыла руки, потом из кадушки вытащила несколько кусков сыра, с полки взяла десяток яиц.

— Этого, наверное, хватит, — сказала она.

— Кому ты все отдашь? — спросил я, ничего не понимая.

— Детям, которые играют в деревянную куклу, светоч мой. Сейчас они зайдут и к нам.

— А что это такое, объясни, абай, я же не знаю, — попросил я маму.

— Вот сейчас придут, и посмотришь, сынок, — ответила она. Потом добавила: — Видишь, какая засуха, аж земля горит. Хоть бы одна капля с неба упала! Если так будет продолжаться, сынок, ничего не вырастет. Вот поэтому дети играют в деревянную куклу, прося у аллаха влагу. Каждая семья должна им подарить то, что

в силах. Собрав всякую снедь, ребята пойдут на берег реки и будут там готовить пищу. Съев все, что приготовили, они из ведра станут поливать друг друга водой и просить у аллаха дождя. Ты еще не видел, светоч мой, игру в деревянную куклу.

Мать была права, я еще не видел такой игры. Потому что с тех пор, как я помнил себя, засухи не случалось. Так уж устроен человек: когда чего-нибудь вдоволь, он не умеет этого ценить. Начинает искать, когда пропадает. Пока в достатке шли ливневые дожди, никто не вспоминал про игру «Такта куршак» — деревянная кукла. Все ценится, когда нужда прищечет.

Когда мама кончила рассказывать, под лай собаки в наш двор забежали дети. У одних в руках были ведра, у других — котел, у кого-то котомки за плечами. Многие держали в руках длинные палки, наверное, взяли, чтобы обороняться от собак.

Как только они вошли во двор, невысокого роста смуглый мальчик начал петь:

...Мы играем в Такта куршак,
У аллаха воду просим,
Наша щедрая мать,
Дай хлеба, сыр просим...

Его хором поддержали другие дети:

Мы играем в Такта куршак,
У аллаха воду просим...

Я подошел поближе и с большим интересом смотрел на ребят.

Высокий парнишка, постарше других, подняв над головой, держал в руках деревянную куклу.

На кукле были надеты старая войлочная шляпа и рубашка. В первый момент мне даже показалось, что это маленький ребенок.

Вдруг среди гостей я заметил соседских мальчишек и очень обрадовался:

— Ва, Алитай, Кырым, и вы здесь! — Я подошел к ним.

Они же, странное дело, посмотрели на меня так, как будто видят впервые в жизни, и демонстративно отошли ближе к мальчику, который держал в руках куклу. Тут из группы ребяташек выбежал мой друг Шахим:

— Пошли, Шоратай, с ними! Немножко походим по дворам, а когда кое-что соберем, пойдем на речку, поиг-

раем. Пошли, пошли! — И он потянул меня в группу детей.

Я, держась за его руку, шагнул к ребятам.

Здесь я хочу вот что еще сказать. Характер человека закладывается и проявляется еще в детстве. Вот, к примеру, в тот день Алитай и Кырым, то ли от ревности, то ли от вредности, не хотели допустить меня в игру, отворачивались, отводили глаза. Такими же они остались и когда повзрослели. Даже больше — их зависть и злость словно выросли вместе с ними. Очень они не любили, если кто-нибудь жил лучше их, завидовали. В год, когда кончилась война, это я хорошо запомнил, из города в наш аульный Совет пришел человек. Он сказал, что не хватает учителей и нужны ребята, закончившие семь классов. Их примут в педучилище без экзаменов. Пришедший и подыскивал ребят, способных в будущем стать учителями. Новость первым узнал Кырым и записался, а обо мне даже не обмолвился. Я, конечно, хоть и поздно, тоже узнал о такой возможности, поступил в училище и успешно окончил его. А Кырым так и не смог доучиться. Я долго уговаривал его не бросать учебу, убеждал, что потом пожалеет, готов был ему помогать. Нет, ответил он, брошу. И бросил. По свадьбам гулял, девушку заприметил. Я еще не закончил учиться, как он женился. На самой красивой девушке аула. Потом, правда, она ему разонравилась, Кырым бросил ее, женился на другой...

Мама вынесла из дому ковш с водой и, выплеснув его на ребяткишек, произнесла:

— Безгрешные дети, пусть ваши просьбы услышит аллах! Пусть льет дождь, размягчая землю. Амин, аллах! — С этими словами она поспешила в дом и тут же вернулась, держа в каждой руке по миске: — Берите, ребятки, что-нибудь приготовьте — и ешьте на здоровье! — Она протянула ребятам яйца и сыр. Потом, посмотрев на старшего мальчика, добавила: — Дорогой мой сынок, возьмите с собой Шоратая. Пусть и он с вами походит.

— Хорошо, абай, пусть идет, — согласился предводитель.

— Вот и ладно, держитесь друг друга, — сказала мама мне и Шахиму и легонько подтолкнула нас.

Мы большой ватагой ходили по улицам, пели песни про Такта куршак и заворачивали в каждый дом. В тот день я побывал в разных концах аула, куда прежде не приходилось заглядывать, и повидал людей, с которыми прежде не встречался. Тогда же я отчетливо почувствовал, что в мире рядом с добром неплохо уживается и зло. Говорю так оттого, что именно в этот день я видел скупцов и скаред, которые даже ломтик хлеба протягивали с неохотой, видел и тех, кто легко делился последним куском, а в случае чего не пожалел бы и коня.

Мы шли и пели:

В Такта куршак играем, играем,
У аллаха дождя просим, просим.
Дочь Амира — Айдик, Айдик,
Что нам даст — не знаем, не знаем...

Заводил в таких играх специально не выбирали, ими становились те, у кого хорошо был подвешен язык, кто знал наизусть слова куплетов. Ни возраст, ни бывлые заслуги в выборе запевалы-зачинщика роли не играли.

Двор щедрого человека мы покидали с такими словами:

Щедрая Айдик —
Дала нам масло, сыр!
Мы разбогатели!
Дай, аллах, этому дому берекет — изобилие!

А покидая двор скупердя, пели:

Дочь Амира — Айдик,
Дала нам из жадности говяжий жир,
И самой ей никогда не везет,
И курицы ее не несутся!..

Конечно, и скупого, и щедрого мы по именам не называли. Все делалось по известному, утвердившемуся в народе правилу: тебе, дочка, говорю, но предназначено для твоих ушей, невестка.

К полудню, наполнив котомки и ведра маслом, мясом, яйцами, сыром, мукой, мы спустились к реке. Старшие ребята сразу развели костер, а несколько подошедших женщин принялись готовить.

Долговязый смуглый парень, подвернув штанины, вошел в реку и несколько раз окунул Такта куршак

в воду. «Искупав» деревянную куклу, он вышел на берег и громко начал декламировать:

По поляне пройдемся,
В Такта куршак поиграем,
У аллаха дождя попросим,
Пусть не будет засухи,
Пусть льет, льет дождь —
И обильным будет урожай!
Пусть будем мы сыты,
И всегда счастливы!
Пусть льет, льет дождь!

Остальные ребята хором подхватили:

Пусть льет, льет дождь!..

Стоявший рядом мой приятель Хамзат сначала облил водой из ведра Такта куршак, а остальное выплеснул на нас. После этого ребята, кто в войлочные шляпы, кто в ведра, а кто и в обувь начали набирать воды и обливаться друг друга. Скоро все на берегу промокли до нитки. Но ни злости, ни обиды — наоборот, каждый стремился, чтобы его облили побольше. А если все-таки какой-нибудь умник, боясь вымокнуть, убежал, его все скопом догоняли и уж как следует обливали водой — с головы до ног, а потом еще и бросали в речку.

Я в горячке игры и не заметил, как подошла ко мне мама с двумя ведрами на коромысле — ходила на реку. Игравшие с нами молодые невестки тотчас же окатили ее водой, а она, мокрая насквозь, только смеялась и долго еще с интересом наблюдала за нашей игрой. Может быть, с завистью и грустью смотрела на пахнущее медом детство.

На широкой поляне разлилась песня:

Пусть тучи нависнут и льет дождь,
И пусть земля насытится влагой.
Пусть много у нас будет хлеба,
И пусть сыты будут все!..

Вскоре к нашим играм присоединились молодые женщины и парни. Так до наступления темноты продолжались шум, смех, люди обливали друг друга водой и просили у аллаха дождя.

Вскоре по полянке распространился запах жареного мяса, женщины приготовили мамалыгу, сварили яйца. Так вкусно я, кажется, не ел никогда. Может, угощение показалось мне особенным потому, что я уплетал вместе

с товарищами, да еще набегавшись и на свежем воздухе? В тот вечер я вернулся домой похожий на мокрую курицу.

Отец, узнав, что я играл в Такта куршак со старшими ребятами, обрадовался.

Несколько раз похлопал меня по плечу и сказал:

— Машалла, сынок, что играл в Такта куршак! Вот теперь посмотришь, если дождя не будет!— Потом, обернувшись к маме, добавил:— А ну, достань кусок сахара, сыну дам.

Мама, будто ждала этих слов, тут же одарила меня большим куском сахара. Я долго его сосал, так и заснул, все-таки изрядно уморился.

Утром, едва проснувшись, я первым делом поинтересовался: не было ли дождя? Мама не ответила, лишь распорядилась, чтобы я умывался да садился завтракать.

На дворе было сухо. Я думал об одном: почему же нет дождя? Эта мысль не выходила у меня из головы. За завтраком я пристал с вопросами к маме, и она ответила:

— Даст аллах, и дождь будет, свет очей моих. На западе грозовые тучи собираются. Сегодня люди будут делать садака — жертвоприношение. Будет дождь, дай аллах.

— И ты пойдешь на садаку, абай?— спросил я тут же.

Мама кивнула: да.

— А меня с собой возьмешь?

— Хорошо, светоч мой. Ты только ешь быстрее, а то все простынет.

Я, обрадованный, что увижу обряд садаки, быстро допил чай. Но мама не торопилась. Сначала она вымыла чашки, потом начала лепить япашы. А я нетерпеливо кружил вокруг нее.

Покончив с домашними делами, захватив деревянную чашку сливочного масла и большой каравай белого хлеба, мама взяла меня за руку и направилась к берегу реки.

Там уже кипели казаны и дымили костры. Вокруг сновали, засучив рукава, женщины — готовили.

Белобородые старики и мужчины помоложе, усевшись на берегу, вели неторопливую беседу.

Такого скопления людей я до сих пор не видывал.

Ребятишки, вволю накупавшись, подходили к казанам и глядели выжидаяще: их притягивал вкусный запах вареного мяса.

Я некоторое время стеснительно наблюдал за ними, а когда на берегу появились дети из нашего квартала, забыв про все на свете, включился в общую игру.

Увлеченные, мы и не заметили, что взрослые уже начали обряд жертвоприношения.

К нам подбежал мальчишка и крикнул:

— Быстрее, там мясо и лепешки раздают!

Мы шумной ватагой бросились к казанам.

— По одному подходите, ребята, никого не обделим, только очередь соблюдайте,— сказала столпившимся вокруг казана детям женщина. Она руководила угощением.

Мы встали друг за другом, и каждый получил по куску лепешки и мясо.

Взрослые, помолившись, попросив у аллаха дождя, тоже начали есть.

Оказывается, садака похожа на вчерашнюю игру в Такта куршак. Только у взрослых не было деревянной куклы. А вот водой они обливали друг друга.

Закусив, мы снова играли, брызгались и незаметно наступил вечер.

Вот так стар и млад в течение двух дней от чистого сердца выпрашивали у аллаха дождя. Но на землю не упало и капли за эти дни.

Раз уж я рассказал про Такта куршак, нельзя обойти молчанием такое соображение. Игра Такта куршак, как обычай, видимо, существовала еще до возникновения мусульманской религии. Ведь известно, что законы шариата запрещали рисовать или мастерить подобие человека, поэтому мусульманская религия не могла подтолкнуть своих последователей к тому, чтобы мастерить деревянную куклу, окунуть ее в воду и затем просить у аллаха дождя. А обычай обливать друг друга водой и носить деревянную куклу существовал в наших краях издавна.

Да и сейчас некоторые народы востока во время праздников обливают друг друга водой: так они «смыывают свои грехи», «очищаются».

На третий день вечером к нам заглянула соседка и с радостью объявила маме новость: будто бы у вдовушки Маултхан наконец украли один башмачок и бросили в реку. Оказывается, чтобы украсть башмачок, охотники три дня выжидали, но, как назло, Маултхан перед сном прятала башмачки под подушку.

— Она, бедная, наверное, чувствовала, что украдут! Что бы ни было, разве можно таскать у человека его башмаки! — перебила мама соседку.

— Ва, дочь Кыдырали, интересная ты женщина, почему это Маултхан бедная! Если она бедная, пусть не гуляет с чужими мужьями! Да чтоб ей пусто было! Но что хочу тебе рассказать, послушай. Значит, так: под разными предлогами Абидат, Канитат и Аминат целую неделю захаживали к ней домой. Наконец улучили момент и минувшим вечером похитили один башмачок. Канитат пришла, завела разговор с Маултхан. В это время Абидат постучала в окно: «Маултхан! Выходи быстро. Ко мне тут один прицепился!» И орет диким голосом. Канитат, прикинувшись, будто она ни при чем, говорит Маултхан: «Пошли быстрее, там что-то случилось!» Маултхан поверила и босиком выбежала во двор. А в это время Канитат из-под подушки схватила один башмачок — да и ходу.

Соседка рассказывала с большим удовольствием, переживала, как будто сама воровала с подругами.

— Значит, Маултхан лишилась-таки своего башмачка, — снова пожалела мама вдовушку. — И что, неужели думаешь, теперь пойдет дождь?

— Ва, интересная ты, дочь Кыдырали, вот посмотришь, если дождя не будет! — затараторила соседка уверенно, как будто дождь действительно не лил исключительно из-за башмачка Маултхан.

— Посмотрим, — коротко сказала мама.

— Вот увидишь! Когда кидают в воду башмачок гулящей женщины, обязательно идет дождь, — добавила соседка и вышла из дому.

Я, конечно, пристал к маме: почему это именно башмачок Маултхан кинули в реку?

— Да пустая слетня, никто ничего не бросал, — уклончиво ответила мама. Но на другой день я слышал, как она выговаривала соседке: «Разве при ребенке можно о таких вещах!..» И была очень сердита.

Наутро я рассказал о новости приятелям.

— Да, — подтвердил Менглибий, старший из нашей компании. — Это правда, Маултхан гулящая.

Потом все замолчали. Как я ни расспрашивал, никто мне больше ничего не сказал.

Лишь когда я повзрослел, я узнал, что у ногайцев существует обычай: если долго нет дождя, похищают башмачок гулящей женщины и кидают в реку; после этого будто бы обязательно случается дождь. Помню, этот обычай существовал довольно долго, я уже женат был.

Через неделю после описанных событий наконец-то полил долгожданный дождь. Кто знает, что именно решило дело: то ли просьбы безгрешных ребят, то ли, наоборот, похищение башмачка у грешной Маултхан. Я лично не знаю. Но помню, как поднялось у людей настроение. Закаменевшая от засухи земля снова расцвела.

Вот так я играл в Такта куршак — единственный и последний раз. На следующий год в аул, выкашивая людей, пришел голод. Прекратились и смех, и игры, у многих ребятишек, моих сверстников, голод отнял силы и здоровье, у некоторых — и жизнь.

7

В Шармазан начинают играть, когда до окончания уразы (мусульманский пост) остается десять дней. Как и в игре Такта куршак, ребята из разных кварталов собираются вместе. В каждой группе выбирают старшего, он и ведет игру. У нас мастером петь «Шармазан» был Хамзат.

В тот год люди радовались, что Шармазан приходится на осень: дни стали короче, и те, кому приходилось соблюдать пост, не слишком утомлялись.

— Пусть люди поедят, не спешите, ребята, — сказал Хамзат, собрав детей нашей улицы, и изучающе осмотрел каждого из нас.

— Все готовы? У всех есть сумочки для провизии?

— Готовы! — хором выкрикнули мы. К Шармазану все приготовились заранее. Кто взял торбочки для талкана (жареной кукурузной муки) или сюза (жареного и очищенного проса), кто для сыра и масла, у некото-

рых были с собой ведерки для яиц. И каждый держал в руке длинную палку или прут.

Я тоже прихватил ивовый прут, которым мама обычно гоняла телят, ну и полотняную торбочку не забыл. Одно сильно смущало меня: это куплеты «Шарамазана». Как ни бились мы с Шахимом, все равно выучить их наизусть полностью не смогли.

— Ребята, вы хоть немного вызубрили слова «Шарамазана»? — спросил всех нас Хамзат.

Испугавшись, что он заставит каждого в отдельности прочитать стихи и уличит нас в незнании, мы с Шахимом спрятались за спины других ребят.

— Знаем! — хором ответила Хамзату вся компания.

— Ну хорошо. Сейчас попробуем спеть, посмотрим, как получится, — распорядился Хамзат.

Ребята, переглянувшись, прочистили горло. Потом все что-то забубнили себе под нос — похоже, повторяли слова «Шарамазана».

Я тоже несколько раз тихонько повторил: «Шарамазан, Шарамазан...»

Тут раздался звонкий голос Хамзата:

Шарамазан, шарка-шарка!..
Мне дали жирную грудинку!..

Ребята хором подхватили:

Мы пришли к вам, добрые люди,
Сказать Шарамазан.
Шарамазан, шарка-шарка!..

Хамзат, подобно руководителю хора, несколько раз заставил нас повторить куплеты, и все находил какие-то недостатки.

— Ты протяжней выводи окончание, — говорил он одному. — А ты не ори. Мы должны петь одинаково, — наставлял он другого.

Вот так, пока люди ужинали после дневного поста, мы в укромном месте повторяли слова «Шарамазана».

— Пошли, — сказал наконец Хамзат, когда стемнело. — Начнем с конца улицы, по порядку.

Мы вышли к окраине аула. У подножия горы, прилепившись к склону, стоял крытый соломой дом сына Яугайтара Ажимурата. Хамзат, не доходя до калитки, остановил нас:

— Давайте, ребята, начнем издалека. Если наши голоса услышат на расстоянии, хозяева успеют приготовить что-нибудь... — И звонким голосом начал:

Шарамазан, шарка-шарка!..
Мне дали жирную грудинку!..

Большая мохнатая собака Ажимурата, услышав наши голоса, с громким лаем выбежала навстречу. Старшие ребята, размахивая палками, охраняли нас, малышей, от собаки. Мы вошли во двор и, собравшись у крыльца, дружно запели:

Шарамазан поем, поем,
Яйца дашь — уйдем, уйдем!..

Едва мы успели закончить один куплет, как из дома появилась высокая полная женщина и заулыбалась:

— Заходите, заходите, дорогие, в добрый час!

Она вынесла и дала нам четыре больших куска сыра и с десятков яиц.

Мы взяли подарки, после чего Хамзат повернулся к калитке и запел:

Шарамазан, шарка-шарка!

Мы двинулись за ним следом.

— Хорошо начали, — сказал на улице Хамзат. — Но надо петь еще дружнее и громче, чтобы и в соседних домах было слышно, пусть готовятся.

Раз Хамзат говорит петь громко, так чего бы нам и не поорать!

И мы громко, не жалея горла, начали горланить куплеты «Шарамазана».

Наши вопли подняли на ноги собак всего квартала. Нас облаивали заранее и вслед в каждом дворе, но зато во всех домах услышали нашу песню и заранее готовили для нас подарки.

Выходя со двора, где для нас явно поспешили, Хамзат запел:

Шарамазан, шарка-шарка,
Мне дали жирную грудинку.
В жирной грудинке мяса нет,
У того, кто нам дал ее,
Нет, что ли, совести?..

Так с песней мы добрались и до нашего квартала.

Вначале завернули к моему соседу Амиртаю.

Во дворе Амиртай отделился от ватаги и побежал было в дом, но Хамзат остановил его:

— Вернись на место, Амиртай! — крикнул он.

— Я хотел только бабушку предупредить, — ответил мальчик, возвращаясь на место.

— И без тебя, наверное, услышала уже. Глухая она, что ли, не слышит, как мы тут орем? — резонно возразил Хамзат.

В это время открылась дверь крытого камышом дома, показались отец и мать Амиртая.

— Заходите, заходите, мои сердечные, ненаглядные, — засуетилась женщина, вынося на большом подносе целую горку катламы¹. — Кому в торбочку положить?

Хамзат, выражая наше удовлетворение гостеприимством этого дома, выходя со двора, затынул:

Шарамазан, шарка-шарка...

Услышав одобрительные слова, Амиртай от радости аж подпрыгнул.

Теперь мы направились к дому Мунира. У калитки Хамзат нерешительно остановился. Некоторое время раздумывал, потом сказал: «Войдем!» Как только мы очутились во дворе, на нас с громким лаем бросилась очередная собака. Мунир, желая успокоить ее, прикрикнул:

— Перестань, Шонтык! — и принялся ее оттащить.

Хамзат вплотную подошел к дому и закричал:

Шарамазан, шарка-шарка!

Его слова подхватили остальные ребята. Но даже когда мы допели до конца, из дому никто не вышел. Хамзат рассердился и изо всей силы снова заорал: «Шарамазан!..» Тогда, отпустив собаку, Мунир вбежал в дом. Хамзат не пытался его остановить. Через некоторое время Мунир появился с отцом.

Отец Мунира, Амагазы, дрожащими руками положил в ведро три куска сыра.

— Видишь, Шоратай, — тихо сказал мне Хамзат, — мачеха так и не вышла. Не дает жизни бедному Муниру. — И он, не говоря больше ни слова, вывел нас со двора.

На улице мы все с жалостью посмотрели на Мунира.

— Мунир, отец же твой вышел, все нормально, — желая поддержать мальчика, Хамзат похлопал его по плечу.

¹ Катлама — жаренное на масле тесто, уложенное слоями.

Услышав эти слова, Мунир немного приободрился и поднял голову.

— Ребята, надо спешить, а то уже поздно, — поторопился нас Хамзат.

Когда мы ватагой приблизились к нашему дому, сердце мое громко забилося, я очень испугался. Думал, лишь бы мама не дала мало... Это чувство не покидало меня, пока мы не вышли со двора.

В собственный двор я входил, едва касаясь ногами земли, будто по гвоздям ступал.

Но оказалось, что мама, услышав издали наши голоса, уже ждала нас во дворе.

— Заходите, детки, заходите к нам, — позвала она и обняла стоявшего впереди Хамзата.

Обрадованный таким гостеприимством, он неспешно затянул «Шарамазан». Мы подхватили, а в это время мама сходила в хату и вынесла в большой миске сметану и тарелку мяса.

— Кушайте, дорогие! — Она приблизилась к Хамзату и тихо добавила: — Присмотри, пожалуйста, за Шоратаем, свет очей моих.

— О, Шоратай «Шарамазан» хорошо поет! Я, конечно, за ним присмотрю, вы не бойтесь, — успокоил маму Хамзат и, обернувшись ко мне, засмеялся.

— Дорогой мой, вырасти большим джигитом, свет очей моих, — обрадовалась мама.

Выходя со двора, Хамзат пропел в честь маминой щедрости соответствующий куплет «Шарамазана». Услышав эти слова, я от радости подпрыгнул...

— А вот и мой дом, — проговорил Хамзат, и на сей раз «Шарамазан» затянул не он, а Баташ.

Мать Хамзата тоже ожидала нас во дворе. Она вынесла на большом подносе лакумы.

— Специально для вас готовила! Кушайте, кушайте, ребятки, на здоровье, — угощала она.

Батыш, громким голосом распевая хвалебный куплет «Шарамазана», вывел нас со двора Хамзата.

Быстро проглотив лакумы, мы продолжили наше шествие. Где мы только не успели побывать!

— Все, что собрали, — вечером объявил нам Хамзат, — завтра отнесем на берег реки и там съедим. А пока давайте положим гостинцы куда-нибудь.

— Можно к нам, — предложил Баташ. — У нас же есть свободная комната. Пошли, ребята.

Мы сложили продукты и, условившись, что завтра отпразднуем «Шарамазан», попрощались и разошлись по домам.

— Любимчик мой «Шарамазан» начал петь! Дай аллах, чтобы до следующего «Шарамазана» живыми и здоровыми дожили, — такими словами встретила меня мама и, будто давно не видела, прижала к сердцу.

Но на следующий год «Шарамазан» никто уже не пел. Косивший людей голод заставил нас забыть об играх.

Играя в Шарамазан, ребята собирались ватагой, а вот в ночь Кадыра каждый ходил в одиночку.

8

В прежние времена ночь Кадыра у ногайцев считалась самой счастливой, самой благодатной в году. Наступает она на двадцать седьмой день месяца Рамазан, или, по-другому, это двадцать седьмая ночь уразы.

День перед ночью Кадыра называют «Ийис». В этот день и у богатого, и у бедного со двора должен доноситься запах жареных лакумов, баурсаков — небольших лепешек, жаренных в сливочном масле. Потому-то день и называли «ийис» — то есть (Запах, день Запахов). Все жарили баурсаки, лакомились сами и угощали других. Соседям полагалось отправлять гостинцы — нарушение обычая считалось большим грехом.

В ночь Кадыра люди не спали, гадали о будущем. Мечтали о хорошем, считалось, что задуманное в эту ночь сбывается.

Существовало поверье, что в эту ночь посланник аллаха Кадыр шагает по земле с наполненным счастьем мешком — артмаком — за спиной и одаривает встречаемых. Но счастье даруется не каждому, а лишь избранным. Если при встрече с Кадыром не растеряешься, скажешь ему о своих мечтах — вот тогда-то он и исполнит просьбу...

И аулчане до утра ходили по улицам, чтобы вдруг да не пропустить Кадыра. Так рассказывала мама, но я и сам помню. Девушки ходили и просили у аллаха, чтобы их судьба была счастливой, чтобы им попались хорошие женихи...

И стар и млад в эту ночь мечтали о самом сокровенном, ждали от судьбы счастья. Наверно, главное в этой ночи и было то, что она давала человеку лишнюю возможность верить в хорошее, надеяться на будущее.

Здесь я хочу вспомнить о том, как отец рассказывал мне, маленькому, про надежду, веру, про мечту.

— ...Начну с веры. Без этого жизнь не жизнь. Главное, верить друг другу. Без веры человеку не прожить... Потом, есть поговорка: «Работа — от мечты». Так говорят. Да, мечта заставляет человека работать, мечта о хорошей жизни. Если подумать, никто не живет без мечты. Нет, никто. Кроме умалишенных. Каждый думает о счастливом завтрашнем дне и мечтает, как оно там будет, стремится к счастью, надеется. Кто не мечтает, тот не думает о жизни... Кто не надеется — тому и жить незачем, — так рассуждал мой отец в ночь Кадыра.

Я тоже в юности, чего уж скрывать, мечтал и загадывал в ночь Кадыра. Мечты были такими же прекрасными и чистыми, как и сама юность, и я до сих пор помню их.

Сидя у очага, я воображал будущее. Перед глазами рождались картины. Вот одна из них.

Яркая, душистая, вся в цветах широкая долина. По долине разбрелись белые, как молоко, ягнята с овцами, носятся быстрее ветра кони, течет чистый, как слеза, ручей. На берегу ручья расположился крытый голубой жестью большой дом. В долине гуляет, собирает цветы тоненькая, как березка, девушка. Я на белом коне мчусь к ней. Конь подо мной летит как птица, полы моей белой черкески развеваются на ветру. Я осаживаю гарцующую лошадь перед девушкой. Она протягивает мне букет цветов. Я спрыгиваю с коня на землю, беру букет, беру девушку за руку. Потом, держась за руки, мы входим в этот красивый дом, теперь он будто бы наш общий. Мы входим в дом, и красивая женщина одаривает нас священной книгой...

Тогда, в юности, эта мечта окрылила меня, вознесла до небес. Долго искал я в своей жизни эту зеленую долину, голубой дом и ту девушку...

Если бы все исполнялось, чего ни пожелает человек, он и с ханом перестал бы здороваться. Одно желание исполняется, другое нет — такова жизнь. Но все равно

мечтать — это прекрасно. Детская мечта о книге заставила меня полюбить книгу настоящую, а позже — и стремиться писать. Работа — от мечты! Правильно говорят в моем народе.

В ночь Кадыра и отец, и мать мечтали, чтобы, повзрослев, я обзавелся семьей и чтобы Кадыр исполнил все мои желания и мечты. Родители ведь желают детям самого лучшего, чего даже и себе не просят у судьбы.

Но получилось иначе — не привелось моим родителям увидеть внуков.

Может, о том же говорил древний певец:

Пройдет вся жизнь, пройдет как тень,
Но у кого же исполняются мечты...

Помню, под ночь Кадыра мама, подоив корову, принялась жарить баурсаки. Когда она собиралась готовить баурсаки или лакумы, она обычно ставила на треногу большой казан.

— Сегодня хороший вечер, свет очей моих, надо жарить баурсаки. И сами поедем, и соседям отправим. — И, засучив рукава, принялась колдовать у очага.

Я, сидя возле, лакомился, обжигаясь, готовыми, только что из казана вкуснейшими баурсаками.

Отец, приодевшись, вышел на улицу поговорить с соседями...

— Сегодня Кадыр ходит по свету. Посланник аллаха. Наверное, встретится какому-нибудь счастливику. Ах, почему не нам такое счастье? — говорила мама и тяжело вздыхала.

— Абай-ау, а почему бы действительно ему не встретиться с тобой или с отцом? — спрашиваю я, не особенно вникая в смысл сказанного.

Мама сразу не ответила, подумала. Потом, посмотрев на меня, сказала так:

— Не может же он встретиться со всеми, светоч мой. Он встречается только безгрешному, доброму человеку.

Оказывается, мы не такие, потому он нам и не попадает, решил я. Потом, подумав, еще спросил у мамы:

— Абай, абай, а есть в ауле человек, который встретился с ним?

Мама будто не расслышала мой вопрос и молча жарила баурсаки. Я, не успокаиваясь, недовольный ее

молчанием, дергал подол ее длинного коричневого платья. Видя, что я не отстану, мама тихо прошептала:

— Теубе, теубе, бес попутал! Слава аллаху, мы тоже живем, как остальные люди. Пусть всевышний избавит нас от больших трудностей...— и огладила ладонями свое худощавое белое лицо.

Увидев испуганное лицо мамы, я притих.

— Кушай, сынок. Вот возьми этот хрустящий баурсак,— ласково сказала мама.

— Абай, можно, я пойду на улицу к отцу?— спросил я, наевшись до отвала.

— Иди, сынок. Но смотри, только к отцу,— разрешила мама.

Я, обрадованный, пулей вылетел из дома. Мне казалось, пока я сижу у очага, по улицам аула уже ходит стройный, красивый человек с большим мешком за спиной. Решив, что он в любом случае не минует и наш квартал, я никуда не спешил. Мне неясно представлялось, как будет прекрасно и счастливо наше житье, если... Я слышал, Кадыр исполняет все желания, и сообщал сейчас, чего бы у него попросить, что загадать.

Вдруг мне померещилось, будто кто-то движется навстречу.

«Неужели Кадыр?»— испуганно решил я. Произнеся положенное «бисмилла», я замер.

Тот, кто приближался, тоже стал как вкопанный.

Я то зажмуривался от страха, то открывал глаза, но в его сторону смотреть опасался и дрожал всем телом.

Потом, собравшись с духом, повернулся и торопливо зашагал к дому. Возле калитки я остановился и наконец-то решился посмотреть назад. Ко мне кто-то приближался. Я подумал— а вдруг я бегу от своего счастья?— и твердо решил оставаться на месте. Но глаза все же снова зажмурил— боялся увидеть что-нибудь страшное, хотя разве что разглядишь в темноте?

— Шоратай!— звук знакомого голоса заставил меня открыть глаза.

Передо мной, ухмыляясь, стоял мой друг Шахим.

— Испугался, Шоратай?— лукаво поинтересовался он.

— Почему это?— переспросил я недовольно.

— А если не испугался, зачем назад пошел?— Шахим будто испытывал меня.

— Чего это я должен испугаться?

— Ну, а с Кадыром не встретился? — задал новый вопрос Шахим — будто знал, что у меня на сердце.

Я промолчал. Собравшись с мыслями, взял друга за руки, будто упрекая: зачем так много говоришь?

— А я встретился, — сказал Шахим.

— С кем?!

— С Кадыром.

— Как?! — Я растерялся от неожиданности, но тут же сообразил: ведь Шахим не должен был говорить мне о встрече. Ни мне, ни кому-нибудь другому, ни в коем случае, потому что рассказавший о встрече с Кадыром умирает. Значит, и мой друг умрет?

— Как встретился, Шоратай? Да обыкновенно, — продолжал Шахим. — Да ладно, шучу. Вот с тобой встретился. Я искал тебя, а не Кадыра и, как видишь, нашел! — И Шахим громко расхохотался.

— Перестань смеяться... — Я не знал, что и думать.

— А что, плакать, что ли, надо? Никто и никогда не встретится с Кадыром, — объяснил Шахим, тоном подражая взрослым. — Потому что его нет.

— Не говори так, Шахим! — испугался я. — Скажи скорее, что оговорился!

— А что, разве неправда? Если не веришь, иди послушай, что говорит Лакаш Безбожник. Сейчас я иду от них, — мужественно ответил Шахим.

Я промолчал. Потом сказал:

— Пойдем к нам. Мама испекла вкусные баурсаки.

Полакомившись, мы с Шахимом еще раз прогулялись по улице. Шахим — не знаю, а я все не терял надежды, что увижу Кадыра. Но хоть и не случилось этого, слава богу, я встретил своего доброго, честного друга. Если у тебя есть настоящий друг в жизни — это большое счастье. Хороший друг как родственник.

Ни в ту ночь, ни в последующие годы Кадыр мне не встретился. Но все равно я верил, что когда-нибудь это произойдет и он принесет мне счастье. Не только верил, но даже искал его.

Мечты, как известно, исполняются не когда ты просто желаешь чего-то, а обыкновенно когда ты во имя своей мечты проливаешь пот. Поэтому родители с детства учат своих детей работе. Не жалеют ни сил, ни терпения. Выйдет толк — про таких детей скажут: «Родители его хорошо воспитали».

Так как я затронул вечную тему связи родителей и детей, связи разных поколений, надо и об этом рас-

сказать. Кто знает своих предков, тот знает и любит свой народ и родную землю, говорят ногайцы.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

В трудные годы голос отца
Силы вливал в мое уставшее тело.
И рука его показывала мне — иди,
Дальние дали зовут на дороге
жизни.

1

Я уже упоминал, что был в семье младшим. Когда я родился, отец и мать были уже немолоды — обоим под сорок. В те времена люди точно не знали, в каком именно году и месяце они родились. Да и не могли знать: тогда ведь день рождения не регистрировали. Об одном говорили, что он родился, когда Шомай-хаджи возвратился из Мекки, другой — когда в ауле праздновался Патша-той (Царский день). Когда на трон садился новый царь, в его честь в аулах организовывали праздник. В 1913 году в честь 300-летия династии Романовых пировала вся Россия, так, по крайней мере, говорили в ауле. Этот праздник ногайцы прозвали «Большим царским праздником», рассказывал мне отец.

Отец мой хоть и не знал, в котором году родился, мог точно сказать, сколько ему лет. Он высчитывал возраст по восточному календарю, где годы обозначаются именами животных. И сейчас еще многие старики по этому летосчислению выводят, сколько им лет. Восточному календарю отец старался научить и меня. Все тонкости я уже не помню, лишь названия двенадцати годов цикла.

Отец говорил, что он родился в год барса, и, загибая пальцы левой руки, считал, сколько ему теперь лет.

Однажды я готовил дома уроки — читал вслух из учебника:

— Сосо Джугашвили родился в 1879 году в городе Гори...

Услышав эти слова, отец подошел ко мне и попросил:

— А ну-ка, сынок, повтори это место.

Я, решив, что неправильно прочитал, вопросительно посмотрел на отца. Он погладил меня по голове:

— Да, сынок, не поленись, прочти еще разок это место. Когда он родился? — Снова погладив мои торча-

щие, как иголки у ежа, волосы, добавил: — Волосы отросли, сынок, как у попа. Ибрагима завтра надо попросить, чтобы обрил.

Я, желая удостовериться, что волосы действительно отросли, потрогал голову.

— Отец, Ибрай завтра на работу пойдет, — сказал я, намекая, что мне неохота стричься.

Отец всмотрелся в лежавшую передо мной книгу:

— Значит, в детстве Сталина звали Сосо, так, сынок? Интересно, — и стал рассматривать картинку, где был изображен мальчик с книгой за поясом.

— Да, отец, — подтвердил я.

— Интерес не в том, сынок. Получается, я родился в том же году, что и он, — объяснил отец тихо.

Услышав такое, я даже подскочил.

— Акай, акай, и ты в семьдесят девятом году родился? — прокричал я.

— Не кричи, сынок, и не говори никому, — сказал отец, как будто упрасывая меня.

Я тогда не понял смысла этой просьбы. Сообразил много времени спустя.

В те времена Сталина почитали как бога. Наверное, поэтому отец и сам боялся поверить, что мог родиться в том же году.

Я, разумеется, выполнил просьбу отца. Никому не сказал, что отец — одноклассник великого Сосо Джугашвили. Но помнил об этом всегда — и с тех пор твердо знал год рождения отца.

Много лет спустя я высек этот год на его могильном камне.

Вспоминая предков, отец говорил:

— У ногайцев каждый человек должен знать своих предков до седьмого колена. Вот и ты должен знать их. Слушай внимательно: мой отец — Кожахмет, его отец — Абдуллах, его отца звали Капай... — Загибая пальцы левой руки, он считал до семи колен. Потом он начал рассказывать о своем отце, моем дедушке. О его характере, о его неумолимости в работе. А деда своего, моего прадеда, он уже помнил плохо, был тогда совсем маленьким.

— От Капая и пошла наша фамилия. Род наш называется Эсеней, когда-то очень многочисленный был. Тавро нашего рода — косая единица, а метка для овец

и коз была такая: кончик левого уха обрезался, а правое — чуть надрезалось. Мать отца, твоя бабка, — из рода Найманов. Вот такая у нас родословная, сынок. Помни это, а потом, бог даст, расскажешь своим детям. Пусть узнают, из какого рода они... — Отец часто повторял эти слова, будто завещал мне.

Потом он объяснил еще, какие люди в ауле принадлежат к нашему роду. Их он называл «наша кость»: выходцы из рода Эсеней — все родственники друг другу, одна кость у всех. И всем им нельзя было смешиваться кровью, то есть сватать друг у друга девушек.

Так мои предки держали свой род в чистоте. Сейчас, конечно, на это особенно не смотрят.

— Если Ибрай завтра работать будет, ты сходишь к нему послезавтра и подстрижешься. Слышишь? — распорядился отец.

— Хорошо, — согласился я, хотя мне не очень-то хотелось стричься.

Побрить голову — не простое дело. Если бритва оказывалась тупой, она словно выдирала волосы с корнем. А волосы у меня были густые и жесткие, как проволока.

Кроме того, мне не хотелось стричься потому, что малышки сразу начинали дразниться.

Но отец не любил, когда я обрастал, — видно, думал, что ходить с бритой головой — здоровее.

Ибрай был добрым, отзывчивым парнем.

В армию его забрали перед самой войной. Я читал его отцу письма, которые приходили из далекого Бреста. С началом войны писем не стало. Потом пришла похоронка. Там было сказано, что Курмангулов Ибрай пал смертью храбрых...

Мой отец был относительно грамотным человеком для своего времени. Хоть немного, но знал и русскую, и арабскую грамоту, как говорится, умел отличить черное от белого. Он учился в трехклассной школе аула Алакай — первой школе в ногайских аулах. Особенно хорошо он, насколько я помню, знал историю и арифметику. Часами мог рассказывать про ханов и русских князей. Я с удовольствием слушал его, может, потому впоследствии и выбрал в институте факультет истории.

Если нужно было прочитать что-то написанное по-русски или, наоборот, написать самому, люди обычно приходили к отцу.

Когда организовали колхоз, отца долго упрашивали пойти работать учетчиком, но он не согласился. По характеру своему он был вдумчивый, неспешный, — не мог он так сразу, без оглядки, в один день отречься от привычной ему жизни. К тому же куда ему от скота? В поте лица всю жизнь старался он от одной коровы получить две, ухаживал, любил животных, пахал землю. Мама говорила, что ему даже и зимой, когда все крестьяне отдыхают, дома не сиделось. На мамины слова — «Побудь дома, как все люди, голодные мы, что ли?» — он отвечал, что работа ему в радость, и почему это он, здоровый, должен бить баклуши. Такое я слышал от него и сам не раз.

В прежние времена, когда купцы хотели отвезти свой товар в Невинку или Баталпашинскую, они нанимали аулчан, у которых были повозки. Называли таких людей «перевозчиками», среди них был и отец.

Много позже, когда уже я подросток и собирался с отцом в Невинку и Баталпашинскую, отец говорил:

— Э-э, сынок, сколько по этой дороге, да в сильные морозы, я ездил. Пару раз чуть не замерз в степи, — и глубоко вздыхал, вспоминая былые трудности. Проехав немного, он опять начинал: — Нет, как бы ни было трудно, все же молодость у человека — самая прекрасная пора. Ах, молодость! Воду из камня можешь выжать! Не возвращается она назад... — И опять вздыхал, словно жалея, что вспомнил и сказал плохое о тех временах.

Мой отец был человеком крепкого телосложения, невысокий, хорошего здоровья, розовощекий. Носил усы и бороду, в молодые годы выходил в круг бороться. Как говорится, добрым был молодцем. Когда перевалило за сорок, начал лысеть, но оставался подвижным, легким, злым на работу. Я не помню случая, чтобы он гулял на свадьбах, прохлаждался на улице. Был очень старательным, трудолюбивым. В детстве я всего этого не понимал. Думал, что каждый и должен так поступать. Потом, повзрослев, я жалел — почему он, бедный, не отдыхал, как другие. Что скрывать, я и сейчас жалею...

Поднявшись до зари, отец то возился со скотом, то во дворе по хозяйству. Я уже говорил, надеяться ему было

не на кого, я тоже был слишком мал. А крестьянской работе, как известно, конца не бывает.

Как только начинал таять снег, шла паром земля, отец готовился к пахоте. Вытаскивал из сарая двухлемешный плуг, борону. Видя, как бережно он хранит орудия труда, некоторые аулчане посмеивались: «Ва, Имамали, что они, замерзли бы, если бы ты их не укутал?» Отец, не обращая внимания на насмешки, приговаривал себе под нос: «То-то, ваши плуги заржавели! Теперь мучаетесь, гайки не можете открутить. Если хорошо хранишь вещь, хорошо ей и пользуешься». Отец не скупился на советы, но прислушивались соседи к ним или нет, кто их знает.

Протерев плуг, борону, отец затягивал болты.

Когда земля отходила, теплела, он говорил: «Емире, — мифическое существо, которое появляется ранней весной, поднимается на небо, потом падает на лед, растапливает его и уходит в землю, после чего земля согревается и от нее поднимается пар, — упало на землю. Теперь можно пахать». И одним из первых в ауле выходил в поле, это было знаком для других.

Я и сейчас не понимаю, откуда взялось это Емире. Потому что, кроме отца, я про это существо ни от кого не слыхивал. И сейчас я спрашиваю насчет Емире у пожилых людей, но никто толково не может мне объяснить, что же это такое, — повторяют слышанное мною в детстве от отца.

«...Емире похоже на красный, горящий шар. Зимой оно обитает в навозных кучах, то есть там, где теплее. Потом поднимается на небо — и воздух смягчает. Согрев небо, Емире спускается на землю и растапливает лед. Земля согревается, лед тает. После этого, прогнав холод на земле и на небе, Емире вновь уходит в навозные кучи, — поэтому и летом навозные кучи дымятся...»

Вот такой рассказ я слышал про Емире. Будто бы есть аулчане, которые сами видели, как Емире спускалось на землю.

Не вспахав участок, отец не мог спокойно спать. В эту пору дома он показывался редко.

После пахоты начинался сев.

Во время пахоты и сева отец не брал нас с матерью в поле. Когда же начинался сенокос, прополка и уборка урожая, мы с мамой ему помогали. Хорошо помню одну сенокосную страду.

В те времена сенокосные угодья делились между мужчинами. Наше было, если память не изменяет, на Саламатовой меже — на границе между землями нашего аула и бая Саламата.

Сенокос.

Аромат луга, трава по пояс расстилается под солнцем зеленым ковром, радует глаз. Я окунался в траву, как в воду, и чувствовал себя очень счастливым.

Вот один такой день и сохранился в моей памяти.

2

Узенькая дорожка, извиваясь, делит широкое поле на две части.

Мчится повозка, запряженная двумя лошадьми. Отец, усевшись на свежескошенную траву, помахивает кнутом и приговаривает: «Шу, шу!»

Мама, тоже сидя на зеленой травке, положив в ногах узелок с едой, щурия глаза, всматривается в даль бескрайней степи, будто желая кого-то увидеть.

Мама была младше отца года на четыре. Белолицая, худощавая, среднего роста. И очень добрая. Когда разговаривала с кем-нибудь, то к ребенку обращалась ласково: «светоч мой», а старшему по возрасту желала: «Чтобы твоя болезнь перешла ко мне».

Она была из рода кипчаков. Мой дед по материнской линии был кипчак. Родственник с гордостью говорил о своих доблестных предках, вспоминала мама.

Вот что я услышал от матери и храню в памяти.

«...Мы — известные в прошлом всему миру кипчаки. Это были очень многочисленные племена. У ногайцев даже поговорка существовала: «Камень в степи перевернешь — кипчак выйдет», до того много нас было. А потом — будто утренний туман растаял — как и не существовало могучего племени. Одни погибли в бесчисленных войнах, в междоусобицах, другие смешались с соседними народами... А иные переменили свой род. Но мы сохранили тавро древнего кипчакского рода и гордо носим свое имя. Так записали нас и на бумаге...»

Мама была права. Среди всех ногайцев (и кубанских, и дагестанских) только мои родственники по материнской линии носят фамилию Кипчаковы. Но людей, которые ведут свой род от кипчаков, — немало: такие есть и у ногайцев, и у казахов, у каракалпаков, узбеков

и у других тюркских народов. Говорят о себе: «Я из рода кипчаков». Многие также пользуются тамгой рода кипчаков. Люди с фамилией Кипчаковы живут и сейчас в наших аулах, но их немного: от племени, которое раньше не умещалось в бескрайних степях между Волгой и Дунаем, остались всего лишь эти несколько семей.

Но бесследно ведь ничто не исчезает с земли. Известно, что некоторые кипчакские роды, не желая покориться Чингисхану, ушли через земли Киевской Руси к венграм. Об этом упоминается и в нашей старинной песне: «...К внуку переедем в Венгрию».

Венгерский царь с радостью принял кипчаков, потому что его мать была их рода.

Кипчаки начали просачиваться на запад в 892 году. В память тысячелетия переселения кипчаков в Венгрию там в 1896 году на поле Героев установлен обелиск, воспевающий героизм кипчакских воинов. На обелиске изображены несколько всадников, кажется, что они скачут навстречу врагу. Известно имя воина, который изображен на переднем плане: это — Арпат.

И сейчас венгры употребляют много кипчакских слов.

Я здесь не говорю о кипчаках, которые переселились к грузинам, к арабам...

Мой дед Кыдырали Кипчак, по словам мамы, был грамотным человеком. Читал и по-русски, и по-арабски. Он преподавал в первой ногайской школе, которую открыли в ауле Алакай в 1876 году. Занимался пчеловодством, имел большую пасеку. Ухаживал за пчелами от зари до зари. «Работающий был человек», — вспоминала мама.

Дед по матери был невысоким, смуглым, не улыбочным, очень подвижным, как рассказывают. Я его не застал. Сестра мамы дожила до конца пятидесятых годов, младший брат, Шапай, сложил голову на полях Великой Отечественной войны. Погиб, освобождая венгерскую землю, в том числе и своих сородичей-кипчаков, от фашистов...

Я тоже еду на повозке, глаза слипаются — еще не отошел от сна.

Поле кажется бескрайним, уходит за горизонт.

Стрекотанье стрекоз слышится мне волшебными звуками домбры. Будто споря с ними, над полем щебечут птицы.

Отец и сегодня разбудил нас чуть свет.

— Траву надо косить, пока роса, пошевеливай-тесь, — торопил он нас.

Потому-то и слипаются мои глаза. Сзади к повозке привязана сыромятным ремнем маленькая деревянная бочка с водой; когда повозка подпрыгивает, там булькает.

Отец подгоняет лошадей:

— Шу, Торы! Шу, Кара!

Лошади прибавляют ходу. Отец не бьет их, ни разу не ударил, только взмахивает кнутом. Они хорошо понимают хозяина и, заслышав посвист кнута, переходят на рысь.

— Хорошей лошади — и простого взмаха много, плохой — тысячу раз хлещи — мало, — повторял отец, с гордостью глядя на своих ухоженных Торы и Кара.

Из-за холмов на горизонте показался лучик солнца, и все вокруг засверкало. Огненно-золотое сияние наполнило мир.

— Солнце встает, а мы еще до места не добрались, — вздохнул отец; поднял кнут и, повышая голос, крикнул: — Шу! Шу!

Арба покатила быстрее. И птицы в небе многогласо защебетали.

— Вот и наше сенокосное угодье, — отец показал концом кнутовища на поляну.

Мы с матерью приподнялись в повозке и посмотрели в ту сторону. Подъехав ближе, отец натянул поводья.

— Ну вот и прибыли, дочь Кыдырали. Ты поставь еду в тень под арбу, а я пока распрягу лошадей, спутаю им ноги и пущу пасть.

Я слез с повозки и осмотрелся. Цветущий луг переливался под лучами солнца всеми цветами радуги, маленькие солнышки серебрились и играли в каплях росы. Стрекотали кузнечики, перекликались птицы.

Жаворонок, небольшой, величиной с воробья, заливался прямо у нас над головой, будто радовался солнцу и человеку. Певец степи, так называют его ногайцы.

Отец торопясь выпряг лошадей, поставил бочку с водой под арбу и еще прикрыл сверху свежескошенной травой, взял из вчерашних валков: все для того, чтобы вода не согревалась. Потом начал отбивать косу маленьким молотком.

— Вот смотри, сынок, учись. Плохо отбитая коса, сколько ее ни точи оселком, не будет косить. Надо уметь

отбивать косу, смотри сюда и учись.— Отец работает неспешно, чтобы я разобрался. Закончив отбивать, он правит косу оселком и снова показывает мне, как это делается.

Потом, заметно прихрамывая, идет косить.

«Жик-жик» — разносится звук отцовской косы.

Мама, спрятав в тень арбы еду и другие вещи, подождала меня к себе:

— Свет очей моих, если заберешься под арбу, не ложись на спину. Человеку, который спит на спине в степи, может в рот заползти змея. Это я слышала от многих... пусть аллах сохранит тебя от такой беды! Но, как говорится, береженого — бог бережет, поэтому береги себя. Вот здесь я постелила войлок, ляжешь на живот...

— Если змея заползет в рот, как же она оттуда выбегает, абай? — тотчас заинтересовался я.

Мама удивленно посмотрела на меня. Потом, решив, что надо еще раз предостеречь, повторила:

— Избавь тебя аллах от такого, сынок! Если змея заползла в рот, разве она может не ужалить? Одному бедняге, говорят, даже давали простоквашу, заправленную чесноком, чтобы выгнать змею. Береги тебя аллах! Захочешь лечь, скажи мне. Я сама тебя уложу.

Это она повторила мне несколько раз. Потом еще предостерегла:

— Не пей воду из ручья, можешь проглотить змею или насекомое какое...

Я, конечно, все делал, как велела мама. Лежа не пил из ручья, только с ладоней, в степи не спал на спине...

— Вот, сынок, видишь, какие большие? — отец указал мне на крупные ягоды земляники.

Я бродил по густой траве и собирал землянику. Одну ягоду отправлял в рот, другую — в войлочную шляпу, собирал для родителей. Через некоторое время моя маленькая войлочная шляпа наполнилась красными ягодами. Я обрадованно показал ее отцу:

— Акай, посмотри, сколько собрал!

Отец, прекратив косить, оглянулся.

— Отнеси матери, пусть попробует.

— Акай, и ты поешь!

— Ну, неси!

Я протянул отцу шляпу. Он отсыпал на ладонь.

— Остальное неси матери, сынок. Этого мне хватит.

Мама, радуясь гостинцу от своего единственного и ненаглядного сына, пробовала ягоды, словно мед...

Отец косил без остановки часов до двух. Мама вилами собирала подсохшую позавчерашнюю траву в кучки. Я тоже не стоял без дела, собирал землянику. Одну — в рот, другую — в шляпу. Ягоды таяли во рту, будто масло.

Во времена моего детства девушки и юноши с корзинами в руках ходили по землянику. Девушки пели, их голоса заставляли биться сильнее сердца молодых парней.

Ветер шумит на холмах,
В пизине я собираю землянику,
Твои щеки краснеют, как ягоды.
Я страдаю, думая о тебе...

Сейчас я не вижу, чтобы на полянах было столько земляники. Теперь ее выращивают в огородах. Но она не такая вкусная, как ягоды, что я рвал в густой траве под солнцем, да и аромат не тот.

«Жик-жик» — доносится звук отцовской косы. Мама, боясь отстать, спешно сгребает сено в кучки. Пестро-зеленая бабочка перелетает с одного цветка на другой. Где-то в небе поет жаворонок. С каждым часом зной усиливается.

Отец время от времени останавливается, точит косу, вытирает с широкого лба пот. И опять за ним ложатся полосы скошенной травы.

— Уже время обедать, — сказала мама, поглядев на солнце.

В пору моего детства я не видел, чтобы у кого-нибудь из нашего квартала были часы. Время узнавали днем — по солнцу, вечером — по звездам, а утром — по петушину крику.

Положив вилы, мама пошла к арбе. Я подбежал к ней.

— До обеда осталось мало, сынок. Сейчас я разведу костер и заварю отцу чай.

Ногаец и дома, и в степи не может обойтись без чая. В давние времена кочующий ногаец в полдень останавливал арбу, распрягал лошадей и, подвесив на оглоблю свой металлический чайник, заваривал чай. Мама, однако, на оглоблю чайник не подвесила; отец заранее

вбил в землю кольца, на них положили палку, получился таган. Мама принесла с арбы веточки, дрова и кизяк, которые она захватила из дому, разожгла костер. Когда костер разгорелся и запах кизяка начал смешиваться с ароматом цветов, она подвесила над огнем чайник с водой и, разостлав в тени арбы войлок, вытащила из мешочка вареное мясо, сыр, хлеб и положила все это на белое полотенце.

Пока мама раскладывала еду, вода в чайнике закипела. Увидев это, я крикнул:

— Абай! Абай! Вода выливается!

— Ничего, сынок, сейчас заварю чай...

Через некоторое время она сняла чайник с огня.

Когда все было готово, мама повесила на ручку вил белый платок. Я очень удивился, не понимая, зачем она так делает. Мама, видя мое недоумение, объяснила:

— Это я отца зову обедать.

Отец, заметив знак, направился к нам.

— Сегодня немало накопил, дочь Кадырали. Из конца в конец проложил семь валков...

Чтобы никто не порезался, он воткнул косу в землю.

— Зачем надрываешься, отец Шоратая. Сегодня не успеешь, завтра закончишь,— сказала мама, жалея его.

— Вот Шора подрастет, не будем надрываться. Тогда я и отдохну. Верно я говорю, сынок?— Отец погладил мои взъерошенные черные волосы.

Что я мог ответить? Я как собачонка вертелся возле него, ходил за ним следом.

Отец вымыл руки, сел. Я примостился рядом.

После обеда он опять заговорил о сенокосе.

— Чтобы сена хватило до апреля, надо заготовить после десяти копен еще шестьдесят стожков, дочь Кыдырали.

— Полежи, отдохни немного, сено никуда не убежит,— попросила мама.

— Недаром деды завещали, что к алтыарыку — шести дням — нужно шестьдесят стожков,— гнул свое отец.— Люди просто так не сболтнут.

— Акай, а что такое алтыарык? Скажи,— попросил я.

Отец никогда не обделял меня вниманием. Особенно если речь шла о каких-нибудь древних историях. Он рассказывал, а я с вниманием слушал. То, что я услы-

шал тогда, на сенокосе, я потом много раз наблюдал в жизни.

«Увыт — февраль — приходит, замораживая и небо и землю», — говорят ногайцы про последний зимний месяц. Это, наверное, потому, что февраль — самый холодный месяц в наших краях. И вот будто бы февраль сказал январю хвастливо: «Эх ты, слабак, а я могу запросто расколоть рог быка надвое». В этих словах есть смысл, хотя, казалось бы, в январе и дни короче, и ночи длиннее, то есть самый разгар зимы. А февраль что — зима на исходе, тут уж и дни длиннее, и дыхание весны близко. Но в наших местах февраль бывает таким морозным, что заставляет забыть про январь. Поэтому в народе и говорят: «увыт суыт» — «февраль заморозит». Действительно, оставь в февральскую стужу быка в степи, рога от мороза расколются. Этому можно верить. Еще в нашем народе говорили: «Увыт пришел — жут пришел». Жут — бескормица. Так говорили потому, что к февралю у людей обычно не оставалось ни кормов, ни припасов, и каждый, стремясь дотянуть до весны, ограничивал и себя, и скот в пище. Вот это и значит — «жут пришел». Февраль — время ограничений. Капризы февраля испытали на себе многие поколения. Ногайцы знают про февраль все и придумали разные пословицы и поговорки на этот счет, отражающие опыт столетий. Дали и имена различным дням в конце зимы.

Бердази — это небольшой промежуток времени, последняя неделя февраля и первая неделя марта. Но какое это время! При одном упоминании о бердази я вздрагиваю всем телом, перед глазами встает бешено крутящаяся снежная мгла...

«Где бы ты ни был, в бердази оставайся дома», — наставляет ногайская пословица. Наши деды на себе испытали непостоянный, как у кокетливой девушки, нрав начала марта. Наверное, поэтому говорили: «Если день и солнечный, в бердази не выходи на дорогу». Правильные слова. Кто не знает, что в марте погода за день меняется несколько раз!

В конце февраля с востока резко начинают дуть пронизывающие до костей ледяные ветры. Самое малое — дуют три дня, иногда неделю, а в иные годы и того больше. Эти ветры, если на земле лежит снег, становятся бураном, а в бесснежные зимы поднимают в воздух верхний слой земли — налетают пыльные бури.

В такие дни лучше не показываться на улице. Человек, оставшийся где-нибудь в поле, без сомнения замерзнет. Многие джигиты, выйдя в путь во время бердази, погибли в степях.

У бедняцких домов во время бердази ветер нередко срывал соломенные крыши. Что скрывать, и сейчас, бывает, сорвет и унесет шифер или жель.

Бердази уходит, отняв силы у всего живого. В последних днях марта наступает алтыарык — дни, следующие за бердази. В эту-то пору как раз у людей и кончались запасы дров и кормов. Приходило время, так сказать, «похудения», и длилось оно около недели (алтыарык — шесть худых дней.)

«Впереди алтыарык, не думай, что зима ушла», — говорили старые люди. Аулчане старались загодя готовиться и к бердази, и к алтыарыку. Те, кто позапасливей, встречали дни алтыарыка без особых забот. Наверное, именно они придумали эти бодрые слова:

Два коня есть в сарае,
И две копны сена на возу.
И чем мне тужить в буране...

Запасливость, что ни говори, — хорошая черта. Недаром наши деды наставляли: «Запасливый нужды не терпит».

Про алтыарык я слышал такую быль.

В давние времена в одном ауле жил богач. Он не знал счета своим отарам. В том же ауле со старушкой матерью жил бедный парень. Он полюбил дочь богача. Но что толку, разве выдаст богач свою прекрасную дочь за бедняка? Однако парень был хоть и бедным, да умным. Сам не имея ни овцы, ни коровы, он годами собирал сено. Соседи очень удивлялись этому обстоятельству, а парень думал: «Ничего, бай, и ты придешь ко мне с поклоном». Недаром говорится в народе: «Работа — от мечты». Однажды, когда бай уже радовался, что хорошо перезимовал, скоро можно выгнать отары в степь, неожиданно подули ветры. Повалил снег, началась метель. Бесчисленные стада бая начали таять от голода. Тут бай вспомнил про бедняка, у которого много стогов сена, и послал к парню гонцов, чтобы тот продал ему корм. Но парень не захотел даже и слушать. Сказал только, что, если бай выдаст за него свою дочь, он в качестве калыма отдаст сено. Бай гневался, бушевал, обещал парню золотые горы за сено, но тот стоял на своем.

В конце концов бай вынужден был согласиться и выдал свою дочь замуж за бедняка. Девушку звали Абирли. В день свадьбы установилась солнечная, теплая погода и появилась трава. Увидев это, в народе сказали:

Абирли ушла из дому —
И зима ушла из наших мест...

Вот и вся история про бая и про то, как он дочь обменял на сено. Быль это, сказка ли — кто знает? Но история поучительная.

«Запасливый нужды не терпит», — недаром говорили наши деды.

3

Наверное, и тогда отец думал про алтыарык, не хотел остаться без запасов ко времени «похудения».

Кончил рассказывать, живо поднялся с места.

— Что это я разлегся, надо править косу. — Он явно был недоволен, что потерял время после обеда.

— Хоть немного бы отдохнул, а то совсем без сил останешься. Подожди, не на пожар ведь спешим, — сказала мама, протирая казан.

— Ай-вой, что ты говоришь! Завтра-послезавтра кукурузу надо полоть, бурьяном поросла. Ты это знаешь, дочь Кыдырали.

Какой отдых, пора кончать косить!

«Тук-тук» — стучит молоток. Отец правит косу. Мама моет посуду. Солнце спешит к закату.

— И ты, сынок, возьми кнут и пригони лошадей к арбе. Смотри только, осторожно, — расиорядился отец.

Я, обрадованный, хватаю кнут и, едва касаясь ногами земли, лечу вперед, в степь. Правда, успеваю услышать, как мама упрекает отца:

— Что ж ты ребенка отправляешь в такую даль? А лягнет лошадь, что будешь делать?

— Пусть учится, от работы еще никто не умирал. Если не сейчас — потом кто его научит? Самому же пригодится. А лошади его не тронут, по запаху узнают. Когда я был таким же, как он, я сам запрягал. Это сейчас все — «ребенок». Жалеем своих детей. Но, дочь Кыдырали, жалея, мы можем превратить его в плохого человека, в лентяя. Ты понимаешь это? — стоит на своем отец.

Когда я подошел к лошадям и помахал кнутом, они перестали щипать травку и, подняв головы, посмотрели на меня. Я щелкнул кнутом, прикрикнул: «Шу, Кара, шу, Торы». Лошади тотчас повернули назад и, выбрасывая вперед спутанные ноги, поскакали к арбе.

Отец закончил уже править косу и торопил маму:

— Пошли, дочь Кыдырали, займемся делом. Ты собирай сено, а я еще два валка скошу.

Желая посмотреть, насколько тщательно мама собирает сено, отец прошел по ее следу. Увидев там и тут несколько стебельков, собрал их в горсть и сказал:

— Дочь Кыдырали, вот этой горсти зимой может не хватить. Ты это знаешь? Надо лучше собирать. Как же такое сено оставлять в степи!

— Разве мыслимо ни единого стебелька не пропустить? — неуверенно ответила мама.

Я много раз был свидетелем тому, как отец переживал за каждое зернышко, за каждый стебелек. Не любил, чтобы пропадало добро. «Из малого складывается большое», — часто повторял он.

4

Однажды отец разбудил меня чуть свет. Сказал, чтобы я пошел и скосил участок, который на Большой Горе выделил нам бригадир Ибрай.

— Я наведушь после обеда, — добавил он. — А до обеда надо успеть на похороны. Умер Эскиндир, ты же его знал. Давай поторапливайся.

В то время я был уже большим, лет четырнадцати. Вроде и крепкий и сильный, но к приходу отца не накосил и одной арбы. До восхода солнца, обливаясь потом, я скосил десять — пятнадцать валков — и прилег на бугорке. Так и заснул. Видно, устал изрядно. Через некоторое время сквозь сон я услышал какие-то крики и проснулся. Отец, прихрамывая на больную правую ногу, бегал между моими валками и кричал. Я не мог сообразить, что это с ним, и поскорее спустился с бугорка. Увидев меня, отец показал на оставшиеся нескошенными пучки травы:

— Это еще что такое? И я тебе верил! Ты испортил весь участок! Половина травы осталась нескошенной! Разве можно! Если так косить, с одной десятины земли и одну арбу сена не накопишь. Эх, ты! Не выйдет из те-

бя человека. — С этими словами он, хромя, обошел весь участок, где я косил.

Я низко опустил голову. В ушах звенело, я не мог двинуться с места.

— Принеси сюда молоток! Что стоишь как вкопанный, быстро! — распорядился отец, повернувшись ко мне.

Я бегом исполнил его поручение. Отец, не переставая ворчать, начал отбивать косу.

Затем он заново прошел по тому месту, где косил я, и, как бритвой, срезал всю оставшуюся траву. Я собирал за ним, складывал в кучки.

— Ну вот, теперь похоже, что здесь косили. И перед людьми стыдно не будет, — сказал отец, оглядев участок.

«Какое же дело посторонним до нашего покоса», — подумал я тогда, не поняв сразу смысла отцовских слов.

А вот сейчас частенько вспоминаю эти слова отца: «Чтобы перед людьми не было стыдно» — и любую работу стараюсь выполнить на совесть.

Слышу и другие его слова: «Стыд — это великое чувство. Кто не умеет стыдиться, тот не может быть добрым человеком. Человеку не нужно бояться, а надо уметь стесняться...» Отец часто возвращался к этой мысли.

Очистив за мной участок, отец перешел на новое место. Я внимательно смотрел за его работой. Валки ложились ровно, за спиной не оставалось ни одной травинки. После отца поляна напоминала бритую голову, была чистой и ровной, валки прямые, как стрелы.

Пройдя один раз до конца участка, отец остановился, с трудом перевел дыхание:

— Нет уже той силы, что в молодости. Да еще эта нога... — Он посмотрел на больную ногу.

Я уже говорил, что отец мой хромал на правую ногу. Сначала, после увечья, немного ходил на костылях, но потом отказался от них. Как и что с ним произошло, я расскажу в следующей главе.

Да, когда он был здоров, коса пела в его руках.

— Держи, сынок, ты уже сильный джигит, коси. Жаль, у тебя пока умения не хватает, а то ты бы сразу одолел весь участок. Вот так наклони косу, кончик немного приподыми. Тогда после тебя не останется ни единой травинки. Ну, давай начинай, я погляжу. — Наточив косу, отец протянул ее мне.

Изредка он останавливал меня и показывал, как правильно держать руки, как размахнуться, и так далее.

В тот день я хоть и совсем выбился из сил, но научился косить. Умение это пригодилось мне потом в жизни. В косьбе я уже никогда ни от кого не отставал, и за скошенный участок мне «не было стыдно перед людьми», как сказал бы отец.

На третий день я собрал сено с валков и уложил в копны. Затем мы с отцом отвезли сено домой.

После сенокоса отец спешно, торопя и домашних, выходил на прополку подсолнечника и кукурузы. Как и на сенокос, в поле выходили втроем. И опять мать с отцом трудились не разгибая спины. И опять отец не мог спокойно отдохнуть, то начинал точить тяпки, то еще что-нибудь.

После прополки пришло время жатвы. Тут уж отец прямо изводил себя работой.

Да и зимой он не сидел сложа руки. Шил, правил хомуты, сбрую, плел новую плетку, ремонтировал арбу. Я повторяюсь, но я никогда не видел его бездельничающим. Даже если ему приходилось быть в гостях, он говорил, что дома ждет работа, и быстро возвращался назад. Это я наблюдал не раз...

5

Но вернемся назад, в конец двадцатых годов.

Помню, вдруг отец охладел к работе, ходил задумчивый, избегал разговоров. Как прежде, не сидел вечером у очага, с каким-нибудь делом, не рассказывал разные истории, не пел.

Но однажды его прорвало, и он поделился своей тревогой с матерью. Начался разговор опять со злополучного года его рождения.

Вечером, накормив скотину, отец вернулся в дом и прилег на топчан. Я примостился у его ног. Некоторое время он лежал молча, мне казалось, дремлет. Но вдруг он повернулся к матери, возившейся у очага:

— Дочь Кыдырали, вот мне и пятьдесят. Уже старшеем.

Потом он что-то шептал про себя, будто еще раз подсчитывал годы по привычному ему восточному календарю, а затем тихо, как будто про себя, повторил:

— Да, я в тот же год родился, что и Сталин.

— Перестань, зачем говоришь такое! Накличешь на себя беду, — встревожилась мама. — И так в ауле про тебя ходят слухи, что говоришь не то, что следует...

Отец приподнялся на лежанке и, поглаживая свои черные усы, ответил:

— Интересный ты человек, дочь Кыдырали. Мало людей, что ли, родилось в тот год? Я один из них. Я про него ничего плохого не говорю. Сказал — родился в тот же год, чтоб он не род... — тут отец поперхнулся и умолк.

— Вот видишь! Твой язык до беды тебя доведет, — упрекнула мама. — Да, совсем забыла тебе сказать. Был Амет, передал, чтобы ты завтра пришел в Совет. Интересно, что опять скажут. Опять кто-нибудь на тебя пожаловался, наверное, чтоб его змея ужалила. Ох, держал бы ты свой язык за зубами! Ты вообще молчать можешь?

— Что они могут сказать, мне известно! Опять требуют налог уплатить. Один еле-еле уплатил, теперь снова в двойном размере заставят платить. Наверное, думают, что я деньги рожаю. Аждаут, Абдырай, которые прежде свои семьи не могли содержать, нынче к таким, как я, пристают: «плати да плати». Еще угрожают Сибирью. Эх, хоть так, хоть эдак думай, а толку нет, — горестно вздохнул отец, почесывая поредевшие волосы на макушке.

Мама, разворошив ухватом тлеющие кизяки, тоже вздохнула.

— Не умеешь ты подладиться как другие. Бог знает что при народе говоришь. Думаешь, мало людей, которые твои слова извращают и доносят куда следует? Тебе хватит. Не пойму, тебя что, за язык тянут?

— Я правду говорю. Кто меня ненавидит, тот, конечно, всякое обо мне наплетет. Один умный человек сказал, когда его много упрекали:

Сидеть будешь — скажут: лентяй,

Стоять будешь — скажут: слюнтяй.

Говорить будешь — скажут: так-так...

Молчать будешь — скажут: дурак.

Если уж ты кому не по душе, что ни делай, не угодишь. Но правда рано или поздно верх возьмет. Когда-нибудь поймут, что я прав, дочь Кыдырали.

Мать, не перебивая отца, сидела молча. Потом, отвечая на его ожидающий взгляд, посетовала:

— Ну зачем тебе было вспоминать, что Сати прежде был босяком? Сейчас ведь он в активе состоит... — В голосе мамы чувствовались просительные нотки.

Видно было, что отец рассердился. Он некоторое время не находил ответа и почесывал голову (когда отец вел серьезные разговоры, он имел привычку почесывать лысеющую макушку). Потом вскочил с топчана, прошелся по тесной комнате и, будто его могли перебить, быстро заговорил:

— Ну сама подумай, дочь Кыдырали: казна и отцу Сати, и мне землю дала? Дала. Но тот был настоящим лентяем и землей не воспользовался. Не пахал, не боронил, не сеял. Валялся на лежанке до обеда, на свадьбах пировал, бузу пил. А я не знал, что такое веселье, отдых. Ты спроси — умею я танцевать ораду? Нет.

— Знаю, что не умеешь, — поддержала мама отца. — Но хотя ты и не умел танцевать ораду, однако я остальным парням предпочла тебя. За тебя замуж вышла, — сказала она, посмеиваясь, желая хоть немного успокоить отца.

— Пстой, дочь Кыдырали, не перебивай меня. Ну вот, отец Сати Исхак начал свою землю понемногу продавать. Натянул хромовые сапоги, выбрал гармонистку Абидат. Думал, на вырученные деньги до конца дней прожить. Про таких говорят: дурак думкой богатеет. А через некоторое время он остался без копейки, даже поесть нечего было. Начал батрачить, хромовые сапоги поизносились, гармошка Абидат порвалась и умолкла. В ауле его прозвали «Исхак-бедняк». А теперь гляди, сын его кричит: мол, мы жили состоятельно, а они перебивались с хлеба на воду. Что — я его отца обобрал и бедным сделал? Нет, дочь Кыдырали. И вот такие люди, как сын Исхака-бедняка, которые сами ни землю не умеют обрабатывать, ни за скотиной ухаживать, режут теперь собранных в коммуну коров — и пируют. Пока... А зарежут последнюю корову — чем питаться будут? Просто новой власти еще неизвестно, что они — обыкновенные тунеядцы. И сын Кутыма Каламат точно такой же. Но погоди, никакая власть не станет держать бездельников и лодырей! Иначе жизнь обесмыслится. Вот так, дочь Кыдырали, будешь здорова, сама увидишь! Это пока они притесняют людей, которые всю жизнь трудились не разгибая спины, кричат: вы, мол, кулаки, подкулачники, контра... Не дают спокойно жить и работать. Всех по себе меряют. Если подумать, в на-

шем ауле богатых немного. Кроме сына Тогана Мурзабека еще две-три семьи. Вот Мурзабека в Сибирь и отправили. А про остальных аулчан не скажешь, что они богачи. Муратали, к примеру, хоть имел несколько сот овец, за всю жизнь не купил нормальных штанов... носил штаны из шкур. Разве справедливо отправлять их как кулаков в Сибирь? Наоборот, молодые учились бы у них... Муратали не нанимал ведь батраков, своих овец пас сам, никого не эксплуатировал. Хорошие, трудолюбивые были люди. От одной овцы такие люди сто выращивают...

Я хоть и старался дослушать отца до конца, но не смог. Сон победил мое тело, и дальше я не знаю, о чем был разговор.

Когда я проснулся утром, мама, все так же сгорбившись, сидела у очага, будто и не ложилась. Увидев, что я смотрю на нее, она ласково сказала:

— Проснулся, айнанай! Иди умойся и выпей чаю. Потом отгонишь телят на пастбище.

Я взял медный кумган. «Ночью руки и лицо спящего человека лижет шайтан. Поэтому, не умывшись, утром нельзя садиться завтракать», — наставляла меня мама и, пока я не ополосну лицо водой, действительно не подпускала меня к столику.

— Отец куда ушел? — спросил я.

— В Совет. С чем, интересно, вернется? — ответила мама грустно. — Привязались к нему, дай аллах, чтобы все обошлось, сынок.

Когда я вернулся, отогнав телят, отец был уже дома. Глядел еще мрачнее, чем вчера ночью. Из его слов я помню: «Опять налогом обложили. Попробуй уплати».

С этого дня я долго не видел отца спокойным. Он то что-то объяснял, то горевал, что один ему не то сказал, другой не так посмотрел. Часто повторял слова «Совет», «актив», «колхоз», «правлен». Я тогда не понимал, что так тревожило его, понял, когда подросток.

Когда я малышом гарцевал на прутике, воображая себя обладателем горячего скакуна, жизнь в нашем ауле начала кипеть, как шорпа в казане.

Сначала новая власть всем выделила по равному участку земли. Люди этот шаг встретили с одобрением, желали новой власти долго здравствовать. Но вот весть о том, что всем надо объединиться в колхозы, те же са-

мые люди встретили настороженно. Многие не могли взять в толк, что это такое, — да и откуда неграмотным аулчанам было знать про колхоз. Поэтому редко кто спешил вступить. Дело известное — людям надо подумать, посоветоваться. Некоторых пугал не колхоз сам по себе, пугала перспектива оказаться в одной упряжке с лодырями, вечно избегавшими работы. «Мы будем спину гнуть, а они лежа будут насыщаться», — думали аулчане. Среди колеблющихся был и мой отец.

Однако представители из центра не понимали, да и не хотели понимать, таких людей, как отец. «Быстро вступай в колхоз или ты враг новой власти», — говорили они тем, кто не торопился записываться. Люди не знали, что делать. Одни крестьяне, любившие землю и скот, покинули родные места, напуганные слухами о предстоящем обобществлении, другие, оставив семьи, дома, хозяйство, ночью убегали из аула, спасая свою жизнь, — боялись, что не поздоровится. Но нашлись и такие, которые за свою судьбу особенно не волновались.

Однажды вечером отец вернулся из Совета мрачнее тучи. Долго сидел у очага и молчал. К ужину даже не притронулся. Не поднял голову и тогда, когда мама напомнила, что еда стынет.

— Что случилось, отец? Не держи при себе, скажи, — потребовала мама.

Отец молчал. Тогда мама сходила и привела брата отца Ажемея. Увидев его, отец сказал:

— Случилось непоправимое, Ажемей, — и поднялся с места.

— Что? — спросил брат, уже готовый услышать дурную весть.

Мама от испуга уронила деревянный черпак, он треснул.

— Не смог я себя сдержать. Босыка Сати за грудки взял. Довел меня...

— Что тебе сказал этот негодяй? — строго спросил Ажемей.

— Что может сказать эта собака? Говорит, мол, я — вредитель, подкулачник. Спрашивает, куда я дел «накопленное богатство». «Накопил своим трудом, а не пил и не гулял, как твой отец!» — ответил я ему твердо. А он мне тогда: «Ты отца оставь в покое, контра, а то я тебя отправлю туда, где на собаках ездят». И наступает на

меня... Ну я и вцепился ему в шею. Если бы людей не было, задушил бы негодяя. Совсем память потерял... — рассказывая, отец сильно нервничал.

Ажемей сопел, молчал. Соображал, что делать, как выпутаться из этой истории. Вдруг вскочил и, обращаясь к отцу, зачастил:

— Ах, Имамали! В нашем народе говорят: «Хочешь бороться — борись с сильным, хочешь спорить — спорь с человеком, которого уважаешь». Для чего ты связался с этим негодяем! Почему свои руки замарал об эту сволочь! Теперь ведь скажут, что ты на активиста руку поднял, хотел его убить... Выживут тебя из аула. Это уж точно.

Ажемей скрутил сигарку, докурил, свернул еще одну и, обращаясь к матери, сказал:

— Может, мне пойти к этому негодю и попросить, чтобы он замял дело?

— Сходи, дада. Ради аллаха сходи, — жалобно попросила перепуганная мама.

— Нет! — отрезал отец. — Я не хочу, чтобы ты унижался перед недостойными людьми. Такие, как Сати, не умеют прощать. Как ты этого не понимаешь, агай? Твои слова унесет ветер, а сам останешься униженным. Сейчас его время, вот он и старается успеть побольше, да еще и урвать все, что можно.

Опять в комнате воцарилась тишина. Все трое невесело молчали.

Ажемей снова закурил, мама ворошила тлеющие кизяки, а отец в хмурой задумчивости оглаживал усы.

— В таком случае ты должен исчезнуть из аула. Если завтра, послезавтра не уйдешь, будет поздно. Они тебя в покое не оставят, — веско сказал Ажемей, всем своим видом показывая, что это его последнее слово.

— Посмотрим, — коротко ответил отец.

— Смотреть некогда, подумай хорошо. Нельзя сидеть сложа руки! — И Ажемей, попрощавшись, ушел домой.

После ухода Ажемей отец и мать долго беседовали. Из их разговора я немного понял. Уже засыпая, я услышал слова отца: «Что эта сволочь может мне сделать? Наверное, есть справедливый закон. Поживем — увидим...» Я подумал: «Сати отцу ничего не сделает», — и спокойно заснул.

Когда утром проснулся, мама опять сидела у очага с опущенной головой.

— Где отец? — спросил я, подойдя к маме.

— Э, встал, светоч мой? — встрепенулась она. — Иди умойся и садись кушать.

— Где отец? — переспросил я, испугавшись.

— Опять в Совет вызвали, светоч мой. Не бойся, сейчас вернется.

Но отец не вернулся даже и после обеда. Зато к нам пришел Ажемей-агай и рассказал, что ходил к Сати, упрашивал оставить отца в покое, а тот и слушать не захотел.

— Дада, отец Шоратая знал это. Сказал же тебе, чтобы не ходил, — горестно посетовала мама.

— Если бы я знал, что он так меня встретит... — вздохнул Ажемей. — В народе говорят, что просьбу выслушивает и аллах. А этот стоит, руками в бока уперся и слушать не желает. «Ваше время прошло, теперь наше время. Я вам покажу». Так прямо и сказал, а потом и дверь перед моим носом захлопнул. Что я еще мог сделать... Ушел, как побитая собака.

— А Исхака дома не было? — спросила мама. Наверное, надеялась, может, старый отец способен образумить дурного сына.

— Как же, был Исхак, глядел на манер мурзы, даже с места не встал. Обрадовался, видно, что я с просьбой пришел. Сидел на отобранном у богача Мурзабека большом узорчатом ковре. Для коммуны у людей вещи отобрали, а оставили себе. Интересно, что он будет делать, когда ковер износится?.. Нет, не пойму я, как же можно зариться на чужое добро? Сейчас Исхак не работает, только хлеб народный переводит. Долго ли это продлится? — Ажемей вопросительно посмотрел на маму, ожидая ответа.

Мама промолчала. Разворошив в очаге кизяки, сказала:

— Дада, сейчас чай вскипячу.

Дядя посмотрел на огонь и, наверное, подумал: «Не дай, аллах, потухнуть очагу брата».

— Не беспокойся, невестка, — сказал, — не хочу, — поднялся с места, ушел...

В тот день отец домой так и не вернулся.

Сати пожаловался в район, что подкулачник хотел его убить. Приехал милиционер, и отца забрали.

Через неделю мы услышали, что вроде был суд и отцу дали семь лет. Обвинили его противником колхозного строительства и еще добавили, что он покушался на сельского активиста. Но мы так точно и не узнали, состоялся суд на самом деле или нет. Время было такое, неясное...

Долго мы от отца не получали никаких вестей. Наконец пришло письмо, где он коротко сообщал, что находится в Читинской области, от зари дотемна рубит лес. В конце спрашивал и обо мне.

Может быть, отец бы и отсидел все семь лет, не случись беда. Дерево придавило его правую ногу, и он попал в больницу. Там ему ампутировали часть ступни, калекой, опираясь на костыли, отец вернулся домой. В тогдашние времена в ауле мало кто ходил на костылях, и, увидев моего отца, соседи жалели и проклинали тех, кто ни за что отправил его в Сибирь.

Через некоторое время забрали и «активиста» Сати. Он очистил колхозную кладовую. Его осудили на пять лет. После этого я его больше не видел, в аул Сати не вернулся. Зато я видел его отца. Изможденный, согнувшийся, Исхак кормился у нашего Ажемея.

Интересный был человек Ажемей. Я и сейчас помню его слова:

— Если кто бьет тебя камнем — ответь ему угощением, так нам завещали предки. Пусть ест Исхак на здоровье, время показало, кто прав, а кто виноват. Не таите в себе обиду, это плохо. Человек, который хранит в сердце обиду, — терзает сам себя. И потом, сколько еще осталось Исхаку? Чего хорошего — издеваться над умирающим человеком. Надо знать, кому мстить. А этот и без тебя умрет. — Так сказал Ажемей отцу, когда тот рассердился, что брат кормит его обидчика.

Но отец не мог согласиться с братом, спорил:

— Допустим, агай, кто-то тебя скинул в пропасть, — а я что же? Должен его угощать? Да это же в голове не укладывается! Пусть твоих слов люди не услышат — весь род проклят, ты это понимаешь? — говорил он сердито.

— Но ты же, слава аллаху, не упал в пропасть, хотя тебя и толкали? Не упал. Кто другим зла желает, тот сам не будет счастлив, правильно сказано. Потому-то мечты таких, как Сати, и не сбылись. Они сами попали в яму, которую копали для других. А твоя правда не дала тебе упасть в пропасть, ты выкарабкался... Если ты,

не дай бог, не вернулся бы, я не то чтобы его кормить — на порог бы не пустил, на улице бы не здоровался. У меня тоже, небось, есть сердце. Что хочу сказать: он говорит — осознал свою вину. Это тоже надо понимать, — оправдывался дядя, стараясь успокоить отца.

Отец слушал брата не перебивая. Такой обычай у ногайцев: не перебивай старших. А когда Ажемей закончил, отец, волнуясь, сказал:

— Не упал, говоришь, в пропасть, а это что? — Он показал на свою ногу. — Вот я теперь калека, а какой я мужчина был! Работал не уставал, в день по десять — пятнадцать верст ходил, сейчас и полверсты не пройду. Кто же в этом виноват, по-твоему? Не Сати ли и его отец? Конечно, они. Их руки в крови. Как же после этого им прощать, брат? Нет, не может быть для таких прощения! Их грехи и аллах не простит! Слишком много грехов-то. Ишь, думали, новая власть будет и кормить, и поить, словом, райской жизни ждали. Им — все блага, а работать за них — другие. Нет, слава аллаху, не вышло и не выйдет! Чтобы жить, надо трудиться, — эту истину они и забыли.

— Нет, брат, давай думать вместе. Правильно сказано: ум хорошо, а два лучше. Зло порождает зло. Надо знать, когда и где сердиться. От зла — только зло и выйдет, — повторил Ажемей, как бы желая, чтобы отец навсегда сохранил в памяти его слова.

Отец действительно крепко запомнил слова брата и, когда я подрос, не раз повторял мне их, учил меня добру. «Человек должен уметь прощать. Только дурак держит зло на сердце», — говорил он мне.

В нашем ауле держали батраков три или четыре человека. Один из них сын мурзы Тогана, Мурзабек, был известен на весь Северный Кавказ своей жестокостью. Услышав его имя, батраки дрожали как листья на ветру и падали на колени. В ауле еще живы старики, которые видели это собственными глазами. Никто не помнит, который из сыновей Тогана первым стал главой аула, но многие помнят, что последним мурзой был Мурзабек.

По богатству и влиятельности вторым после Мурзабека в ауле был Карабай, тот самый, который убил первого председателя Совета Малика, а затем и сам погиб от руки его сына Хусина, — об этом я рассказываю в главе «Мой аул».

Когда советская власть дала землю, прежде безземельные аулчане с головой ушли в работу. Они не знали

ни сна, ни отдыха, одевались в лохмотья, жили впроголодь, но держали и умножали скот, выращивали высокий урожай. Многие личным кропотливым трудом сумели укрепить свои хозяйства. Поэтому при объявлении коллективизации они и не спешили отдать в колхоз двух волов или двух лошадей, выжидали да ломали головы — что же делать?

После тюрьмы отец немного успокоился. Какое-то время ходил задумчивый, как раньше не суетился, — мол, это надо быстро сделать да еще то успеть. Но потом снова включился в работу. Пока не уехал в горы, так от земли и не отрывался. Несмотря на больную ногу, пахал землю, убирал урожай, косил сено. Но разве мог он забыть, как раньше на ходу седлал лошадь? Это его и печалило.

И в горах отец продолжал держать скотину. До самой смерти имел в хозяйстве коз и корову. Косил сено. Словом, без дела не сидел. «Сельский труд не знает перерыва», — часто повторял он...

Отец и сейчас у меня перед глазами. Вот он широким шагом идет за плугом, косит сено, сплывает веревку из конопля или конского волоса, мнет кожу для чуваков. Непоседливый, всегда в движении. Работал он до самой смерти. Утром пошел в лес за дровами, после обеда лег и ночью умер.

ВЕТОЧКОЙ НЕ СОГНУЛСЯ — НЕ СЛОМАЕШЬСЯ И ДЕРЕВОМ

1

Как и всякий деревенский мальчишка, работать я начал рано. Мне едва исполнилось тогда пять лет — помню, отец дал мне в руки хворостину и сказал:

— На, сынок, держи крепко, с сегодняшнего дня станешь гонять телят на пастбище. Ну, в добрый час!

С этими словами он вывел из загона двух телят.

Польщенный доверием отца, чувствуя себя хозяином, я тут же не раздумывая вытянул хворостиной рябого теленка — иди, мол, но теленок не пошел на улицу, а выгнув тоненький хвост крендельком и взбрыкивая, стал бегать по двору. За ним, словно боясь отстать, пустил и второй.

— Без причины размахивать палкой нехорошо, сынок! Теленок, хоть и животное, тоже чувствует боль. Видишь, как бегаёт, места себе не находит! — сердито сказал мне отец. — Бить безответную скотину — большой грех!

Я тут же искренне раскаялся, пожалел, что ударил теленка, и, сознавая свою вину, стоял опустив голову.

С того самого дня — слова отца, видно, запали мне в душу, — я не бил скотину. Никогда не бил кнутом и лошадь.

Отец видеть не мог, как бьют лошадь. Если заметит — не поленится, отчитает того человека.

— Сынок, у нас есть такая пословица: «Кто бьёт скотину — у того сердце черствое». Кто не любил скотину в детстве, не будет любить ее и став взрослым. Кто не любит скотину, тот вырастет жестоким и бессердечным человеком, — говорил отец мне в назидание.

Он не только говорил, он учил меня и ухаживать за животными. День, когда жеребилась кобыла или телилась корова, превращался в нашем доме в праздник. Отец всегда мечтал вырастить из жеребенка доброго коня, из теленка — хорошую корову или быка...

Но вернемся немного назад. Мне еще только пять лет.

...Отец быстро догнал рябого теленка.

— Постой, постой, Алагаз! — успокаивал он, как будто животное понимало его.

Рябой теленок, играясь, подошел к бурому и остановился.

— А теперь пошли, пошли, сердешные, пожуйте свежей травки. — Отец словно с детьми разговаривал.

Он вывел телят на улицу и сказал мне:

— Давай, сынок. Веди их в Ажел-йылга — балку Ажели, там трава сочная.

Я посмотрел в сторону балки и заробел. Ажел-йылга показалась мне большущей, глубокой и пугающе далекой. Да, ребенку и маленький холмик представляется горой, близкое видится невероятно далеким.

Отец будто прочитал мои мысли — погладил меня по голове:

— Давай, сынок, не бойся. У нас говорят: глаза — вместилище страха, а руки — вместилище силы. Человек привыкает к труду, когда работает. Давай будь джигитом, айда, — и легонько подтолкнул меня в спину.

Подняв хворостину, я зашагал следом за телятами.

— Приговаривай на ходу: «теленочек, теленочек», — крикнул отец мне вслед. — Поласковее с ними!

Часто переставляя свои маленькие, обутые в тонкие кожаные чувяки ножки, я семенял за телятами.

До первой поперечной улицы мы дошли спокойно. Но вдруг откуда ни возьмись навстречу выбежала с лаем большая черная собака с белым пятном на шее. Телята, испугавшись внезапно выскочившего пса, поджав хвосты, бросились в разные стороны. Я тоже испугался собаки, уронил хворостину и присел на землю. Услышав мой душераздирающий вопль, из дома напротив показалась высокая пожилая женщина.

— А ну, пошел, Барак! Чтоб тебя земля проглотила, что ты лаешь на весь свет! — крикнула она все еще не унимавшемуся псу. Потом подошла ко мне: — Не пугайся, сынок. Он не на тебя лает. Во двор к нам забрели соседские козы, чтоб они провалились. Собака за ними и погналась. Не бойся, сынок, вставай, — она подняла меня за руки и прижала к груди.

Когда я, утерев слезы, открыл глаза, рядом со мной, тяжело дыша, стоял отец. Он снял свою коричневую войлочную шляпу, вытер пот с широкого лба и сказал:

— Не плачь, ах ты, трусишка! Кто же пугается собачьего лая! — и взял меня за руку.

— Натерпелся страху, бедный! Отведи его за угол, пусть пописает. Иди сюда, сынок, иди. — Женщина сама подвела меня к забору и, развязывая тесемки на моих черных штанишках, приговаривала: — Пописай, хороший мой, пописай — и страх сразу же пройдет. Не стесняйся, сынок!

Я то ли от стыда, то ли еще от чего, но обеими руками схватился за штанишки, не давая снять их.

— Давай, сынок, пописай, — приговаривала женщина.

— Писай, сынок, — приказал подошедший сзади отец и сам стянул мне штаны.

Я, забыв про страх, недоумевая, чего они ко мне пристали, капнул на землю.

— Ну вот, сынок. Теперь все нормально, — ласково сказала женщина, одевая меня.

— Хорошо-то, хорошо, Марием, но собаку все же надо привязывать, — укорил отец.

Женщина посмотрела осуждающе:

— Имамали, наша собака за свой век не укусила ни одного человека. А вот ты своего маленького и хрупкого ребенка заставил погнать телят, как ты до этого додумался?

Отец посмотрел на женщину, потом на меня и отрезал:

— Пошли, сынок. Ей язык хочется почесать, а телята давно ушли, надо их догонять. — И, взяв меня за руку, повел в сторону балки.

Мои коленки все еще дрожали от пережитого испуга и некоторое время ноги мои заплетались. Я тогда первый раз видел, как собака может бросаться.

— Ничего, сынок, научишься. Марием зря болтает. Если сызмальства к труду не привыкнешь, лентяем вырастешь, — говорил мне по дороге отец. Ему не понравились слова женщины, и он еще долго бурчал.

Когда мы чуть отошли, отец, словно о чем-то вспомнив, побряхтел и остановился.

— Сынок, давай поторапливайся, телята уже добрались до косогора, наверное. Видишь, около калитки дедушка сидит, я пойду пока поздоровуюсь с ним. Я тебя потом догоню.

Мне очень не хотелось идти дальше одному, и я, состроив плаксивую мину, посмотрел на отца.

— Иди, иди, сынок, будь джигитом! Не трусь, догоняй быстрее, а то телята уйдут в другую сторону.

Я, часто оглядываясь назад, туда, где стоял и разговаривал с белобородым старцем отец, поплелся дальше. Каждый раз, оборачиваясь, я замечал обращенный ко мне взгляд. Это меня ободрило, и я, осмелев, зашагал быстрее.

А там, у входа в балку, жизнь была кючом: мычали телята, блеяли овцы, ржали лошади... Я первый раз видел такое большое скопление животных. Разинув рот от удивления, озирался по сторонам — не мог понять, в какую сторону подались мои телята.

Пока я, не зная, что предпринять, бездумно вертел головой, появился отец.

— Ну что, телят потерял?

«Отец пришел, как хорошо», — подумал я и облегченно вздохнул.

— По сторонам не надо глазеть, смотреть надо за телятами, сынок. Давай быстрее, вот они опускаются по косогору, их надо вернуть.— И отец, подоткнув полы бешмета, засунув их за серебряный паборный пояс, взял меня за руку.— Пошли, сынок, быстрее.

2

Ажел-йылга. Почему ее так называли, кто первым дал такое имя балке? Все это я узнал, став уже взрослым.

Вокруг аула много балок, но ближе других моему сердцу — балка Ажели. Потому что там осталась частичка моего детства.

Ребенком я пил воду из журчащего ручья на ее дне... Эта родниковая вода была чистой, как роса, и холодной, как лед. «Лежа не пейте из ручья, пейте только с ладоней! Не дай бог, в рот змея заползет», — говорили нам старшие. Они были правы. В те времена в балке действительно попадалось много змей. Источник обнимали густые заросли осоки и камыша, в них обитали дикие утки и стрепеты.

Первым у балки обосновался человек по имени Ажели. Оттого, верно, народ и дал балке его имя. Аулчане обычно находили наименование любому месту — или по какому-нибудь характерному признаку, или по имени человека. По балке петляла узкая дорога, проезжали телеги. И днем и ночью со скрипом тащили арбы запряженные волы и лошади: жители аула отправлялись и возвращались с полей. Я сам много ездил по этой дороге, и на арбе, и на машине, и пешком, и на лошади — ветром мчался по Ажел-йылга.

Балка Ажели. Там я оставил частицу своего детства. Многое я вспоминаю, глядя на нее.

Как далекая музыка доносятся до меня голоса друзей детства. Некоторые из них, так и не увидев сегодняшних дней аула, безвременно ушли из жизни.

Вместе с тем далеким временем детства остались осока и камыш, густым покрывалом стелившиеся по балке. Теперь вместо кряканья уток тут раздается грохот моторов, в воздухе носится запах гари. Да и сама балка, кажется мне, сделалась узкой и неглубокой. Ведь оседают же возвышенности, много стало оползней; особенно в последние годы стали оползать пригорки на западной стороне аула. Неумеренный полив привел к разру-

шению привычного ландшафта, и никому до этого дела нет.

Не журчит сейчас чистый ручеек на дне балки. Куда исчез?..

Мы догнали наших телят — они брели в компании с другими — и отогнали все стадо в сторону холма, выше по склону. Телята, увидев молодую зеленую травку, опустили головы и с удовольствием начали пощипывать ее.

— Ну, сынок, пошли. Перед тем как возвращаться стаду коров, придешь сюда снова и отгонишь телят домой, — сказал отец тоном, не допускающим сомнений и возражений.

Я опять повесил нос. Перед моими глазами промелькнули знакомые картины: лающая большая черная собака с белой отметиной на шее и высокая пожилая женщина, которая отвела меня к забору. «Для чего все-таки она заставляла меня писать?» — не мог сообразить я и пугался новой встречи и с ней, и с ее собакой. Конечно, откуда мне в ту пору было знать, почему эта Марием так поступила со мной. Лишь потом, став взрослым, я понял, в чем тут дело. Считается, что, если ребенок после резкого испуга сразу помочится, напряжение ослабевает, он перестает дрожать от страха и успокаивается. Неглупые люди придумали это, должен сказать.

Ближе к вечеру, когда я играл со своими сверстниками, подошел отец и сказал, что пора мне отправляться в балку Ажели и привести телят. Я захватил хворостину, которую утром дал отец, и по улице направился к балке. В этот раз собака не бросилась на меня, и вместе с ребятами, которые тоже шли за своими телятами, я благополучно добрался до спуска. Добрался — да что толку: я не знал, где искать наших телят, и до боли в глазах всматривался в темнеющую пасть балки.

В этот момент я опять услышал за спиной заботливый голос отца:

— Вот, сынок, посмотри в сторону холма. Видишь, телята спускаются? Там и наши есть.

Обнаружив рядом отца, я несказанно обрадовался. Правда, я тут же подумал: раз он сам решил пойти за телятами, чего ж меня заставлял...

Телята наперегонки спустились с горки вниз.

— Время знают, скоро коровы домой возвратятся. Хоть с утра травку щипали и наелись, все равно домой

спешат: никакая трава не заменит им материнского молока. Пососут вымя — и сразу насытятся, — объяснил отец.

Интересное животное — теленок. Умное. Несколько раз отгонишь утром на пастбище, а вечером пригонишь домой, потом он и сам домой дорогу запомнит. Но если встретится с коровой-матерью, бывает, все молоко высосет. Поэтому мы старались привести телят раньше, чем пастухи возвращали стадо в аул.

Телята нашей улицы ходили вместе, отдельным маленьким стадом.

Мы с ребятами и мой отец идем по улице следом за ними. По дороге отец, чтобы развлечь, а заодно и обучить нас, запекает такую песню:

Не мычи, теленочек, не мычи,
К вечеру вернется мать
С полным выменем молочка,
И ты насытишься вдоволь...

Он рассказывал, что слышал эту песню еще ребенком, когда тоже вот так гонял мальчишкой телят...

— Понял, сынок? Давай повтори, — говорил он. Хоть не все сразу, а одну строчку я повторяю:

Не мычи, теленочек, не мычи...

— Хорошая песня. Чтобы послушать хорошую песню, прежде корову давали, коня. Хорошая песня сердце радует, — говорит отец и повторяет для нас слова некоторых известных ему песен.

Я внимательно слушаю и убыстряю шаг: телята тоже спешат домой. Спешат так, как будто дома их уже ждут коровы. Знали бы, что коровы еще на пастбище, домой и шагу не сделали б, побежали обратно.

— Поэтому, — объяснял отец, — нельзя допустить, чтобы по дороге домой теленок встретился с коровой-матерью. Мало того что дом останется без молока, еще и теленок может привыкнуть и будет поджидать корову.

Но иногда, заигравшись с друзьями, я опаздывал, и случалось, что телята сосали вымя. В такие дни мама говорила: «Сегодня ты для телят праздник устроил, детка», — и смеялась. Так оно и было: ведь молоко для телят — огромная радость, действительно большой праздник.

После того как мы с отцом загнали телят в загон — не прошло даже столько времени, чтобы чай закипел

(в те годы люди так определяли время), — с громким мычанием возвратились наши коровы с полным от молока выменем. Одна, темно-бурая, очень любила своего теленка — как только она вошла в калитку, бросилась к загону, где были телята. Темно-бурую корову отец держал для старшей сестры.

Мама взяла большое оцинкованное ведро и пошла доить. Сейчас коров доят, не подпуская телят. А раньше делали так: сначала подпускали телят на какое-то время и только потом начинали доить. В этом был свой смысл. Корова думала, что ее сосет теленок, и давала выдоить себя до конца. После первого раза мама еще раз подпускала теленка к корове и вторично приступала к дойке. Во второй раз молоко она собирала в специальную миску или чашку. Это последнее при дойке молоко — идирум было густым, как сметана, и, говорят, целебным. Мама частенько поила меня таким молоком.

Часто вспоминаю, как отец утром отправил меня с телятами, сам последовал по пятам, а вечером тоже вышел помочь... Разве мог я тогда знать, что он просто учит меня работать, приучает к делу, к труду. В тот день и другие наши соседи, подобно Марию, упрекали его: «Для чего заставляешь маленького ребенка гонять телят?» Отец ничего им не отвечал, но матери он ответил с достоинством, не спеша: «Интересная ты женщина, дочь Кыдырали, что ты так сильно ребенка жалеешь? Ты думаешь, мне его не жалко? Нет, мать, я даже больше твоего жалею. Но от жалости толку не будет. Если сейчас он к работе не привыкнет, потом поздно будет. Лентяя вырастим. Вот тогда случится непоправимое. Пусть сейчас втягивается, ему же лучше будет. В молодости научится — в старости применит, а к старости научится — умение в могилу унесет». Мама ничего не ответила.

Прошли годы, и я так же, как некогда мой отец, заставил сына отогнать телят на пастбище. Только ему было не пять, а семь лет. Вложил ему в руки ивовый прутик и сказал:

— Ну, сынок, отгони теленка к балке.

Погоняя одинокого красного теленка, сын направился к балке. Я, не упуская его из виду, но и не приближаясь, следовал за ним. Первую поперечную улицу они миновали благополучно. Но едва дошли до второй,

как из двора с лаем выскочила маленькая рыжая собачонка: гнала впереди себя белого петуха. От неожиданности теленок, высоко вскидывая задние ноги, бросился вперед. Перепуганный сынок заплакал, прислонился к штакетнику и присел. Я подбежал к нему. Со двора никто не вышел, никто не успокоил ребенка, и я, как в свое время отец, расстегнул сыну штанишки и сказал:

— Пописай, милый!

Сын перестал плакать и с интересом посмотрел на меня.

— Писай, сынок, писай, — сказал я настойчиво.

— Зачем? — спросил малыш.

— Так тебе будет лучше. Давай.

Сынок, конечно, ничего не понял из сказанного, но послушался.

— Ну вот теперь хорошо, — сказал я ему. — Твой страх уже прошел, сынок.

— А я и не испугался, — ответил он мне.

Я привел сына к балке, как много лет назад привел меня сюда отец. Но здесь уже не было так оживленно, как прежде: не резвились жеребята, не играли телята, кони не ржали, коровы не мычали и овцы не блеяли. Кроме пяти-шести телят здесь и животных-то не было. К балке мы с сыном пригнали единственного нашего теленка...

Вот так с малых лет я начал приносить пользу дому. До сих пор не могу забыть, как отец учил меня работать — будто ласточка учит своего птенца летать.

Во времена моего детства, естественно, не только меня, но и всех аульских ребятишек родители учили сельскохозяйственным работам. В пять-шесть лет мальчик умел ездить на лошади, пас коров. В семь-восемь запрягал лошадей и волов, сеял и убирал урожай. В десять умели обращаться с косой.

Привычный к труду ребенок растет дисциплинированным. Дисциплина и работа — неразделимы. Одно из главных качеств дисциплинированного человека — это умение слушать наставления родителей и старших. Во времена моего детства, если какой-нибудь ребенок баловался или капризничал, взрослый не проходил мимо, будто не замечая, напротив, строго отчитывал провинившегося. А порой, чтобы неповадно было хулиганить, и трепал за уши. И малыш никогда не жаловался роди-

телям, что такой-то дядя потрепал его за уши. А если и ябедничал, родители еще добавляли ему за проступок.

Сегодня не только семилетние мальчишки лошадей запрячь не могут, но и в пятнадцать лет мало кто вилы в руках удержит. Родители жалеют своих чад, и, невзирая на их возраст, повторяют: «Они еще дети, пусть порезвятся. Хватит того, что мы трудно жили». Но сыновья, которых в детстве чересчур жалеют, бывает, сбиваются с правильного пути.

Когда мы подошли к спуску в балку, я с интересом посмотрел на вершину холма и подумал: вот бы туда забраться! Холм показался мне неодолимо высокой горой.

3

Когда я чуть подрос и только начал осваивать окружающий меня мир, мне казалось: стоит подняться на холмы, расположенные в западной части аула, — и можно будет увидеть конец неба. Я думал: почему же люди, поднявшись туда, не карабкаются дальше на небо? В ясные летние вечера звезды становились больше, ближе и словно бы касались вершин окрестных холмов. И я думал: почему же люди, оказавшись наверху, не хватают звезды руками?

Я еще не выходил тогда за пределы аула. И вдруг...

— Навруз пришел, Навруз! — всколыхнулся аул.

— Подснежники, подснежники расцвели! — кричали старшие ребяташки, пробегая по улице.

Навруз пришел. Пришел в наши края Новый год, а с ним вместе и весна. В дни моего детства праздник Нового года отмечали два раза: по новому календарю — в январе, а по восточному — в марте месяце.

К Новому году готовились все в ауле — и старшие, и молодые, и дети. Этот праздник для нас, конечно, был праздником весны. Люди доставали нарядные одежды, в каждом доме готовили угощения: жарили баурсаки и лакумы, варили мясо, вкусно пахло халвой.

Джигиты готовились к борьбе, к скачкам, чистили копыта своих лошадей, тренировались.

Ждали праздника и дети, ходили радостные, веселые.

Обычно ребяташки в Навруз собирали цветы весны — подснежники, — с этими цветами приятно было поздравлять старших.

В день Навруза я поднялся раньше обычного — не хотел прозевать праздник. На улице меня уже ждали приятели. И мы табуном отправились на холмы собирать подснежники.

Снег на косогорах еще не везде растаял, земля была сырая, травка только-только начала пробиваться.

— А где же подснежники? — спросил я ребят, желая быстрее увидеть, что же это за цветы такие, которые не боятся холода.

— Да вот же они, возле твоей ноги, — ответил Мунир.

Я глянул и увидел красивый и нежный цветок, голубоватые слабые лепестки его легко шевелились на ветерке.

— Это, Шоратай, и есть подснежник. Смотри, какой он красивый. — Мунир, сорвав, подал его мне.

Я долго смотрел на удивительный хрупкий цветок.

— А луковицу его можно есть. Очистить вот так...

— Очень вкусно. — Мунир выкопал еще подснежник, аккуратно очистил луковицу и отправил в рот. — Сладкая, как мед, — объявил он, будто подраживая меня.

— Выкопай и для меня, — попросил я.

Мунир преувеличенно осторожно, посмеиваясь, выкопал и, словно кусочек сахара, протянул мне подснежник. Я наспех очистил луковицу, но почему-то она не показалась мне такой вкусной, как обещал Мунир. Но я все равно доел ее. А ребята лакомились вовсю — жевали сразу по несколько штук.

Потом мы начали собирать подснежники для наших матерей и родственников, делали маленькие букетики. Особенно хорошо получалось у Хамзата, мы удивлялись его умению.

Увлечшись, мы и не заметили, как оказались на макушке холма. Взобравшись на высоту, я с большим интересом огляделся по сторонам. Передо мной раскинулась широкая степь, в туманной дали виднелись очертания далеких неведомых возвышенностей. «Ва-а, раньше-то мне казалось, что холм, где мы стоим, упирается в небо, а теперь, оказывается, небо сходится с землей у тех далеких вершин», — подумал я. И долго смотрел в ту сторону. Даль манила меня.

— Хамзат, земля кончается на тех вершинах? — спросил я.

— Куда там! — рассмеялся Хамзат. — За ними расположен аул, в нем живет друг моего отца, зимой гостил у нас. И мой отец ездил к нему в Шерегей. — Хамзат говорил с гордостью, как же — его отец путешествовал в такую даль!

«Вот бы попасть на вершину тех холмов», — подумал я, горя желанием узнать, что же такое за ними дальше.

С высоты мы разглядывали наш аул: он был перед нами как на ладони. Только дома почему-то сделались очень маленькими. Мне, впервые видевшему аул с большого расстояния, все казалось ужасно заманчивым.

На склоне нам встретились ребята с соседней улицы. Все мы, радуясь приходу весны и Новому году, с шумом и гамом дружно собирали подснежники — цветы Навруза. Вдруг Хамзат громко запел:

...Весна пришла, япан, япан,
Сшили нам атласный чапан!
Вот пришел месяц Навруз,
Мы встречаем его с песней,
Пусть счастливым будет год!

Остальные ребята поддержали:

...На холмах цветет подснежник,
Навруз-месяц прогнал зиму!
Вот пришел месяц Навруз,
Пусть счастливым будет новый год!

Собрав подснежники, держа в руке букетики и горланя песню про Навруз, мы спустились в аул.

Пусть удачей придет Навруз,
Мы станем пить сметану!..

Дни, когда мы, дети, собирали подснежники и распевали в честь Навруза приветственные песни, сейчас я вспоминаю с нежностью и грустью.

Тогдашняя встреча Нового года напоминает сегодняшнюю елку. Разница небольшая: нынче ребяташки, встречая Новый год, поют песни про елку, а в наше время дети прославляли подснежник.

И сейчас, в пожилом возрасте, увидев цветение подснежника, я с невольной завистью, думая о беззаботном детстве, оглядываю холмы за аулом, и губы мои шепчут:

«Пришла весна, с удачей пусть приходит...» Наклонившись к земле, я поглаживаю голубые, как небо, хрупкие и нежные лепестки подснежника. И чувствую вкус маленькой луковицы во рту...

Одно лишь воспоминание о далеком, пахнущем сладким медом детстве заставляет нас, пусть ненадолго, забыть о старости.

Вот так я увидел подножие холма, потом увидел холм, а с холма — широко раскинувшуюся бескрайнюю степь.

Но еще до того, как я влез на вершину, я сел на коня. Как это случилось? Как я впервые оказался на спине лошади? Вот об этом сейчас мой рассказ.

КОНЬ — МЕЧТА

Конь — моя мечта, скажет ногоец,
Радуетя, увидев коня.
Сядет на него, как на трон,
А ночью, в степи, как на мягкой постели,
Спит — голова на седле...

Из старинной народной песни

Я с самого раннего детства мечтал сесть на коня. Да и какой ногоайский мальчик не мечтает об этом? У каждого это самая первая мечта.

Я всегда долго с восхищением смотрел на нашего Гнедого, все никак не мог наглядеться и только и думал о том, как бы оказаться у него на спине. Сам того не замечая, я приближался к загону, где была привязана лошадь. Это не ускользало от внимания мамы, и она кричала из кухни:

— Шоратай, свет очей моих, не подходи близко, лягнет.

Я, не понимая, как это мама увидела меня, поворачивался и смотрел в сторону дома. Откуда мне было в ту пору знать, что любая мать сердцем чует опасность.

— Лягнет, свет очей моих,— повторяла тихонько мама, подойдя ко мне, и, взяв за руку, уводила подальше от опасности.

— Хочу сесть на коня!— плаксиво канючил я.

— Отец придет и посадит, свет очей моих,— успокаивала меня мать.

— Нет, я сам хочу сесть!

— Да что ты, сынок, ты еще маленький. Как ты влезешь на такого высокого коня. Еще упадешь, не дай бог!

Но от ее слов мне еще больше хочется сесть на нашего Гнедого. Теперь он мне кажется жар-птицей, которая вот-вот взлетит в небо и воспарит, излучая сияние. Трепет и восхищение переполняют меня, и я опять начинаю канючить.

— Вот скоро отец придет, сыночек, я поговорю с ним, — снова успокаивает меня мама и усаживает на низенький табурет у двери кухни — поближе к себе.

Я обижаюсь на маму, — чего это она так боится, так бережет меня! Вон Мунир. Его ведь никто не удерживает, если он хочет что-то сделать! Наверное, его мама сильнее любит своего сына, чем моя, думаю я — и еще пуще обижаюсь.

— Да, а вот Мунира его мама сажает на лошадь, а ты жалеешь нашего Гнедого! — бормочу я.

Мама хотела было возразить мне, но запнулась, смолчала, отвернулась в сторону. Испугавшись, что обидел маму, я крепко вцепился в ее подол. С того дня я от нее ничего никогда не слышал про маму Мунира, ни хорошего, ни плохого. Лишь повзрослев, я понял, что у Мунира не мать, а мачеха и она просто не могла так жалеть неродное дитя, как моя мама жалела меня.

Весь день Гнедой так и простоял привязанным — подобно жар-птице в лучах солнца пленяя мой взор. Отец, словно назло, не спешил с работы, так что, как я ни мечтал, не получилось у меня тогда сесть на коня верхом. Мечты ведь сразу не сбываются, на то они и мечты.

Услышав на улице крики детворы, я, оседлав свой прутик, поскакал к друзьям. Заигравшись, и не заметил, как наступил вечер.

Утром следующего дня, проснувшись, я выбежал во двор. Коня на привязи не было. Стараясь унять биение сердца, я бросился к маме:

— Мама, а куда уехал отец?

— В поле, свет очей моих, — мягко, как всегда, ответила мама.

Поняв, что ни коня, ни отца нет, я повесил голову, у меня упало настроение.

— Сегодня отец рано вернется. Приедет — и посадит тебя верхом, не спеши, свет очей моих, — успокоила

мама, желая видеть меня веселым.— Не спеши, сынок. Терпи. Терпеливого аллах не обделит. Отец придет — и на коня залезешь, и кафтан наденешь, дай-то бог!

В тот день я не спускал глаз с улицы, все ждал, что вот-вот появится отец. Даже во время игр с ребятами забегал домой, надеясь, что отец уже пришел. И все же я прозевал его возвращение. Мама, выйдя на улицу, крикнула:

— Шоратай, быстро, отец дома!

Я, как стрела, пущенная из лука, прилетел домой и, обняв отца, пристал:

— Хочу на лошади покататься!

— Сейчас, сынок, поужинаю и усажу тебя на Гнедого,— ответил отец, черпая мамину шорпу деревянной ложкой.

Я ужасно обрадовался и с нетерпением ждал, когда же отец освободится.

Наконец отец отвязал Гнедого, оседлал его и, обернувшись ко мне, сказал:

— Ну, давай, в добрый час, бисмилла, ты тоже стал мужчиной, сынок! — И, легко подняв меня, усадил в седло, как на трон. Я словно вознесся над всеми и теперь с жадностью ждал, пока отец даст мне в руки повод.

— Крепко держись за луку седла, сынок. Ну, поехали,— сказал он, трогая лошадь.— Шу, Гнедой!

— Нет, нет, отец! — быстро-быстро, глотая слова, зачастил я: ведь как же это, что же — ведь отец не дал мне в руки поводья! — Дай мне самому повод!

Распалившись, я чуть не свалился.

— Смотрите на него, а! Да ты крепче держись за луку! Чуть же не упал! — испугался отец и руками поддержал меня. — Тебе еще рано самому конем управлять.

— Не упаду, отец! — ответил я и намертво вцепился в луку.

— Вот так и держись, сынок,— успокоился отец, вывел Гнедого из загона и начал катать меня по двору.

После двух-трех кругов, поняв, что я достаточно крепко держусь в седле, отец сказал:

— Машалла, сынок! Хорошо, чтоб не сглазить! Скоро ты самостоятельно будешь ездить верхом. Радуюсь, что я увидел это своими глазами!

Похвала отца окрылила меня, и я, расхрабрившись, снова стал просить:

— Отец, дай я сам покатаюсь!

Отец некоторое время стоял задумавшись. Потом все же протянул мне повод:

— Держи крепко! Будь осторожен, смотри не упади!

Я изо всех сил сжал повод в кулачках.

— Сынок, ты первый раз сам держишь поводья! Дай аллах, чтоб ты их всегда держал крепко, чтоб твоя дорога всегда была прямой, езди не спотыкаясь, будь джигитом, — напутствовал меня отец и отошел в сторону.

— Шу, Гнедой! — сказал я, подражая отцу, и дернул за повод. Но лошадь почему-то не спешила трогаться с места. Тогда я, подобно тому, как делали взрослые, пятками ударил гнедого в бока и прокричал: — Шу, Гнедой, шу!

Гнедой не спеша поднял голову, оглянулся, почему-то вздрогнул. Наверное, хотел убедиться, что на спине кто-то сидит. Я опять дернул повод и ударил пятками в бока. И когда я в очередной раз хотел прокричать «Шу!», Гнедой вдруг пошел вперед, легко перебирая изящными ногами. Сердце мое замерло, остановилось! Мне казалось, что я не на коне, я лечу, размахивая крыльями, птицей лечу, в небесах!

Гнедой, словно чувствуя, что везет ребенка, двигался очень осторожно. Отец для подстраховки шел рядом. Боялся, а вдруг я упаду с лошади! Но тогда я думал, зачем это он ходит рядом, сел бы и отдохнул.

Когда мы начали второй круг, Гнедой ускорил шаг.

— Держись крепче, сынок! — вновь предупредил отец.

Я обернулся — и снова чуть не упал.

— Вперед смотри, сынок! — Отец тут же оказался возле меня. — Держись крепче.

С каждым шагом, я это чувствовал, я привыкал к коню. И третий круг я прошел хорошо.

— На сегодня достаточно, сынок, — сказал отец и ссадил меня с лошади.

Это был первый день, когда я сел верхом и сам управлял конем.

Я уже не помню сейчас, в каком году, в каком месяце, в какой день это произошло. Но до мельчайших подробностей помню события того знаменательного дня

меня дня. Мне, видимо, было лет пять-шесть, когда я впервые сел на коня. Понятно, как я сидел верхом, как управлял лошадьё в самом начале, но потом я уже крепко держал узду в руках, запрягал и седлал лошадь.

Я много раз падал с лошади, но с еще большей охотой садился на нее опять. «Упадешь — земля поднимет, — говорил мне отец. — Бояться не надо, что упадешь». И я не боялся. Когда садился — чувствовал себя птицей в небе. Но одно дело просто ездить, другое — любить коня, ухаживать за ним. В детстве я готов был целыми днями возиться в загоне: чистить гнедого, поить, расчесывать гриву.

Я, конечно, не исключение — каждый ногаец любит коня. Самые лучшие песни наш народ слагал и сейчас слагает — о коне. Конь у ногайца — первая мечта, отсюда и поговорка такая родилась в народе: «Конь — мечта».

Кобыла кормила ногайца своим молоком, носила по степи.

Я ехал верхом — и пел свою песню о коне — о нашем Гнедом:

Мой Гнедой летит по земле,
А птица — в небе.
Конь летит, искры сыплются из-под копыт,
Грива как пламя развевается на ветру.
Летит мой конь, несет меня вдаль,
Вдаль, где мои мечты...

Да, Гнедой был для меня всем: и самым красивым, и самым умным на свете. У нас говорят: «Хороший конь — лучший друг». Хороший конь никогда не бросал в беде своего хозяина, а вот плохой друг — мог и бросить.

В детстве каких только коней я не видел в ауле: гнедых, караковых, рыжих, пегих, буланных, вороных! Рыбых лошадей любили цыгане.

В ауле имелось несколько табунов, были знаменитые табунщики.

Когда я научился крепко сидеть в седле, отец доверил мне вести коня на водопой. Занятия с лошадьёю — благо для мальчика: он иначе начинает ощущать себя, взрослеет, учится самостоятельности. Езда верхом закаляет, укрепляет суставы, учит держать осанку. На коне мальчик чувствует себя джигитом.

Я очень любил купать лошадей. В тихой заводи мы, мальчишки, плавали вместе с ними. Это блаженство!

Чувствуешь себя капитаном морского корабля. После купания выводили коней на берег и ладонями вытирали их вздрагивающие бока. Потом аккуратно мыли им копыта. От такого купания любая лошадь блестела, лоснилась под солнцем.

У отца было три лошади. Гнедого отец берег для верховой езды. Он был тонконогим, остроухим, с широкой грудью. А еще двух лошадей, вороную и караковую, запрягал в арбу. Вороная каждый год приносила жеребенка, поэтому отец особенно ухаживал за ней. В ночь, когда она должна была ожеребиться, отец не спал, несколько раз наведывался в сарай, не мог успокоиться, пока все не закончится благополучно. Вороная кобыла отличалась спокойным нравом. Я маленьким, совсем не боясь, лазил под нее, забирался ей на спину. Очень любил ее.

Из-за нее мое юное сердце первый раз почувствовало боль.

Случилось это в начале весны. Утром отец привел домой вороную кобылу. Она прихрамывала, на задней правой ноге запеклась кровь. «Волки напали». Эти слова, как лед, сковали мое детское сердце. В тот день я первый раз переживал по-настоящему, впервые понял, что такое горе. Увидев кровь на ноге лошади, я заплакал.

Утром весть о том, что волки будто бы задрали кобылу Имамали, разнеслась по аулу. К нам приходили соседи и как могли утешали отца: ведь в те времена лошадь была кормилицей семьи. Случалось, человек, потерявший коня, так горевал, словно лишился близкого родственника. Навещавшие в то утро нас люди говорили: «Машалла, машалла, вороная хоть изранена, но не дала в обиду волкам своего жеребенка. Вот что значит мать!» На кобылу, которая отчаянно боролась со стаей разъяренных волков, защищая своего жеребенка, я смотрел как на существо героическое.

Весь день, хоть рана и давала о себе знать, кобыла ни на шаг не отходила от жеребенка. Как будто в первый раз видела его — все обнюхивала, ласкала, словно не верила, что спасла-таки свое дитя.

О, как я любил этого жеребенка! Целыми днями готов был любоваться им, смотреть, как он играет. Тоненькие красивые ножки его пружинили, он ровно мячик прыгал, резвился во дворе. Был он карий — вероятно, в отца, рослый, шустрый. Я постепенно приучал

его к себе. Сначала карий и близко не подпускал меня, но время брало свое. Вообще жеребята быстро привыкают к детям. Я начал подходить к нему и гладить красивую шерсть, маленькую гриву. Всякое животное любит ласку, и Карий вскоре начал откликаться и на свое имя, ржал, подбегал ко мне. «Радость моя», — с любовью гладил я жеребенка. Он с каждым днем вырослел, становился сильным, красивым — и чтобы не сглазили его, отец на шею Карего подвязал веревку с дырявым камнем.

А отец все ухаживал за кобылой, залечивал ее рану, словом, относился как к члену семьи. Даже привел из станции Беломечетской лекаря-ветеринара.

Вороная наконец выздоровела, рана зарубцевалась. Но любая травма оставляет свой след — и наша лошадь теперь подволакивала раненую ногу. Она больше не могла ходить в упряжке. Отец горевал. «Ах, зачем в тот день мои кони отбились от косяка! Если кони в косяке, они сами волков растерзают, — так говорят в народе. — Не отбились бы — и несчастья бы не случилось».

И вот как-то утром погожего осеннего дня отец сказал:

— Надо выучить Карего, он уже стал кунаном¹. Пойду к сыну Кусепа Асану, обещал объездить жеребенка. Давай быстрее свой чай, дочь Кыдырали.

Услышав разговор про кунана, я попросил отца:

— Акай, это же мой жеребенок! Я ведь на нем буду ездить верхом. Так что давай я пойду с тобой.

— Ну тогда собирайся быстрее, — сказал отец, соглашаясь.

Я, наскоро попив чаю, вышел вслед за отцом. Когда мы вдвоем на гнедом приехали в дом Кусепа, Асан пил чай.

— Поторапливайся, Асан. Пока табун не поднялся в горку, пойдем поймем кунана.

Мы нашли табун, и отец, поздоровавшись с табунщиком, объяснил, что собирается объездить своего кунана.

— Учи не учи, Имамали, от этого кунана тебе пользы не будет. Завтра всех коней заберут в колхоз, — предупредил табунщик. — Лучше забей его, хоть мясо нежное поедите. Зачем надо, чтобы в колхозе-молхозе кто-

¹ К у н а н — конь-двухлетка. Его можно приучать к верховой езде.

то чужой ездил на твоём кунане? Зарежь — на целую зиму мяса хватит.

Отцу не понравились слова табунщика, он косо посмотрел на него, хмуро заметил:

— Не то говоришь, Абу. Карий для нас — что дитя родное. Я его с рук кормил, а ты говоришь — забей. Да чтоб мне никогда в жизни больше мяса не попробовать, а его не зарежу.

Табунщик не стал спорить.

— Ну и не режь, — ответил он. — Твое дело. Но все равно его заберут в колхоз. Поэтому я и сказал, а ты все не так понял. У нас, ногайцев, есть поговорка: правда и близкому глаза колет. Я думал, будет лучше, если своим добром воспользуешься сам.

Отец задумчиво смотрел то на кунана, то на табунщика. Потом, поглаживая короткие, черные усы, спросил:

— Но почему, Абу? Ведь если я не вступлю в колхоз — как же у меня отберут кунана?

— Вступай не вступай, все одно. Сам увидишь, скоро у всех заберут, — заявил Абу, еще больше пугая отца.

Увидев, что отец пригорюнился и вроде бы растерян, Асан тоже засомневался:

— Может, придумаем что, агай?

— Была не была. Заберут так заберут, не умрем же мы от этого, — сказал наконец отец. — Подумаешь, беда какая. А я своими руками кунана не могу зарезать. Так что давай пока будем объезжать, — решил он.

— Объезжайте, давайте, колхозу нужны обученные кони, — едко заметил табунщик Абу.

— А ну, покажи своего кунана, я его мигом поймаю! — Асан взял в руки пристегнутый к седлу аркан.

Отец верхом объехал вокруг косяка и, увидев Карего, кивком показал на него Асану. Асан смело, без боязни вошел внутрь косяка. Долго пытался отогнать Карего, но кунан не давался. Асан пробовал и так, и сяк — безуспешно. Кунан, словно чувствуя, что его хотят поймать, постоянно уворачивался от Асана.

В конце концов с одной стороны отец, с другой Асан кое-как отогнали двух коней от косяка; одним из них был наш Карий.

— Эхе, вот и аркан на шее! — крикнул Асан и бросил веревку.

Но петля не захватила шею кунана. Карий быстро юркнул обратно в косяк.

— Попробуй его в косяке поймать, Асан, так легче, — подсказал табунщик.

Спугивая лошадей, Асан некоторое время ходил среди косяка, тщетно пытаясь заарканить молодого коня. Как говорил отец, за это время можно было бы вскипятить и выпить чаю.

— Ты же в момент ловил лошадей, что с тобой сегодня? — удивился табунщик.

Асан разозлился, подскакал ближе к кунану и опять бросил аркан. Эхе, эхе, петля опустилась точно на шею!

— Попался наконец! — вскрикнул Асан, пытаясь остановить бешено мчавшегося коня.

Но молодой конь сдался не сразу. Когда наконец Асан привязал веревку к поясу и поехал следом за Карим — тот постепенно успокоился.

— Эхе, эхе, все кончилось, родной, — сказал Асан и, спрыгнув с коня на землю, рывком остановил кунана. — Имамали, иди держи ты, а я отдышусь, — крикнул он отцу.

Отец взял веревку и привязал конец ее к поясу. Кунан хоть и устал, но иногда, показывая свой норов, все же дергался, пытаясь освободиться. Будто не доверяя отцу, Асан все еще держал рукой веревку. Немного отдохнув, он распорядился:

— Хватит, Имамали, отвязывай теперь. Возьми кнут и стегай коня, чтоб не останавливался. Если не устанет как следует, он нам не подчинится!

Отец, взяв длинный кнут, начал стегать коня.

— Чаще, чаще, заставь его бегать! Сам беги за ним! — кричал Асан, поторапливая отца, а сам, держа аркан в руках, крепко стоял на месте, водя лошадь по кругу.

Кунан и за ним отец описывали круг за кругом: лошадь ходила на аркане, отец подхлестывал ее сзади.

— Смотри, сынок, уставать ваш Карий начал. Уже весь вспотел, — заметил табунщик. — Скоро совсем остановится.

— Гони, Имамали, не замедляй, уже недолго осталось! Давай! Давай! — кричал Асан, заставляя отца торопиться.

Опять и молодой конь, и отец бежали по кругу.

— Отец устал, — сказал я. Видел, как трудно он дышит.

— И лошадь устала, — ответил табунщик.

Вдруг отец споткнулся. Я, перепугавшись, вскочил с места и с криком «Акай-ав!» бросился к нему.

— Стой! Мальчишка! Задавит!— табунщик перехватил меня.— Смотри-ка, и Карий остановился. Устал.

И отец, и Асан, и лошадь перестали двигаться одновременно. Будто ветер стих...

Отец с Асаном шумно дышали, Карий с опущенной головой тоже дышал тяжело.

— Хватит, Имамали, передохнули. Дай мне кнут, я сейчас сяду на кунана,— Асан поднялся с места и пошел к коню.

Но тот, почувствовав приближение человека, опять стал беситься. Правда, в этот раз недолго — человек уже победил его.

Асан погладил Карего по гриве и вскочил ему на спину. Лошадь взвилась...

Долго еще боролся Асан с Карим. Но вот, окончательно выбившись из сил, остановился — подчинился-таки воле человека.

— Держи, Имамали, пусть приносит тебе счастье, теперь он будет смирным. Некоторое время еще покажет свой нор, но ты не обращай внимания. Езди верхом, запрягай в арбу. Но не слишком мучай. Молодой еще. Пускай кости окрепнут,— сказал Асан и протянул уздечку отцу...

Самое интересное, самое лучшее время в детстве — то, когда я ездил верхом.

И сейчас, что скрывать, при виде лошади у меня глаза загораются. Я вспоминаю гордый силуэт нашего Гнедого, я слышу голос отца: «Держи уздечку крепко, сынок».

Дорога жизни не бывает прямой и легкой. Чтобы пройти эту дорогу, надо крепко держать узду своего коня.

Сами видите, как прошло мое детство. Когда я начал осознавать происходящее вокруг, понимать, что делается в ауле, нам пришлось переехать. Так что часть моего детства прошла в родном ауле, а часть — в горах.

Горные края...

БЕКБОЛАТ

ПРОЛОГ

Извилистая тропинка то сбегает в овраг, то круто карабкается на холм, — и я с ней, потому что это самый короткий путь в аул из моего города. Слева слышится поющее журчание. Это небольшая речушка несет свои воды в Кубань, несет в летний зной долины холод снежных вершин — во-он они блестят вдалеке под солнцем.

Да, солнце уже высоко поднялось, жарко печет. Надо спешить, а то и разморит. Только тропинка никак не устает — то поднимется на взгорье, то спустится в лощину, беспокойная, живая и бойкая, как линия горизонта в наших предгорьях, как нрав наших скакунов, как песня, которую поют мои аулчане, — она сама приходит ко мне:

Скалы разрезав, тропинка,
Забросил тебя человек —
И вьешься, как нитка,
Ввысь к облакам...
С этой тропинки
Дорога моя началась...

Видит аллах, праведны слова этой песни! Да, отсюда начался мой путь. Прежде чем выйти на большую дорогу, всегда идешь узкой тропинкой. Я впервые ступил на нее босоногим подпаском, я шел тогда за отарой на дальние горные пастбища.

Губы мои невольно шепчут:

С этой тропинки
Дорога моя началась...

Журчание ближе — тропинка приводит меня на берег ручья. И где-то невдалеке сквозь пение воды чей-то голос: «Р-айт! Айт!»

Поднимаюсь на вершину холма и вижу в ложбине отару меринских овец; старик чабан оперся на яр-

лыгу¹. У его ног, уткнувшись мордой в землю, дремлет овчарка. Я сбегая с холма — овчарка поднимает голову и, свесив розовый язык, следит за мной.

Я узнал уже в чабане своего старого знакомого Ногман-акая и торопливо шагаю к нему.

Вот я нарушил невидимую границу, овчарка залаяла — шерсть на загривке встала дыбом, пасть оскалена — и бросилась мне навстречу. Старик посмотрел из-под руки и строго окликнул пса. Овчарка тотчас остановилась и, виновато понутив голову, вернулась, легла неподалеку от хозяина. А тот журил ее, словно проказливого ребенка:

— Это же наш с тобой кунак! Разве не помнишь, как прошлым летом он гостил у нас, тебя чуреками угощал! Ах ты неблагодарный!

— Салам алейкум, Ногман-акай! — еще издали поздоровался я. — Жирных овец чтоб было много, а у едокков здоровье большое! — вспомнил я шуточное приветствие чабанов.

— Алейкум салам, мубарек², — ответил старик. — Иди, сынок, кунаком будешь. Той будем делать, овца по тебе давно скучает! — Он подал мне сухую, морщинистую руку.

Я пожал ее обеими руками.

Ногман-акай — сухощавый, длинный — схож в чем-то со своей пожелтевшей и высохшей от времени ярлыгой. Но чуть раскосые черные с прищуром глаза живые, глядят молодо. Да и сам он держится прямо, движения хоть и медленные, но точные и сильные. Обросшее седой щетиной скуластое лицо блестит на солнце здоровой кожей.

Старик опустил на траву, сел, поджав под себя ноги, и дал знак, чтобы я последовал его примеру.

Он долго молчит, пропуская в раздумье свою бороду через узловатые пальцы. Молчу и я: у нас, ногойцев, не принято, чтобы младший первым начинал разговор. Тем более что передо мной один из самых уважаемых аксакалов аула. Хочется курить, но и этого я не позволяю себе: нехорошо дымить рядом с аксакалом.

Ногман-акай смотрит на меня из-под мохнатых белесых бровей и, будто отгадав мое желание, спрашивает:

¹ Ярлыга — чабанская палка с крюком на конце, ею ловят овец.

² Мубарек — уважаемый аллахом человек.

— Ты, кажется, куришь, сын мой? Давай и я попробую твой табак.

Мы закуриваем. Серовато-голубой дымок легким облачком клубится в белой бороде старика.

— Ну, какие новости на свете?— спрашивает аксакал, с прищуркой поглядывая на меня. — Как там у вас в городе?

— Да, кажется, все по-старому, Ногман-акай.

Аксакал, откашлявшись, несогласно качает головой:

— Никогда, сынок, новый день в жизни человека не может быть таким, как вчерашний...— И вдруг:— Р-айт! Р-айт!— окликает он овцу, которая отделилась от отары и направилась было к роднику.

Овца не слушается, тогда чабан дает знак собаке — овчарка вскакивает и мчится наперерез овце, та тотчас поворачивает обратно.

— Нет, сын мой, новый день несет с собой новое,— продолжает свою мысль аксакал. — И человек с каждым днем становится мудрее. Ведь из дней составляется жизнь. Доживешь до моих лет — сам поймешь цену дню.

Старик умолк. Снял войлочную шляпу, вытирает бритую голову. Задумавшись о чем-то, смотрит на меня.

Солнце печет, от горячего воздуха пересохло во рту и в горле. Я, как и овца, поглядываю в сторону родника. Ногман подает мне флягу, я с наслаждением пью холодную, освежающую воду и чувствую, как все во мне оживает — каждая жилка, каждая клеточка.

Старик поглядывает из-под руки на горы. Над вершиной Бекболат-кая — скалы Бекболата — кружатся облака. Ногман-акай глубоко потянул воздух.

— Чуешь, как душно? К вечеру дождь будет,— говорит он, не отводя глаз от нависшей над рекой Бекболат-кая.

Долго задумчиво смотрит Ногман на скалу, невольно вглядываюсь и я: чем так заинтересовала она аксакала?

Заметив мое внимание, старик спрашивает:

— Приходилось тебе бывать у той горы?— и кивает на Бекболат-кай.

— Как-то проходил мимо...

— Обратил внимание, из какого камня та скала?

— Кажется, обычный...— осторожно говорю я.

— О нет, сын мой. Нет. Камень Бекболат-скалы не разобьешь и самой тяжелой кувалдой. Крепок — что твой бодат-сталь!

— Да ну?!— оживленно, с деланным удивлением спрашиваю я, чувствуя, что аксакал хочет поведать мне какую-то новую историю.— Отчего же она такая крепкая, акай?

— Потому что вобрала в себя силу батыра. А тот батыр был духом крепче, чем сталь.— Старик помолчал, как бы что-то припоминая или прислушиваясь к чему-то далекому-далекому, потом заключил:— Если хочешь узнать о нем, приходи ко мне на летнюю кошару...

Три ночи я провел на кошаре, у костра, под звездным небом. Три ночи рассказывал мне аксакал о замечательном батыре и его подвиге.

Жизнь героя может быть долгой, но легенды народ слагает короткие, такие, чтоб можно было передать из уст в уста, от поколения к поколению. Ах, сколько у нас в народе легенд: и говорящие о глубокой старине, сами не знающие своего возраста, и сложившиеся на наших глазах,— а такие старики, как Ногман-акай, хранители сокровищницы народа, сказители, передают их в с е м: детям, старикам, путникам! Рассказывают стихами или просто будто вспоминают свое. Люди слушают их до глубокой ночи, а на следующий день приходят дослушать. И снова и снова оживают страницы любви, дружбы, героизма — жизни нашего народа. Рассказчики — это поэты народа, знающие всю красоту, все богатства родного языка. Они самоговорящие книги народа.

И вот что поведал мне Ногман-акай.

Часть первая АУЛ КОБАНЛЫ

В САКЛЕ МАТЕРИ

Черные грозовые тучи клубятся над головой — будто черным саваном накрыли аул. Лишь изредка пробьется к земле луч, напомним: выше туч — солнце, хоть тускло, а просвечивает.

На берегу быстрой Кубани жметя к земле маленький ногайский аул. Кривые улочки пусты, все замерло в ожидании грозы. Лишь по серой пыльной дороге, пересекавшей аул, крупно шагал парень лет семнадцати, спешил, что-то зло нашептывал себе под нос.

«Эх жизнь, до чего ж ты тесная стала! Ну я ему покажу еще! Подожди, Кабанбек, один человек не может править миром! Придет мое время!» — так думал, такие слова шептал решительно шагавший парень.

Он худощавый, высокий, на ходу иногда озирается по сторонам, но в злобе не видит ничего вокруг. Облезлая барашковая шапка надвинута на глаза, чтоб люди не видели его злого лица. Но на улице никого нет.

Выцветший старый шепкен¹ с большими черными латками на плечах и рукаве, перехваченный ремешком из узкой сыромятной кожи, и широкие штаны делают парня несуразным и смешным. Но это для тех, кто не видит его глаз. Ступает он твердо и решительно.

«Эх, что ж это я! Надо было Кабанбеку кишки выпустить... Да разве он один меня отхлестал? Он же не один был. Если бы один!.. Ну погоди, Кабанбек, зять мурзы!.. Придет мое время!»

Вот что произошло накануне.

Кабанбек, похожий на пса, который вот-вот сорвется с цепи, с покрасневшими от постоянной злобы глазами, с плетью-камчой в руках ждал кого-то во дворе. Увидев Бекболата, откашлялся и зло сплюнул в сторону.

Бекболат, немного робея, поздоровался: «Салам». Кабанбек осмотрел его с ног до головы и, спрятав камчу за спину, буркнул ответное приветствие.

¹ Ш е п к е н — черкеска.

Кабанбек ненавидел Бекболата, а Бекболат — его, как только могут ненавидеть друг друга гордый хозяин и строптивый кул. Однако Кабанбек, зять всемогущего хозяина аула — мурзы Батоки, выделял почему-то Бекболата среди других батраков и невольно отвечал на его «салам». Никто, кроме самого Кабанбека, не знал, что причина тут — страх, что, если бы открылось одно из его преступлений, тут же либо хозяин, либо батрак простились бы с жизнью. Однако пока что Бекболат не знал вины Кабанбека и считал его злобу обычным отношением хозяина. Но то, что Кабанбек отвечал на «салам» Бекболата, было непонятно его домашним. И сейчас Кабанбек вспомнил упреки высокородной своей жены.

— Отец Арсланбека¹, я все вижу: когда входит твой батрак, ты не можешь усидеть на месте. Привстаешь, принимая его «салам». Он же кул, презренный раб, а ты зять знаменитого мурзы. Это же позор нашему роду, я не понимаю тебя...

— Ненужные слова говоришь, жена! — обрывал ее обычно Кабанбек.

Ханбийке все же не унималась — ну как он не может понять!

— Ты прямо как Тохтамыс-хан.² Слышал песню «Кубылгул»³?

Кабанбек, конечно, слышал эту песню, и не раз, да все как-то пропускал слова жены мимо ушей, потому и не запомнил.

— При чем тут Кубылгул, дочь мурзы?

Ханбийке, радуясь вниманию мужа, не спеша рассказала предание о Кубылгуле, — по-своему, конечно.

— ...Давным-давно жил хан Тохтамыс, знатный, богатый и славный. И у него был батрак по имени Кубылгул. Когда заходил он к хану, тот вскакивал с трона и здоровался с батраком. Сам хан не замечал своего унижения, только умная жена все видела и упрекала мужа. Но хан спорил с ней, говорил, что этого не может быть. Тогда умная жена, желая доказать хану свою правоту, приколола однажды большой иголкой его халат к трону, а сама позвала Кубылгула. Кубылгул во-

¹ В ногайских аулах муж и жена не называли друг друга по имени, это считалось знаком уважения.

² Тохтамыс-хан — властитель Золотой Орды (XIV в.).

³ Кубылгул — так ногайцы называют Эдиге — основателя ногайской Орды внутри ханства Тохтамыса.

шел, хан встал и вместе с троном пошел навстречу батраку. Вот только тогда он и увидел свое унижение...

— Короче, жена, короче! Чем все это кончилось? — перебил Кабанбек.

— Чем, чем! — зачастила нервно Ханбийке. — А тем, что Кубылгул, который сам был знатного рода, в конце концов убил хана и поселился во дворце...

— А зачем ты мне все это рассказываешь? — недоуменно спросил Кабанбек.

Ханбийке с удивлением посмотрела на мужа:

— Так ведь ты тоже, как Тохтамыс, здороваешься с Бекболатом... будто с равным тебе...

Кабанбек рассердился, глаза налились кровью.

«От плохого человека хорошего слова не услышишь», — подумал, глядя на жену, однако сдержался, промолчал.

Ханбийке поняла, что задела мужа за живое, и тут же продолжила:

— Твой батрак, может, он тоже как Кубылгул, спит и видит — в твоём доме жить?

«Ну что ты ко мне пристала, сука?» — выругался про себя Кабанбек, но вслух произнес равнодушно:

— Не бойся, дочь мурзы, мой пастух не такой, свое место знает.

— Может, и знает, да не видно, — гнула свое Ханбийке. — Смотри, отец Арсланбека, не промахнись — что-то в нём есть такое, дух у него строптивый...

. Опомнясь, Кабанбек посмотрел прямо в лицо ему; на него глядели, жгли непокорством ненавистные глаза. «Дух строптивый, говорит... Ну я сейчас повыпущу из него дух!» И, сжав камчу, шагнул к парню:

— Если бы табун сам не нашелся, что б ты делал, собачий сын, а?! — заорал он в хозяйском гневе.

Бекболат молчал, переминаясь с ноги на ногу.

— Чего молчишь, уши ватой заложил?!

Кабанбек насупил густые черные брови, перебарывая затаенную слабость. «Щенок, собака недорезанная, за отцом бы тебя сейчас!..» — взвинчивал он себя.

— Что я скажу?.. — тихо протянул Бекболат.

— Сейчас ты у меня научишься, как говорить с зятем мурзы! — И Кабанбек замахнулся камчой.

Бекболат увернулся, и бай, вскипев новой злостью, изо всех сил хлестнул снова. На этот раз камча обожгла

левое плечо парня. Бай опять замахнулся, но Бекболат с ловкостью барса рванулся, перехватил плеть. Кабанбек, брызгая в бешенстве слюной, обернулся, заорал к себе во двор:

— Эй, люди! Держите его!

Со двора выскочили слуги мурзы, накинулись на Бекболата. Он и опомниться не успел, как был повален и связан.

День и еще ночь пролежал он связанный в амбаре у мурзы...

Тяжело шел теперь Бекболат, озираясь по сторонам и пряча полный бешенства взгляд.

«Ну погоди, Кабанбек, ну погоди, собака... Придет мое время!..»

Но пока было время мурзы и время Кабанбека, пока — не дадут если ему работы — с голоду подойдет... И поэтому приходилось ниже надвигать на лоб шапку, как бы кто не увидел блещущих ненавистью глаз. Не помня себя, он шагал и шагал, вышел из аула, и тут его застала гроза, отхлестал дождь. А он и не прятался — сидел на камне, думал.

Спустились сумерки. Покривившиеся сакли тонули в полумраке, а очаги старались дымом нагнать побольше тьмы. Горький запах кизяка окутал аул. Люди готовились к ночи. Невдалеке мычала корова, видно недавно отелившаяся, звала своего теленка. В соседнем дворе откликнулась другая.

Бекболат шел окраиной аула. Откуда-то донесся злобный собачий лай. Парень прислушался.

Лай собак, мычание коров, бляение овец — все эти привычные звуки сливались в нехитрую музыку вечера. Время перед сном — хлопотливое время в ауле. Карамулла с минарета Юма-мечети оповестил правоверных о наступлении вечернего намаза.

Бекболат старался спокойно обдумать все случившееся и не мог. В голове шумело, сердце сжимали обида и злость. Но когда послышался крик муллы, юноша встрепенулся.

«Абай¹, наверно, собирается молиться. Ждет меня, волнуется», — подумал Бекболат и поспешил домой.

¹ А б а й — мама.

Каний, мать Бекболата, не спала всю минувшую ночь, а рано утром была в доме мурзы, распростерлась перед ногами Батоки, просила прощения сыну. Мурза с отвращением смотрел на заплаканную женщину.

— Надо уметь воспитывать сына!.. — кричал Батока.

— Жертвой твоей буду, великий мурза, пожалейте моего единственного сына, прошу, мурза-отец! — в рыданиях умоляла Каний.

Она знала, что сын заперт в амбаре. Целовала мурзе руки, ноги, но тот молчал, стеклянными глазами смотрел куда-то в сторону, как будто и не видел ее. Женщина без сил упала на пол.

Нет, не отпустили сына Каний, сутки продержали связанного в амбаре...

Каний ждала Бекболата дома; услышала шаги сына во дворе, и радостно забилося сердце, выбежала навстречу:

— Бекболат, радость ты моя, солнышко мое!..

— Абай!

Худой, высокий парень бросился к матери. На глазах у нее выступили слезы, она крепко обняла сына. Гладила по голове, заглядывала в живые большие глаза.

— Родненький мой, а ну повернись к свету, — похудел. — Сухой, морщинистой рукой она коснулась его щеки.

Огонь из печки осветил лицо Бекболата.

— Ничего, абай, — сказал он и отвернулся — не хотел, чтобы мать видела синяки. — В конце концов не ребенок я уже...

— Избили, пусть аллах их накажет! Лицо твое не узнать, пусть аллах покарает их за это!.. Пусть они на том свете увидят яханем! ¹ — так проклинала Каний мурзу и Кабанбека, глядя худыми руками лицо сына.

Бекболат не стал рассказывать матери, как его били связанного, не хотел причинять лишнюю боль.

— Табун забрался в кукурузу, из-за этого Кабанбек и привязался, — только и объяснил он.

— Пусть у него жизнь будет короткой, пусть весь их род высохнет! Из-за лошадей так мучить человека! Дожил бы отец до этого дня, не было бы мучений, защитил бы сына... Несчастные мы! — Каний, вспомнив умершего мужа, снова заплакала.

¹ Я х а н е м — ад.

— Мать, ну, мать, почему несчастные? Вот же: руки целы, ноги целы!— Бекболат неумело старался успокоить Каний.

— Да, да, солнице мое, не надо плакать, конечно! Что я делаю!— Каний вытерла слезы.— Слава аллаху, у меня же есть ты, ты мое счастье, ты мое солнце!

— Все будет хорошо, абай.

Бекболат снял шепкен и повесил на деревянный гвоздь возле дверей.

— Сыбырткы¹ надо же закончить плести, сколько времени прошло, как я забросил его,— вспомнил он, чтобы отвлечь мать от грустных мыслей, и начал шарить под кроватью. Нашел, вытащил узкие ремешки сыромятной кожи и сел на низкую табуретку работать.

Каний, грея руки у печки, смотрела на сына. «Да, джигитом становится мой Бекболат, не так-то просто согнуть его». А вслух сказала:

— Что ж я стою, родной мой, я ведь для тебя торту² приготовила, с перцем, со сметаной. Сейчас подогрею!

Каний возится у печки. Бекболат, задумавшись, не глядя плетет сыбырткы. Тихо потрескивают сухие дрова в очаге.

— Абай, слышишь?— нарушает молчание Бекболат.— Что-то от Маметали давно нет вестей. Не случилось ли чего? Совсем забыл нас.

Каний, присев на корточки, возится у очага. «Что это ему в голову пришел Маметали?— думает она.— Да, трудно парню без отца: мужской совет, мужская поддержка не то что моя».

— Раз не приезжает, действительно пусть бы хоть весточку прислал!— Она тяжело вздыхает.— Горемычная голова, среди русских живет, скоро совсем русским станет, несчастный. Не дали ему, бедному, жить здесь, отбился от аула, как одичалый жеребенок от табуна. Вернется ли теперь, один аллах знает! А какое у него сердце было доброе! Ушел, потерял свой аул, потерял нас...

— Не дали жить,— вздыхает и Бекболат.— Кому они дадут жить, мурза и Кабан? А у нагашака³ харак-

¹ Сыбырткы — длинный кнут табуищика.

² Торту — ногайское кушанье из кукурузной муки с молоком и перцем.

³ Нагашакай — дядя по материнской линии.

тер сильный был — боялись его, поэтому и выжили из аула.

— Сынок, солнце мое, кушать уже готово, иди сюда. — Каний ставит перед Бекболатом сыпыра — трехногий низкий столик.

Сын и мать садятся ужинать.

Ночь. Тлеющие кизяки освещают тесную комнатку. На низкой скамеечке — Каний, в руках у нее веретено. Рядом на полу — шерсть, клубок ниток. Каний резко крутит пальцами веретено и отпускает его, в руках у нее остается мягкая сырая нить, наматывается на веретено. На старом деревянном тахтамете прикорнул усталый Бекболат.

Сон не приходит к Каний, она снова и снова крутит веретено, вьется и вьется длинная нить. Как бесконечная нить, тянутся думы Каний. Сколько ночей провела она за веретеном! Вьется нить, тянутся мысли. Так сидела она, когда был жив еще отец Бекболата Алим. «Когда отдыхать будешь, дочь Балта-аула?» — так сквозь сон окликал ее муж, увидев сидящей у печки. А Каний то заплатки ставила на одежде, то к утру еду готовила...

Иногда Каний и сейчас слышит ночью голос мужа — и вздрагивает от горя и страха. «Дочь Балта-аула» — так обращался к ней Алим: Каний родом из Балта-аула.

Бедный Алим как будто и не жил... Рано ушел из этого мира... Теперь только во сне и видит его, да иногда голос его послышится...

Большая была семья: пять братьев, а самый младший — Алим. Отец умер рано. Алим мальчишкой еще пошел в батраки. Ни у кого не просил помощи, все сам делал, своими руками. От зари до зари пас табун мурзы. Женился. Родилась дочь, потом и сын. Дочь пяти лет умерла от оспы. «Кудай¹ дал, кудай забрал», — сказали тогда Алим и Каний. Единственная радость осталась — сын. Бедно жили, трудно — то того не хватало, то этого, но перебивались кое-как. Свой был маленький, уютный очаг — хоть и не ярко, но светил, грел. Так бы и жить им, но вдруг все обрушилось, переломилась жизнь. Остался сиротой сын, осталась вдовой жена — ушел из

¹ Кудай — аллах.

мира Алим. Ах, если б умер он своей смертью, тогда не так бы переживала Каний. А то смерть-то какая, не дай аллах и врагу такой...

Нитка оборвалась, веретено упало на земляной пол. Оборвались и думы Каний. Бекболат пошевелился, повернулся со спины на бок.

— Абай, до сих пор еще не спишь? — сквозь сон спросил он.

— Спи, спи, сынок, я сейчас ложусь.

— Отдыхай, абай, уже поздно.

— Сейчас, сейчас, родной!

Каний прибрала свое немудреное хозяйство. Не спеша присыпала золой тлеющие в очаге угли. И перед сном помолилась за сына.

Услышав, что мать легла, Бекболат укрылся с головой домотканым одеялом.

В комнату вошла тишина.

ТАБУНЩИК АЛИМ

Прикорнул на берегу шумной Кубани аул — кривые улочки, низкие, осевшие в землю сакли, крытые камышом да соломой. Тихий аул, и места кругом тихие — только шум реки слышится, но и шум этот сам тишиной становится, растворяя в себе все другие звуки. Из аула дорога вьется, узкая, кривая, проторенная арбой, по ущелью, мимо гор тянется, в другие аулы вливается. Эта дорога приносит вести из большого далекого мира, и по этой дороге уходят в мир новости из аула Кубанлы. Одна ниточка связывает его с остальным миром.

На самом краю аула, рядом с дорогой, опирается о склон горы маленький — в две комнатки — дом табунщика Алима. Дом старый, еще от деда доставшийся, с покосившимися, к земле просевшими оконцами, открытый ветрам с реки; и казалось чудом, что он еще держится, не сползет, не рухнет в соседний глубокий овраг. Кто знает, может быть, давно бы и рухнул, если бы не подпирала его огромная ветвистая акация, защищая и от ветров, и от дождей. Если смотреть из окон дома, можно увидеть дорогу и вдалеке — Кубань. Из окна на дорогу глядят шустрые ребячьи глаза; увидев наконец показавшегося вдали всадника на крупной гнедой кобыле, обладатель быстрых глаз, мальчишка лет пяти, выскакивает из дома и, пыля по дороге босыми ногами, бежит навстречу отцу. Добежал, протянул ручонки.

Отец сажает сына впереди себя, и так они вместе подъезжают к дому.

Иногда утром мальчик просил отца:

— Акай, акай¹, возьми меня с собой...

Низкорослый, худощавый Алим, медно-красный от загара, молитвенно гладит ладонями обветренное, прокаленное и жарой, и холодом лицо и шепчет про себя: «Слава аллаху, сын подрастает, уже скоро будет у меня помощник!» Потом, успокаивая ребенка, обещает:

— Иди, сынок, иди домой. Еще немножко вырастешь — и поедешь со мной, уже скоро, милый...

Бекболат провожает взглядом удаляющегося отца; гнедая кобыла, выгоревший шепкен, старая мохнатая шапка, курук² на плече. Он смотрит до тех пор, пока отец не скрывается в балке, тогда мальчик бежит к дому, быстро, словно кошка, взбирается на высокую акацию и смотрит оттуда, повторяя тихонько:

— Скоро поеду, скоро. На лошади, отец обещал... Еще немножко подрасту!

Каждый день мальчик встречает утреннюю зорьку; отец сажает его в седло, покатав во дворе, спускает на землю, а сам едет на пастбища. Вечером сын сидит у окна, тоскливо смотрит на дорогу, хочет скорее увидеть отца. Если тот возвращается рано, бросается к нему в объятия. А потом вся семья садится ужинать; маленький Бекболат — между родителями. Затем Алим сажает сына на колени и рассказывает ему сказки. Слушая, малыш засыпает. Утром Алим хочет уехать, пока Бекболат спит. Но куда там! Малыш уже проснулся.

— Э, акай, пока я сплю, хочешь уйти! — кричит он, вскакивая с кровати.

Отец и сын одеваются и садятся пить густой ногойский чай с копченым сыром. Каний смотрит то на мужа, то на сына, улыбка озаряет ее лицо, она благодарит аллаха за сына и просит своих мужчин:

— Пейте, мои милые, сыр берите, я еще подложу...

— Ты себя не забывай, — тихо говорит муж. — Все мы да мы...

— Я потом...

Алим спешит в степь, к табуну.

¹ Акай — отец.

² Курук — длинная палка с волосяным арканом для ловли лошадей.

И снова сын провожает его взглядом, пока виден курок над плечом отца...

Алим гонит табун по ущелью Тулкили на пастбище. Кони, резво постукивая копытами по каменистой почве, поднимаются в гору. Так-тук, так-тук — цокают копыта. И в такт стучит сердце табунщика. Оно стучит то с болью, то с радостью — Алим думает о жизни, о семье, о единственном сыне Бекболате. Вот стук становится радостней, легче — сердце знает, что есть ему замена, что оно не умрет, останется молодым, будет жить второй жизнью... Ведь сердце Алима — сердце Бекболата. Алим смотрит на восходящее солнце, добрые лучи освещают обветренное лицо табунщика, и, веселея сердцем, он подгоняет табун:

— А-айт! Чу-чу!

Табун спешит к пастбищу Эгизтюбе, что у двух курганов-близнецов. Там его ждет сочная трава, ждет холодная, чистая родниковая вода.

Нет, нет. Не всегда бывает так весел табунщик Алим. Только в этот утренний час, на восходе, в думах о сыне забывает он свое горе, подневольный тяжелый труд. Он — знаменитый в здешних местах табунщик — не больше чем кул, раб мурзы Батоки, хозяина аула. Как мурзе заблагорассудится, так и обращается с ним, с Алимом. Может ударить, может сказать недостойное, позорящее слово, может заставить выполнять любую тяжелую работу. И Алим, хоть он лучший табунщик в округе, хоть из одной лошади выращивает две, не может даже слова сказать против воли мурзы. С тринадцати лет пасет табун князя. С тринадцати лет терпит гнет, недоедает, недосыпает... Сколько ему сейчас — сорок лет всего, а лицо, руки в морщинах, будто старик, и по ночам кашель донимать стал... Давно ли молодость была, да быстро кончилась — в голоде, в холоде она быстро кончается... И вечно один в степи. Табун — и он. Но ничего, привык к степи, полюбил ее. Здесь все ему дорого, только здесь он чувствует себя вольным. Здесь никто не мешает думать о сыне, о доброй жене...

И в этот час на восходе солнца Алим забывает о невзгодах, о мурзе, о жестокости и обидах. Он смотрит на теплое солнце, тепло и сердцу его в этот час. Думает о сыне, о счастье своего Бекболата... А когда человек мечтает о счастье, он уже наполовину счастлив...

Бекболат выделялся среди товарищей живостью, умом и силой, выглядел намного старше сверстников, и ребята считали его своим вожаком, ни одна игра не проходила без него. Бекболат никогда не допускал несправедливости, и друзья уважали его.

Как-то однажды мальчишки из ватаги Бекболата играли в альчики. В азарте они и не заметили, как подошел младший сын мурзы, Арсланбек.

Он с завистью смотрел на ребят.

— Я тоже хочу играть! — капризно закричал он, показывая большой сака¹.

— Ты нечестно играешь, Арсланбек, — спокойно возразил ему Бекболат.

— Почему? — сердито спросил маленький мурза.

— Ты проигрываешь кость и не отдаешь, разве это честно? С тобой никто не хочет играть.

— Больше я так не буду, — протянул Арсланбек.

— Поклянись кораном! — предложил Бекболат.

— Клянусь кораном, — заверил Арсланбек, — буду играть честно!

— Ну если хочешь, то давай.

Бекболат подбросил свою кость.

Арсланбек не спеша закатал рукава вельветовой рубашки и тоже бросил кость. Ребята окружили их, следя за состязанием. Сын мурзы должен был бить первым. Ударил, но альчик Бекболата остался неподвижным. Теперь пришел черед Бекболата.

— Целься хорошенько, Бекболат! — подсказывали мальчишки.

Бекболат метнул — попал, кость Арсланбека несколько раз перевернулась в воздухе и упала боком.

— Бекболат выиграл! Выиграл! — в один голос закричали зрители.

Арсланбек покраснел от обиды, но, ничего не сказав, поплелся домой.

— Что с ним, даже спорить не стал? — удивились ребята.

Однако спустя несколько минут они опять увидели Арсланбека — теперь его сопровождал сын работника мурзы Сарытай, рослый и крепкий парень.

¹ Сака — большая кость (альчик), залитая свинцом.

— Смотрите-ка на него, обманом выигрывает! — еще издали закричал, обращаясь к Бекболату, Сарытай.

— Неправда, я выиграл честно, клянусь аллахом! Если не веришь — вот у ребят спроси, Сарытай. Я правду говорю. Куран болсын¹.

— Отдай кость! — не слушая объяснений, потребовал парень.

— Зачем я буду отдавать, раз я выиграл?

— Не давай, Бекболат, не давай! — загалдели ребята. — Проиграл, считай — уж не твоя, Арсланбек, а если попробуешь силой вернуть, ничего не получится.

Арсланбек, все же чувствуя защиту Сарытая, схватил Бекболата за шиворот.

— Отпусти, говорю! — Бекболат сбросил руку Арсланбека.

Несмотря на присутствие телохранителя, он так толкнул сына мурзы, что тот упал. Сарытай тут же бросился на Бекболата, и тогда все мальчишки накинулись на обидчиков...

Вечером слуга мурзы, отец Сарытая, пришел в дом Алима.

— Какой драчун твой сын, сына мурзы побил! — И начал угрожать: мол, посадят теперь Бекболата в тюрьму, мурза это дело так не оставит...

— Ну подрались мальчишки, что теперь об этом говорить? — упрашивала Каний. — Сегодня подрались, завтра помирятся, дети есть дети. Что с них возьмешь?

— Дети детям рознь, — зло повторял работник мурзы. — Дети детям рознь. Какое он имеет право бить сына самого мурзы? Он сын кула! Что они — ровня? Нет, никогда. Ты понимаешь это?..

— Больше, сынок, не играй с сыном мурзы. Слышишь? Он тебе не пара, — так сказал Бекболату отец, когда незванный гость ушел. — Ты еще мал, сынок, не все понимаешь. Жизнь — трудная штука. Одни живут легко, другие тяжело. Понимаешь, сынок?

— Хорошо, отец, — хмуро согласился Бекболат. На отца он смотрел со всегдашним уважением, но в голосе, на мальчишеском его лице была обида.

— Сторонись богатых, сынок, у них сила...

С тех пор Бекболат избегал сына мурзы.

¹ Куран болсын — клянусь кораном.

БЕКБОЛАТ В МЕКТЕБЕ

Когда Бекболату пошел восьмой год и кончилась пора детства, Алим и Каний, еле сдерживая гордую радость — сынок совсем взрослым стал! — отвели мальчика в мектеб к Шапу-эфенди¹. Как они хотели, чтобы их единственный сын был грамотным и ученым, чтобы знал счет и умел читать коран! Как они просили эфенди принять их сына в мектеб! Алим пообещал даже бесплатно пасти лошадей эфенди.

Теперь каждый полдень Каний беспокойно ждала возвращения сына из мектеба, готовила ему вкусные кушанья.

Чувствуя ласковое беспокойство матери, Бекболат после школы сразу же бежал домой, а увидев мать, кидался ей на шею.

— Что ты узнал сегодня, сынок? — спрашивает его Каний, едва только сын переступит порог дома.

— Мама, я узнал сегодня элип и бе². Знаешь, как запомнить про элип и бе? — спрашивает сын.

— Как, свет моих глаз? А ну-ка скажи?

Бекболат важно откашливается и декламирует:

— Элип пен бе — отпек пен е³.

Каний улыбается:

— Кто тебя этому научил, сынок?

— Старшие ученики сказали.

— Хорошо, хорошо, свет мой! — радуется мать.

Бекболат рассказывает Каний о школе: о том, как эфенди ругает ребят, о том, как много тонких хворостин у него на столе.

— Светоч моих очей, будь послушным, и тогда эфенди тебя не тронет, — просит его мать.

— Нет, мама, он меня еще не бил. Только один раз так дернул за ухо, что я подумал, оно оторвалось. — Бекболат осторожно прикоснулся к опухшему левому уху.

Каний сокрушенно вздохнула:

— Почему, сынок? Что ты сделал?

— За разговоры.

— А ты, светоч мой, не разговаривай на уроке, хорошо?

¹ Э ф е н д и — ученый мулла.

² Буквы арабского алфавита.

³ Поговорка типа: «А и Б сидели на трубе». (Дословно: «Элип и Бе — про хлеб не забывай».)

— Хорошо, мама. Больше не буду.

Когда Бекболат научился читать, Алим и Каний совершили курманлык¹, отдали эфенди единственного теленка.

Однако недолго было суждено радоваться Алиму и Каний. А случилось все из-за песни. И зачем только спел Бекболат в тот день эту проклятую песню!

— Собачье отродье, кто научил тебя? Говори! — орал эфенди и со всего маху хлестал Бекболата по голой спине тонкой хворостиной.

Звук удара — ш-шып, ш-шып — заставлял всех мальчишек в классе втягивать голову в плечи.

— На улице незнакомые ребята пели, — отвечал Бекболат; все это время он коленями стоял на соли.

Эфенди, желая доискаться, кто же сочинил поносящие его достоинство строки, продолжал пороть бедного мальчишку. Спина Бекболата вся была в кроваво-красных рубцах...

Когда Бекболат, еле передвигая ноги, ушел домой, эфенди, злость которого поутихла, задумался: кто все-таки сложил озорные частушки? Ах, нехорошо, не должны бы знать люди, да разве в ауле что спрячешь? Всё на виду...

Курицу, зарезанную Шапу-эфенди,
Найме пожарила на масле.
Узнав об этом, Ахмет
С камой² бросился на Шапу...

«Собачий сын! Пошли аллах, чтоб у сочинителя типун на языке выскочил!» — снова взъярился эфенди, однако представил себе Найме, полненькую, в коричневой с бахромой шали, скромно потупившую взор, и смягчился...

Уже несколько лет, как осталась Найме одна, без мужа. Дом ее, покрытый камышом, стоял возле школы. Иногда Шапу-эфенди заходил для омовения в дом к Найме, а однажды протянул свою длинную жадную руку к груди вдовы...

Народ в ауле чувствителен к таким вещам. Пошли слухи и вскоре распространились по всему аулу.

Одни приняли новость с улыбкой, другие сочли за срам. А кто-то, склонный к поэзии и музыке, сочинил песню.

¹ Курманлык — жертвоприношение.

² Кама — кинжал.

Вот эту песню и распевал Бекболат возле мектеба, в окружении сверстников. Вдруг из-за угла выскочил эфенди, который все слышал...

Этот день был последним днем учебы Бекболата. Алим и Каний долго умоляли, просили эфенди, чего только не обещали ему ради единственного сына...

— Нет,— отрезал эфенди и больше не хотел ничего слушать.— Если он уже сейчас знает такие вещи, что же будет потом! Пусть аллах не даст ему больше жить! Держитесь от меня подальше!

— Хорошо, хоть читать научился наш Бекболат,— говорили Алим и Каний, вздыхая...

ЕЛЕТПЕС

Когда Бекболату пошел десятый год, отец понемногу стал приучать сына к работе табунщика, и вскоре они уже вдвоем охраняли табуны мурзы Батоки. Днем и ночью, в жару и в метель они не оставляли лошадей. Алим передал сыну все тонкости своего трудного ремесла. Бекболат узнал, как следует направлять табун: под ветер или против ветра, головами к солнцу или против солнца; в часы зноя лошади должны идти против ветра, хотя бы он был совсем незначительным, а в холодные, ветреные дни — по ветру; узнал Бекболат повадки и нрав лошадей, научился ловить куруком жеребят, а потом и взрослых коней. Алим не уставал повторять сыну:

— Хороший конь, сынок,— верный друг человека, так говорят ногойцы. Правду говорят. Он никогда не подведет хозяина. Эх, сынок, сынок! Сколько хороших коней вырастил я для мурзы, а доброго слова все же не услышал...

Так и жила семья Алима — хоть и дружно, да бедно. У батрака в доме разве когда лишнее будет? Еле хватало на еду. Однако же привалило вдруг счастье и Алиму. Как-то у проезжего купца-армянина обезножела лошадь — повредила копыта, и хозяин, не желая бросать ее на погибель — кому она, нестоящая, нужна, прирежут ради шкуры,— оставил коня Алиму. «Внял моим просьбам, о аллах всемогущий!» — обрадовался тогда Алим.

Опытный табунщик вскоре поставил кобылу на ноги и месяца через два-три добился, что она стала послушной, сильной и резвой, хорошей помощницей в его тя-

желой работе. А еще больше обрадовался Алим, когда его гнедая принесла вороного жеребенка.

Гнедая ожеребилась как раз в тот год, когда Бекболату исполнилось десять, и Алим начал брать его к табу. Обрадованный Алим сказал тогда сыну:

— Машалла, хороший будет конь! Слава аллаху, дождались и мы второго... Дарю его тебе, сынок, станет он настоящим скакуном. И ветер его не обгонит, такой резвый будет, верь мне, сынок... Так и назовем его: Елетпес — Обгоняющий ветер! Машалла, Машалла! Похож на человеческое дитя. Будет тебе, сынок, он хорошим помощником. Только смотри за ним как следует. «Хорошая лошадь — верный друг человека» — эти слова любил повторять твой дед. Помни об этом, сынок... Да, этот конь не даст и ветру обогнать себя. Хороший конь лучше плохого товарища! Понимаешь?

— Да, отец.

И Алим рассказал сыну одно приключение, случившееся с ним в молодости.

...Густ Карамыкский лес, стоит сплошной стеной... Не выберешься, пропадешь в нем без коня. Алим хочет подняться, но тело не слушается его, он валится обратно на землю. Губы запеклись, хочется пить, и невыносимо болит голова... Он смотрит по сторонам, рядом никого нет. Напарника его, Каламата, не видно, а ведь ехали вдвоем. Где же Каламат? Неужели бросил его одного? Почему он один в лесу? Старается Алим вспомнить случившееся — и не может. Голова гудит, он стонет от боли в спине, боится шевельнуться. Но что делать теперь? Не оставаться же здесь, в лесу? Алим приподнимает голову, подтягивает ноги к животу, хочет приподняться, опираясь на деревце. Медленно, очень медленно, преодолевая боль, встает на ноги. Но что это? Деревья кружатся... Он медленно опускается на колени, снова ложится на землю, — надо отдохнуть, набраться сил. Ох как хочется пить!.. И комары проклятые... Вдруг Алим слышит треск ветвей. Кто-то пробирается среди кустов тальника, все ближе, ближе... Неужели Каламат вернулся за ним? Непохоже... Может быть, медведь шатается по лесу?.. Треск все ближе... Алим прислушивался... Кто-то фыркнул... И дрогнуло от радости сердце Алима. Пробирается к нему его Жирен, его верный конь. Человек бросил беспомощного друга,

а конь — нет. Алим вспомнил все: и нападение на табун абреков-конокрадов, сражение с ними и свое ранение, бегство второго табунщика, Каламата... Конь подошел, стал, и Алим понял, что на этот раз он вернется в аул.

— Но хороший конь, сынок, и беду может принести. Все завидуют хозяину такого коня. А зависть — паршивое дело. Позавидует мурза, увидев Елетпеса, — пиши пропало. Попробуй возразить ему! Будет оскорблять тебя, мстить, отберет коня... Как тогда жить? Двадцать лет, сынок, я батрачил у мурзы Батоки, выходил ему много табунов, но так и не стал для него человеком. Знай же, сынок, такие богачи, как Батока, хуже собаки, они помнят лишь свою выгоду, тебе же — старая черкеска, сыромятные чуваки да похабная ругань... О аллах, когда же наконец ты установишь на земле справедливость! Держись подальше от плохих людей, сынок. А Елетпеса, как вырастишь, береги от дурного, завистливого глаза...

Счастливый Бекболат приглядывал за жеребенком, как ласковая мать смотрит за своим первенцем. Поил чистой ключевой водой, дважды в день купал в реке, смотрел за копытами, — и вырос жеребенок в стройного вороного коня с гладкой шеей, длинными ногами, резвого и красивого, как серна. Рядом с ним вырос и Бекболат...

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Алим поднялся рано, едва забрезжил рассвет.

— Что случилось, отец Болата, почему встал с пелухами, теубе-теубе!¹ — пробормотала сквозь сон Каний.

Алим не ответил, молча быстро оделся, вышел во двор. Сердце беспокойно стучало.

На дворе еще была ночь, в небе над соломенной крышей сарая тускло светила красным предутренняя звезда. Алим поспешил к сараю, распахнул плетеные ворота, тревожно взгляделся в темноту.

Увидел в углу Елетпеса и сразу же успокоился. «Слава аллаху! — сказал про себя. — Просто дурной сон...»

¹ Теубе — возглас удивления.

Тяжкий сон поднял его с постели до свету... Будто бы среди ночи какой-то негодяй украл красавца Елетпеса, его подарок единственному сыну. Алим хотел отбить жеребца, да — как это бывает во сне — все не мог догнать вора...

— Увели! — закричал в бешенстве Алим и проснулся от своего крика...

Вернувшись в саклю, он увидел встревоженные глаза Каний.

— Почему я рано встал, жена? Хочу поехать в Беломечетку. Вчера говорил тебе... Продам две козьи шкуры. Друга Апанаса увижу. Привезу фрукты. Кое-что куплю на базаре.

Не рассказывать жене про тяжелый сон, не мужское это дело — сны, предчувствия...

— Сейчас быстро сварю чай... На цепь повешу котел, вскипячу чай, — повторила сонная Каний, надевая чувяки.

Алим вышел в сенцы, снял с гвоздя седло.

— Пока у тебя будет готов чай, я оседлаю...

Каний кивнула в знак согласия и опустилась на колени у очага. Разворошила золу, добыла тлеющие со вчерашнего вечера угольки, положила сверху лучину и раздула огонь... Скоро в очаге плясало пламя, давая сакле свет и тепло...

Провожая мужа в дорогу, Каний напомнила шутливо:

— Приедешь на базар, отец Бекболата, не будь похожим на Махмуда!

Алим чуть улыбнулся: историю про Махмуда он помнил хорошо.

Жил в ауле мужчина средних лет, звали его Махмуд. Был он не богатый, и не бедный, имел пару быков и одну лошадь для езды. По рассказам тех, кто его хорошо знал, он был человеком любознательным, всегда стремился больше ходить и больше встречаться с людьми. Поэтому он частенько ездил на базар, но не как другие — продать что или тем более купить, хотя и это приходилось, а просто посмотреть, покрутиться среди людей, которые собирались из разных концов округа. Это ему доставляло огромное удовольствие. Но соседи посмеивались над Махмудом и с ехидцей задавали ему один и тот же вопрос: «Ну что, с чем тебя можно сегодня поздравить, с доброй покупкой или с выгодной продажей?» Однако Махмуд не терялся и гордо отвечал

так: «Не напрасно съездил на базар я и сегодня». — «А что же полезного сделал?» Тогда Махмуд довольно отвечал: «И сегодня научился одному русскому слову! Вот, например, «благодарю». И так каждый раз.

И с тех времен в ауле Кобанлы и говорят: «Ты, наверное, ездил на базар, как наш Махмуд?» И Махмуда того звали «Базар Махмуд».

С легким сердцем проводила Каний мужа в станицу, с легким сердцем оставил он дом. Надеялся обернуться пораньше...

Прошел день, вечером вернулся домой от табуна Бекболат — и увидел, подъезжая: во дворе старики собрались, стоят, опираясь на посохи, низко склонили головы. Из сакли доносился женский плач. Предчувствие несчастья сжало сердце. Спрыгнул на землю, бросил поводья на колышек изгороди.

— Что случилось? — спросил тревожно, невольно понизив голос, и сам вдруг почувствовал: дрожат руки — боится услышать ответ.

Старики не ответили, лишь еще больше склонили головы. Молчали.

Бекболат понял: в их дом пришла беда.

У двери на скамеечке сидела Каний и тихо плакала. На кровати лежал отец, накрытый черной буркой.

— Зарезали, как барана, — услышал Бекболат, и будто его самого пырнули ножом в сердце. Сквозь боль, сквозь туман разобрал: — Не знают аллаха нечестивцы казаки... Даже со скотом так не поступают...

Стиснул зубы Бекболат. Потом выдавил с усилием — не узнал собственного голоса, прошептал:

— Почему зарезали?.. Что он им сделал?.. Почему?

— Ничего он им не сделал...

— Что мог сделать им бедный Алим? Сумасшедшие казаки разве знают, что они наделали? — сказал один из стариков, прослезившись. — Они ведь гяуры.

— За что? За что? — только и мог прошептать Бекболат, склонившись над телом отца.

Комната заполнилась плачем.

Началась церемония прощания.

— А-ка-а-а-ай! — закричал Бекболат.

Заплакали, закричали люди.

— Проклятые! Что вам, гяурам, сделал бедный Алим? — говорили входившие во двор, обращая взор за реку, к станице Беломечетской.

Рыдая, причитала Каний:

Погладив воротник, надевал шубу;
Погладив гриву, садился на коня;
Хлеб растил;
Точно прицелившись, птицу стрелял на лету;
Нагайкой пробивал лед;
Не кланялся князьям он;
Враг не держал его за воротник.
Это он был — мой хозяин.

Собравшиеся женщины подхватили в голос:

Враг не держал его за воротник...

До земли согнулась в страшном горе Каний, кровавыми слезами плакал Бекболат...

На следующий день аул Кобанлы хоронил табунщика Алима.

ВЕТЕР НЕ ПОДУЕТ — ТРАВА НЕ ШЕЛОХНЕТСЯ

«Не видевший дня и под солнцем зажжет свою лампу» — так говорили ногайцы о человеке, оказавшемся вдруг у власти, но неспособном подняться разумом выше собственных шкурных интересов, низком и жестоким. Кабанбек, родом из узденей — сословия если не беднейшего, то и не богатого, — мало хорошего видевший в жизни, сделался вдруг зятем и правой рукой хозяина аула, мурзы Батоки. Теперь он презирал тех, кто был беднее его, так же истово, как раньше завидовал тем, кто был богаче. Свой солнечный день он хотел обратить в ночь для других. Когда проходил или проезжал по аулу, улица казалась ему тесной даже для него одного. Люди сторонились Кабанбека.

Ханбийке — старшая дочь мурзы, некрасивая, с побитым оспой лицом — засиделась в девках, никто ее не брал в жены.

А Кабанбек — упитанный, что почиталось красивым, крепкий, сильный, приятной внешности, смуглолицый, еще совсем не старый — согласился пойти зятем в дом мурзы. Теперь он всегда одевался как на праздник — позолоченные газыри украшали серую черкеску. К поясу прикреплял каму с золоченой рукояткой. Любил коней и верховую езду. Даже от дома к помещению управы ехал на лошади.

Выполнял все приказы мурзы, зорко охранял его богатства. Мурза слушал советы зятя. Слушал, да не очень

прислушивался, относился с недоверием. Он знал, почему Кабанбек посватался к его некрасивой Ханбийке, и в душе считал эту женитьбу оскорблением для себя. «Ведь княжеская кровь не должна была смешиваться с другой кровью». Никто из его рода еще не допускал этого, и вдруг он, Батока, решился. «Не пятно ли это на его великом ханском роду? Не начало ли распада княжеского рода?..» Такая холодная мысль тревожила хитрого князя. Тут уж не до любви к зятю. Мурза даже презирал Кабанбека за никчемность и непомерную глупую спесь. «Хвастун был, хвастуном и остался, своими руками ничего полезного не может сделать». Так думал мурза Батока о зяте, однако — родственник, муж дочери, вот и терпел, не мешал дурить. Кабанбек же, наконец почувствовав себя богачом, мог широко шагать по жизни. Деловой хватки, способностей к торговле и обогащению, расторопности в нем не было. Однако у таких людей, тяжелых на подъем, бывает и тяжелый характер. Был Кабанбек отменно злопамятным. Если кто-нибудь говорил о нем нелестное, неуважительное — будь оно и правдой, долго не мог простить.

Единственное, что любил и хорошо знал Кабанбек, — лошадей. Если увидит доброго коня, все готов был отдать, лишь бы оседлать его. Только вчера самолично ездил на пастбище, чтобы посмотреть на своего аргамака. Как любил, как холил его! Да что с того, что ездил, — все настроение испорчено. Табун вольготно пасся среди высокой кукурузы. Кабанбек с криком, с угрозой — к Бекболату. Да тот не стерпел, не испугался хозяина, подобного разъяренному быку, — сам не остался в долгу. Если бы кто-то другой, подобно Бекболату, в ответ на взмах плетки схватился за каму, озверевший Кабанбек выпустил бы его кровь... Однако тут дрогнула рука, смутился дух, потому что в кровавой гибели отца парня, табунщика Алима, разве не он, Кабанбек, был виновен? Вспомнив все, Кабанбек опустил плеть. Но если он не дал воли рукам, зато уж язык распустил:

— А ну быстро лошадей в загон! Когда в подол сироте бросишь пшена, все равно с непривычки просыплет на землю, — так и ты, Бекболат! Глуп и строптив, как отец, — ну да с этим долго не проживешь. Так же умрешь, как твой отец, — ослепленный злобой, пообещал Кабанбек.

«...как твой отец»... Ночью обернулся для Бекболата яркий солнечный день...

Разве народ говорит то, чего не знает? Напрасно ли перешептываются люди в ауле: никакой, мол, казак не виноват в смерти Алима, погрешен в этом только злодей Кабанбек. Он убийца...

Думает Бекболат. На память приходят слова матери: «Сынок, душа моя, не принимай близко к сердцу пустые хабары... Безбожники казаки привели к смерти твоего отца».

Думает Бекболат. Не знает он точно, но его берет сомнение. Ведь понапрасну люди не станут говорить... «Узнать, узнать... И если да, то не успокоюсь, пока не выпью твою кровь, знай это, Кабанбек!»

...За рекой напротив Кобанлы раскинулась станица Беломечетская. Ногайцы из Кобанлы и казаки из Беломечетской ездили друг к другу. Приезжал в Беломечетку богатый ногаец — знакомился со справным казаком, а бедный и в друзья выбирал равного себе.

Был и у Алима в Беломечетской бедный дос¹ Апанас, то есть Афанасий.

— Дочь Балта-аула, поеду в станицу. Кое-что куплю и к другу Апанасу зайду, — сказал Алим жене, выезжая на рассвете из дому.

Стоял теплый октябрь. Кубань в это время не так уж глубока, и Алим легко перешел реку. Побывал на базаре, продал шкуры, зашел к Апанасу. Поговорили, казак угостил товарища взваром, для жены и сына дал Алим сушеные абрикосы. Возвращался Алим довольный.

«Хорошей была моя дорога», — думал он, переходя Кубань у Старой Переправы. И вот тут-то на пустой дороге к аулу повстречался ему пьяный Кабанбек. Шатался в седле, оглашал воздух руганью, а муртазак² Жамбай, всегда сопровождавший зятя мурзы, поддерживал его, не давая свалиться на землю.

Занятые собой, Кабанбек и Жамбай не поздоровались с Алимом, и табунщик, помня мудрый наказ стариков: «Если тебе встретится пьяный, не здоровайся; если же он поздоровается, не отвечай», — молча проехал мимо.

— Эй ты, кул! Что — глаза твои кровью налились?! Не замечаешь нас? Почему не остановился, не поздоровался? — заорал вдруг Кабанбек.

¹ Дос — друг.

² Муртазак — охранник при управе.

Алим молча ехал своей дорогой, и это еще больше разозлило Кабанбека. Поскакал вслед Алиму.

— Стой, говорю! — Спьяну ему трудно было даже ругаться, язык плохо ворочался во рту: — Па-ар-шивец!

— Если ты выпил, Кабанбек, то прошу тебя, не приставай ко мне, — сказал, поворотившись, Алим и тронул повод. На ходу еще раз обернулся: — Прошу.

— Кул! Раб! — орал Кабанбек, пытаюсь ухватить повод Алимова коня, покачнулся и чуть было не упал.

Жамбай поправил седло Кабанбека, помог ему сесть прямо.

— Э-э! Он хотел сбросить меня с коня, я его сейчас... — заорал Кабанбек и выхватил каму...

Спокойно ехавший Алим не ждал удара, не ждал, что Кабанбек догонит его, даже не обернулся...

Застонал — и свалился с коня в пыль...

Пока Кабанбек с Жамбаем везли его в аул, он скончался. Кабанбек и его мургазак привезли труп Алима и объявили, что убили табунщика пьяные казаки — повстречались, мол, на дороге. Кто такие — неизвестно...

Совсем уж упрятать концы в воду не удалось: хоть оба молчали, а пошли, поползли по аулу слухи... Узнал, а может, догадался народ, где правда.

Однако верно говорит пословица: «Есть возле хана свой человек, и даже по суше поплывет твой корабль!» Уладил, замял ради Кабанбека это дело хозяин аула Кубанлы мурза Батока. Закрыв глаза мурза и другим намекнул, чтоб закрыли.

— Гяур-казак зарезал Алима, — угождая мурзе, повторял Шапу-эфенди. — Кто погиб от руки иноверца, перед тем открыты двери рая! Молитесь, правоверные, аллах велик! Аллах акбар!

А Кабанбек скоро и забыл обо всем, подобно человеку, зарезавшему барана, — не знал за собой греха. Спал спокойно. Одного человека опасался в первые дни. Да припугнул и того, чтобы никогда и никому слова не молвил...

Однажды под вечер Кабанбек крепко напился и, напившись, вызвал через дворового работника, старика Амата, того самого Жамбая, который был единственным свидетелем.

Не успел Жамбай переступить порог, как Кабанбек с нагайкой в руках заорал пьяно:

гое успевают сделать с утра и до вечера мозолистые руки Амата. Он подметает двор, следит за порядком в нем и не пускает никого из посторонних. Кроме того, выполняет все капризы жен мурзы. В общем, получается так, что некогда ему даже спину разогнуть. Поэтому без времени сгорбился Абат. Ходит, всегда опустив голову вниз.

Двор у мурзы богатый — каких только сараев там нет: для скота отдельно, для лошадей отдельно; дом, где живут слуги, курятник и еще птичник для гусей. Что и говорить! Ладное поместье. И хозяин — под стать поместью: известен на всю округу, среди кубанских ногойцев самый богатый и знатный мурза. Больше всего славится Батока табунами своих лошадей. Мурза и сам не прочь похвалиться:

— Люблю, люблю лошадей, они для меня — что для другого дети, ах люблю!..

Ну, насчет детей точно неизвестно, а вот работников своих мурза Батока действительно почитает меньше лошадей.

И правда, поищите хоть одного, на спине которого не играла бы плеть-камча. Но если мурза увидит, что чья-либо плеть коснется принадлежащего ему коня, горе несчастному, над головой его шесть раз просвистит камча, и протянется со свистом, и достигнет его спины.

Сам Батока — высокий, с продолговатым лицом, с длинной, как у цапли, шеей, с серебряными от седины усами и густой бородой, пожилой уже. Одевается всегда аккуратно, смотрит строго. Как говорят в народе — он бог Кубанлы. Ну, может, и не бог, но что хозяин — это точно. Слова его не пропадают зря — всегда закон для других. Ходит с камчой.

Среди богачей, баев-князей в предгорьях Батока пользовался известностью: в домах, где собирались они, никогда не сидел возле выхода. Умел заставить уважать себя, с гордо поднятой головой проходил и садился на почетное место, среди знатных людей. Даже казачий атаман отдела¹ знал и выделял его. Этим мурза особенно гордился и любил повторять: «Меня, вай-вай, сам большой атаман знает и ценит».

¹ Территория Кубанского казачьего войска, куда входила нынешняя Карачаево-Черкесская область, была разделена на отделы, во главе стоял атаман.

Однако, как ни высокомерен, как ни горд был Батокка, нашелся человек, который заставил его унять свою гордость: как говорят ногайцы, и для самого дикого коня найдется человек, который сможет его обуздать. Нашелся такой человек и для мурзы.

Смирила мурзу его младшая жена Тотамаш. «Тотамаш, Тотамаш!» — повторял он и бегал вокруг красивой жены, как молодой петух. А та становилась в ответ еще более высокомерной. Удивительно, куда только девалась всегдашняя строгость мурзы в эти минуты!

Юной девушкой вошла Тотамаш в дом пятидесятипятилетнего мурзы. Отец ее, жадный до денег, выгодно продал свою красивую, стройную, как тополек, дочь...

Красота и изящество Тотамаш пленили мурзу: когда она пила воду, казалось, та видна была в ее нежном горле. Отец продал ее не холостому, молодому парню, как это делалось обычно, а выдал ее за мурзу второй женой. В этом состояло унижение Тотамаш, за это и платил мурза. В доме мужа, по обычаю, хозяйкой является старшая жена. Вторая во всем должна быть ей послушна, не может без нее ступить и шагу, топит печку, стирает, шьет. Поэтому и не перечила старшая жена Берзахан мурзе, когда он решил привести в дом Тотамаш.

Берзахан, дочь знатного рода, в молодости вышла замуж за мурзу — тогда она была красива, и Батокка не сразу добился ее. Прошли годы, их дочь вышла замуж, женился старший сын, сама Берзахан постарела. Мурза все чаще повторял: «Тебе, старуха, нужна помощница». Берзахан не смела перечить ему: если и возразит, все равно ведь не послушает ее. «Женись, а я буду сидеть сложа руки, отдохну наконец», — сказала она мужу.

Однако желаниям ее не суждено было осуществиться. Выросшая в своей семье без всякой нужды, Тотамаш пришла в дом Батокки с намерением сделаться первой женой. Она совершенно не слушалась Берзахан. «Я жена мурзы, а не твоя служанка, я должна стать хозяйкой дома. Ты его жена, но и я тоже. Если тебе не нравятся мои слова, то я могу уйти», — выпаливала Тотамаш, не особенно задумываясь, дозволено ли ей спорить. «Ой, в нашем доме поселился дьявол, — жаловалась старшая жена мурзы. — У меня голова от нее в огне!» Пусть ее голова в огне, это Тотамаш не касалось. А мурза не вмешивался, помалкивал. Не мог же он ради старой жены

расстаться с молодой, красивой, как кызыл гул¹, Тотамаш.

«Подожди, старый мурза, она тебе еще такое покажет, чего ты никогда даже во сне не видел», — ревниво упрекала Батоку старая жена. «Аллах с тобой, старуха, — отмахивался мурза, — ты просто ревнуешь. Ничего она не сделает... Наивная, молодая... Помирится еще с тобой. Научится, привыкнет...»

«Пусть все пропадет пропадом: и скот, и имущество, и сам мурза, если я не стану хозяйкой в доме!» — так думала Тотамаш.

Вместе с молодой женой вошли в дом мурзы споры, разговоры, хлопоты... Родственники Батоки сочувствовали ему, но сам мурза мало обращал внимания на женские ссоры, — две женщины в доме — две соперницы, и между ними всегда могут быть ссоры. Это закон жизни. Пусть враждуют. Велика важность. А вот другая, настоящая беда мучила его день и ночь, не давала спокойно уснуть. Два года уже шла война русского царя с немцем — правда, ногайцев не забирали в армию, а вот коней взяли. И мурзе пришлось свою часть отдать — тут уж знакомство с казачьим атаманом отдела не могло помочь...

Но не война беспокоила мурзу, вернее, не сама война, а тот непонятный сдвиг в жизни, который она вызвала. Доходили до мурзы слухи о недовольстве рабочих в городах, но то было далеко. А теперь, говорят, уже и в низовьях Кубани неспокойно, бедные завидуют богатым. Нет покоя в мире... Нет покоя на душе у мурзы...

Ведь эта волна беспокойства, недовольства голытьбы может захлестнуть и предгорья Кавказа. «К плохому катится жизнь», — думал Батока. По ночам сидели теперь часто с Кабанбеком, говорили о жизни. Только тогда забывали о надвигающихся из России опасных переменах, когда вдоволь выпьют бармажи. Бармажи тем хороша, что все тяжелые мысли развеивает. Может быть, поэтому в доме мурзы часто теперь варили бармажи, хмельную, из проса с медом, а вот Кабанбек готов пить водку хоть ведрами...

Так жила семья мурзы.

¹ Кызыл гул — красная роза.

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

После смерти мужа Каний часто вспоминала о брате. Днем думала о нем, ночью видела во сне. Если сон был хороший — радовалась, если плохой — беспокоилась.

Без Алима Каний чувствовала себя одинокой, считала, что не сумеет воспитать сына как надо, искала опору. Эту опору она видела в своем младшем брате Маметали. По вечерам Каний рассказывала о нем сыну. Но от Маметали давно уж что-то не было вестей.

Вот и сегодня Каний вспомнила о брате. У нее вдруг начала дергаться левая бровь, и она обрадовалась:

— Увижу кого-то из родственников или же услышу теплую весть!

Примета, может, и не верна, но предчувствие не обмануло старую женщину. Вечером кто-то тихо постучал в окно ее сакли.

— Кто там?.. Коль добрый человек, заходи: дверь у нас всегда открыта. — Каний засветила лампу.

Неизвестный ступил на порог.

— Каний, сестра Маметали Битоева, здесь живет? — спросил он, неправильно выговаривая ногайские слова.

— Аллах мой, неужели от брата! — радостно воскликнула Каний. — Заходи, заходи, добрый человек.

Это был кумык-лудильщик — в брезентовой куртке, в сапогах, на голове войлочная шляпа, за плечами мешок.

— Проходи сюда, — Каний провела гостя в передний угол, где стоял небольшой столик — сыпыра, на котором угощают в ногайских семьях.

Гость присел на низенькую скамеечку, развязал мешок, достал из него сверток.

— Подарок вам прислал Маметали. — Он раскинул на руках большой платок, и комната будто осветилась: в тусклом свете маленькой керосиновой лампы загорелись вдруг яркие цветы, а по краям платка свисали тяжелые темные кисти.

Каний так вся и застыла в радостной растерянности. Даже когда была невестой, не носила она такого платка. Робко приняла подарок и, приложив руку к сердцу, низко поклонилась доброму пришельцу.

В саклю ввалился Бекболат, но, увидев незнакомого человека, смутился:

— Салам алейкум, агай!

— Это сын мой Бекболат, — объяснила Каний.

— О, уже крепкий джигит!.. Алейкум-салам, Бекболат! А меня Сулейманом зовут: будем знакомы.

Каний захопотала у очага: надо угостить гостя хотя бы ногойским чаем, сдобренным перцем и сметаной. Да, к счастью, остался еще кусочек домашнего сыра. Был и чурек...

Чай пили долго. Гость подробно расспрашивал, как живут аулчане, много ли у них земли, какие надель у бедняков. Кто в ауле старшина, и как он относится к народу; не обижают ли охранники-муртазаки.

Бекболат, как и положено у ногойцев молодому человеку, больше молчал. Отвечал лишь тогда, когда гость обращался к нему. Рассказывала Каний.

— Трудно жить, добрый человек. Трудно... Как Алим ушел — совсем трудно стало. Вот на его плечах теперь все... — Она показала на сына.

Гость с уважением поглядел на Бекболата, отставил широкую, как миска, пиалу, задумчиво произнес:

— Да-а. Трудно жить на свете бедному человеку. Все им помыкают: и мурза, и бай, и мулла, и царь. Ну да, как говорят у нас, кумыков, придет время, и для бедняка взойдет солнце. Взойдет! — Сулейман решительно хлопнул желтой от кислоты и ржавчины рукою по колену.

— Дай аллах! Только дождемся ли? — Каний горестно вздохнула. — В прошлую пятницу у мечети перед вечерним намазом Кара-мулла говорил: «Плохое время наступило, страшное. Того и гляди, появится Тажел¹ со своим несметным войском. Хоть сейчас он еще в седьмом подземелье, но рать его днем и ночью пробивается наверх. И как на свет появится, все погубит, не оставит ни единой живой души». Кара-мулла говорит: «Надо больше молиться, просить аллаха, чтобы не выпустил Тажела на свет».

В уголках губ у Сулеймана затаилась улыбка. Но он молчит, снова неторопливо потягивает из пиалы чай.

Каний некоторое время колеблется — рассказывать дальше или не надо. Наконец решается:

— А еще Кара-мулла плохое говорил о нашем Маметали. Мол, гяур он. Продал свою веру и душу племени Тажела, спознался в городе с какими-то русскими

¹ Т а ж е л — злой дух, чудовище, которое, по ногойской мифологии, должно появиться из-под земли в канун конца света.

смутьянами. Эти нечестивцы, мол, не признают ни бога, ни властей, несут мусульманам погибель.

Бекболат, не сводивший глаз с гостя, заметил, как при этих словах матери Сулейман нахмурился. Поставил на стол пиалу, сказал с волнением в голосе:

— Неправда это, Каний. Никому твой брат не продавался. И народ свой не забыл — крепко помнит! Придет время, и ваши аулчане сами убедятся в этом.

— Да, да, — охотно соглашается Каний. — Не такой человек Маметали, чтобы пойти против своего народа.

— И о рабочих городских неправду сказал мулла, — продолжал гость. — Не погибель они несут мусульманам, а хотят избавить их от баев и мурз. От таких, как ваши Батока и Кабанбек.

Сулейман рассказал, что Маметали работает в Белоярске на шерстомойной фабрике, и они с ним большие друзья.

Допоздна сидели все трое за низеньким столиком. Сулейман все расспрашивал и расспрашивал. Много ли взяли из аула коней для русского царя, который ведет сейчас войну с царем германским? Брали ли и джигитов? Бывает ли в ауле казачий атаман отдела? Дружат ли ногайцы с казаками из Беломечетской?..

Спать легли чуть ли не за полночь. Гость заснул быстро, а Бекболат долго еще ворочался с боку на бок, думал: кто этот человек? Всем интересуется, обо всем расспрашивает, словно жить собирается у них в ауле! Нет, не простой он лудильщик!.. Уж не абрек ли? Пришел все узнать, выведать, а потом как налетят всей шайкой!.. Нет, не может быть: разве дядя Маметали будет путаться с разбойниками?

Утром гость поднялся рано. Вылудил Каний кумган¹, починил ведро, попил на дорогу айрана и стал прощаться:

— Ну, значит, так и передам Маметали: мол, и сестра и племянник живы, здоровы и тебе того желают... — Он взвалил на плечо мешок с инструментами и шагнул за порог. И тотчас на улице послышался высокий его голос: — Кому кумган лудить, тазы, ведра чинить!..

Каний и Бекболат долго смотрели вслед доброму кумыку, желая ему всех благ на земле. Каний видела в нем двойника своего брата.

¹ К у м г а н — узкогорлый кувшин.

А лудильщик тем временем шел по аулу. Кто бы мог догадаться, что этот лудильщик — верный друг их аулчанина Маметали, ярого врага мурзы? Идет лудильщик, чинит казаны, лудит кумганы — зарабатывает себе на жизнь. Сколько таких лудильщиков, чеканщиков и прочих мастеровых заходят в аул!

И пошел Сулейман по Кубанлы.

ДО СВИДАНИЯ, АБАЙ!

Лето вступало в свои права. Дни сделались теплыми и долгими. Пришло время переводить скот на дальние пастбища и предгорья. Во дворе Батоки заканчивались приготовления к перегону. Чинили арбы, собирали продукты, отбраковывали скот, лошадей. Слабых животных оставляли здесь, а сильных, здоровых вели в горы. Они выдержат все — и ливневые дожди и трудные переходы.

Готовились к отгону и табуны мурзы. Пора было Бекболату собираться в дорогу. Каний заштопала сыну черкеску, приготовила башлык и бурку. Бурка хоть и ветхая совсем — осталась еще от Алима, — а без нее в горах никак нельзя: она защищает табунщика и от палящих лучей солнца, и от ледяных горных ветров. Еще защищает от змей: ляжешь, укутавшись в бурку, — никакая змея близко не подползет.

Вошел Бекболат.

— Как у тебя, мама?

— Все готово, сынок.

Бекболат надел черкеску, опоясался камой. Подхватил бурку.

— Ну до свидания, абай!

— Да хранит тебя аллах, мое солнце! — Каний обняла сына, поцеловала в голову.

Вышли во двор. Елетпес нетерпеливо перебирал ногами, косил глазом на дорогу...

— Едем, едем, дружок! — Бекболат говорил с конем так, будто тот понимал человеческий язык.

Каний все не могла отпустить сына. Оглядывала его черную широкополую шляпу, серую черкеску, смотрела на ноги — и говорила быстро-быстро, словно боясь, что Бекболат остановит ее и уйдет, а она не успеет все сказать:

— Светоч мой, не жмут чувяки? А шляпа не велика? А как черкеска, не холодно тебе будет?

— Что ты, абай, все хорошо! Там тоже тепло сейчас, ведь лето уже. Да я же теперь не маленький, сумею о себе позаботиться.

— Да ты, мое солнце, первый ведь раз туда едешь! Там же горы — скалы, обрывы! Ты осторожно... Еще говорят, что там по ночам холодно...

Бекболат видел тревогу матери и пробовал ее успокоить. Но она все говорила и говорила, гладила руки сына, не хотела его отпускать.

— Абай, я поеду... Пора... Меня ждут уже, должно быть...

— Сейчас, сынок, сейчас. Вот возьми, повесь на шею. Или давай я.— Бекболат наклонил голову, и Каний повесила на его шею талисман, дуа, на цепочке — треугольничек из черного бархата с зашитой внутрь бумажкой, там записаны слова молитвы... Потом забежала в саклю и вынесла кусок чурека:

— Это отдай собаке. Дорожная милостыня. Бери, солнце мое...

Бекболат кинул чурек собаке, а Каний помолилась аллаху, чтобы сын вернулся домой целый и невредимый.

— Ну теперь иди, солнце мое!

— А ты возвращайся, абай...

— Немножко провожу тебя, сынок. Не спеши...

Идут рядом мать и сын. Бекболат ведет на поводу Елетпеса. Миновали уже вторую улицу, вышли из своего ямагата¹.

— Теперь, абай, возвращайся. Далеко ушли от дома...

Каний остановила сына и опять поцеловала в лоб, в глаза и опять сказала:

— Сынок, будь осторожен в горах! Прошу тебя! Береженного бог бережет!

— Хорошо, абай! Возвращайся домой.

— Счастливо тебе, мое солнце!..

— Счастливо, абай!..

Бекболат легко вскочил в седло и едва тронул повод, Елетпес стремительно рванулся вперед...

Каний смотрела вслед сыну, пока тот не скрылся из виду.

Потом она медленно пошла обратно. Пошла, думая о сыне, моля аллаха дать ему счастливую дорогу...

¹ Я м а г а т — квартал.

Весь день Каний ничего не могла делать. Хотела было наготовить кизяки-япаша, налепить на плетень, да руки не слушались... Япаша отлетали, не держались на плетне. Взгляд ее помимо воли обращался к горам.

А горы казались сегодня особенно близкими. День выдался прозрачный. Гордые высились горы, вершины их сверкали, как белая чалма аульского Шомай-хаджи. Из ущелий выползал, поднимался легкий туман.

«В горах туманы часто, опасно для табунщика», — тревожно подумала Каний.

Потом она вспомнила, что голодна, что надо же поесть чего-нибудь. Набрала сухих кизяков, развела огонь. Повесила на цепь — лакшин — круглый медный казан, вскипятила ногайский чай...

Билось пламя в очаге. Каний сидела у огня, опустив голову, думала о сыне, о брате, о жизни. Об ушедшем без времени Алиме. Вдруг встрепенулась, встряхнулась, будто просыпаясь, и тревожно сказала сама себе:

— Что я делаю, будто с ним несчастье случилось... Нет, нет, ничего с ним не случится! Слава аллаху, он здоров! Ему не будет трудно в горах. Надо тысячу раз благодарить аллаха за то, что сын здоров, уже становится мужчиной, за то, что я здорова, а я все как в воду опущенная. Нет, нет, не буду плохое думать, не дай аллах, беду накличу!..

Каний начала молиться. Она тихо повторяла все молитвы, какие знала.

— Слава аллаху за все...

* * *

К усадьбе мурзы ехать было прямо, а Бекболат свернул налево, к тому ямагату, где жила Салимат. Ему надо было попрощаться и с ней. Конечно, в саклю он не посмеет войти, но, может, увидит ее во дворе...

С замершим сердцем подъехал он к дому Салимат.

Вот и низенький глиняный забор, калитка. Но — увы! — во дворе никого нет. Что же делать? И останавливаться, ждать здесь нельзя: увидит ее отец, Камай, начнет кричать, — не жалуется он тех, кто беднее его...

Бекболат не останавливается, но скоро поворачивает коня и снова проезжает мимо заветного дома. И вдруг на крыльцо выбегает она, бросается к калитке:

— Болат!

— Здравствуй, Салимат!.. Как хорошо, что увидела меня! Я уезжаю, Салимат, на дальние пастбища.

— Надолго?

— Не знаю... Как прикажет мурза. Должно быть, на все лето.

Она опустила глаза, смущенно теребила косу:

— Не оставайся там долго, Болат...

— Я, может быть, смогу приезжать в аул, хоть в месяц раз, чтобы навестить мать... и тебя, конечно... Если мурза отпустит...

— Приезжай почаще, Болат...

Конь под парнем не стоял на месте, переступал нетерпеливо, торопил хозяина. Из сакли вышла мать девушки.

Бекболат заметил ее и тихо сказал:

— Счастливо тебе, Салимат...

— Счастливо и тебе, Бекболат... Пусть аллах даст тебе добрую дорогу...

Еще одна душа в ауле будет тревожиться за Бекболата, еще одни глаза часто будут поглядывать в горы; как он там, Бекболат?

ПОЛЯНА АЮ-ШАПКАН

Табуны мурзы Батоки поднялись на горные пастбища у истоков Зеленчука. С юга и востока здесь вставали снежные вершины, они стеной обступали пастбища, преграждая путь свирепому восточному ветру Бештау — частому гостю в Кубанлы.

Сочная трава, родниковые воды — где найдешь места благодатнее! Солнце здесь кажется совсем близким, прямо над головой висит, лучи его золотят травы, играют в чистых водах родников, несут благодатное тепло. Когда же солнце прячется за горами, становится прохладно, приходится накинуть шепкен или бурку, хотя ночь стоит летняя, июньская...

Впервые пришел сюда с табуном Бекболат, на поляну Аю-шапкан. Он внимательно смотрит вокруг, хочет узнать и запомнить каждый камень, каждый куст. Ему кажется, видит он здесь следы своего отца. Каждое лето приходил сюда Алим, поил ключевой водой коней мурзы, пас их на сочных травах. Кони росли длинноногими, длинношеими. Он знал здесь каждый куст, каждый камень, знал, когда надо дать табуну пастись, когда отдыхать. А сколько раз он, Алим, рассказывал сыну о гор-

ном пастбище — обо всех важных и незаметных почти особенностях, о лугах, о родниках, об опасностях, которыми встречают табунщика горы. Днем и ночью уши табунщика должны слышать каждый шорох, глаза — и в солнечный день и в туман — видеть каждый камень. А пропустишь шорох, обойдешь вниманием камень — всякое может случиться в горах: налетят на табун грабители абреки или волки разорвут жеребенка. Даже сытый медведь может прийти поразмяться...

Помнит Бекболат рассказ отца.

...Как-то в пасмурный день Алим привел табун сюда на поляну. Пустил коней пастись, сам сел возле камня, достал еду, решил подкрепиться. Вдруг — яростное ржанье! И весь табун вихрем мчится в сторону коша, к загородке, к людям. Алим вскочил на своего Жирена и увидел такое, чего никогда в жизни не мог бы представить себе, а рассказали бы — не поверил...

Большущий бурый медведь катался на рыжей кобылице. Алим закрыл, потом открыл глаза, протер их... Ущипнул себя за щеку. Нет, ему не показалось. Медведь и вправду ездил верхом — сидел на кобыле как настоящий всадник. И тут опытный табунщик сообразил, что делать, — начал свистеть, поднял крик. Медведь не спеша слез с лошади и тихо поплелся по тропинке в горы...

О аллах, какой смех стоял тогда среди табунщиков! Сразу же узнали обо всем и на соседних кошах: «В табуне Батоки, у Алима-то, кобылицу до семи потов загонял медведь...» Тогда и назвали эту поляну «Аю-шапкан», что по-русски означает «Медведь скакал».

Аю-шапкан. Бекболат всегда спешил увести табун с этого места. Ему казалось, вот-вот вывалится из кустов большой бурый медведь, вскочит на одну из кобылиц и умчится в лес... Откуда ему было знать, что в один год с его отцом ушел из жизни и старый шутник медведь!

Пока что жизнь молодого табунщика протекала спокойно. Он не видел еще голодных, нападающих на жеребят, волков. Не видел угрюмых отважных абреков, которые уводили из табуна лучших скакунов. И даже погода поляны Аю-шапкан, характером напоминающая капризную девицу, настроение которой меняется по сорок раз в день, даже погода баловала до сих пор Бекболата. Но главное, здесь ему жилось куда спокойнее, чем

в ауле. Здесь он не слышал ни окриков Кабанбека, ни понуканий его слуг. Здесь он чувствовал себя вольным, равным среди других табунщиков мурзы.

Старшие табунщики, все друзья Алима, тепло и уважительно относились к Бекболату, не отказывали в совете, помогали в суровой жизни на пастбище.

Одно беспокоило Бекболата — мать. Как она там одна в Кобанлы?

Он поднимался на гору и подолгу смотрел на север, туда, где прятался в дымке его родной аул близ шумливой Кубани. Что делает сейчас его абай? Может, смотрит в горы? Хочет увидеть свсего Бекболата? Бекболат слышит мягкий, нежный голос матери: «Что ты, мой светоч, делаешь в этот час? Не мерзнешь ли ночами? Не забываешь ли вовремя поесть? О великий аллах, пошли ему удачи во всем!»

— Как ты там, абай? — шепчет Бекболат. — Не тревожься, мне хорошо здесь... Добрые люди вокруг... Прощи тебя, абай, не беспокойся за меня...

Нет, Бекболат, твоя абай думает о тебе день и ночь. Только сон мог бы оторвать от тебя, но и он бессилён, она видит тебя и во сне. Когда ты в хорошем настроении, она радуется, а если ты снишься хмурый, вялый, она тревожится, болит у нее сердце... Ты знаешь об этом, Бекболат?

Знает, конечно, знает. Потому и хочет скорее домой. А домой возвращаться еще рано, лишь в начале осени, когда в горы придет холод, а трава из сочной делается грубой и жесткой, лишь тогда придет пора увести табуны в долину. Лишь тогда разрешат Бекболату вернуться домой...

Потом перед взором его является тонкая, стройная, как тополек, Салимат. «Почему не вспоминаешь обо мне, Бекболат? Так быстро забыл? Я ведь все время думаю о тебе! Как я соскучилась по тебе, Болат! Без тебя мне нет жизни. Знаешь ли ты об этом? Скорей бы увидеть тебя! Я бы тебе все рассказала...»

«И я думаю о тебе, Салимат...»

Табун идет к поляне Аю-шапкан, молодой табунщик спешит за лошадьми.

Эхо разносит звонкий юношеский голос:

— Э, эй! Чу! Чу!..

Как волны, колышутся спины коней, выются по ветру гривы, гудит под копытами земля...

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

На окраине аула на невысоком пригорке приютилось старое кладбище ямагата Орак. Мертвая тишина поселилась на кладбище, печально и уныло кругом. Пусто, лишь у одной могилы, возле серого нетесаного камня, напоминающего чем-то скифскую каменную бабу, опустилась на землю закутанная в старый черный плавок женщина. Она не шевелится, как все эти каменные надмогильники. Женщина эта — мать Бекболата.

Глаза ее в слезах, она будто прислушивается к чему-то, будто ждет, хочет услышать знакомый ей голос. Вдруг ее обветренные губы тихо-тихо шевелятся:

— Я вот, отец Бекболата, пришла к тебе... Пришла поговорить с тобой. Слышишь? Слушай... Я тебе все расскажу... Слушай, прошу тебя... Сейчас наш Бекболат в горах. Он стал уже джигитом. За него ты не беспокойся. За него теперь я беспокоюсь. Слышишь, отец Бекболата?..

На высоких акациях у ограды весело застрекотали воробьи.

Вольные птицы! Летят себе куда глаза глядят, и, наверное, нет у них горя, не знают даже, что это такое. О птицы, вольные птицы, хоть маленькую часть своего счастья отдайте людям! Были бы тогда и они свободными и счастливыми... И они бы тоже не ведали горя...

Далеко, у южной окраины кладбища, на вершине высокого тополя печально закричала сова. А над могилой молится женщина. Ее обветренные, сухие губы что-то шепчут, руки дрожат. Она возносит молитву, прося аллаха, чтобы взял душу ее мужа в рай...

Неверным движением женщина берет горсть земли с могилы, слезы сбегаят по морщинистым щекам. Она подносит землю к губам...

— Великий аллах, пусть будет мягкой ватой его место там... Прости, что беспокою твой сон, отец Бекболата, — шепчет женщина. — Прости, что говорю с тобой...

Но оттуда, из-под земли, нет ответа... Женщина склоняется ниже и целует мягкую черную землю...

Вот уже второй год, как нет Алима на свете. Но для Каний он не умер, его душа осталась с ней навсегда. Каждый раз, когда что-то тревожит ее, она приходит к могиле мужа и шепотом разговаривает с ним. Сидит

в изголовье могилы и разговаривает. Задает вопросы. Сама же отвечает на них...

Еще что-то шепчет женщина. Читает какую-то молитву... Потом тихо, словно боясь упасть, встает, протягивает руки к небу и еще — в последний раз — обращается к аллаху. Долго, очень долго смотрит на могилу и, не поднимая головы, идет к выходу с кладбища.

Возле ворот мужчина в лохматой барашковой шапке поправлял забор. Каний не заметила его.

— Каний, как живешь? — окликнул ее мужчина.

— Э, Нурыш, это ты? Слава аллаху... — ответила Каний, вытирая концом платка слезы на щеках.

— Вот забор просел. Пришел поправить. А ты, наверное, на могиле Алима была?

— Да, да, правда, Нурыш... Никак не могут поставить хороший забор, кроме двух-трех стариков да тебя, никто об этом не думает...

— А Кара-мулла каждый год подворно собирает деньги на ремонт ограды!

— Твоя правда, Нурыш, да что ж делать? Все сюда придем рано или поздно... Будет это место навечно наше... Для себя, значит, стараемся... Как твоя семья, Нурыш?

— Слава аллаху, живы и здоровы. Батырбек в поле. Часто вспоминает твоего Бекболата. Друзья, смотрю, большие...

— Да ведь одногодки ребята наши. Дай им аллах долгой жизни. Поздно уже, пойду, Нурыш... — Каний тихонько тронулась к выходу.

Мужчина взял в руки лопату.

— Да и я скоро закончу... — Когда Каний отошла, пробормотал себе под нос: — Бедная женщина, не может забыть Алима. Оллахый, какой человек был, разве можно забыть такого!..

Каний шла и думала, что вот пройдет время — вернется ее Бекболат, и как рада она будет. Поставит на сыпыра две деревянные чашки с джууртом¹. Поужинают, поблагодарят аллаха за все, и она начнет рассказывать сказку о Кубылгуле-батыре, а сын будет слушать, положив голову ей на колени, пока не заснет. Потом она встанет, постелит ему, а сама еще долго будет сидеть, смотреть на его лицо. Соскучилась...

¹ Дж у у р т — густое кислое молоко.

Солнце меж тем уже клонилось к закату. В аул вступил вечер. С минарета Юма-мечети послышался голос Кара-муллы: служитель бога оповещал народ о наступлении времени Экини-намаза — третьей по счету за день молитвы у правоверных.

Каний поправила платок и заспешила домой. Пора совершить Экини-намаз, а после еще раз просить у аллаха счастья для сына.

Счастья для сына...

РОДНИК ТУЛКИЛИ

Любовь — чистый родник,
Пьешь — не напьешься.

Бекболат лежит на спине, подложив ладони рук под голову, и любуется медленно плывущими по голубому небу холмами облаков. Тишина стоит вокруг, иногда только слышит он трель жаворонка, да неспешно хрупают лошади, жующие вокруг него сочную траву.

— О чем твоя песня, жаворонок? — спрашивает Бекболат. — Или, может, ты плачешь?

Умолкла птица, не отвечает, и Бекболат сам напевает тихонько грустную песню о жаворонке:

Вот жаворонок в жарком небе —
Все кружится, звенит, звенит...
Не виден людям крыльев трепет,
А ветер волосы им треплет,
И песня сердце им томит...
Ведь жаворонок этот плачет,
Гнездо его разорено...

Незаметно для себя Бекболат прикрыл глаза, задумался — и небесная синева обратилась в его мечтах бездонной синевой чистых девичьих глаз. Любовь, грусть, ожидание были в них...

— Салимат, милая моя... — прошептали потрескавшиеся на ветру губы Бекболата, он открыл глаза и тяжело вздохнул, понял, что пригрезилось ему.

Сел, оглянулся вокруг. Никого. Как и раньше, плыли неторопливо облака, слышалась трель жаворонка, и невдалеке, словно двугорбый верблюд, поднималась двуглавая гора, к ее подножию ушел пастись его табун...

Уже второй месяц, как на пастбище он, как не видит Салимат. Очень соскучился по ней за эти одинокие дни! Сердце его летит, спешит домой, в Кубанлы. А дни здесь

тянутся медленно, кажутся длинными, надоедливymi. Каждое утро вырезает Бекболат метку на рукоятке своего длинного курука и каждый вечер считает метки, хочет знать, сколько дней он уже здесь, сколько еще осталось ему провести на пастбище...

Когда он вернется в аул, будет видеть свою Салимат каждый день...

Бекболат опять ложится на спину, закрывает глаза.

Память переносит его в родной аул. Весна...

Рано поутру гонит Бекболат свой табун на ближнее пастбище за Тулкили-йылга¹. Салимат стоит у калитки, взглядом провожает его. Бекболат, оборачиваясь, долго видит ее длинное, до пят, цветастое ситцевое платье... Иногда, если никого не было вокруг, робко оглянувшись, она махала ему рукой...

Салимат... Почему он, Бекболат, как увидит ее, становится робким, тем более на людях, стесняется, как и сама девушка? Почему оба, зная о взаимном влечении, тоскуя друг без друга, не могут сказать слов признания?

Почему? Встречаясь с ней, он едва лишь мог выговорить «Салимат»... И, видя ее взгляд и слыша ее слова, не понимал ни единого слова... Однако взгляд ее говорил многое, и, может быть, оттого он и оставался робким, смиренным, несмелым. Эх, если бы он был... был бы смелым, разве... разве позволил бы ее отцу сказать такие слова!..

Вот Салимат, стоя у калитки, провожает его взглядом. А ведь он табунщик, табунщик мог бы что-нибудь сказать... но Салимат... Надо гнать табун на пастбище и не глядеть назад... Там ее отец что-то подозревает...

«Эх и трус же ты! — упрекает себя Бекболат. — Вот и вчера ничего не сказал ей... Только тут, в степи, и становишься смелым, обещаешь себе при первой же встрече объясниться. Только тут и становишься мужчиной...»

Все так и есть, правду говорит Бекболат. Днем, один в степи, он дает себе слово быть решительным, находит умные, убедительные слова. Решителен и ночью, когда лежит в постели, не спит, думает о Салимат и храбр до рассвета. Однако, встретившись с Салимат, вечно теряется, становится нем как рыба. Лишь однажды осмелился заговорить с ней, но и тогда ничего не вышло, —

¹ Тулкили-йылга — Лисья балка.

помешал ее отец Камай. Увидев свою дочь рядом с табунщиком, заорал на всю улицу:

— Чего стоишь, паршивая, разинув рот? Марш домой!

Бекболата он не удостоил даже руганью.

Ничего не сказала тогда Салимат, молча, опустив голову, ушла в дом. Так же молча и тоже опустив голову продолжал свой путь Бекболат...

С тех пор редко, и то лишь с оглядкой, выходит к нему на улицу Салимат.

Хоть до сих пор ничего не сказали друг другу о любви, хоть и молчат робко при встрече, они знают, что нужны друг другу. Об этом говорят глаза Салимат, глаза Бекболата, — ничего не скрывают. Влюбленные ведь могут разговаривать и взглядами...

Весна... Каждое утро ведет Бекболат свой табун в сторону балки Тулкили-йылга, к роднику. Тут останавливается, прислушивается к журчанию ручейка. Светлая родниковая вода бежит меж камней, плещется и играет, звенит, словно колокольчик на шее ягненка, поет о чем-то своем... И Бекболату кажется, что он слышит голос Салимат...

Тут, у родника, встретил однажды Бекболат свое счастье, свою Салимат.

Дом, где жила Салимат, дом ее отца стоял у самого подножия горы, на краю аула.

Отсюда Салимат каждое утро ходила за водой к роднику Тулкили-йылга. Тут однажды и встретил ее Бекболат, и глаза девушки показались парню светлее и чище, чем родниковая вода.

— Дай попробовать водички из твоего ведра, — бойко обратился Бекболат к девушке.

Мальчишкой он видел ее много раз, но сейчас будто впервые встретил, будто спала пелена с глаз. Очень была хороша Салимат — и стройна, и красива, и смелость Бекболата быстро куда-то запропастилась.

— Пожалуйста, пей, парень, — потупив взор, ответила девушка. — В роднике воды много...

И хоть Бекболату вовсе не хотелось пить, глядя из-под бровей на девушку, он поднял ведро и пил с таким удовольствием, словно там был сербет — медовая, а не просто ключевая вода.

Напившись до отказа, Бекболат поблагодарил и, часто оглядываясь, пошел к своему табуну. А Салимат с улыбкой проводила его взглядом...

И скоро сделалось так, что Бекболат старался прийти к роднику чуть раньше, чем Салимат за водой... Родник Тулкили стал местом их встреч...

Лежит на поляне Бекболат, смотрит в небо, и кажется ему, что слышит он сейчас журчание заветного родника. Ручеек звенит, поет о Салимат, а у родника будто стоит его любимая...

Любовь чиста, как родниковая вода,
Не польститься ею никогда.
И встревоженное сердце ликует,
Когда поется песня о любви...

Как звонок голос Салимат... Далеко по степи слышно его... И степь откликается ей шумом ветра и песнями птиц. Тихонько повторяет Бекболат:

Любовь чиста, как родниковая вода...

В густой траве прыгают кузнечики, над цветами порхают разноцветные яркие бабочки, одинокая пчелка забралась в цветок... Скоро вечер. Бекболат смотрит в сторону Кубанлы. Там у подножия горы — маленький саманный домик, крытый камышом. Там половина его сердца, там Салимат...

— Салимат, милая... — вдруг говорит он вслух. — Почему у меня заплетается язык при встрече с тобой? Почему боюсь сказать о том, что у меня на сердце? Неужели я такой трус?

— Да! — затрещал кузнечик.

— Нет! — говорит Бекболат. — Я не трус. Скоро увижу ее и непременно объяснюсь! Но что ответит она?

— Что любит тебя! — прострекотал кузнечик.

— Правда? — Парень, затаив дыхание, склонился к траве.

— Да! — подтвердил тот и, блеснув огромными глазами, исчез, взвился, растворился в зеленом свете поляны.

— Спасибо, дружок... — прошептал Бекболат. — Теперь я знаю, что счастлив!

Бекболат смотрит вдаль: двугорбая гора четко прорисована на чистом голубом фоне неба.

«Значит, завтра снова будет ясно... — думает Бекболат. — Это хорошо...»

Он начинает собирать табун, пора двигаться к кошу. Скоро вечер.

Лошади неспешно пересекают пастбище, спускаются к роднику. Бекболат торопится, подгоняет их. В горах быстро темнеет.

Он еще раз считает метки, вырезанные на куруке. О, их уже много: десять, двадцать, тридцать пять, сорок... Ждать остается совсем недолго. Скоро он увидит свой Кобанлы, мать и милую Салимат... Увидит самое дорогое, что есть у него на свете... Кобанлы, абай, Салимат.

ДРУЗЬЯ

Осеннее солнце неохотно греет предгорья. Потускнела земля. Вдали, в глубоких ущельях, уныло шелестят желтеющие листья, прощаются с деревьями.

Тихо вокруг. Земля готовится к глубокому зимнему сну. И, будто желая нарушить эту сонную тишину, слышится чей-то усталый голос:

— Соб, Рыжий! Сабы, Бурый!

Несколько стожков проса, круглый ток. Возле тока кош, сработанный на скорую руку. И опять тот же голос:

— Соб, Рыжий! Сабы, Бурый!

Словно отвечая голосу, слышится скрип каменного катка.

По широкому току с тяжелым скрипом движется каменный каток. Его тянут два вола — рыжий и бурый. Их ведет молодой парень. На нем залатанная черкеска, ветхая рубашка, домотканые, грубой шерсти, штаны. На ногах чувяки из воловьей кожи. Они до того истрепаны, что из правого, как суслик из норы, выглядывает палец.

Волы идут лениво, сонно, и парню приходится часто взмахивать кнутом:

— Соб, Рыжий! Сабы, Бурый!

Поля старой войлочной шляпы нависают над загорелым до черноты лицом парня. Работа однообразная, нудная, устали и волы, и сам парень. Присесть бы отдохнуть, да торопит отец:

— Пошевели немного быков, Батырбек!

— Соб-сабы! — покрикивает парень на волов.

Нурыш-акай — мужчина лет за сорок — подбрасывает деревянными вилами необмолоченные стебли под каток. Смотрит, как отликает золотом на солнце просо,

не выдерживает — берет зерно в руки, пересыпает из ладони в ладонь, любуется, словно драгоценностью.

— Машалла! — радуется он. — Хорошее просо уродилось нынче, Батырбек!

— Уродилось, да не у нас! — с горечью отвечает парень. — Мурза Батока да Кабанбек — те всю зиму будут есть сюз и пить крепкий бармажи. А мы, акай, ус сосать будем!

Нурыш тяжело вздыхает, понуро смотрит на сына.

— Что поделаешь, такова воля аллаха. Он видит все — разве не видит нашу тяжкую судьбу? И велит нам терпеть...

— Терпеть, терпеть, — бурчит парень и останавливает быков.

— Что случилось, Батырбек?

— Больше не могу терпеть — чувяки жмут. — Парень садится на землю и стаскивает высохшие на солнце сырмятные чувяки.

— Да ты намочи их водой!

— Еще хуже...

— И руками мни — мягче сделаются!

Батырбек мнет высохшие чувяки.

— Сшить бы новые из хорошей кожи...

— Будут, Батырбек, все у тебя будет. Жизнь целая еще впереди. Много увидишь... — подбадривает Нурыш. — Не унывай, сынок!

Батырбек надевает чувяки. Нурыш тем временем свернул самокрутку, закурил.

— Ну пошли, Батырбек. Время уходит, а нам сегодня еще всю эту кучу смолотить надо.

— Соб, Рыжий! Сабы, Бурый!

Скрипит тяжелый каменный каток. Нурыш деревянными вилами подкидывает под каток не побитые еще колосья проса, сам тихонько бормочет, напевает себе под нос:

Катись, каток,
Как с горы камень, катись.
Катись, катись,
Молоти нам зерно.
А я тебе песню спою...
Катись быстрее, каток...

Батырбек прислушивается к бормотанию отца и просит:

— Спой погромче, акай! И я послушаю.

Нурыш улыбается:

— Что-то сегодня голоса нет. Много кричал на быков... А вот вместе — ну-ка, давай попробуем.

Катись, каток,
Как с горы камень катись...

Волы идут тихонько, и тихо поют два человека. Поют песню о труде, о хлебе. И тихий ветер несет песню по степи. Она не исчезает, не кончается. Нурыш смотрит в голубое осеннее небо. Там журавли, и они поют, и они подхватили песню... Унесут песню хлебопашца далеко, в чужие края...

Опустив вилы, опершись подбородком о рукоять, Нурыш смотрит в небо.

Как там чисто, привольно, просторно! Не так тесно, как на земле. Эх, были бы у человека крылья, летал бы он высоко в небе! Хоть там чувствовал бы себя вольным...

Но нет у человека крыльев. Нет и воли... Попробуй против мурзы сделать что-нибудь!.. Мигом сживет со света!

— Что, акай, задумался?

— Слушаю песню журавлей.

— О чем поют?

— О воле, сынок! Слушай их. Хорошенько слушай.

Но Батырбек уже не слушает, да он, кажется, забыл и про волов, — прикрыв глаза рукою от солнца, всматривается Батырбек в даль.

— Клянусь аллахом, ведь это мой друг Болат на своем Елетпесе! — Широкое, скуластое лицо парня озарилось улыбкой. — Возвращается с пастбища, отец! Бекболат, Бекболат! Как давно не видел его!

— Табун Батоки?

— Да, акай! Э-гей, Бола-а-ат! — сложив ладони трубкой, во всю мочь кричит Батырбек. — Э-ге-ей!

Бекболат осадил коня, глянул в сторону тока, увидел друга:

— Ба-а-тырбек!

— Бек-бо-лат!

Бекболат повернул Елетпеса.

— Салам алейкум, Нурыш-акай! — Он почтительно взял руку Нурыша обеими руками в знак почтения и уважения. Потом бросился к Батырбеку.

Они обнялись и, улыбаясь, хлопали друг друга по плечам, по спине.

Бекболат хорошо знал обычай ногайцев: спрашивать о родных не полагалось, надо было спрашивать о соседях, об ауле. Тебе и так расскажут обо всем.

— Как живете? Как аул?

Нурыш кашлянул и тихо ответил:

— Слава аллаху, живем себе. И в ауле пока все спокойно. И мать твоя здорова. Недавно видел ее, кажется, на той неделе. Все хорошо.

— Спасибо, агай! А ты, Батырбек?

— Как видишь! Да ты, смотри, совсем джигитом стал, — Батырбек снова обнял друга.

Нурыш-агай улыбался... Ну вот дождалась Каний сына, джигитом возвращается, крепкий, здоровый...

Поговорили, посмеялись. Нурыш достал из кармана кожаный кисет с табаком, начал ковырять соломинкой трубку, приговаривая шутливо:

— Пора, пора дымоход чистить. Уж сажи полно, не досмотришь — того и гляди пожар случится!

Весело, легко им было друг с другом.

Ребята смеялись...

Набил Нурыш трубку, высек кресалом огонь...

Бекболат с Батырбеком спешили рассказать друг другу новости — ведь у молодых свои секреты... Нурыш не слушал их, изредка затягивался, вспоминал...

Вот этот парень, Бекболат, в один год родился с Батырбеком, ровесники они... Погоди, погоди, какой же это год был? А, вспомнил. Год мешина — то есть обезьяны, по двенадцатилетнему циклу! Так, они родились в год обезьяны. Двенадцать и еще шесть лет. Значит, сейчас им по восемнадцать.

Нурыш поднял голову, посмотрел на парней. Они весело спорили о чем-то, перебивая друг друга.

— Бекболат, — позвал Нурыш, — не слышно ничего о дяде Маметали?

— Слышно, агай. Живет в городе, работает на шерстемойной фабрике Лапина. Приходил от него лудильщик-кумык, рассказал...

— Ну как он там?

— Хорошо, научился мастерству, говорит. Здоровье тоже хорошее, говорит.

— Слава аллаху. Еще с детства видно было, что из него толк выйдет. Ведь недаром же говорят: того, кто убьет волка, уже по шапке признать можно. Так и Маметали, молодец, оллахый! Где бы ни жил, лишь бы здоровый был...

— Пора мне, агай,— обращается Бекболат к Нурышу.— Табун уходит. Соскучился по аулу.

— Да, да, Бекболат, иди. Да заворачивай к нам почаще. Недели две еще будем молотить...

— Хорошо, агай.

— Соб-сабы!— снова плывет над полем крик Батырбека.

Издалека, со стороны степи, доносится-откликается голос Бекболата:

— Э, эй! Чу! Чу!— певучий, звонкий, словно колокольчик звенит в степи.

Слушает друга Батырбек. А высоко в небе курлычет-подпеваает журавлиная стая, и звуки степи сливаются с криками неба:

— Курл-курл!

— Чу! Чу!— голос с земли.

— Курл-курл!

Табун Бекболата спешит к балке Тулкили. Спешит, торопится сердце молодого табунщика; скорей бы увидеть родной аул, любимую абай, нежную Салимат!

— Курл-курл!

Птицы тоже хотят сказать свое. Они прощаются с этой землей. Прощаются до весны.

— Счастливого пути!— шепчет им вслед Бекболат.

— Курл-курл!

— Соб-сабы!

— Чу! Чу!— бесхитростная мелодия степи.

— Курл-курл!— прощаются журавли. Стая держит путь на юг.

Бекболат провожает их взглядом и спешит в родной аул.

РАДОСТЬ МАТЕРИ

Когда ногойцы хотят сказать о полной и совершенной радости, они говорят, что человек будто заново родился на свет.

Так вот и чувствовала себя сегодня Каний, словно она снова родилась на свет. Она разглядывала сына, просила его повернуться, брала его руки в свои, нежно гладила его лицо... И все повторяла:

— Похудел, светоч мой! Сильно уставал, да? Ну скажи, ничего не скрывай, мое счастье!

— Что ты, абай!— успокаивал ее Болат.— Наоборот, я поправился. Еды было довольно, а воздух какой там! Не болел, не уставал, абай. Все было хорошо.

— Правда, солнце мое?

— Правда, абай. И мясо ели, и молоко пили. Разве в горах человек должен быть голодным? А люди там какие! Ведь это друзья нашего акая. Я просто отдышал с ними... — Бекболат не все, конечно, рассказывал матери, да ведь не говорить же ей о внезапных грозах, о холоде и страхе...

— Хорошо, душа моя, хорошо! — радовалась Каний. — А я все время думала о тебе. Тысяча раз слава аллаху, — вижу тебя здоровым и сильным!

— А ты, абай, как здесь жила?

Каний поправила платок на голове и тихо ответила:

— Хорошо, сынок. Вот только о тебе все думала.

— И я думал все время о тебе, абай, — признался сын. — Очень скучал...

— Слава аллаху, солнце мое, что ты вернулся жив и здоров. А я для тебя сук оставила. Сейчас приготавлию.

Развязала маленький кожаный мешочек — тулук, где хранила для сына сук, быстро развела молоком, добавила сметаны и поставила деревянную чашку на стол — сыпыра:

— Садись, сынок, кушай.

Бекболат ел с завидным аппетитом; кушанья, приготовленные матерью, всегда казались ему самыми вкусными, и ничего лучше он не знал.

— Вкусно, абай, спасибо! — сказал Бекболат, съев полную чашку. — Теперь схожу повидая Батырбека. Соскучился.

— Хорошо, сынок. А я постираю твою рубашку, — ты надень другую...

Вечерело. Солнце спряталось за горой, и сразу налетел прохладный ветерок. Осенней порой вечера в Кубанлы холодные.

Бекболат шел медленно, с радостью узнавания смотрел на знакомые с детства сакли. Навстречу попадались верховые, двигались двухколесные арбы, груженные кукурузными будыльями, сеном. В поле еще убирали урожай. Хорошо было вернуться в родной аул, хорошо видеть улыбки друзей, здороваться с аулчанами.

Сумерки спускались на Кубанлы. Бекболат ускорил шаг.

Вдруг сердце его заколотилось: он увидел соломенную крышу Камаевой сакли. Дымила плетеная, обмазанная глиной труба.

Бекболат прошел мимо, заглянул осторожно во двор — там никого не было. Что делать — не торчать же здесь? Пошел дальше по улице, будто торопился куда-то по делу. С неясной надеждой оборачивался несколько раз назад, но улица была пуста, как прежде.

«Видно, Салимат в поле с отцом и матерью. Кукурузу убирают», — подумал он и повернул к дому Батырбека...

Салимат действительно была в поле.

— Давайте закончим, совсем узкая полоса осталась, — подбадривал Камай жену и дочь.

Три человека с раннего утра до позднего вечера серпами жали кукурузу. Салимат работала ловко и скоро — легко, будто ножницами резала нитку. Райме любовалась красивыми в работе руками дочери и про себя благодарила за нее аллаха. А Салимат обогнала и отца, и мать и, чтобы не замечать усталости, напевала тихонько:

...Орел опустился на скалу,
Расправил широкие крылья...
С орлиным взором джигит
Тревожит мне юное сердце...

Ш-шик, ш-шик — срезает серп стебли кукурузы, и в такт движению ложатся слова девичьей песни:

...С орлиным взором джигит
Тревожит мое юное сердце...

В три серпа работает семья Камая. Три человека думают о жизни. Хозяин, Камай, любит дочь и думает о ее судьбе. А судьба девушки — в достойном женихе. Найдется богатый, да славный, да хорошего рода, — тогда и он, Камай, тоже станет сильным и богатым. Тогда уже не придется ему самому жать вот так кукурузу — на то будут у него наемные работники — ыргаты...

Думает о будущей судьбе своей дочери и Райме. «Пошли ей, аллах, доброго человека, чтоб любила она его и он чтоб ее любил, — просит она бога. — Больше ничего мне не надо. Ведь богатство — что грязь на руках. Помоешь — не стало...»

Салимат смотрит в горы, и ей кажется, что между ними, равный им, как древний батыр, ходит ее Бекболат...

— Когда же ты вернешься? — шепчут ее губы.

А батыр уже вернулся с гор и ждет в ауле, томится...
Все выше куча тяжелых початков.

— Обильная в этом году кукуруза, слава аллаху, и хлеб будет, и баста¹, и корм для скота, — радуется Камай.

Солнце спешит спрятаться за гору. Спешат и жнецы...

Уже стемнело, когда двухколесная арба Камая, поскрипывая, въехала в аул.

САЛИМАТ

Салимат была единственной дочерью у родителей. Отец ее, Камай, вышел из узденей и жил ни бедно, ни богато. Имел хозяйство — пару быков, корову и верховую лошадь, небольшой участок земли. Другие аулчане, тоже уздени, как и он, обладали большими наделами земли. Землю в ауле обычно делили на мужчин — сколько в доме мужчин, столько и паев. А Камай был единственный мужчина в доме. «Не дал мне аллах сына! И я бы тогда имел больше земли, и я бы тогда стал богатым!» — сетовал он на жизнь.

«Почему такая несправедливость? — думал он и спохватывался. — Нет, нет, нельзя гневить аллаха, он лучше знает! Дал дочку, значит, я должен быть довольным и благодарить его! Он, великий, все заранее знает. Может, и я когда-нибудь стану богатым, — успокаивал себя Камай. Потом опять спрашивал: — Когда же, когда ты, Камай, станешь богатым? Очень просто, — отвечал сам себе. — Тогда, когда моя Салимат вырастет. Она же у меня красивая, умная. За нее дадут хороший калым. Без калыма не выдам. Бедному никогда не видать ее, богатым должен быть мой зять. Вот тогда и утру нос тем, у кого есть сыновья. Тогда все узнают цену моей дочери. Сейчас они посмеиваются надо мной. Пусть. Еще придет мое время!»

Длинными зимними вечерами у очага Камай рассказывал о своих планах жене. Но не так думала его Райме. Всегда спокойная, застенчивая, очень добрая, она знала, что счастье ее дочери не в богатстве.

— Нет большего богатства, чем богатство души, — отвечала она мужу. — Чего нам не хватает? У нас же

¹ Б а с т а — кукурузная каша.

нет кучи детей, чтобы мы не в состоянии были их прокормить. Слава аллаху, еда на столе, одежда на плечах у нас есть. А все остальное приходит и уходит...

Камай, слыша такие слова, сердился на жену:

— У женщины волос долог, да ум короток! — кричал он. — Держи-ка его при себе! Не показывай! Не вмешивайся в мужские дела! Ясно?!

Райме молчала. А Камай, излив гнев, опять приходил в доброе настроение и напевал, с улыбкой поглядывая на дочку:

Вырастет моя голубоглазая.
Вырастет большой да красивой.
Придут сваты, придут сваты
И пригонят с собой сотню быков...

— А если меня полюбит бедный? — смеялась Салимат. Она не принимала всерьез слова отца.

— Нет, — отвечал Камай, — такую красавицу имеет право полюбить только богатый. А может, — бери повыше — и князь какой-нибудь. Понимаешь, дочь?

«Надо же, князь! А если я этого князя не полюблю?» — думала Салимат. Но отцу не говорила такого, стеснялась...

«Не по годам растут девочки, по дням считать надо!» — так говорят ногайцы. Маленькая Салимат на радость родителям из худенькой девочки превратилась в красивую рослую девушку с длинными, до пят, косами. Когда ей минуло шестнадцать, Камай всерьез стал подбирать зятя из богатого рода: по обычаю, девушка, не вышедшая замуж в шестнадцать-семнадцать лет, считалась засидевшейся.

Присматривал себе зятя Камай и в Кобанлы, и в других аулах, но никак не мог предположить, что дочь его уже нашла себе любимого — сама, без ведома отца. Выбрала не богатого, а бедного, простого пастуха, наемного работника — ыргата. Не знал этого Камай. Не знала об этом и Райме. Да все же материнское сердце что-то чувствовало, и тем больше жалела Райме дочь, тем больше боялась за ее судьбу.

Если раньше многие аулчане из зажиточных не помнили даже о существовании какого-то Камая, то теперь его стали замечать. Особенно те, у которых росли джигиты. Камай хорошо знал цену такому вниманию.

— Нет, нет, не от всякого узденя приму я сватов. Сам выберу достойного зятя, не зря же я вырастил ее такой умной и красивой.

Если спросить аулчан-середняков, узденей, мечтавших о лучшем достатке, — да, прав был Камай. Кто же, кроме отца, должен выбрать мужа для своей дочери? Решение его — закон для семьи. Попробуй кто противиться его воле! Нет, нет, такого у ногайцев не бывает! И Салимат, как и все, выйдет только за того, на кого укажет отец. Как же иначе!

ТРЕВОГИ МАТЕРИ

Ночь. В очаге перебегают последние язычки пламени. Пахнет кизячным дымком. У очага Каний с прялкой: одежда Бекболата, та, что носит теперь, совсем уж истрепалась — заплатка на заплатке, а парень-то вырос...

Каний поглядывает на веретено, переводит взгляд на сына, богатырски растянувшегося на старой деревянной кровати. Как-то сложится его судьба!.. Не дай аллах, как у нее с Алимом. Вся жизнь прошла в заботах да тревогах. Бывало, ложишься спать и не знаешь, чем завтра семью кормить. Все думалось: ладно, этот год перетерпим, а на следующий, глядишь, будет полегче. Так и прошла вся жизнь в ожиданиях. И вот Алим уже в могиле, а она, Каний, высохла, как старая яблоня...

Но о себе теперь Каний не думает: все заботы ее о сыне, о Болате. Эх, был бы жив отец, все бы полегче было... Пусть великий аллах покарает того мерзавца, который поднял каму на отца ее сына!

Трудно, очень трудно им сейчас без Алима, и все же наперекор злой судьбе сын растет, мужает. Вон уж как вытянулся — кровать скоро мала будет. Отец-то был небольшого роста, щупленький, а сын раздался в плечах... Словом, растет настоящий мужчина. С камой не расстается...

И тут Каний охватывает тревога: нет, не оставит Болат без отмщения смерть отца, не оставит! А потом и ему мстить будут...

И она просит всемогущего аллаха отвести руку ее сына от страшного, кровавого дела.

Каний проводит ладонями по лицу и страстно шепчет:

— Сделай так, великий, чтобы мой единственный, мой свет, мое солнце, мой Болат жил столько, сколько будет лежать земля на могиле его отца!

В последнее время мысли о судьбе сына все больше и больше стали беспокоить ее. Повзрослел Болат, яснее виден стал его мужской характер. Решительный, льстить не умеет, а правду всегда скажет в глаза. Разве понравится такое роду мурзы Батоки? А не придется им по вкусу работник — ыргат, всегда найдут причину для расправы с ним. В дядю Маметали пошел Бекболат: и ростом, и речью, и смелостью, и характером. А таких людей хозяева ох как не любят! В наше время одной смелостью ничего не добьешься, надо еще уметь угодить таким, как Батока и Кабанбек. Потому-то Каний и вспоминает часто в последнее время брата, ночью видит его во сне. Изменился, постарел Маметали, стал спокойней, сдержаннее. Трудно ему, конечно, в чужих местах. А какой был ловкий, сильный, как любил лошадей, скачки!..

Скачки. Каний теперь даже и слышать не хочет о них. Там, на скачках, сделал брат то, чего не воротить теперь. Разве можно было ему не склонить голову? А он поступал лишь так, как велит сердце. Слишком вольное, слишком большое, слишком гордое для бедного пастуха. Уж эти скачки! Бекболат тоже увлекается ими. С утра до вечера готов возиться с ним, со своим Елетпесом — напоит, накормит, почистит... А как хорошо ездит, сидит по всем правилам. И кто его научил? От отца небось перешло. В этом году весной уже и сам участвовал в скачках — и хоть неопытный еще, а пришел третьим... Не захотел отстать. Ох уже эти скачки!..

Она вспоминает далекий день, праздник сабантоя.

...Ясный был день, теплый, весенний... Весь аул собрался посмотреть скачки. И тут, на празднике, к Маметали придрался спьяну муртазак — охранник мурзы. Маметали уговаривал, упрашивал его уняться, но муртазак не отставал. Тогда не выдержал Маметали, до полусмерти исколотил охранника. Другие муртазаки пробовали было вмешаться, да Маметали не дал себя в обиду...

Вот после этого случая и не смог оставаться в ауле Маметали: хорошо понимал, что не жить ему мирно с мурзой. Народ радовался унижению мурзы, но не радовалась Каний, чувствовала, чем это грозит брату.

И ушел из родного аула Маметали. Он знал, что позора своего богачи ему не простят, будут мстить...

«Как бы и с Бекболатом не случилось такого, — боязливо думала Каний. — Весь в дядю пошел... Нет, нет, зачем так плохо думаю. Бекболат послушный, а послушного и аллах уважает», — старалась она успокоить себя...

Вечером, когда Бекболат возвращался домой с пастбища, Каний радовалась, любовалась сыном. Считала себя самой богатой, самой счастливой на свете...

Поужинав, Бекболат разговаривал с матерью, выслушивал аульские новости, рассказывал свои, а потом ложился спать: целый день мотался за табуном по степи, уставал сильно. А завтра на заре опять в степь...

Сидит Каний у очага, в руках прялка. На дворе уже глубокая ночь. Каний клонит ко сну. Ах как хорошо, что есть на свете сон! Что случилось бы с бедным человеком, если б хоть на час — на два не мог он забыться? А бывает и совсем хорошо: увидит человек светлый добрый сон — будто бы всего у него много, всего в достатке. Ах как хорошо так жить! Увидев такой сон, и несчастный человек распрямится, проживет хоть во сне той жизнью, какой живут наяву богатые.

Бывают, бывают у Каний такие сны. Может, и в эту ночь отдохнет она от жизни... Да, хорошо, что на свете есть сон!..

ЕСЛИ СЕРДЦЕ К СЕРДЦУ ТЯНЕТСЯ

А утром... Прохладно раннее утро в предгорьях даже и летом, что уж говорить об осени. От снежных гор налетает свежий ветерок, солнце прячется еще где-то за вершинами и пропастями. Но спешит, спешит скорее подняться выше гор, светлеет небо на востоке. И лишь забрезжит рассвет, Кобанлы уже на ногах. Дымят над саклями широкие плетеные трубы — ожаки, мычат коровы, блеют овцы, лают собаки. Откуда-то слышатся уже протяжные: «Айт! Айт!» Пастухи гонят скот на пастбища.

Наступило утро в Кобанлы. Аул начинает трудовой день.

В утренний шум вливается и звонкий, певучий голос Бекболата:

— Айт! Чу! Чу! — и с присвистом щелчок кнута.

Табун спешит к балке Тулкили. За ним — Бекболат с пастушьей сумкой на плече, в руках — длинный курук.

Так-тук, так-тук — легко постукивают копыта, колыхнется плотная спина табуна, как ковыльное поле на ветру. Молодой табунщик взмахивает кнутом, подгоняя лошадей.

Табун втягивается в балку. А у самой балки — саманная хата Камая. Бекболат громче обычного кричит: «Чу! Чу!» — а сам не отрывает взгляда от калитки, сердце его бьется все сильнее, он замедляет бег коня...

На крик Бекболата из сакли выбегает тоненькая, как тростинка, девушка. На голову накинута коричневый платок: она еще не успела заплести косы. Парень и девушка смотрят друг на друга. Разговаривают глазами. Чуть заметно улыбаются глаза Салимат, улыбается и Бекболат. Он останавливает коня. А в это время из дому выходит Райме — видит, как смотрит Салимат на парня-табунщика, и быстро возвращается обратно, чтобы не смущать дочку. Салимат кивает Бекболату, показывая в сторону балки. Табун уже далеко, Бекболат неохотно трогает повод. Но ему не хочется уезжать, он оглядывается. Салимат машет ему рукой и боязливо смотрит по сторонам, боится, что заметят соседи.

Бекболат кивает в ответ, дает знак, что понял ее.

— До вечера, Бекболат, — шепчут губы Салимат.

— До вечера, Салимат, — тихо говорит парень.

В балке Тулкили шумит-позванивает ручей, наполняя песней утро. Бекболат подгоняет табун.

— Чу! Чу! Айт! Айт! — слышатся крики пастухов.

— Салам, Тулкили! — радостно здороваются Бекболат. — Дашь напиток своей воды?

Ручей журчит, наполняя балку чистым звоном струй...

* * *

— Иди, радость моя, завтракать пора, — зовет девушку Райме.

— Еще рано, мама...

— Нет, дочка, мы сегодня пойдем жареное просо толочь для сюка... Если опоздаем, кели¹ займут другие.

¹ К е л и — ножная ступка.

Салимат будто не слышит слов матери, смотрит вдаль, смотрит вслед табуу Бекболата.

«Ах, сердце матери в ребенке своем, а сердце ребенка неизвестно где, — не зря же говорят так в народе. Я ей сейчас одно толкую, а она о другом мечтает», — думает Райме и беспокойно вздыхает.

Салимат толчет на ступке, кели, прожаренное просо и тихонько, чтобы не услышала мать, напевает песню о любви:

Шолпан взойдет, и скроется луна,
Заря родится...
С зарей вставай, джигит,
Спеши к своей любви...

Райме смотрит, в какую сторону дует ветер, потом просеивает толченое просо. Увидев, что просо хорошо очищается от шелухи, хвалит:

— Хорошо прожарено, хорошо, дочка!

Вечером они все втроем сядут за сыпыра и будут наслаждаться сюзом, заправленным свежей сметаной. И тогда Салимат снова вспомнит Бекболата, подумает: «Хоть полчашки съел бы Бекболат, попробовал бы сделанное моими руками...»

А в это время Бекболат собирает для Салимат душистые ягоды ежевики — он знает, это ее любимое лакомство. И сама Салимат часто ходит с подружками по ягоды на поляну Елек-ыйган.

Собирают девушки душистые ягоды и поют протяжную песню:

В балке собрала десять ягод,
На бугре собрала сорок,
Из балки выехали десять всадников.
С бугра спустились сорок...
Среди сорока батыров
Один беспокоит сердце мое...

Посмотрит Салимат с поляны вдаль: там, в степи, как волна на реке, движется, меняет очертания, стремится куда-то табуу. И рядом с табуном — ее душа, ее всадник, половина ее сердца. И она тихо-тихо напевает:

Далеко на лугу табун,
В табуне сказочный конь-тулпар,
Оседлавший сказочного тулпара,
Есть в степи сильнее тулпара батыр...

Девушки подхватывают ее слова:

Оседлавший коня-тулпара,
Есть сильнее тулпара батыр...

Бекболат иногда видит девушек, собирающих ягоды. Разноцветные платья их казались ему цветами на лугу. Издали любителю ими Бекболат, смотрит — и находит среди разных цветов свой любимый...

А однажды не вытерпел, не захотел смотреть издали, осмелился подойти к девушкам. Насобирав им ягод. Каждая хотела собрать побольше, а меньше всех набрала в тот раз Салимат, — не получалось у нее при Бекболате. Свои ягоды Бекболат отдал девушкам, конечно, больше постарался насыпать Салимат.

Бекболат и Салимат рядом ищут ягоды, руки их срывают ягоды, а взгляды уже нашли друг друга.

— Смотри, я нашел большую, красную и большую, — тихо говорит Бекболат и касается руки Салимат.

Салимат улыбается и так же тихо отвечает:

— Не надо, подружки увидят.

— Пусть увидят!.. Салимат!..

— Знаю, Бекболат, только сейчас молчи. Потом... — просит девушка.

— Когда же?

— Потом, Бекболат, у аллаха дней много.

— Я не хочу ждать!

— Не надо так говорить, ладно?

— Хорошо, Салимат, не буду, — соглашается парень. — Но...

— Смотри, твой табун уходит...

Бекболат смотрит вдаль: и правда, табун перевалил уже за какой-то бугор, сейчас исчезнет — ищи его потом.

— Мне нужно к табуну, Салимат.

— Счастливо...

Так-тук, так-тук! — постукивает ножная ступка. Салимат толчет просо, а мысли ее далеко, там, где Бекболат. Она знает, что там, в степи, Бекболат думает о ней.

Сердце девушки чувствует это, она хочет скорее увидеть его, и тихо шепчут ее губы, про себя напеваает Салимат песню о нем:

Оседлавший сказочного тулпара,
Есть в степи сильнее тулпара батыр...

КТО ВОЗЬМЕТ ВЕРХ

Неспокойно стало в ауле Кобанлы, беспокойно сделалось и в доме мурзы Батоки — много стало разговоров, мало тишины и благолепия. Почему вдруг все так изменилось? То ли беспокойствие пришло в дом с новой женой, то ли вообще времена такие настали, — и сам мурза не мог до конца уразуметь всего. Как бы там ни было, спокойная и благодатная жизнь мурзы вдруг переменилась, тревоги и думы замучили его.

— Коней давай, хлеба давай, мурза! Идет большая война с немецким царем. Мы все должны отдать, чтобы победить, — все чаще беспокоил его казачий атаман отдела.

И мурза отдавал. Правда, если одну лошадь давал от себя, то десять брал с аула. Но что-то никак не приходила долгожданная весть о победе царя. Наоборот, вести летели тревожные: солдаты, мол, не хотят войны, рабочие не хотят царя. Мурза не находил себе места, когда слышал такое от атамана и знакомых купцов, ездивших аж в Петроград и Москву. Ну ладно, если б только эти вести, только из дальних краев, но как понимать то, что мужики соседних русских сел вот уж несколько раз принимались бунтовать, хотели отнять земли у своих баев, разделить между собой? Вот весной поднялась беднота против помещика Мамонтова... Сегодня такая неслыханная дерзость вершится там, в имениях русских баев, но завтра? Ведь завтра подобное может случиться и в его, мурзы Батоки, ауле. Что за времена настали! Уже и в Кобанлы работники — ыргаты — не такие тихие и покорные, как раньше. Дай им аллах силу — сегодня же отняли бы его земли! Не приведи всевышний, заберут права — сразу себя покажут! Что за времена настали, семь колен не знали таких беспорядков! «Увидишь невиданное, услышишь неслыханное, когда приблизится конец света», — говорил его дед. Может быть, действительно близок конец этого мира? Кто знает! Неспокойное время, опасное, ненадежное...

А что творится в доме самого мурзы! В том доме, где раньше царили покой и повиновение? Просто ужас! Вчера его жены таскали друг дружку за волосы.

— Потаскуха! Где будешь ты, там никогда не будет счастья! — кричала старшая жена мурзы Берзахан младшей.

— Старая ведьма! — отвечала Тотамаш. — Прошло твое время, не буду подчиняться тебе! Я пришла в дом мурзы не рабыней, я пришла быть княжной! Ясно?

Тщетно Берзахан старалась взять верх. По обычаю, по адату, полновластной хозяйкой в доме должна быть старшая жена, а младшая должна лишь слушать ее, делать, что прикажут. Но вот ведь старшая жена мурзы не смогла добиться своего: Тотамаш пренебрегала адатом. Мыслимо ли было такое раньше?

— Если я не хозяйка в доме, сию же минуту уйду, — поставила она свои условия. Это при самом мурзе говорить такое!

Вмешалась в ссору и старшая дочь мурзы, жена Кабанбека. Она защищала права матери.

— И ты, рябая, хочешь меня упрекнуть? — накинулась на нее Тотамаш. — Да как только с тобой живет Кабанбек? Он же красивый мужчина! Мне просто непонятно! Смотри, а то без мужа останешься!

— Змея, черная змея заползла в наш дом, — жаловались старшая жена мурзы и ее дочь.

Но Батока не хотел выгонять младшую жену. Он предпочитал старой Берзахан — молодую, красивую, грудастую Тотамаш.

Да, Тотамаш была хороша: высокая, стройная, тонкая в талии. Белые пухлые щеки, большие карие глаза, ресницы торчат, как стрелы. Была не злой к работникам мурзы, и ее приказания исполняли быстрее, чем распоряжения Берзахан.

Гости мурзы, даже и высокие, готовы были часами глазеть на его младшую жену. Рады были услышать ее нежный голос.

«Не женщина, а нур кызы¹!» — хвалили Тотамаш заезжие мужчины.

Если кто-то из соседних князьков раньше не жаловал дом Батоки, то теперь сам просился в гости. Мурза все это прекрасно видел, и Тотамаш тоже знала об этом и держала себя высокомерно, а порой даже надменно.

¹ Нур кызы — райская девушка (буквально: «дочь света»).

— Все в доме должно быть по-моему! — без стеснения говорила она мурзе. — Больше я ничего знать не хочу!

Батока в знак согласия покорно кивал головой, сам нарушая при этом все адаты, ибо в доме была старшая жена.

— Нет, по шариату я имею на все право!.. — твердила свое Берзахан. — Я хозяйка в доме...

И снова разгоралась ссора. А в ссоре, как обычно, одна сторона должна быть побеждена, другая же должна взять верх. Чем закончится, кто победит в доме мурзы? Домашние заботы досаждали мурзе не меньше, чем страх потерять власть, землю и лошадей.

СТАРУХА ЗНАХАРКА

Каний слегла в постель. Третий день металась в жару, иногда бредила. Когда приходила в себя, старалась отыскать глазами сына, будто что-то сказать хотела. Около больной сидела ее сестра Кеусар, тетка Бекболата, ухаживала за ней как умела. Она хорошо понимала, что означает взгляд больной, устремленный в сторону двери. Чтобы успокоить сестру, Кеусар посмотрела на Бекболата, который сидел у очага на маленькой табуретке, тихо попросила:

— Бекболат, подойди к матери, она тебя видеть хочет.

Бекболат подошел к кровати, стал на колени, склонил голову к подушке.

В запавших глазах Каний появились искорки радости. Слабой рукой она погладила бритую голову сына.

— Абай, тебе лучше? — тихо спросил Бекболат.

— Лучше, солнце мое, лучше... — прошептала Каний.

«Великий аллах, пусть абай скорее встанет!» — просит бога Бекболат.

Каний тихо-тихо говорит что-то. Бекболат прислушивается:

— Ты, солнце мое, не гневай аллаха, будь послушным. Не думай мстить за отца, пусть аллах отомстит этим гяурам. Слушай меня...

Бекболат молчит. Он догадывается, о чем беспокоится больная мать. В последнее время она часто думала об этом — боялась, что сын будет мстить за отца, и его или убьют гяуры-казаки, или же судьи сошлют в Салавки

(Соловки), оттуда он никогда не вернется. Не раз убеждала сына: «Аллах велик, он видит все: справедливость и несправедливость. Рано или поздно он отомстит убийце. Отомстит хоть на этом, хоть на том свете».

Бекболат сердится на эти слова. Ведь слышал он из уст почтенных стариков, что сын, если он настоящий сын, должен мстить за отца. Кровная месть была правилом, освященным временем. И не потому ли Бекболат уже два года назад, после смерти отца, тренировался в степи в стрельбе из лука? Лук он смастерил сам. Поставит камень — и старается попасть в него. Тренировался неделями, месяцами. В камне он видел Кабанбека — самого ненавистного для себя человека в ауле. Попадал — радовался; нет — стрелял еще. Иногда, если камышовая стрела ломалась, сердился. Делал новую...

Кто-то подсмотрел, рассказал Каний об этих упражнениях Бекболата. И с того дня Каний потеряла покой. Догадывалась, что неспроста он учится стрелять.

«Не найду ружья, убью из лука, — все равно отомщу за кровь отца», — твердил про себя Бекболат...

С тех пор, охраняя табуны мурзы, научился он стрелять из дробовика — глаз у него был верный, рука крепкая. Только бы не ушел подлец...

— Слушай мать, сынок. Пусть аллах накажет их. Слышишь меня? Аллах обязательно накажет грешного!

— Хорошо, абай, только не беспокойся, прошу, абай. Я буду слушать тебя.

— Ты мое солнце, ты мой свет. Сейчас мне лучше...

Однако к вечеру состояние больной ухудшилось. Кеусар попросила Бекболата еще раз сходить к знахарке Картабай.

Бабушка Картабай жила одна в ветхой сакле, приютившейся у подножия горы Мантик, на восточной окраине аула, но дома бывала крайне редко. Маленькая, горбатенькая, необыкновенно подвижная, она с раннего утра до позднего вечера сновала, как челнок, из одного конца аула в другой. Была знахаркой, гадалкой, а кое-кто поговаривал — еще и колдуньей. Врачевала от всех болезней, заговаривала от всех бед и несчастий. «Дел у меня больше, чем моих седых волос!» — любила повторять бабушка Картабай.

Как бы там ни было, в ауле ее почитали за лекаря — она не могла соперничать лишь с костоправом Кашау.

И часто жалела об этом. «Эх,— говорила бабушка со вздохом,— почему мать не научила меня и этому полезному делу. Тогда была бы я полной хозяйкой в ауле». Да еще любила старая рассказывать такое, например: «Вчера ночью слышала — домовые говорили... Теперь дело ваше повести нужно так, чтоб их не обидеть...» Если в ауле кто-то заболел, родные приглашали Картабай помолиться, полечить своим колдовством и гаданием.

Спрос на услуги знахарки был высокий, и застать ее дома оказалось делом непростым. Сегодня Бекболат дважды приходил к сакле старухи и возвращался ни с чем.

У Кеусар сердце сжимается, когда она глядит на больную сестру; все чаще посматривает в окно — не идет ли Картабай, словно с приходом знахарки состояние больной сразу улучшится.

После захода солнца, постукивая длинной кривой палкой, старуха пришла сама, услышала от людей о болезни Каний.

— Если зовут, как не прийти,— были ее первые слова,— я дома не была, от людей только и услышала, что Каний очень больна.— Подошла к кровати Каний и начала усердно читать молитву. Потом подожгла на огне пучок шерсти и дала понюхать больной.

Бекболат, затаив дыхание, следил за каждым движением старухи. Сейчас Картабай казалась самым могущественным человеком на свете. Она все знает, она обязательно должна вылечить мать. Чего не сделает тогда Бекболат для нее,— все, что в его силах: из леса привезет ей дров, наколет... Никогда, никогда он ее не забудет, лишь бы вылечила мать!

Картабай что-то шепчет — лечит больную заговором. Кеусар возится у печки, готовит чай для старухи. Бекболат сжался на скамеечке, просит аллаха, чтобы матери стало лучше.

— Если аллах скажет, поправится Каний,— объявляет Картабай.— На плохое место наступила, бедная.

— Пусть тебе, бабушка, масло в рот попадет!— благодарит Кеусар знахарку.

«От твоих слов мне в рот масло не попадет,— думает старуха.— Ты мне лучше курицу подари. Вот тогда масло в рот попадет...»

Кеусар, будто прочитав мысли старухи, говорит:

— Я сейчас, бабушка Картабай, курицу тебе поймаю.

Знахарка кивает и начинает читать новую молитву.

Наконец старуха прощается: под мышкой у нее вертит головой большая рябая курица.

— Вот увидишь, Кеусар, больной станет лучше, аллах поможет!

— Пусть аллах возблагодарит тебя, — отвечает Кеусар.

Каний всю ночь металась в жару. Бекболат не отходил от матери.

КАК БУДТО И НЕ ЖИЛА...

Тесная комнатка слабо освещена маленькой керосиновой лампой без стекла, еле можно различить лица сидящих на табуретках людей. Тишина — скорбная, задумчивая.

На тахтамете лежит Каний — накрыта старой черной шалью.

— Как будто и не жила на этом свете, — тяжело вздыхая, тихо говорит Кеусар. — Ушла от нас. Совсем ушла...

— Все мы уйдем туда, — так же тихо отвечает старая Картабай. — Таков путь человека. Вечно ведь никто не будет жить. Временная наша жизнь здесь, а вечная — там.

Бекболат сидит на низенькой табуретке, прислушивается к печальным разговорам женщин.

Мать. Она была опорой в жизни, наставницей, она не спала по ночам, когда он оставался на коше. Сама недоела, оставляла лучший кусок ему, для него готова была вынуть сердце из груди и отдать. Отдать и сказать: «Возьми, сынок, это сердце твое. Я уже пожила на этом свете. Живи теперь ты — долго-предолго...» Она так и сделала, вынула сердце, отдала сыну и сказала: «Вот, солнце мое Бекболат, мое сердце, — оно твое, потому что ты — это я, а я — это ты. Пусть оно будет всегда с тобой. Твоя радость будет и его радостью, твое горе будет и его горем. С ним тебе лучше будет жить...»

Нет, ни у кого на свете не было такой матери, как у него. Как он будет теперь жить без нее?

— Что сделаешь, Бекболат, так устроена жизнь! Дети переживают своих матерей. Я вот осталась без ма-

тери совсем ребенком, — говорит Картабай, будто читает мысли Бекболата.

Бекболат смотрит на старуху. Она опять читает молитвы. Читает их уже две недели. Сперва — чтобы больная выздоровела, теперь — за упокой ее души.

«Нет ее, нет, я ее больше не увижу», — думает и не может представить себе этого Бекболат. Еще вчера была жива, только вчера она сказала...

— Бекболат, солнце мое, — сказала Каний, — сядь поближе, еще ближе ко мне. Хочу сказать тебе... Не видела я твою невесту... Хоть на мгновение увидеть бы ее... Тогда я спокойно ушла бы на тот свет. Тогда бы я знала, с кем ты остаешься, тогда бы... — Каний перевела дыхание, ей было трудно говорить. — Но не захотел великий аллах... Что сделаешь? На все его воля... Пусть он жалеет тебя, пусть защитит от всех бед...

— Не надо так говорить, абай, все будет хорошо. Ты еще увидишь ее. Ты ведь будешь жить много, много лет, абай.

— Что же я говорю, солнце мое, я же видела ее... Она такая хорошая, такая милая, такая красивая — совсем как мой Бекболат. Достояна его. Она как ангел. Она так ласково говорила со мной...

Бекболат подумал, что мать бредит, что ей стало хуже.

— Нет, нет, Бекболат, солнце мое, я видела ее... Видела во сне вчера ночью. Видела. Только такая девушка достойна моего Бекболата. Ты же у меня джигит!

— Все будет хорошо, абай, не беспокойся ни о чем, отдыхай, — просил Бекболат.

Его мысли прервал плач женщины, сидевшей на намазлыке¹:

...Плачу я, родная кровинушка,
Тебя я больше не увижу...
Горе мое большое,
Как гора Карлы-тау.

¹ Намазлык — выделанная из козьей шкуры подстилка, молитвенный коврик.

К причитаниям ее присоединилась другая женщина — завела плач, ударяя ладонями по коленям:

Сито твое и кумган
Остались без присмотра.
Каний, сестра наша родная,
Сиротой дитя свое оставляешь...

У всех сидевших в темноте сакли сердца трепетали от этих тихих, нагоняющих на душу холод причитаний.

...Двор свой и дом
Кому оставляешь?
Сиротинушку свою
Кому доверяешь?

Сестра умершей, Кеусар, услышав слова женщин, зарыдала в голос, лицо ее посерело и осунулось...

— Не надо много плакать, женщины, это грех. Лучше я прочту еще молитву, — сказала сидящая в изголовье умершей Картабай и заглянула в коран.

— Кеусар, ты так плачешь, — душа разрывается. Не надо. Себя ведь убиваешь, не надо так, — проговорил стоявший у окна мужчина.

— Правильные твои слова, Маметали, она только себя терзает. Много плакать нельзя, нехорошо, да своим плачем она еще больше разрывает сердце Бекболата, — добавила старуха, посмотрев на сидевшего у очага парня.

Кеусар, вытирая глаза кончиком платка, сдавленным голосом прошептала:

— Наша несчастная сестра во время болезни часто просила: «Посмотрите, во дворе собака лает, кто-то идет, может, это наш Маметей», — и пока не умерла, не отводила глаз от дверей, бедняжка... Эх, если б она хоть на мгновение увидела тебя... Теперь, если не я, то кто же будет плакать, ведь безвременно ушла от нас сестра... Не послал ей аллах радости. Не увидела ни тебя, ни невесту Бекболата... Если б тут, около бедняжки, были сейчас хотя бы эфенди или мулла, чтобы прочесть «Ясин»¹, я бы не так страдала, — и Кеусар снова залилась слезами.

— Эфенди с муллой сидят сейчас перед обильным столом Кабанбека, — сообщила, облизывая губы, Картабай.

¹ Одна из глав корана, которую читают за упокой души.

— А что случилось с Кабанбеком?— удивленно спросил Маметали.

— Не с Кабанбеком, с его женой. Болезненная она у него. Вчера и меня вызывали к ней.

— Кошка там, где есть мясо; курица там, где есть просо, а у тебя что есть?— сказал сестре Маметали.— Недаром же народ говорит: следуй советам муллы, но не следуй его делам.

— Правда, Маметали,— вздохнула и Картабай,— когда умирает богач, мулла с эфенди из его дома выйти боятся. А тут им молиться невыгодно. Белого баурсака¹ нет, баранина не жарится, и нет больших денег на даур².

Опять в сакле стало тихо. Только Картабай шепотом читала молитву. Маметали сидел понурившись, будто дремал. Бекболат тоже сидел опустив голову. Так они проведут ночь. Такой обычай у ногайцев.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Через день после похорон Маметали позвал племянника побродить вместе в предгорьях. Бекболат охотно согласился. Он чувствовал такую опустошенность, что не находил себе места. Теперь Маметали и Кеусар — брат и сестра его абай — остались единственными родными ему людьми.

Вышли за околицу, спустились в балку. Бекболат присматривался к дяде: Маметали сильно изменился — появилось в нем сейчас что-то мудрое и спокойное, как в аксакале. Хотя был еще совсем не старый — лет около сорока пяти, да голова уже поседевшая, тронуты серебром и черные усы. Зато богатырская его фигура, кажется, стала еще шире в плечах. Говорил Маметали неторопливо, обдуманно.

Маметали тоже приглядывался к племяннику. Когда он уходил из аула, Болат был совсем еще мальчишкой. А теперь и ростом вышел и в плечах хорош, для своих лет — батыр. Видел, видел Маметали в племяннике свою породу. Надо полагать, и характером пойдет в их род, крепкий мужчина будет. И с удовольствием повторял про себя Маметали: «Машалла, машалла!»

¹ Баурсак — лепешки из пшеничной муки, жаренные на масле.

² Даур — деньги, отдаваемые мулле на заупокойные молитвы.

— Да-а, вот и похоронили Каний,— задумчиво сказал он.— Ты без матери остался, я — без сестры. Да что делать! Жизнь есть жизнь: одни уходят, другие приходят. А нам с тобой в жизни отведено быть мужчинами: рук никогда не опускать, носа никогда не вешать!

Бекболат слушал дядю и умом соглашался с ним, но в душе ему все не верилось, что матери уже нет, что вот вернутся они домой, и не встретит их абай, не усадит за столик — сыпыра, не принесет айрана — утолить жажду...

Да и как поверить такому! Кажется, вчера только стояла абай у калитки, встречала его с кружкой прохладного напитка ласковыми словами...

Только теперь понял Бекболат, как беспредельна была ее любовь к нему.

А Маметали в это время думал о племяннике: «Кроме меня, кто из родных остался у него? Сестра Кеусар? Но что она может? Сама немолода уже, нуждается в поддержке и помощи. Да и Бекболат не ребенок — джигит, ему нужно сейчас наставление мужчины, а не нянька. Ему нужно понять мир, узнать, как живут люди, что происходит вокруг — не только в аулах, а во всей России. Тогда только из него выйдет толк». И помочь в этом Бекболату должен теперь он, Маметали, помочь и поддержать парня. Ведь ни отца, ни матери у него — значит, они с Кеусар за отца и за мать должны быть ему.

Маметали вспомнил себя, когда был совсем молод. Тогда ему казалось, что достаточно убить мурзу Батокку — и все в ауле пойдет по-иному. Как же наивен он был! Там, в городе, русские рабочие, его друзья, открыли ему глаза на мир. Теперь-то он хорошо знает, что надо делать, чтобы раз и навсегда избавиться от мурз и муртазаков, от баев и мулл. Теперь его очередь открыть глаза Бекболату...

Они поднялись в гору, сели под деревом. Далеко, в дымке дня, просматривалась долина. В поднебесье парил орел. Маметали долго наблюдал за его полетом, потом сказал:

— Гордая, смелая птица... могучие крылья... Вот так высоко взлетает иногда человек, если найдет прочную опору, обретет крылья. Мне хочется, чтобы и у тебя они выросли. Думаю взять тебя с собой в город.

— В город? Разве я смогу жить там, дядя Маметали? — по-мальчишески откровенно спросил Бекболат. —

Там же гяуры — русские. Они убили отца... казаки из Беломечетской!

— Мы не знаем, Болат, кто убил твоего отца. Может, казаки, а может, и нет. Подожди, время покажет. Такие вещи утаить невозможно — все равно правда выйдет наружу рано или поздно. Одно скажу тебе: не рвись мстить за отца, можешь погибнуть сам. Будь мужчиной, имей выдержку, Болат. Узнаем правду, тогда убийца получит свое! Верь мне! И потом в городе не одни казаки живут, а и рабочие. Конечно, трудовому человеку там нелегко приходится. И в городе есть такие, как мурза Батока и Кабанбек, да еще и похлеще. Но там много и хороших людей. Среди них чувствуешь себя человеком, равным среди равных. Такие помогают идти по жизни с поднятой головой. Тут, я боюсь, пропадешь ты... А там научишься ремеслу, станешь рабочим человеком. Потом... — Маметали долго подбирал слово. Он не хотел сразу все рассказывать племяннику.

— Что «потом», дядя Маметали? — нетерпеливо спросил Бекболат. — Что вы от меня скрываете?

Маметали улыбнулся:

— Насчет потом — потом и посмотрим. Много еще дел впереди...

— Каких, дядя? — допытывался парень.

Маметали не стал объяснять, каких, а рассказал о шерстомойной фабрике, где работал сам, о своих друзьях — русских рабочих. Они помогут найти дело и для Бекболата. И ему, Маметали, будет спокойнее, когда будет знать, что племянник рядом.

— Ну так как — едем? — спросил наконец Маметали.

Бекболат долго думал. Он понимал: без матери ему будет нелегко в ауле. Но тут друзья — Батырбек, Амурби, Иса. Тут — Салимат. Тут свежая могила матери — сразу оставить ее? И могила отца тут. Город его пугал, он привык к родному аулу, к степным просторам, к предгорьям. Там все чужое, здесь все родное. Здесь у него Елетпес, его верный друг, обгоняющий ветер. На кого он его оставит, кому доверит? И потом... Бекболат боялся, что, столкнувшись с русскими, будет помнить все время о мести, не выдержит, — и что же, втягивать дядю в такие дела?

— Нет, дядя, пока я поживу у Кеусар, — наконец сказал он. — А дальше видно будет. Тетка одна, ведь и ей помощь нужна. Давай подождем до весны.

Маметали задумался. Что ж, может, так оно и лучше — дать Бекболату привыкнуть жить без матери, жить самостоятельно. Пусть успокоится, пусть почувствует себя мужчиной. Жизнь — штука сложная, многое приходится решать самому, не надеясь на подсказку со стороны.

— Ну как знаешь: ты уже не мальчик — джигит! Поговорим еще раз — весной. Только очень прошу тебя: не вздумай мстить за отца — его из могилы не поднимешь, а себя погубишь. Понимаешь, Болат?

Бекболат внимательно слушал дядю...

На другой день, распрощавшись с сестрой и племянником, Маметали уехал.

СХВАТКА

Любят в Кобанлы — да и во всех ногайских селениях — конные состязания. До самозабвения любит скачки и Бекболат. Сольешься с конем в одно и летишь, как птица, лишь ветер свистит в ушах да гулко стучит сердце. Впереди твой соперник. Его во что бы то ни стало надо догнать и обойти, вырваться вперед и под одобрительный рев собравшихся на всем скаку остановить разгоряченного коня у заветной черты. Тебя подхватывают на руки, хлопают по плечам и по спине твои друзья, одобрительно кивают седобородые старцы. А где-то среди толпы стоит та, ради которой ты победил, и счастливо и радостно смотрит на тебя... Да, чудо эти скачки!..

Накануне скачек Бекболат никак не мог заснуть. Ему все представлялось, как он несется на Елетпесе рядом с главным и ненавистным соперником, сыном мурзы Арсланбеком. Удастся ли обойти? Арсланбек — ловкий наездник, его Акманлай — Белолобый — отличный конь. И все же Бекболат надеялся, что Елетпес не подведет. Галоп у него легкий, сам неутомимый. А посмотришь — картинка, и только: сухая голова с лировидными ушами, умные глаза. Когда приходилось одолевать препятствие, Елетпес проявлял необыкновенную сметливость.

Все наездники завидовали Бекболату, и больше всех Арсланбек. Когда видел Елетпеса, у него, как у рыси, хищно разгорались глаза.

На скачки собрались все жители аула. Было необыкновенно шумно: люди судачили о достоинствах

и недостатках скакунов, о наездниках, спорили, заключали пари...

Трасса скачек была не простой: три круга вокруг аула, и каждый раз всадники должны переплыть один из рукавов Кубани. Строгие судьи, почтенные седобородые аксакалы, как всегда, бдительно следили за порядком и решительно пресекали нарушения и вольности.

Все с нетерпением ожидали начала... Вот в первых рядах всадников появились аульские баи во главе с Арсланбеком. В бухарской шапке набекрень, в черкеске с серебряными газырями, он держался в седле уверенно и горделиво.

Бекболат на своем Елетпесе казался спокойным, ничем не выдавал волнения. И, пожалуй, думал сейчас не столько о сопернике, сколько о Салимат, искал ее в толпе. И вдруг увидел среди подружек. Взгляды их встретились, и сердце парня забилося тревожно и радостно. Салимат все увидит! Теперь он не спускал глаз с Арсланбека. А тот всем своим видом показывал, что не уступит первенства никому.

Настала последняя минута. Всадники уже выстроились в линию, готовые по команде сорваться с места и птицами лететь вперед.

Бекболат чувствовал, как волновался его Елетпес, нервно прыдал ушами, переступал точеными чашками копыт. Не выпуская повод, он гладил коня по шее, потрещал по холке...

И вот сигнал к началу скачек. Как ни готовился к этому мгновению Бекболат, на какую-то секунду он, казалось, оцепенел. Но Елетпес сам рванулся вперед, и когда ветер ударил в лицо, в грудь, Бекболат припал к гриве коня и легонько натянул повод.

Елетпес шел, чуть приподняв голову, как бы стремясь вклиниться в первую шеренгу, наверстать упущенное по вине всадника время.

Тетка Бекболата Кеусар стояла среди женщин и по своему переживала за племянника: ей не хотелось, чтобы Бекболат скакал впереди или позади всех — пусть будет вместе с большинством джигитов: так лучше, так спокойнее душе.

Конечно, совсем другого желали товарищи Бекболата. Когда он отставал, его лучший друг Батырбек злился: такой ловкий и на таком коне, а никак не вырвется вперед! Чуть не плакал с досады. Его отец Нурыш молча пощипывал рыжий ус.

— Айда! Нажми! Нажми! — кричали из толпы — каждый своему любимцу.

— Бекболат! — Батырбек вопил так, что у него на висках и на шее узлами вздувались вены. — Не отставай!

Но Бекболат не погонял Елетпеса: пусть конь разогреется, наберет дыхание, тогда он отпустит повод.

И лишь к концу второго круга Бекболат дал волю скакуну. Он почувствовал, как Елетпес с каждым мгновением набирает скорость. И вот уже он летит вихрем, оставляя позади себя все больше и больше соперников.

На всем скаку Бекболат глянул в сторону в том месте круга, где, по его предположению, должна была стоять Салимат. И он не ошибся: увидел ее среди подруг. Она сияла, как солнце, и, как показалось Бекболату, легонько кивнула ему.

— Так! Молодец! Давай чуть еще! — радостно крикнул Болат коню.

Елетпес, казалось, уже не бежал, а летел. Впереди оставались лишь Арсланбек и еще один всадник. Кони у того и другого рвались уже из последних сил, а Елетпес, как чувствовал Бекболат, еще только разошелся. И когда дошли до середины последнего круга, Бекболат поравнялся с Арсланбеком. Тот оглянулся: лицо его было от напряжения багровым, черные раскосые глаза налиты кровью.

Всадник, скакавший впереди, должен был нести почетное знамя. Сейчас оно находилось в руках Арсланбека, и он был уверен, что донесет его до почтенных аксакалов как победитель. И вдруг этот шакалий выродок рядом!

Некоторое время кони их шли ухом в ухо. Но вот Елетпес вышел на полкорпуса вперед. Бекболат протянул руку за знаменем, но Арсланбек, будто не замечая, бил изо всех сил Белолобого.

— Ну отдавай же! Видишь, я иду впереди! — закричал Бекболат и, изловчившись, вырвал из рук байского сына полотнище, дал шенкеля Елетпесу и вихрем помчался вперед.

Толпа неистовствовала — кричала, улюлюкала, хлопала в ладоши, свистела. Большинство аулчан рады были, что посрамили наконец гордого отпрыска мурзы Батоки.

— Молодец, Бекболат! Вот это наездник! Вот это джигит! А конь у него и в самом деле быстрее ветра! —

кричали Батырбек, Амурби, Иса и даже почтенный Нурыш.

Батырбек чуть не приплясывал, то и дело бросая торжествующие взгляды в сторону Салимат: смотри, мол, каков джигит наш с тобой друг! А девушка, вся оцепенев от счастья, стояла опустив глаза.

Не радовалась победе Бекболата одна лишь тетка Кеусар. Она знала, что такой позор мурзѣ Батока не простит. «Как это так, работник, батрак — и вдруг обгоняет своего хозяина, сына самого мурзы?.. Да еще вырывает из рук знамя! Кто дал ему такое право? Раб должен знать свое место!»

А тем временем Бекболат уже осадил коня перед акакалами, и старший из них принял знамя из рук юноши, почтительно пожал ему руку.

Подбежали Батырбек, Амурби, Иса, подхватили на руки Бекболата, подбросили... Когда отпустили, Батырбек еще и обнял, расцеловал друга. А тот успел шепнуть ему:

— Иди к Салимат... Скажи, что вечером жду ее у родника в балке Тулкили.

Он знал, что девушка придет, обязательно придет, как бы ни следил за ней отец. Он понял это по ее взгляду, когда скакал еще позади всех: сколько ободряющего, сколько горячего желания победы было тогда в глазах Салимат!

* * *

Когда Бекболат пришел в балку, Салимат уже ждала у родника. Бросилась ему навстречу.

— Болат!.. Болат!..

Глотая слезы, девушка рассказала, что по дороге со скачек слышала, как Арсланбек говорил муртазаку Жамбаю: «Завтра мы с ним посчитаемся! Будет знать, голодранец, из чьих рук рвать знамя!»

— Я боюсь за тебя, Болат! Они засекут тебя плетьюми!.. — и уткнулась лицом в ладони.

— Не надо, не плачь, Салимат! Так просто я им не дамся! — Он сжал рукоятку камы.

Салимат испуганно взглянула на него.

— Нет, нет, Болат! — закричала в страхе. — Ты не посмеешь этого сделать! Не связывайся с ними: они убьют тебя! Лучше попроси прощения у мурзы и больше не выезжай на скачки... Ради меня!..

Столько страдания и любви было в ее глазах, что парень пообещал:

— Ладно, Салимат, попрошу.

Слезы ее тотчас высохли, она сделалась веселой и озорной. Забежала сзади, закрыла ладонями ему глаза, потом легонько оттолкнула от себя, крикнула: «Догоняй!» — и бросилась бежать. С ловкостью горной козочки перепрыгнула ручей и стала проворно карабкаться в гору.

Бекболат лез вслед за ней, смеялся:

— Салимат! Ты как лань, разве тебя догонишь!

— А джигит должен быть ловким, как леопард, догоняй!

Они взобрались на вершину холма.

— Посидим, — сдалась Салимат.

Сели на камень.

— Вот бы взобраться еще выше — в горы, — говорила Салимат. — Наверное, оттуда весь свет можно увидеть... А знаешь, Болат, мне часто снится, будто я летаю. Взберусь на скалу, взмахну руками и лечу! Внизу пропасти, ущелья, скалы, долины, селенья, а я лечу и лечу. Вот бы на самом деле нам с тобой крылья, да?

Парень кивнул, не хотел перебивать.

— Мы бы сейчас слетали с тобой на Карлы-тау! — Еще несколько минут — и: — Ой, уже поздно! — встрепенулась Салимат.

Девушка побежала домой, а Бекболат долго еще бродил вокруг аула, вспоминая каждую подробность встречи: как и о чем говорили, и как сидели плечо к плечу на камне, еще не успевшем остыть, хранившим тепло солнечного дня... И угрозу Арсланбека: «Завтра мы с ним посчитаемся!»

Бекболат долго думал, как быть... Нет, он окажется трусом, если не явится завтра во двор Батоки. И конечно, никакого прощения у мурзы он просить не станет...

* * *

Когда на другой день утром, ведя в поводу Елетпеса, Бекболат зашел в усадьбу мурзы, Батока позвал его на крыльцо своего дома. К удивлению Бекболата, мурза не только не был сердит, казался даже ласковым.

— Послушай меня, сын Алима. Зачем тебе такой конь? — Батока кивком указал на Елетпеса. — Правда, скакун он отменный. Сам я вчера на скачках не был, ез-

дил по неотложному делу к атаману отдела. Но сын мне говорил, что твой Елетпес обошел всех. Ну да ведь скачками сыт не будешь! А ты бедняк: тебе нужны волю или рабочая лошадь. Я думаю, и твоя тетка согласится с этим. Так вот возьми у меня пару рабочих лошадей, а Елетпеса оставь нам.

— Елетпеса?!— Бекболат едва не задохнулся.

Отдать своего верного друга? И кому? Арсланбеку, непримиримому врагу! Бекболат не сомневался, что мурза хочет подарить коня сыну. Нет, нет, ни за что! Елетпеса оставил ему отец. Он не раз говорил: «Бекболат, береги его, и он всегда будет верно служить тебе». И Бекболат так привязался к коню,— жизни теперь не представлял себе без Елетпеса.

— Мурза!— горячо воскликнул он.— Я не могу нарушить завет отца. Ты можешь просить у меня что угодно, только не коня!

Батока побагровел. Яростно стукнул богатой тростью о крыльцо:

— Ты — сын нищего и сам нищий — смеешь отказывать мне, князю и старшине аула?!

На крик из дома выскочил Арсланбек. Прибежали Кабанбек с муртазаком Жамбаем.

— Как ты, нищая голь, посмел позорить сына князя?! Кто позволил тебе вырвать у него знамя?! Кормил, поил тебя, щенка, работу давал, а ты, неблагодарный, камни бросать под ноги князю?! Да как ты посмел после этого заявиться ко мне на усадьбу? Неужели думаешь, что дам тебе работу?

Бекболат, до этого стоявший опустив глаза, гордо вскинул голову:

— А я и сам не попрошу! Я не собака!

Мурза чуть не задохнулся от этих дерзких слов. Закричал, обращаясь к сыну и зятю:

— Вы слышали, что он сказал?

— Слышал, отец,— ответил Арсланбек.

— Так чего ж вы стоите? Дать ему плетей! Сечь, пока не лишится чувств! Чтоб знал, как разговаривать с почтенными людьми аула!..

Арсланбек выхватил каму:

— Я распорю тебе живот, грязный шакал!— Сверкая злыми, маленькими глазками, шагнул к Бекболату.

— Убери свою каму, Арсланбек!— закричал Бекболат.— Я не сказал вам ничего плохого. А то, что ты проиграл скачки, в этом никто, кроме тебя, не виноват!

Упоминание о скачках еще больше взбесило Арсланбека.

— Я заткну твою глотку, негодяй!— С занесенным кинжалом он бросился на Бекболата.

Бекболат увернулся, соскочил с крыльца и тоже выхватил каму.

— Арсланбек! Если не уберешь кинжала, буду драться с тобой!

Увидев в руке Бекболата каму, Арсланбек остановился в замешательстве. Бекболат не спускал с него глаз. Он не заметил, как Батока подал знак Кабанбеку и Жамбаю, и те налетели на парня сзади. На помощь им подоспел Арсланбек. Отбиваясь, Бекболат задел камой сына мурзы, поранил ему руку.

— Ах, собака!— Арсланбек занес кинжал, чтобы всадить его обидчику в грудь.

— Не смей!— закричал с крыльца мурза.— Я сошлю его в Сибирь! Пусть он сдохнет там, а в княжеском дворе — слишком много чести! Сейчас же заберите у него Елетпеса и поставьте в конюшню. А его, негодяя, отстегайте и закройте в амбаре, а там подумаем, как с ним поступить!

Глаза Арсланбека радостно заблестели: наконец-то Елетпес — конь, обгоняющий ветер,— будет стоять в отцовской конюшне! Елетпес теперь его собственность!.. Забыв все на свете — и раненую руку, и даже своего обидчика,— Арсланбек бросился к Елетпесу.

— Не трогай коня! Слышишь?!— Бекболат рванулся, но Кабанбек и муртазак Жамбай держали его железной хваткой. Тогда Болат изловчился и вцепился зубами в руку Кабанбека.

— Ах, шакал!— взревел Кабанбек, выхватил каму и рукояткой ударил Бекболата под ложечку.

Земля покачнулась, и Бекболат провалился в какую-то душную, темную яму...

* * *

— Собачьему сыну место там, где не лошадей запрягают, а собак!— орал мурза Батока.— В Сибири останутся его кости! Никогда не увидит он больше эти места!

Старики ямагата — родного квартала Бекболата, — болея душой за сироту, пришли просить для него прощения у мурзы:

— Мы на себя возьмем всю вину сына Алима. Мы ответим за все, мурза. Только пожалей сироту, не ссылай его в Сибирь. Просим тебя именем аллаха! Он же сирота, у него никого нет. Значит, вина за его проступок лежит и на нас тоже...

— Нет!— гордо ответил им Батока.— Он пролил княжескую кровь. Такое не прощают. А если бы его мама задела сердце моего сына? Что тогда? Вы понимаете, что говорите?!

— Так ведь этого не случилось, мурза. Слава аллаху, все благополучно...

— Нет, не все благополучно. Пролилась кровь. Княжеская кровь!

— Вы же взяли Елетпеса — оставьте в ауле сироту, — умоляли аксакалы ямагата.

Нет, не внял просьбам стариков мурза Батока. Невеселым было их возвращение из дома князя. И решили старики, что пока сына Алима не заперли в амбаре, ему надо немедленно покинуть аул. Пройдет немного времени, остынет зло мурзы — надо будет просить снова.

Выслушав это, Бекболат упрямо сжал губы.

— Иначе нельзя, сын Алима, худо будет, если не уйдешь, — говорил Нурыш.— Род мурзы не простит тебе. Даже и в Сибирь посылать не станут — здесь подстерегут...

Бекболат стоял молча (при стариках молодые парни не сидят), молча думал. Наконец еле выдавил:

— Что же делать, надо уходить... Спасибо за совет, уважаемые аксакалы...

— Счастливой дороги тебе, сын Алима!

Я ВЕРНУСЬ, САЛИМАТ

Вечер был тихий, луна еще не показалась, но в темнеющем небе уже тускло мерцали первые звезды. Тихо... Лишь далеко где-то лаяли аульские собаки да доносился шум Кубани.

— Не догадается Камай?— спросил Бекболат.

— Думаю, нет. Пришел, мол, попросить коня, съездить надо в аул Алакай. Если что, выкручусь как-нибудь... А ты иди к балке Тулкили и жди недалеко от дома Камая, у Верблюжьего камня. Ну, я пошел.

— Счастливо, Батырбек!— тихо сказал Бекболат.— Спасибо тебе!— Он готов был обнять, расцеловать друга.

Батырбек скрылся в темноте, он должен был проникнуть во двор к Камаю, увидеть Салимат и сказать ей, что Бекболат ждет...

Долго бродил Бекболат по берегу ручейка Тулкили. Чистая, как слеза, вода, пробегая по каменистому руслу, тихо позванивала у его ног. Уже много ее пробежало, а Салимат все не шла.

Почему ручей называется Тулкили — Лисий? Сколько уж лет утром и вечером гоняет Бекболат через балку Тулкили табун мурзы — и ни разу не видел здесь ни одной лисы. Может, раньше водились здесь? Или называли люди балку по ручью — извивается, как лисий хвост?

Потом Бекболат вспоминает песню о Шора-батыре:

Убил я злодея Алибия,
Сына князя Актаджи.
Нет мне теперь на родине жизни,
Спасая себя, должен скитаться на чужбине...

Горько покидать родной аул, горько расставаться с Салимат...

Нет, не подвел Батырбек: все-таки пришла Салимат! Не пришла, а прибежала, полная беспокойства и тревоги. Похоже, она уже знала все.

— Долго ждешь, Болат? — протянула к нему тонкие, нежные руки.

— Как хорошо, что ты пришла, — тихо ответил парень.

Девушка печально опустила голову на плечо Бекболату.

— Что ты, Салимат? Не надо. Все будет хорошо! Я же не навсегда ухожу! — пробовал он успокоить ее, но Салимат только тихо всхлипывала.

Ничего она не могла ответить, комок слез застрял в горле.

— Что ты молчишь, Салимат? Скажи что-нибудь!

Салимат плакала. И небо над ними хмурилось, окуталось черными тучами. Вот-вот должен был полить дождь.

— Салимат, милая, ну скажи мне хоть одно слово, — просил Бекболат.

Всхлипывая, девушка выдавила:

— Бо-юсь, что не встретимся больше. Боюсь...

И тогда Бекболат заговорил снова — торопливо и горячо. Ему необходимо на время уйти из аула. Но он непременно вернется, вернется во что бы то ни стало! Их ничто не может разлучить, никакая даль, никакие люди, никакие степи и горы, ни пропасти, ни ущелья! Он, как птица, на крыльях прилетит к ней!

Наконец смолк, ждал, что скажет она, а она молчала, и он чувствовал, как неотвратимо находит отчаяние...

— Салимат! — закричал он. — Да скажи же что-нибудь! Перестань плакать! — схватил ее за плечи и встряхнул. — Ну, я жду! Слышишь?!

Она долго смотрела ему в глаза.

— Я верю тебе, Болат... Хочу верить! Но сердце подсказывает — потеряю тебя... Судьба и аллах пошлют нам большое горе... Но я верю, верю тебе... Слышишь, верю! Я понимаю, в ауле тебе нельзя оставаться!..

Он благодарно сжал ее руку.

— Давай поднимемся на скалу Тик-кая, посмотрим на горы, — попросила Салимат. Знала уже, что он укроется в карачаевском ауле, и ей хотелось взглянуть на ту даль, куда уйдет ее милый.

Они смотрели на вершины далеких гор, а над ними нависала тяжелая грозовая туча. Все притихло вокруг — казалось, притаилось в ожидании беды: смолкли птицы, не лаяли вдалеке собаки, даже скалы, кажется, затаили страх перед надвигающейся грозой.

И гроза разразилась!

Хлестал ливень, удары грома сотрясали землю; где-то неподалеку случился обвал, с грохотом катились в ущелье камни... Ручей Тулкили забурлил и вспенился. А они стояли на холме под дождем, ничего не замечая, не разнимая рук.

— Эту зиму проживу в горах, а к лету вернусь. Только жди меня...

— Нет, Болат, надо сказать так: я обязательно вернусь, если на то будет воля аллаха.

Он знал, что это успокоит ее, и повторил:

— Если на то будет воля аллаха.

Она припала головой к его груди.

— Да будет добрым твой путь и не оставит тебя в беде аллах! — горячо прошептала она. — До свидания, мой Болат! Мне пора...

Он помог ей спуститься с мокрой скользкой скалы. Когда ее шаги стихли, Бекболат подошел к ручью: несмотря на холод и дождь, во рту у него пересохло. За-

черпнул пригоршней, напился. Попрошался с родничком, с балкой Тулкили, что так часто давала им приют, и неторопливо побрел домой.

Дождь все шумел, журчал ручей, и в этих звуках слышалось ему: «Смотри не забывай родной край! Тут для тебя каждый обломок скалы — золото, каждый ручей — медовая вода, каждая былинка — хлеб. Нет ничего дороже и священнее отчего дома, родного края. Они породили тебя, они вспоили и вскормили, теперь ты их сын, и твой сыновний долг всегда помнить о них, как об отце и матери...»

В ПУТЬ

Бекболат поднялся рано. Прислушался. Петухи старались перекричать друг друга, наперебой возвещая о скором приходе зари. На заре Бекболат должен был уйти из аула. По совету тетки он направился в горы, в карачаевский аул Карлы, — там жили как будто их дальние родственники. Во всем Кубанлы лишь его аптей (тетка) Кеусар, Батырбек и Салимат знали, куда держит путь Бекболат.

Кеусар уже хлопотала у очага. Над казаном вился парок. Вкусно пахло ногайским чаем.

— Умывайся, Болат. Завтрак готов. Поешь — и в добрый путь, — печально сказала женщина; она присела возле очага и походила теперь на согнувшуюся сухую ветку.

Бекболат быстро умылся и сел за сыпыра, возле тетки.

Пока он ел, Кеусар еще раз объяснила ему:

— Бабушка наша часто говорила, что в Большом Карачае остались родичи. Она же сама оттуда... Ты ее не помнишь, Болат, — она ведь резала твой пуп. Ах, что за человек была, какая хорошая! И как она ушла со света, так и мы все уйдем из этого мира... А люди все дерутся меж собой, все враждуют, все тесен им этот мир... Вот так, Болат... Значит, прямо иди в аул Карлы. Там должны быть наши родичи, спросишь — найдешь.

Бекболат поднялся, снял с гвоздя переметную суму — артпак, вскинул на плечо:

— Что-то артпак тяжелый, аптей, уж не на месяц ли собрала мне харчей?

Кеусар улыбнулась:

— Не мне спасибо говори, Болат,— ямагату. Еще не все, что люди принесли, положила, думала — тяжело нести будет. Каждый хотел чем-то помочь, Болат, твоя беда — беда общая... Там, в сумке, есть круг кыйма¹, ах как хорошо приготовила жена Нуруша! С чесноком, с перцем — кусочек съешь, сразу сытым станешь!

— Спасибо ямагату! — растроганно сказал Бекболат.

— Хорошие люди наши соседи, Болат, в беде всегда помогут, слава аллаху!

— Ну, аптей, прощаемся! Пусть аллах даст тебе здоровье! Жди — через год обязательно вернусь. Разве забуду дом, друзей, аул!

— Пусть твои слова, Болат, дойдут до аллаха!

Болат направился было к двери, но тетка вдруг остановила его:

— Болат, поди-ка сюда... Наступи на очаг...

Бекболат недоуменно поглядел на Кеусар:

— Зачем, аптей?

— Иди, иди, слушай старших!

Бекболат вернулся к очагу, несколько раз наступил сыромятными чувяками на золу.

— Вот так, — одобрила Кеусар. — Зачем, спрашиваешь? Затем, чтоб твои ноги опять ступили на порог родного дома. И где б ты ни был, не забыл бы родной очаг.

— Обычай такой?

— Да, Болат.

— Ну что ж, теперь в путь.

Кеусар прослезилась. Вытирая глаза кончиком платка, сказала:

— Счастливой дороги, мой родной! Да не оставит тебя в пути аллах!

Малохоженой тропой Бекболат быстро шел через балку Мантик. Вдруг впереди в предрассветных сумерках мелькнула чья-то черная тень. Парень остановился, присмотрелся — тень быстро двигалась в сторону гор. «Волк», — подумал Бекболат и тронул рукой каму на поясе.

Волк был далеко впереди, и бежал он на запад, как бы уходя от рассвета, озарившего уже восток. Бекболат провожал его взглядом и думал: спешит — знает, что

¹ Кыйма — домашняя колбаса.

скоро день наступит, вот и убегает. А ты, Бекболат? Ты ведь тоже бежишь из родного аула, боишься, что наступит утро и тебя могут заметить. Почему уходишь из Кобанлы? Как тот волк, что идет впереди, будешь блуждать по белу свету. «Ночью как волк, днем как собака», — говорят люди. Что тебя ждет впереди?.. Однако тут же одернул себя: не время унывать, он уходит, спасая себе жизнь и свободу. Кстати, есть ведь примета: «Если путнику встретится арам¹, то счастливой будет его дорога». Может, это и есть его счастливая дорога?.. И он пошел по тропинке, которой только что пробежал волк...

Узкая, извилистая тропинка тянется в горы. По ней шагает человек, спешит до рассвета оставить земли аула Кобанлы. И спешат в его голове, сменяя друг друга, невеселые мысли. Вот сейчас ты, Бекболат, бежишь из родного аула, бежишь от мурзы Батоки, оставив в его конюшне верного Елетпеса. Убегаешь, спасая себя... Трус ты, Бекболат, или нет? Надо хорошенько подумать. Наверное, и трус и не трус. Надо было не ранить молодого мурзу, надо было насмерть ударить камой.

«Вот тогда я вполне отомстил бы за отца проклятому княжескому роду! Вот тогда я выполнил бы сыновний долг, и побег из родного аула был бы оправдан. А сейчас я спасаю только свою жизнь. Нет, нет оправдания моему побегу. Надо было заколоть хотя бы одного из них, вот тогда и бежать из аула не жалко было бы. А теперь...»

Восток светлеет, пробуждается степь, слышится щебет птиц.

Все больше и больше света льется на землю, тьма убегает куда-то на запад. Вон впереди уже виден лес и ущелье Шайтан. И тут Бекболат вспомнил рассказ, слышанный в ауле.

Однажды старик по имени Бутай возвращался из другого аула домой в Кобанлы. Вечерело, и сумерки застали его в балке Шайтан. Вдруг впереди — большая свадьба. Играет музыка, в одном месте пьют, в другом танцуют. И выбегают навстречу Бутая два-три человека из этой толпы: «Откуда едешь, Бутай? Как хорошо, что завернул к нам на пир! Слезай с коня, почтенный Бутай, отведай наши кушанья, нашу бармажи, потанцуй

¹ А р а м — зверь, мясо которого нельзя есть.

на нашей свадьбе. Будешь нашим кунаком, почетным из почетных! Просим, Бутай!..»

Не смог устоять Бутай, свернул с дороги, слез с коня — и стал гостем на свадьбе.

Сперва Бутаю уступили место в круге танцующих как кунаку, его просили танцевать с первой красавицей. Бутай танцевал, а хозяева хлопали в ладоши и ласково приговаривали:

Шапка твоя из бурого барсука,
Сам ты — Бутай из аула Кобаилы,
Танцуй, Бутай, с нашей красавицей,
Танцуй — и старость свою прогони!..

Бутай танцевал вовсю: кружился, как молодой джигит, задирая голову вверх и кричал громко: «Эй, ас-са!» Как же было ему не кричать, когда рядом плыла самая красивая девушка, — таких бедный Бутай и во сне не видывал. А когда он устал танцевать, усадили его за богатый стол, начали угощать.

Взял Бутай в руки ложку и, как обычно, перед едой помолился: «О бисмилла!» И вдруг все исчезло. Бедный Бутай протирал глаза, не ведая, что с ним. Вокруг — глубокая ночь, он в ущелье, сидит на траве, перед ним куча конского навоза, а невдалеке привязана к какому-то кусту его лошадь. Бутай от испуга вспотел и, приговаривая в страхе «бисмилла, бисмилла», унесся с проклятого места таким галопом, что, будь дело на скачках, далеко за спиной оставил бы всех молодых...

В ауле и по сей день не забывают люди происшедшее с Бутаем, передают в рассказах.

«Бисмилла», — произнес на всякий случай и Бекболат, приближаясь к ущелью Шайтан, и, чтобы рассеять грустные мысли, тихонько запел:

Алалай, алалай, алалай,—
Алалай увеселит душу!
С песнею день укоротится.
День-то уйдет, но уйдет ли грусть?..

Извилистая дорога уходила в горы. Ночь минула, наступил день, и песня Бекболата громче зазвучала в пустынном ущелье:

Горы, степи и долины —
Заблудился белый марал.
На земле одинокий путник —
Ищет, не найдет свою дорогу...

Дорога поднималась все выше и выше. Места пошли горные, суровые — камни, скалы, пропасти. Воздух сделался холоднее. Небо спустилось ближе к вершинам гор, а высокие горы, казалось, подпирают синее небо.

«Не дорога к путнику — путник к дороге приспособляется», — говорят ногайцы. Так вот, приспособившись к дороге, спешил Бекболат в горы. Спешил навстречу новой своей судьбе. Что его ждет там, вдали, какая это будет судьба, он не знал. Шел в неизвестное. Но понимал: прежняя жизнь его, батрака и раба мурзы, кончилась, возврата к ней нет.

ВСАДНИК НА СЕРОМ КОНЕ

Бекболат шел в горы уже третьи сутки. Каменистая узкая дорога, извиваясь, поднималась все выше и выше. Ущелье сделалось уже, почти рядом с дорогой стремительно несла свои воды Кубань. В этих краях она неширокая и быстрая. Местами над водой торчали, как островки, большие валуны, когда-то сорвавшиеся с прибрежных скал, — вода постепенно сглаживала их угловатые формы. В реку вливались прозрачные ручьи. Шум воды заполнял ущелье.

«Вот ты здесь какая, Кубань! — радостно думал Бекболат. — Как необузданный и строптивый конь, одичавший на воле!» Далеко позади остались мурза, Кабанбек, муртазаки, вся прежняя несвободная жизнь. А здесь, в горах, сам воздух, казалось Бекболату, пропитан был духом вольности.

«Иди вверх по Кубанскому ущелью, — сказали Бекболату люди. — Там, в верховьях, увидишь аул Карлы».

Бекболат поднимался по ущелью. Дорога была пустынная, лишь изредка попадались груженые двухколесные арбы да спешили верховые. Встречные заговаривали с парнем, желали ему доброго пути.

Дорога местами делалась совсем узкой, так что едва могла проехать арба. По всем приметам и по рассказам людей сегодня к вечеру Бекболат должен был уже достичь Карлы. И он спешил.

Снежные вершины гор казались теперь особенно близкими — Бекболат думал, что, может быть, сегодня он окажется под ними — ведь аул, куда он направляется, расположен у самого подножия снежных гор. К середине дня солнце согрело ущелье, стало теплее. Бекболат, порядком уставший за три дня подъема, решил пе-

редохнуть — присел у небольшого камня, развязал сумку — артпак, достал домашнюю колбасу — кыйма — подарок матери Батырбека. Вдруг до его слуха донесся стук копыт. Парень осмотрелся, но ничего не увидел. А звук слышался все отчетливее, приближался. Бекболат обратился к глубокому темному ущелью, откуда теперь ясно долетал цокот копыт. Вдруг раздался выстрел — и ущелье громко откликнулось эхом. Из ущелья выскочил всадник на сером коне, повернул на дорогу, по которой поднимался Бекболат, промчался было мимо, но, увидев парня, натянул повод.

Лошадь его была в мыле, всадник — молодой джигит в большой черной панахе, — задыхаясь, крикнул:

— Парень, за мной погоня! Лошадь моя устала, сам ранен в руку... Сейчас ты один можешь мне помочь! Я скроюсь в том лесу, а ты скажи погоне, что поскакал вверх в горы, по тропинке... Я сделал праведное дело — убил большую сволочь, муртазака, обидчика нашего аула... Праведное дело! Если не раб в душе, если мужчина — помоги! Долго мне нельзя стоять, парень, живы будем — встретимся, у аллаха дней много! До встречи... — Всадник отпустил повод, и серый конь устремился вперед, чувствуя приближение погони.

Не успел Бекболат опомниться, как из ущелья стрелой выскочили трое всадников, огляделись, как голодные волки, и один, заметив Бекболата, ударил свою лошадь плетью, направился к нему. Бекболат сидел спиной, опираясь о камень, смотрел на всадников. Первый, в черной бурке, черный лицом, придерживая горячего скакуна, крикнул:

— Эй, парень, какой дорогой ушел тот, на сером коне?!

Бекболат не торопился отвечать.

— Чего молчишь, собачий сын? — заорал черный всадник, наезжая на него лошадью.

— А ты его плеткой, Муслим, тогда живо заговори! — посоветовал другой, худощавый и длинный.

Черный поднял руку с плеткою:

— Ну! Язык проглотил?

Бекболат, увидев, что тот и в самом деле может его ударить, ответил:

— Какой-то человек был на той тропе...

— Говори громче, парень! Что, с утра ничего не ел, что ли?

— Да, не ел, агай.

— Ну и куда же он поехал? — вмешался высокий всадник.

— В горы, — ответил Бекболат и для верности показал еще рукой.

— Наконец-то! — Черный Муслим повернул лошадь на тропу, уводившую в горы. За ним поскакали другие.

«Хоть немного задержал их. Хорошо, что поверили. А теперь пусть догоняют ветер! — подумал радостно Бекболат. — Но этот парень, за которым гнались, — он настоящий джигит, смелее меня! Убил муртазака, не побоялся, не дрогнула рука. И мне так надо было... Ну да ладно, выпадет случай — не промахнусь! Рука у меня твердая... Но этот парень — джигит из джигитов! Хорошо бы товарища такого... Куда же он делся?»

Преследователи скрылись за горой. Бекболат выжидающе смотрел на лес, куда спрятался всадник на сером коне. Лес стоял густой, темный. Бекболату казалось, что вот-вот покажется из леса беглец, скажет мужское «спасибо», назовет имя. Но всадник так и не вышел...

В Карлы Бекболат пришел поздним вечером. Аул погружался в сон. В такое время нечего было и думать найти своих родичей в незнакомом селении; Бекболат хорошо это понимал и в нерешительности остановился у крайней сакли...

Как быть?

Вдруг до слуха его донеслись голоса. Бекболат напряженно всматривался в темноту. Голоса приближались. Он понял, что идут мужчины, кажется, немолодые. И пошел навстречу.

— Кто это шатается в такое время? — удивился один из стариков, заметив Бекболата.

— Мисапыр, добрый странник... Только сейчас вот, так поздно добрался до вашего аула. — Бекболат говорил на ногайском языке. Он знал, что карачаевский язык близок к ногайскому и карачаевец хорошо поймет его.

Встретившихся было трое. Они подошли ближе к парню.

— Видно, не из наших мест, — сказал один.

— Откуда идешь, мисапыр? — спросил старческий голос.

Бекболат прочистил горло и ответил:

— Я из Ногаи. Иду сюда, в Карлы. Здесь есть мои родичи.

— А кто же они? — удивился третий, моложавый голос.

— Батчаевы. Есть такой — Абдуллах Батчаев. Сам я из них никого не видел, знаю по рассказам тетки.

Люди подумали, поговорили друг с другом.

— Да, есть такой мельник Абдуллах. Кто его не знает в Карлы? — заключил старик. — Только вот что, путник. Абдуллах живет в другом конце аула. Далековато. Заблудишься, пожалуй.

— Попробую найти...

— Знаешь, парень, — предложил вдруг старик. — Давай-ка ты лучше ночуй у меня, а утром найдешь родичей. За ночь никуда не денутся. Время-то позднее...

— Да, да, Башир правильно говорит, — поддержал его второй голос. — Утром пойдешь. Куда тебе ночью!

Бекболат стоял в нерешительности.

— Пошли, пошли, мисапыр! Я плохого не посоветую, — еще раз позвал старик.

Бекболат решил, последовал за ним, и вскоре они вошли в небольшую бревенчатую саклю.

Бекболату как гостю предложили почетное место — тёр. Пожилая женщина, жена хозяина, начала хлопотать у очага, где в поленьях весело плясало пламя, а на цепи висел закопченный казан.

Бекболат незаметно огляделся. Обстановка почти такая же, как в ногайских саклях: большая плетеная труба, цепь — лакшин, на ней подвешен казан, сыпыра, низенькие скамеечки.

— Сейчас угощу вас горячей мамалыгой и айраном, — сказала женщина.

А хозяин сакли тем временем расспрашивал Бекболата о жизни, о новостях, о ногайцах.

— Вот, думаю, агай, — сказал Бекболат, — погостить здесь, а может быть, и останусь. Ведь там у меня ни матери, ни отца. Один, у тетки живу.

— Ох, бедненький! — вырвалось жалостливо у женщины, до этого она молчала, не мешая беседе мужчин.

Бекболат ел горячую мамалыгу с сыром, запивал айраном.

А женщина, сидя у очага, незаметно рассматривала парня.

«...Много слышала о них, о ногайцах, да самих-то видеть не приходилось. Оказывается, язык их почти

наш. Все можно понять, — думала она. — А парень красивый и добрый, кажется. Какая жалость, в таком возрасте остаться круглым сиротой и скитаться по чужим аулам!..»

— Кушай, парень, кушай, — угощал хозяин.

Бекболату постелили в кунацкой — комнате для гостей.

Так встретил аул Карлы Бекболата.

РАЗГОВОРЫ В КОБАНЛЫ

Исчезновение Бекболата вызвало много толков в его родном ауле. Куда он подевался, никто не мог сказать. И вот аулчане — кто вслух, а кто и шепотом, затаив дыхание, рассуждали о судьбе юноши, который исчез, пропал — один аллах ведает куда. Какие только слухи не ходили по аулу!

Первыми заговорили об уходе Бекболата его соседи по ямагату — говорили с болью в сердце, желали ему, где бы он ни был, счастливых дорог, здоровья и безопасности. Потом уж, следом за ними, начали высказываться аулчане других ямагатов.

— Род мурзы выжил из аула бедного парня. Что теперь будет с ним? — рассуждали одни. — Сирота ведь, кто поможет ему?

— Хоть как говорите, а парень сам виноват. Где это видано: с камой кидаться на сына мурзы! А если б убил? — возражали другие. — Тогда несдобровать было бы всему аулу...

— Разбойник он, да род мурзы рано или поздно найдет его, упрячет в Сибирь. Будет там землю долбить, собак запрягать в сани. Сам по-собачьи будет жить, — судачили сторонники мурзы.

Ходили и страшные слухи — их передавали шепотом:

— Думаете, куда исчез парень? Нет, нет, его, бедного, просто тайком от народа зарезали Батока и Кабанбек. Вся власть в их руках — пойдешь докажи. Только аллах может навести на след. Только аллах накажет убийц...

Бурлили слухи, подобно водам Кубани, разливались по Кобанлы. Одно во всей этой истории поражало и утешало простых аулчан, одним они гордились: шутка ли — бунтовать против знаменитого, неприступного рода мурзы Батоки. Да еще поранить камой самого моло-

дого князя! Неслыханное дело! Только в старинных песнях да сказках батыры убивают злых ханов, а в жизни до сих пор никто из аулчан — седобородый ли старик, безусый ли парень — не видел, чтобы кто-нибудь осмелился нанести оскорбление роду мурзы. А он, сын табунщика Алима, он пролил княжескую кровь! Разве это не унижение рода мурзы, разве это не в гордость простому народу? Неслыханно! Джигит из джигитов, батыр — сын Алима!..

Как теперь показаться на люди гордому, чванливому сыну мурзы Арсланбеку? Что скажут аулчане? Ведь станут в душе посмеиваться над ним, сочувствовать Бекболату. «Трус ты, Арсланбек, и получил по заслугам! Куда тебе до юного табунщика! А Бекболат — джигит. Тебе, Арсланбек, не шапку бы носить на голове — мамин платок...»

Не настолько уж глуп был Арсланбек, чтобы не понимать всего этого. После того как ранил его Бекболат, он не выходил из дому, беспокойно расхаживал по комнате, думал о происшедшем.

Батока сразу же послал людей в станицу Беломечетскую за лекарем. Рана была неглубокая. Русский фельдшер, пожилой и опытный, аккуратно перевязал руку молодого мурзы и успокоил его: все быстро заживет. Затем добавил, обращаясь к самому Батоке:

— Рана несерьезная, похоже, случайная, — и не стоит всерьез относиться к ней.

Он хорошо понимал, что род мурзы будет жестоко мстить парню, ранившему молодого князя.

Но мурза и внимания не обратил на слова лекаря...

Рана Арсланбека хорошо заживала, но он и с перевязанной рукой не выходил со двора, стеснялся показаться аулу. «Нет, нет, такого унижения я своему рабу не прощу», — твердил он себе. А когда узнал, что Бекболат исчез из аула, в злобе не находил места. Упрекал отца в медлительности. Кричал на Кабанбека, почему тот не посадил сразу же в подвал этого сына собаки...

— Кто ж знал, что он так быстро исчезнет? — оправдывался Кабанбек.

— Теперь его не найти...

Но больше всех переживал унижение своего рода сам старый мурза. Когда и кто в ауле видел или слышал такое? Никто и никогда! Он приглашал к себе зятя Кабанбека, советовался с ним, давая понять, что его, Кабанбека, гордость тоже должна быть уязвлена. Кабанбек

молча, угрюмо слушал речи мурзы. Конечно, ему наплевать было на беспокойство Батоки. Подумаешь: поцарапали Арсланбека! Да кто он ему — всего-навсего брат нелюбимой жены! Даже неплохо, что попугали Батоку, а то больно уж высокомерными стали что-то мурза и Арсланбек; случалось, смотрели на Кабанбека сверху вниз, — что ж, что он не князь родом! А сейчас, в последние дни то есть, сразу начали обращать на него внимание — зауважали, значит. Мурза часто приглашает на совет, спрашивает его мнение. Вероятно, ищет себе поддержку... Мурза рассказывает, а Кабанбек слушает, только изредка важно роняя слова.

Вот и сегодня ведут они разговор о жизни.

— Что, зять, — вдруг резко обратился к Кабанбеку мурза, — молчишь, а? Слышал, в горах убийство — говорят, муртазака зарезали.

Кабанбек задумчиво ответил:

— Может, болтают еще. Хотя, с другой стороны, время такое, поганое какое-то время... Может, и не болтают...

— А нам-то срам! Срам, говорю, нам! Опозорил нас паршивый сын кула...

— Да, время какое-то сейчас сомнительное, если б не такое время, мы б его из-под земли достали. — Кабанбек лениво вздохнул.

— Что правда, то правда, — плохое время. Каждый день приносит какую-нибудь неприятность. Это мужики разносят новости по аулам. Языки бы им поотрезать тупым ножом! Ни одного бы не пускать в аул! Гнать в три шеи! Ох-хо, да как же не пускать, как же гнать-то? Время не то. Вот-вот, не то время, не то...

— Куда уйдет этот голодранец? Где-то в соседних аулах прячется, я думаю. Недалеко где-нибудь, — сказал Кабанбек, успокаивая мурзу.

Батока тяжело вздохнул. Недовольно нахмурил брови.

— Да, надо было этого негодяя, как отца, без лишнего шума... и делу бы конец. И нам бы спокойнее...

— Надо было, надо было! Что ж сейчас-то о прошлом... Упустили! Не зря же говорят, что ногаец задним умом крепок, — зло усмехнулся Кабанбек. — Но уж если еще раз встретим, не упустим!

— На тебя вся надежда, зять, — хитро улыбнулся мурза, давая понять, что больше, чем на сына, надеется он на Кабанбека, на его силу и ум. — Надо будет объ-

ехать всю округу, отыскать его следы. Может, кто-нибудь знает о нем, встречал. Надо искать. Надо мстить. Если мы этого не сделаем, то они, кулы, перестанут бояться нас. Понимаешь меня, зять? Один раз спусти, а там пойдет... Слышал, что в русских имениях делается?

Кабанбек кивнул:

— Надо искать, мурза. Я пошлю людей и сам кой-куда съезжу.

— Только быстро.

Так весть о побеге сына Алима Бекболата вышла за пределы аула Кубанлы.

АУЛ КАРЛЫ

Днем Бекболат хорошенько разглядел аул, давший ему пристанище. Приземистые сакли разбросаны по сторонам шумливой речушки. Через речку нет ни дощатых, ни канатных мостков — переправляясь, люди прыгают по валунам, — их так много, что порой не замечаешь воду, журчащую под ногами. Эту небольшую речушку местные жители считают истоком Кубани. С трех сторон — с востока, юга и запада — аул обрамлен горами-великанами. Сакли в большинстве срублены из леса, не саманные, как в Кубанлы. Два-три дома наберется особенно добротных — просторные, под железной крышей. Это дома аульных баев. Есть и мечеть с высоким минаретом.

Карлы в переводе на русский язык означает «Снежный». Наверное, зимой здесь очень много снега, думает Бекболат, иначе аул не назвали бы так. Даже сейчас, когда до зимы еще далеко, вершины гор на юге покрыты снегом. Солнце не сразу заглядывает в аул. Пока оно поднимется над горою, время подходит к обеду. А там уж солнышко спешит скорее спрятаться за другую гору. На склоны, сжимающие ущелье с востока и запада, из аула тянутся тропинки, по ним на альпийские пастбища рано утром поднимается скот...

Бекболат осматривал аул со двора своего родственника, мельника Абдуллаха.

Сакля Абдуллаха стояла в южном, высоком конце аула, возле самой речки. Речка была его кормилицей. День и ночь прислушивался он к шуму воды. «Раз река шумит, крутится колесо моей мельницы», — говорил старый Абдуллах. Речка шумела, вращалось деревянное

колесо маленькой мельницы, каменные жернова неторопливо перемалывали кукурузные зерна. Абдуллах всегда ходил выпачканный в муке, как будто напоминая аулу, что он мельник, что именно от его стараний зависит качество гыржина — кукурузного чурека по-карачаевски.

Утром старый Башир привел Бекболата к маленькой мельнице и сказал:

— Дорогой Абдуллах, принимай дорогого кунака из Ногаи!

Мельник, весь в муке, даже борода, длинные усы и ресницы белые, удивленно смотрел на парня.

Бекболат, рослый, краснощекий, широкоплечий, в черной барашковой шапке, тоже разглядывал мельника. Они никогда не видели друг друга.

Башир продолжал:

— Твой родственник, говорит. Вчера поздно вечером встретил его, оставил почевать у себя.

— Из Кубанлы? — спросил наконец мельник, что-то соображая.

— Да, агай.

— Сестра нашего отца, чтобы душа ее была в раю, вышла в Кубанлы замуж за Оракова.

— Да, да, агай, — подтвердил Бекболат, — за старшего дядю моего отца. Эта бабушка резала мой пуп.

— Да ну? — удивился мельник. — Вот оно как!.. Родственники, значит. Ну сейчас ко мне домой пойдем.

— Ничего, агай, вы работайте, я подожду...

— Нет, зачем! Моя работа и без меня сделается. Вот засыплю в ящик два мешка кукурузы, и пусть мелются часа три... А дом-то мой — он вот, рядом. — Абдуллах подошел к дверям мельницы и показал рукой в сторону неказистой сакли.

Через некоторое время Абдуллах и Бекболат уже сидели в сакле, и мельник рассказывал жене о сестре своего отца, которая вышла замуж за дядю отца Бекболата. А сам Бекболат сидел задумчивый и не знал, как объяснить Абдуллаху, почему он покинул родной аул. Но мельник об этом не спрашивал.

Только вечером, остановив мельницу, старик не спеша расспросил парня обо всем. Бекболат ничего не скрыл.

Абдуллах слушал невеселый рассказ парня, понурился, вздыхал.

— Так устроен этот мир, сынок,— заключил он грустно.— Власть в руках богатых, а что мы против власти? Но, думаю, о том, что ты здесь, они не пронюхают. Поживи у меня, а дальше видно будет. Пусть аллах поможет нам!

— Спасибо, агай!— радостно поблагодарил мельника Бекболат.— Но я не привык сидеть сложа руки...

— Не беспокойся, Болат,— протянул мельник с усмешкой, теребя длинный белесый ус, с него посыпалась мучная пыль.— Отдохни немного, работу мы тебе найдем.

— Я же не маленький, агай, не по мне сидеть без дела.

— Ну хорошо. Холода на носу, надо дров на зиму наготовить. Потом на мельнице мне поможешь. Договорились?

— Договорились, агай.

Так началась новая жизнь Бекболата.

МЕЛЬНИК АБДУЛЛАХ

Медленно тянулись дни в ауле Карлы. Бекболат все никак не мог привыкнуть к новому месту, к холоду, к незнакомым людям... Люди здесь казались ему суровыми, не такими дружелюбными, как на его родине. Лишь один Абдуллах говорил с ним по душам, остальные, казалось, были сумрачны и необщительны. В эти дни Бекболат часто вспоминал своих аулчан, своих друзей. Перед его глазами вставала и Салимат, печально опускала голову, будто упрекала: мол, оставил ее одну. Молчала, ничего не говорила. Бекболат очень хотел услышать ее голос, но она молчала. И парень грустил...

Вспоминал своего Елетпеса. Как он там без него? Тоже, поди, скучает. Был бы сейчас рядом, все бы легче...

Мельник Абдуллах спрашивал:

— Что, сынок, замечтался? Скучаешь у нас, да?

Бекболат молчал, не хотел обижать доброго человека. Абдуллах видел, что парню тяжело сидеть без дела, и звал его с собой:

— Пойдем на мельницу, поможешь мне.

— Пойдем,— радовался Бекболат.— А то дома засохнуть можно.

На мельнице Бекболат помогал наводить порядок, убирал, чистил, смотрел за подъемом воды, таскал меш-

ки. Абдуллах готовил новые жернова — на смену старым, отслужившим свое. Часами сидел, обтачивал камень.

Так, однообразно, в работе и в тоске, тянулись дни Бекболата. Тянулись, пока не случилось неожиданное.

Дело было вот как. Однажды он спал возле мельницы, расстелив бурку у стога сена. Вдруг до его слуха донесся слабый цокот копыт. Бекболат сразу же проснулся, приподнялся на локте, внимательно прислушался. Он вырос с лошадьми и по стуку копыт мог отличить, что за всадник приближается — джигит или просто случайный ездок. Еще отец учил его, что у хорошего коня и цокот копыт должен быть четким и звучным. А у доброго коня и хозяин должен быть неплохой...

Бекболат слушал и по цокоту копыт уже твердо мог сказать, что всадник направляется к ним, на мельницу. Конь отличный, значит, и всадник — джигит.

«Что за гость в такой поздний час?» — встревожился он.

Стук копыт утих возле мельницы, и сразу, будто его окликнули, вышел Абдуллах. Гость и хозяин поздоровались в темноте, потом вошли в мельницу. Бекболат притворился спящим.

Ночной гость и Абдуллах беседовали возле работающих жерновов, поэтому Бекболат не мог разобрать сказанное. Между тем разговор их был необычен.

— Оллахый, все хорошо! — Всадник еще и почмокал — видно, совсем уж хорошо. — Все живы. Аллах дорогу откроет и надежды не оборвет, заживем на славу. Деньги есть, на деньги провизию можем выменивать. Недавно еще человек пришел. Вся надежда, Абдуллах, на тебя!

— Махсуд, верь мне, все сделаю для вас! Мука есть, берите сколько надо, — дружески отвечал Абдуллах.

— А что у тебя за человек? — спросил приезжий.

— Родственником приходится, парень из Ногаи. Бежал от мурзы...

Бекболат так и не понял, что это за ночной гость был, а спросить у Абдуллаха почему-то не решился.

Второй раз незнакомец появился тоже ночью, близко к рассвету. Небо уже посветлело, и кое-где в ауле слышен был лай собак. Бекболат вдруг проснулся, и на этот раз он услышал разговор Абдуллаха с приезжим джигитом. Гостя звали Махсуд. Он спрашивал хозяина мельницы (говорили по-карачаевски):

— Не пора ли нам своего князя побеспокоить?

— Нет, нет... — испуганно возражал Абдуллах. — Нельзя, опасно...

«Да уж не абрек ли это?» — подумал Бекболат.

— Спускались к казакам, — продолжал Махсуд, — теперь и лошадей и оружия в достатке. Коня этого оставлю, Абдуллах, у тебя. Днем запирай, ночью пусть пасется возле аула. Придет час — понадобится...

— Нет! Нашего князя нельзя, — продолжал Абдуллах, — тогда весь аул пострадает, тем более что все знают, из каких семей кто в абреках.

«Точно, абреки!» — поразился Бекболат.

Разговаривали и на этот раз недолго, вскоре гость покинул мельницу. Уже рассвело, но солнце еще не всходило. Было прохладно, даже холодновато, не как у Бекболата на родине. Выпала обильная роса.

Бекболат поднялся и отправился умыться к речке.

Абдуллах встретился ему возле ворот.

— Что, сынок, так рано проснулся? — спросил, будто сам только что встал.

— По утрам холодно стало, агай, не могу долго спать.

— А я вот ворота пришел посмотреть, шум какой-то слышал, и собаки лаяли.

— Я тоже, Абдуллах-агай, слышал шум, — с улыбкой сказал Бекболат.

Мельник посмотрел на него испытующе, но Бекболат опять не решился расспрашивать: зачем ему лезть в чужие дела?

Весь день мысли об абреках не давали ему покоя... «Ведь Абдуллах такой человек, — с плохими не станет связываться, зачем же ему абреки? Но, может, все же тот, кто приезжает ночью на мельницу, вовсе не абрек? — думал парень. — А может быть, и абрек, как знать? И тогда, значит, Абдуллах-агай заодно с ними. Он ведь дает им муку. Наверное, берет с них хорошие деньги. А за деньги иной человек способен сделать все. Как не любил таких мой отец! Всегда говорил, что деньги — враг человека, легко соблазняют слабого, могут толкнуть на грешные дела. Но Абдуллах-агай — неужели он может соблазниться деньгами? Нет, здесь что-то другое... Что же?»

Мельник Абдуллах не знал о тревожных мыслях парня. Он жалел сироту и в душе радовался его приезду. В Бекболате видел Абдуллах своего сына Ахмета —

таким же вырос бы, да умер от тифа, многих скосило тогда в Карлы. Не жалел тиф ни стариков, ни молодых. Лучше бы увел в могилу его, старого, а не мальчишку Ахмета. Выжил бы — сейчас уже сделался бы помощником отцу, а он, старый, больше отдыхал бы, молился бы чаще аллаху...

Мельник смотрел с грустью на Бекболата, а потом плевал через плечо, чтобы не сглазить парня.

«Остался бы он у меня, сделался бы мельником, как я, стал бы мне сыном, — мечтал Абдуллах. — Парень-то он толковый, да и сирота — куда ему деваться? Жил бы здесь, женили бы мы его...»

Бекболат, в свою очередь, жалел старика — знал об умершем сыне.

По ночам больше никто не приезжал. Бекболат перестал тревожиться и однажды осмелился спросить Абдуллаха об абреках:

— Я слышал, в горах есть абреки?

Они обедали, и спросил Бекболат как бы невзначай. Абдуллах внимательно посмотрел на парня:

— Говорят... Всякое говорят...

— Чем они занимаются? На мирных людей нападают?

— Те, что в наших горах, они аулчан не трогают. Только баев и князей... — спокойно объяснил Абдуллах. — Абрек абреку рознь.

— Да ну? — удивился Бекболат. — Неужто такое бывает?

— Что ж тут удивительного, сынок? Конечно, абреки бывают разные. Одни ушли из родных мест поневоле — вот как ты, бежали от баев и мурз, но есть и такие, конечно, что ищут разбойничьей жизни, не хотят работать, хотят отбирать. Все же большинство бежало от несправедливости, я думаю. Жизнь-то, сам видишь, какая...

Бекболат допытывался:

— Но почему ж именно в абреки, агай?

— А куда им еще деваться, если мурзы их — в суд да в Сибирь!

— Как меня мурза Батока?

— Может, и так, сынок. Хотя ты-то ничего не сделал такого, за что ссылают.

ПРОЩАЙ, КАРЛЫ...

Старый мельник вот уж третьи сутки в тяжелом раздумье.

«Куда же спрятать его? Да и то — день буду прятать, другой, но не держать же его без конца в подземелье! Что делать?» Мысли не давали покоя, тревожили сердце...

Три дня назад приходил муртазак Каншау и тихо, с оглядкой, рассказал новость — страшную новость для него, Абдуллаха. Мельник не верил своим ушам, все переспрашивал муртазака.

— Слышал, своими ушами слышал, оттуда, с Ногаи, пришла весть — какой-то мурза ищет парня, который хотел убить его сына. Убить не смог, но вроде поранил. Теперь несдобровать этому парню. Должен быстро покинуть аул, а то от нашего старшины доброго не жди. Арестует и отправит к ногайскому мурзе. И тот мурза, и наш мурза — они родня по крови. Только ты обо мне ни слова, а то вместо этого парня — меня...

Эх, до чего ж ты жестокая, жизнь! Так радовался Абдуллах, так благодарил аллаха — и у него сын, и он на старости лет нашел опору! И вот что вышло!

Как рассказать все это Бекболату?

Бекболат видел тревогу Абдуллаха, но не осмеливался спросить, в чем дело.

Вечером старый мельник с болью в сердце рассказал все Бекболату. Парень нервно дернул плечом и стал ходить по сакле взад и вперед.

— А как они могли сообщить?

— Очень просто. Ваш мурза послал человека к нашему. Очень может быть, что не только к нашему. И, может быть, тебя стерегут даже на дорогах...

— Что же мне делать, агай?

Абдуллах долго не отвечал. Он и сам весь день думал об этом. Наутро он велел Бекболату спрятаться у своего родственника, который пас скот недалеко от аула. А сам раздумывал, как поступить с парнем. И лишь на третий день пришел к решению — надо Бекболату уходить к абрекам. Только к абрекам. Иначе род мурзы не оставит его в покое. Это спасет парня от преследований и сохранит жизнь. Пусть идет к абрекам, другого выхода нет. А после видно будет.

Прежде чем говорить с Бекболатом, мельник посоветовался со знакомым абреком — с Махсудом, который

и сам недавно бежал в горы. Махсуд спросил разрешения у предводителя, атамана абреков. Когда все было решено, Бекболата вызвали с пастбища и мельник рассказал ему об абреках и возможности временно укрыться у них.

Бекболат не растерялся. Он ждал чего-нибудь подобного. Если ищут по-настоящему, надо хорошо спрятаться. Сейчас это главное. Зато теперь он сможет отомстить Батоке, вернуть себе Елетпеса...

— Что поделаешь, сынок, — закончил Абдуллах, — такую судьбу посылает тебе сам великий аллах.

Махсуд явился далеко за полночь. Моросил дождь.

Он вошел в саклю — и Бекболат впервые увидел его. Увидел — и вздрогнул от радостной неожиданности: перед ним был тот самый беглец на сером скакуне, которому он спас жизнь по дороге сюда. Решимость его укрепилась — уже не так страшно было уходить в неведомое. Хоть один защитник да будет. Но Махсуд не узнал его сразу, не до того было тогда, на дороге, чтобы разглядывать...

— Счастливого пути, сынок! — Абдуллах проводил Бекболата со слезами на глазах. — Не забывай нас, проведай, коли сможешь...

Бекболат, оборачиваясь, долго еще видел маленькую мельницу, одинокую на берегу шумливой горной речки. Он знал, что там, возле мельницы, стоит и провожает взглядом их, двух ночных всадников, одинокий старый человек.

Прощай, Карлы, прощай, Абдуллах-агай!..

АБРЕКИ

Бекболата разбудил чей-то разговор перед кошем, и на мгновение ему представилось, что сейчас лето, он с табуном в горах, у поляны Аю-шапкан, и вот заснул в пастушьем коше... Но тут же он вспомнил все — где он и чьи разговоры слышит.

Один из голосов, глуховатый, показался ему знакомым. Он прислушался... Да это тот длинный абрек — вчера все угощал его шашлыком и мамалыгой, прямо заставлял есть... О чем говорили — не разобрать было. И что за разговоры среди ночи? Или уже не ночь? Бекболат повернулся, глянул в открытый проем коша, но виден ему был лишь далекий край неба и неяркая звездочка на нем. Бекболат хотел узнать время, но это была

незнакомая звезда, не Большая Медведица, а он только по ней научился определять ночью время, по другим звездам не умел. Все же было ясно, что до рассвета осталось немного.

Разговор снаружи утих. «В другой кош зашли, наверное», — подумал парень. Сон не шел, и он начал вспоминать вчерашний день — день приезда сюда, в стан абреков.

— В добрый путь, сынок, — сказал старый мельник, провожая его. — Пусть твоя дорога всегда будет счастливой.

Бекболат немного растерялся, потом собрался и тихо ответил:

— Не забыть мне, агай, вашу доброту.

На глазах Абдуллаха блеснули слезы.

Абрек осмотрел парня с головы до ног. Крепкий, здоровый, плечи широкие. Сказал:

— Ничего, выдержит.

Выехали, когда по аулу наперебой кричали вторые петухи.

Бекболат долго оборачивался назад, пока не спрятался Карлы в глубоком ущелье. Сперва ехали по дороге вдоль реки, потом свернули в небольшое ущелье.

— Так лучше, — только и сказал Махсуд.

Бекболат промолчал.

Ехать было трудно, тропинка узенькая, малохоженная. Когда солнце поднялось над горами, абрек предложил:

— Чуть закусим, хлеб-сыр есть. — Он потрогал переметную суму из грубой шерсти.

Бекболат кивнул. Абрек вовсе не казался Бекболату грозным разбойником, на лице его часто появлялась улыбка.

Махсуд соскочил с коня, вытащил припасы, аккуратно расстелил суму на сухой траве.

Новые товарищи с аппетитом поели, потом спустились к ручейку и запили угощение родниковой холодной водой.

— Садись, поехали, браток, — распорядился Махсуд, — потом отдохнем, сейчас некогда.

Абрек на сером коне и Бекболат — будто они вот так вдвоем ездили всю свою жизнь — все дальше углублялись в горы.

Тропинка повела в лес. Потом начала карабкаться в гору. Местами приходилось слезать с коней, вести их

в поводу. Бекболат следил за абреком, повторял его движения, молчал, терпел и шел... Так, не давая усталости побороть себя, двигались они весь день и вечером были у цели.

— Вот наш аул, — сказал Махсуд, показывая на два небольших коша. — Здесь мы и живем.

Навстречу им вышли двое мужчин. Бекболата посадили у огня, поставили перед ним полную чашку мамалыги, принесли шашлык. После ужина вокруг него собрались несколько человек, говорили, расспрашивали Бекболата — кто, какого рода, из каких мест. Бекболат немного струхнул: «Вот беда, прямо в логове абреков оказался!» Чего он только не слышал про них: и убийцы они, и конокрады, и разбойники, и уводят детей, продают в чужие края. Что говорить, волосы дыбом становятся! Вот он сидит среди них, съел их угощение, будет спать в одном коше вместе с ними... При свете костра исподлобья смотрит парень на сидящих абреков — видятся они ему суровыми, жесткими, не такими, как остальные люди. Единственно добрым кажется ему Махсуд. И разговор его не так груб... Ну да, он же, видно, недавно с ними... Но остальные... Особенно вон тот рыжий страшен, и слова-то по-ногайски сказать не может, — видно, и не ногаец он...

Приглядевшись, Бекболат заметил, что не все были ногайцами; тот рыжий, точно, был черкес, а вот этот краснощекий — карачаевец. Однако держались все дружно, будто родственники. Один слушал всех, все слушали одного. Бекболат не мог не одобрить это. «А вот тот огромный, в мохнатой папахе, он, наверное, атаман, — подумал парень. — Когда он говорит, все умоляют».

— Парня устройте, — сказал в этот момент абрек в папахе. — Дорога дальняя, устал. Пусть отдохнет хорошенько.

Махсуд бросил бурку на мягкое сено:

— Отдыхай, браток. С дороги надо выспаться. Я рядом лягу.

— Хорошо, агай! — Бекболат успокоился, видя, что Махсуд не бросает его.

Несмотря на усталость, Бекболат долго не мог уснуть на новом месте. Ворочался с боку на бок, думал. Об абреках, родном своем ауле, о Салимате и о том, что его ждет впереди — завтра, послезавтра... Потом слышался ему мягкий голос старого мельника.

Наконец мысль его оборвалась — сморил парня предрассветный сладкий сон...

ПЕСНЯ ДЖИГИТОВ...

Первый день среди абреков. Чувствовал себя Бекболат плохо. Окружающее наводило уныние. Он раздумывал над словами атамана: «Воля твоя, парень: хочешь остаться у нас, оставайся; хочешь — иди своей дорогой. Но дорога твоя сейчас узкая, опасная. И наша дорога сейчас тоже — путаная, трудная, где кончится, куда приведет — лучше не думать. Конечно, мы не те абреки, что были когда-то. У нас есть люди, покинувшие свои аулы не ради легкой жизни, — не вынесли унижений, несправедливости. Вот и скитаются. Что поделаешь!..»

Бекболат думал целый день об одном: как ему поступить — жить среди абреков или уходить куда глаза глядят.

Оставшиеся днем в лагере беспокоились о нем: заставляли побольше есть, старались выразить дружелюбие.

...Горы, громадные скалы, и под скалами, как два стога сена, — два коша. Вокруг густой лес. Вот здесь живут эти люди. Что привело их сюда? Когда Бекболат пас табун мурзы Батоки, не было у него, да и у всех пастухов, худших врагов, чем абреки. Налетали, старались отбить лучших коней. Случалось, стреляли в табунщиков. И сам Бекболат — было дело — стрелял в абрека, сбил с коня, да товарищ подхватил, увез...

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, Бекболат поглядывал на лошадей, которые были привязаны недалеко от коша. Смотрел, выбирал, какой конь самый лучший. «Все кони хорошие, оллахый, — сказал он себе в конце концов. — Если не хорошие — разве стали бы их держать здесь? Случится погоня — добрый конь для них спасение. Особенно вот этот, белокопытый, красив. Ноги, как у Елетпеса, — длинные, тонкие; наверное, очень быстрый. Нет, нет, все же не будет таким быстрым, как мой Елетпес...»

...Вот Елетпес рядом, Бекболат гладит его длинную гриву, потом счищает грязь с копыт и ведет к ручью, — обмыть чистой родниковой водой. Как Елетпес любил его, как чувствовал настроение!..

В ауле Елетпеса сравнивали с Карагером, легендарным конем Шора-батыра. Говорят, Карагер переплывал

Эдил — Волгу. Но разве Елетпес не переплывет любую реку в наших краях?

А сейчас Елетпеса оседлал сын кровожадного мурзы...

— Бекболат, иди сюда, поворачивай шашлыки, пока я мамалыгу сделаю! — просит парня повар — казанши.

Бекболат держит на жару вертел с жирными кусками баранины. Потрескивают дрова в костре.

— И мясо кончается, оллахый, Исках и Хамзат давно уехали добыть мясо, да что-то до сих пор нет, — беспокоится повар. — Может, что случилось... Не дай аллах плохого!

Бекболат тихо спрашивает:

— Откуда должны были привезти мясо, агай?

Казанши будто не слышит вопроса, молчит. Бекболат поворачивает на жару шашлыки, а повар лопаткой — бастабалагом помешивает мамалыгу. Наконец, тяжело дыша, отвечает:

— Откуда, спрашиваешь? У баев много отар, браток. Джигит всегда найдет.

Бекболат думает: вот такие люди заставляют чабанов проливать слезы. Баям что? Они дома, спят на мягких перинах, а чабаны должны защищать отару от абреков. Чабаны слезы льют, а они тут шашлыки кушают...

— Ужин готов, друзья! — зовет повар.

Абреки собираются вокруг огня, ужинают. Ест и Бекболат горячий шашлык с горячей мамалыгой.

В горы пришла ночь. После ужина абреки, расстелив у огня бурки, ведут хабары. Разговаривают будто дома, в ауле, у себя возле очага. Бекболат прислушивается. «Удивительно, — думает он, — вот люди, у которых ни кола ни двора, но и горя никакого нет — веселые, вольные, смеются...»

Нет, не знает парень, что у каждого есть свое горе, свои думы. Но иногда здесь, позабыв обо всем, люди смеются, поют, шутят — тешат сами себя. Вот и сейчас один абрек взял в руки домбру. Бекболат слушает, раскрыв рот. Никогда раньше не слышал такой песни. Смелая, сильная. Абреки поют:

Джигит скитается в горах —

Такая его судьба.

А трус — он греется у очага,

Смелым красуется перед женой!..

Песня летит вдаль, будит темное ущелье.

Потрескивают дрова в костре, звенит домбра, поют люди... Горы, ущелья, звери, небо — все слушают песню о джигитах.

Наконец атаман смотрит на звезды и подает знак — мол, пора отдыхать. Люди расходятся по кошам. У костра остаются повар, Махсуд и Бекболат. Повар уйдет от очага последним, у него еще много дел. Бекболат дремлет — уже поздно, а вчера он долго не мог заснуть. И сквозь дремоту все та же мысль: «Что делать? Остаться с абреками или уходить? Остаться — вести волчью жизнь, воровать, грабить, может быть, даже убивать... Нет, нет! Не для тебя это, Бекболат. Скорее, скорее уходи... А куда? Сейчас даже по дорогам ищут... А если задержаться, если остаться — можно украсть Елетпеса, можно отомстить Батоке, Кабанбеку и Арсланбеку...»

У него слипаются глаза, но не спит парень, думает. — Бекболат, иди в кош спать, — зовет Махсуд.

Снова ложится Бекболат там же, где не мог заснуть в прошлую ночь. Остаться или идти в неизвестность? Что ждет тебя там? Один аллах знает...

Ладно, утро вечера мудренее, поживем — увидим...

РАЗГОВОРЫ У КОСТРА

Абреки любили рассказывать и слушать истории о хороших конях, и тогда сердце Бекболата сжималось в комочек, билось то часто-часто, то замирало, — ему вспоминался Елетпес. «Что они знают о лошадях! — думал Бекболат. — Вот если бы увидели они Елетпеса, заговорили бы по-другому. А может, рассказать абрекам о Елетпесе? Пусть угонят, отберут у мурзы. Если не я сам, пусть лучше они оседлают... А я хоть буду видеть его каждый день собственными глазами — и то радость. Если не суждено мне ездить на Елетпесе, то пусть и хвостун Арсланбек не будет его хозяином! Расскажу...»

Однако приходила и другая мысль: «Может, не стоит говорить? Увести у мурзы коня им ничего не стоит. Украдут, в этом я не сомневаюсь. А после? Ведь будут гонять и днем и ночью, по горам и по ущельям — и загонят. Абреки не сидят на месте — то набег, то погоня. А если Елетпес в схватке получит пулю, погибнет? Нет, нет, о чем я думаю!.. Нет, не скажу...»

Несколько дней ходил Бекболат угрюмый, задумчивый. Абреки видели это, но ни о чем его не спрашивали. Наконец Бекболат все же не вытерпел, рассказал о Елетпесе.

— У мурзы Батоки есть конь. Кличка — Елетпес, «Обгоняющий ветер». Красив, строен, умен. Никому не даст себя обогнать!

— Неужели? — сидевший у костра Заурбек с сомнением покачал головой.

— Да. Никто не обгонит его, — подтвердил Бекболат. Однако он не сказал, что Елетпес был его конем, не сказал, как и почему мурза отобрал у него скакуна.

— Я тоже слышал о Елетпесе, — вспомнил Каплан, подкидывая хворосту в костер. — Бекболат правду говорит. В наших краях, похоже, нет такого второго коня.

— Вот как! — Заурбек аж вскочил на ноги. — Расскажи-ка, друг, где же этот конь, в табуне, да?

— Что ты, нет! Сарай для него мурза определил, там и держит.

— Ну и что? — возбужденно кричал Заурбек. — Из сарая тоже можно угнать! Стоит постараться!

Абреки наперебой принялись спрашивать Бекболата о коне, о его возрасте и масти, о том, как, по каким приметам можно ночью отличить Елетпеса от других лошадей. Парень ответил на все вопросы.

— Я Елетпеса знаю очень хорошо. Найду даже и ночью, не спутаю. И конь знает меня, откликается на мой голос. Ведь это я растил его, пас, поил и холил, баял...

...Взвиваются языки пламени — хорошо горит костер. Вокруг сидят люди. Тихо кругом, издали доносится шум горной реки, стремительно уносящей свои воды вниз, в степные долины.

Бекболат смотрит из-под бровей на своих новых товарищей. В отблесках огня хмурятся красноватые лица. Все молчат. Бекболат удивлен. Почему они молчат? Он же все рассказал им, или они его не поняли?

Нет, абреки хорошо поняли слова парня. Но они знали и другое: знали мурзу Батоку, его земли, его скот, его табунщиков, телохранителей, муртазаков. Весной сидящие сейчас у костра Каплан и Кылышбей напали раз на табун мурзы. И что из этого вышло? Едва унесли ноги. Табунщики обстреляли их. Кылышбей еще ничего, а вот Каплан получил пулю в ногу и с тех пор ходит

прихрамывая. Не знал Каплан, что табунщик, ранивший его, сидит сейчас рядом с ним у костра.

Каплан задумчиво взглядывает на Бекболата, веткой поправляет поленья в костре и думает: «Елетпес, может быть, действительно хороший конь. Но что и говорить, угнать такого не просто. Со двора, из сарая... Тут одной храбростью не возьмешь, тут можно и без головы остаться».

Каплан ворошит угли, подбрасывает еще поленьев, пламя припадает, потом поднимается выше. Дрова в огне трещат, этот треск напоминает Каплану ружейные выстрелы, и он вспоминает тот, весенний набег.

...Вечерняя прохлада уже спускалась на землю. Перейдя маленькую речку, они увидели вдалеке на склоне большой табун — лошади спокойно паслись после дневной жары. Осмотрелись — где же табунщики?

— Думаю, табун Батоки, — сказал Каплан, указывая плеткой.

— Может быть, — усмехнулся Кылышбей, — нам-то с тобой что? Чьи бы ни были, смотри, как хорошо, — без присмотра пасутся. Нужно, Каплан, попробовать. С помощью аллаха, может быть, часть табуна отобьем.

— Много не болтай, Кылышбей. Слышал: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь»? Поехали. Тут быстрота нужна, внезапность.

Всадники двинулись низом, вдоль балки, тихо, оглядываясь по сторонам, стараясь не потревожить до времени табун. Вскоре поднялись из балки на пригорок и, скрываясь за густым терновником, еще раз осмотрелись.

— Что-то не видно табунщиков, — прошептал Кылышбей. — Вот это удача! А кони, смотри, — красота!

— Ты прав, — согласился Каплан. — Ну теперь дай аллах удачи!

Абреки одновременно хлестнули плетью своих аргамаков, выскочили из кустов на открытое место и с криком и гиканьем бросились к табуну, стремясь разбить его на части.

Табун всполошился, громко ржали жеребцы, сосунки, испуганно прядая ушами, кинулись под защиту матерей.

— Бекболат! — закричал сидевший в тени орешника Иса. — Смотри, что-то случилось с табунном!

Табунщики подхватили ружья, вскочили на ноги и сразу поняли, что происходит: среди табуна кружились два всадника, словно волки среди отары, старались отбить часть лошадей, отогнать за речку.

— Э-э-эй! — крикнул, бросаясь к своему коню, Бекболат. — Э-э-эй, что делаете?

Абреки оглянулись, но, увидев двух табунщиков, ничуть не испугались, а лишь яростнее продолжали разбивать табун.

— Пугни-ка их! — крикнул Каплан своему товарищу.

Раздался громкий хлопок выстрела, эхо разнесло его по ущелью и балкам. Табун испуганно остановился, но через мгновение стремительно понесся со склона в сторону реки. Абреки устремились следом, на ходу отбили несколько лошадей и погнали перед собой.

— Быстрее на коня, Иса! — крикнул Бекболат.

Табунщики бросились в погоню за абреками.

Вдруг Бекболат осадил Елетпеса.

— Что? — не понял Иса. — Почему остановился?

Возбужденный, с блестящими глазами, Бекболат быстро объяснил другу:

— Нет, так мы им не помешаем! Нужно разделиться. Ты преследуй их и постреливай изредка. Я же найду сбоку — у меня конь лучше, — обгоню их и постараюсь остановить табун и наказать бандитов.

— Ладно, пусть будет так, Болат!

Бекболат летел по ущелью, словно птица, хотя ни разу не ударил Елетпеса плетью. Он слышал выстрелы своего друга и ответные выстрелы конокрадов. Вскоре он обогнул гору и увидел стремительно мчавшихся на него коней и позади них абреков. Бекболат выстрелил в переднего и с радостью увидел, что тот взмахнул руками и грохнулся на землю.

— Ага! — кричал Бекболат. — Так тебе и надо! — Тут он увидел, как второй абрек подскочил к товарищу, подхватил его за пояс, поднял к себе на коня и, бросив угнанных лошадей, свернул в сторону и через минуту скрылся в зарослях кустарника.

Бекболат с Исой собрали лошадей и, радуясь своей удаче, вернулись к табуну...

Сейчас, вспомнив все, что он знал об этом случае, увидев себя и пастухов будто со стороны, Каплан невольно похвалил:

— Все же здорово он стреляет! Ведь издалека бил, сукин сын!

— Что? — не понял Заурбек. — О ком ты?

Словно проснувшись, Каплан буркнул:

— Так, вспомнилось...

— Значит, говоришь, очень быстрый конь этот Елетпес? — спросил Бекболата атаман.

— Клянусь кораном! — подтвердил Бекболат.

— Даже лучше моего, что ли? — обидчиво спросил Каплан. — Да не родился еще конь быстрее моего!

Бекболат промолчал.

Оба не знали, что несколько месяцев назад уже состязались в скорости...

— Не хвастайся, — сурово остановил Каплана атаман. — Придет время, займемся и Елетпесом. А сейчас давайте-ка ужинать...

НАБЕГ

Бекболат и его спутники — Махсуд и Заурбек — возвращались из набега. Акманлая — Белолобого, коня мурзы, вел на поводу сам Бекболат. Ехали ночью, днем отсиживались в ущелье. Вернулись в стан ранним утром. Махсуда выбрал для набега Бекболат — с того дня, когда всадник на сером коне узнал имя своего спасителя, они были как братья, и Бекболат полностью доверял абреку. А Заурбек — он просто очень любил лошадей и сам вызвался идти за Елетпесом. Дело было опасным: шутка ли, забраться во двор мурзы, обмануть собак, найти в сарае Елетпеса и тихо увести...

Их встречал сам атаман. С ним был какой-то незнакомец — видать, не из простых, в бухарской папахе, в дорогой черкеске, рукоять кинжала позолочена, ножны отделаны серебром. На ногах сафьяновые сапоги.

— О, добрый конь!.. Машалла, машалла! — одобрил атаман, ласково похлопал Акманлая по холке, Бекболата по плечу: — Хороший парень, настоящий джигит! Азамат! — крикнул он казанши. — Накорми молодцов самым лучшим шашлыком! И по чарке бузы!

— Сейчас, сейчас, атаман! — послушно отозвался тот.

Бекболат сначала колебался: сказать атаману, что привели не того коня, за которым ездили, или смолчать? Но желание во что бы то ни стало вырвать Елетпеса из

рук мурзы — не сейчас, так позже — заставило его признаться.

— Агай! Это не Обгоняющий ветер, не Елетпес. Это Акманлай.

Атаман сделался мрачным, как туча. Густые брови сошлись у переносья, рука легла на рукоятку камы.

— Не было его в усадьбе! Я облазил все конюшни, все сараи!..

— Так где же он? — грозно спросил атаман.

— Не знаю, агай... Наверное, кто-то поехал на нем... Так бывает...

Тут в разговор вступил гость, спросил вкрадливо:

— А скажи, джигит, есть у мурзы Батоки кабардинские кони?

— Есть, агай! — ответил Бекболат, сразу догадавшись, зачем приехал гость в стан абреков. — Чистокровки!

Глаза гостя загорелись, как у кошки, почуявшей мышь. Он живо повернулся к атаману:

— Ну вот, стало быть, точно!.. Как же решим?

Атаман распорядился поставить Акманлая отдельно, накормить, напоить, чтоб конь отдохнул, он потребуетса ему сегодня же. И пригласил гостя в свой кош...

На закате, оседлав Акманлая, атаман выехал из лагеря вместе с богатым заказчиком.

Вернулся он на второй день и был очень добр с Бекболатом. Тот сразу понял: атаман хочет послать его на новое дело.

Бекболат не ошибся. Скоро вожак позвал его к себе.

— Садись, джигит! — Он кивнул на разостланную бурку. — Ну, спасибо тебе, парень, за коня. Хоть Акманлай не столь резв, как был мой... зато вынослив... Словом, неплохой конь.

— Агай! — воскликнул обрадованный Бекболат. — Мы и Елетпеса уведем! Клянусь небом: рано или поздно, но Обгоняющий ветер будет у нас!

Атаману нравился этот решительный и горячий парень.

— Машалла, улым¹, машалла! — ласково похвалил он. — А теперь, джигит, собирайся в путь. Надо раздобыть десять кабардинских чистокровок. Говоришь, у Батоки целый табун?

— Да, агай, я сам пас!

¹ Улым — сын, сынок.

— Где сейчас может быть этот табун?

— Я знаю пастбище, агай.

— Так вот, джигит, снова дам тебе двоих молодцов: Махсуда и Заурбека. Парни вы все смелые, ловкие... Возьмите у Батоки десять чистокровок, пригоните сюда.

— Да, агай! — Бекболат был рад такому поручению, готов был угнать не десяток коней, а весь табун: жажда мести роду Батоки не затихала в нем.



Ночи стояли лунные, светлые — идти на угон в такую ночь опасно. Но атаман, очевидно, торопился выполнить заказ и распорядился отправляться в путь.

Выехали днем. Впереди — Махсуд: он знал в здешних местах каждую тропинку. За ним — Бекболат. Позади — Заурбек с карабином за спиной. Он ушел в абреки еще мальчишкой, вместе с отцом. В одном из набегов отца убили, и теперь при налетах Заурбек был отчаянно дерзок и беспощаден...

Горы остались позади, начались предгорья — отсюда до Кубанлы еще часа два езды. Наконец остановились в балке, чтобы дожждаться ночи.

Страшно томительны были эти часы! Солнце будто не хотело прятаться за гору, а когда ушло, его место в небе заняла луна, залила степь бледно-голубым светом, и все было видно почти как днем.

— Ну трогаемся! Да поможет нам аллах! — сказал Махсуд.

Бекболату не составило большого труда отыскать табун. Он нашел его в балке, недалеко от Кубани. Лощиной, поросшей кустарником и редкими деревьями, выехали к реке. Остановились. Чистокровки наслись совсем близко. Слышно было их пофыркивание, ржание. Вдали на холме светился небольшой костер. Возле сидел табунщик, ходил оседланный конь.

Бекболат огляделся, сказал:

— Заурбек! Мы с Махсудом отобьем коней, а ты следи за табунщиком. Если погонится, предупреди выстрелом вверх... Слышишь, вверх!

— Ладно! — неохотно отозвался Заурбек, снимая с плеча карабин.

Бекболат и Махсуд галопом влетели в балку и стали отрезать косяк чистокровок голов в пятнадцать. Уже почти отбили его, как послышался голос табунщика:

— Стой!.. Стойте, проклятые!..

Бекболат на всем скаку осадил коня, он хотел узнать голос табунщика. Но не смог, поднялся шум. И в это время раздался выстрел и сразу короткий вскрик.

«Господи, ведь он убить может, этот Заурбек!» — испуганно подумал Бекболат, боясь за табунщика-односельчанина.

— Скорее! — позвал его Махсуд.

— Ты не убил?.. — нетерпеливо выкрикнул Бекболат, едва только увидел Заурбека.

— В ногу попал!

«Ведь это я должен был пасти табун чистокровок!» — думал потрясенный Бекболат.

К рассвету абреки с добычей были уже в горах.

МУРЗА БОИТСЯ

Кабанбек, словно надутый индюк, стоял рядом с мурзой, слушал, пощипывая редкие рыжеватые усики.

— Чего молчишь, зять? — сердито спросил Батока, поворачиваясь от темного окна. — Или воды в рот набрал?

— Коротко говоря, мурза, ничего нового о нем не знаю, — с поклоном ответил Кабанбек.

— Коротко говоря... Коротко говоря... — пробурчал Батока. — Коротко говоря, время такое настало, словно конец света близок, а то бы я его из-под земли достал, безродного гаденыша...

Верно сказал мурза. Нет уже того порядка в ауле. В старые времена, увидев на улице мурзу, люди кланялись, боялись его взгляда. А сейчас? Вчера среди бела дня Нурыш прошел мимо, будто и не заметил Батоку, стоявшего у мечети. А эти, как их... Наймановы? Подняли крик, что земля должна принадлежать тому, кто на ней работает. Тьфу! Все оттого, что шатаются по аулам подозрительные русские мужики, ноги бы у них поотрывать...

— Коротко говоря, мурза, — добавил Кабанбек, — ты не волнуйся, — куда он, сын Алима, денется, крутится, наверное, рядом, в карачаевских аулах.

Мурза мрачно посмотрел на зятя.

— Знаешь, зятек, будь осторожен. Как бы он, гаденыш, не вернулся пустить нам красного петуха!

Батока устало опустил в широкое кресло и закрыл глаза. Кабанбек молча шагнул из угла в угол. В комнату

заглянула было старшая жена мурзы, но, решив, что он спит, попятилась и тихо прикрыла дверь.

— Нет!— вдруг громко закричал Батока и вскочил с кресла. Кабанбек присел от испуга.— Нет! Мы не из таких, которые боятся! Семь поколений мы были хозяевами этих, как его, Алима, и ему подобных! И еще будем столько же, это я говорю — Батока! Нужно лишь быть мужчиной, Кабанбек, дорогой!

— Я найду его и, клянусь, убью, как паршивую собаку!

— Ладно, ладно,— Батока похлопал зятя по плечу.— Договорились...

Оба умолкли и тут услышали, как тишину позднего вечера нарушил вдруг какой-то скрип, словно кто-то открывал ворота на несмазанных петлях, потом во дворе послышался шорох шагов, громко залаяла собака. Кабанбек быстро подошел к окну, но в темноте ничего не увидел. Собака вдруг умолкла, как будто ничего и не случилось.

— Что там?— спросил Батока, подойдя к зятю.

— Ничего не видно,— ответил Кабанбек и отошел от окна.— Уже не только днем покоя нет — и ночью тоже! Хотя, может, Амаат ходит... Пойду и я. Спокойной ночи, мурза!

— Тебе тоже, зятек.

Когда Кабанбек вышел из дома мурзы, прокричали первые петухи. Кабанбек шел, напряженно вслушиваясь, оглядываясь по сторонам,— что-то неясное, не видное во тьме и оттого жуткое присутствовало во дворе.

Позже Кабанбек слышал ржание лошади, слышал шаги человека, но не поднялся, а спрятал голову под пуховую подушку, молился про себя, не смея голосом выдать свое присутствие в комнате. Всю ночь не спал Кабанбек: ему чудилось, что вот-вот кто-то залезает через окно в комнату, и он дрожал, дрожало в груди сердце. Дрожь мог унять лишь свет, дневной свет, на людях он никого не боялся. Но ночью...



Только на рассвете вздремнул Кабанбек. Однако и тут ему помешали. Громкий крик и ругань послышались со двора. Он быстро оделся и сбежал с крыльца.

Во дворе шум, неразбериха.

«Акманлая увели» — первое, что понял Кабанбек, и тихо сотворил молитву, благодаря аллаха за то, что украли не его лошадь.

Мурза Батока, злой на всех, расхаживал по двору. Старый Амант, слуга и сторож, стоял перед мурзой ни жив ни мертв, а тот ругал его последними словами.

— Где это видано, — орал на всю усадьбу мурза, — чтобы прямо со двора увели лошадь! — Увидев Кабанбека, распалился еще пуще: — Это называется джигит! Спит, как сурок, не слышит, что мимо его окон уводят моего Акманлая! Моего Акманлая! Ай-вай, горе мне! На чем буду ездить теперь, где найду такого коня! Ну, чего молчишь?!

— Коротко говоря... — начал было свое Кабанбек, но Батока совсем уж рассвирепел:

— «Коротко говоря»! Индюк ты, вот ты кто! — И крикнул на весь двор: — Ямбай, Атабий!

Муртазаки выросли перед Батокой:

— Слушаемся, мурза!

— По коням! Быстрее! Найти и привести ко мне конокрада — кто бы ни был! Ищите где хотите! Не найдете, шкуру с обоих спущу! Поняли, олухи? Быстро!

— Слушаемся, мурза!

Когда муртазаки выехали со двора, Батока кивком подозвал Кабанбека. Вошли в дом.

— Знаешь, Кабанбек, — начал Батока, опустившись в кресло и не приглашая зятя сесть, — предчувствие, о котором говорил вчера, меня не обмануло. — Мурза тяжело дышал, словно кто-то гнал его несколько верст пешком. Лицо побагровело, узкие прорезы глаз сделались щелочками. — Да, я был прав! Вчера ночью, когда мы беседовали, воры, будь они прокляты, открыли сарай, увели моего Акманлая и трех кобылиц. Как это могло случиться, а?

Кабанбек напыжился, вздохнул, откашлялся:

— Не знаю, что и сказать, мурза...

— Дурак ты после этого! Да и дурак должен бы догадаться, чьих рук это дело! Ночью приходил, я это уверенно говорю, сын Алима, понял?

— Что ты сказал, мой мурза? — удивился Кабанбек. — Не может быть!

Батока от злобы сделался малиновым.

«Ну и идиот ты, мой зятек! И я от тебя недалеко ушел, раз выдал за такого свою дочь».

— Он! Помнишь, собаки начали было лаять, но узнали гаденыша и перестали. А ведь волкодавы! Чужого на части разорвут! Понял?

— По-по-понял,— заикаясь, выдавил Кабанбек.

Теперь он действительно понял, что коня украл Бекболат, ведь его все собаки на усадьбе знают! Ай-яй-яй!

Батока продолжал:

— Он, сучий сын, думаю, Елетпеса хотел увести. Не нашел, так решил забрать хоть Акманлая! Хорошо еще, мой Арсланбек позавчера уехал на Елетпесе в гости в Карамурзай.

— Теперь я верю...— поддакнул Кабанбек.

— Чтоб он сдох, босяк!— продолжал Батока.— Видать, связался с абреками. Теперь бойся его — может и жену увести из постели!

Кабанбек побледнел. Вопросительно и боязливо взглянул в глаза мурзы. «Хитрец бай, чисто лиса! Неужто догадался обо мне и Тотамаш? Не дай аллах, со света сживет...»

— Ну чего уставился?— рассердился Батока.

— Опасаться надо...

— Опасаться!..— передразнил зятя мурза.— Уничтожить его надо немедленно! Убить, как бешеную собаку! Понял?

— Понягь-то понял, да как это сделать... извините, где его найти?

— Откуда я знаю!— злобно пробурчал Батока.

УХОД

В горах стало холодать, северные ветры несли с собой зиму. Поредел и обнажился лес, шумные, говорливые речки и ручьи обмелели, присмирели. Снег на ближних вершинах давно уже не таял, хоть солнце еще и грело.

Неспокойно было на сердце у Бекболата. Он много думал о своем теперешнем существовании и был недоволен им. Думал: «Разве это жизнь: днем и ночью на коне, разве достойно — словно волчья стая, грабим, обижаем людей». Часто вспоминал свои набеги и то, как ранил Заурбек табунщика, его односельчанина, может быть, даже друга...

Особенно врезался в память случай с мальчишкой-пастухом.

...Их было двое. Целый день мотались по горам, ущельям и балкам, высматривали добычу: у абреков кончилось мясо. Ничего не нашли и, опустив головы, двинулись обратно. Ехали не спеша — знали, что ждут их насмешки атамана. Вот тут и улыбнулось им счастье: увидели двух телок, — гнал по дороге парень лет пятнадцати.

— Смотри, Бекболат, — показал плеткой Заурбек, — как говорят, «лежащему верблюду перекасти-поле само в рот катится». Заберем телок!

Увидев вооруженных людей, паренек испугался, а когда Заурбек погнался за телками, — заплакал, умолял, просил оставить их...

— Не надо обижать мальчишку, Заурбек, — сказал тогда Бекболат, пожалев пастуха.

— Эх ты, добренький! — разозлился Заурбек. — Тебя самого не обижают? Ты же прячешься днем и ночью, как волк от охотника! Не понимаю, для чего ходишь в абреках!..

«Нет, — сказал себе тогда Бекболат. — Так нельзя. Пока не поздно — уйти от них куда глаза глядят. Это не жизнь вот так обижать людей».

Абреки видели задумчивость Бекболата, старались шутками развлечь его, поднять настроение... Но парень вдобавок ко всему заболел — не вынес холода и сырости, схватил воспаление легких.

Лежал Бекболат в коше на сене, под тремя бурками, — и весь горел. Чем могли абреки помочь ему? Попили его отварами трав, читали молитвы. Ничего не помогало. Бекболат бредил, звал Салимат, метался, сбрасывал с себя бурки, порывался куда-то идти...

Услышав женское имя, абреки переговаривались: «Кто она? Сестра? А может, любимая?»

Не одну ночь провел возле Бекболата его друг Махсуд — прикладывал к пылающему лбу парня мокрое полотенце, вытирал выступающий пот... Тревожно смотрели и другие абреки — сочувствовали, не спали, — да чем они могли помочь! Однако через неделю молодой организм все же победил болезнь. Бекболат начал поправляться, уже не метался, и кашель его уже не душил.

«Слава аллаху!» — радовались абреки, видя, что больной начал принимать пищу. Чтобы развлечь его, пели песни, играли на дудочке. Махсуд сшил ему из кожи мягкие чевяки, где-то достали ему новую шубу.

И скоро Бекболат начал подниматься, выходить из коша на свежий воздух. Глядел задумчиво в горы, на дорогу...

Однажды ясным морозным утром Бекболат, накинув на себя шубу, вышел из коша. Земля была покрыта тонким слоем выпавшего ночью снега. Первый снег... Мир словно обновился, посветлел. Парень обошел кош кругом и вдруг решил: «Уйду. Черт с ним, что ищут! Прoberусь в город. Да и абреки проводят, если что — в обиду не дадут. В городе народу много — затеряюсь. Дядя Маметали обещал устроить меня на работу. Родной ведь... А здесь не могу больше... Уйду!»

Но как сказать об этом абрекам? Не обидятся ли? Все же Бекболат решил и, когда в коше никого, кроме Махсуда, не было, спросил его совета. Тот, подумав, одобрил решение Бекболата и обещал объяснить все атаману. Вечером атаман собрал абреков и сообщил им о желании парня.

— Пусть идет! — решили все в один голос. — Пусть идет, может быть, судьба его там, в городе. Счастливой дороги, Бекболат!

Наутро Бекболат оставил кош абреков, Махсуд и Заурбек далеко провожали его.

Что ждет тебя впереди, Бекболат?

Часть вторая СКАЛА БЕКБОЛАТА

КРУТОЙ ПОВОРОТ

Огибая гору, дорога круто повернула и вышла на степной заснеженный простор.

Скоро впереди засверкала под лучами солнца река. А за ней — за ней раскинулся Белоярск. Хотя Бекболат никогда не был в этом степном городке, но по рассказам Маметали сразу узнал его.

По эту сторону реки тоже виднелись какие-то строения, дымила высокая кирпичная труба. Громоздились грязно-серые штабеля невыттой шерсти. Бекболат догадался, что это и есть та самая шерстомойная фабрика, на которой работает его дядя.

Выйдя на берег реки, Бекболат снял с плеч арпак, осмотрелся, прислушался.

К вечеру подмораживало, хотя снега, как обычно, выпало немного. Там, где расположились низкие и длинные фабричные постройки, в нескольких местах зажегся свет. Чуть шумела река.

«Большой Зеленчук,— сказал себе Бекболат.— Там, в горах, он буйный и звонкий, а здесь, видишь, притих да у берега еще и под лед спрятался. Устал... Сколько ж он верст пробежал? А сколько я отшагал за эти два дня?..»

Зеленчук. Чистая, сладкая вода... Нет другой такой на свете. И поэтому его водой моют шерсть...

Бекболат поежился, глубже надвинул мохнатую барашковую шапку, подхватил арпак и зашагал к городу.

— Эй, хозяин!— позвал он, остановившись у ворот небольшой хатенки на крайней улице.

Через некоторое время на его голос из хаты вышел пожилой мужчина — на плечах полушубок; из открытой двери вырвался клуб пара.

— Кого зовешь, парень?

Бекболат на ломаном русском начал спрашивать о Маметали.

— Моя хочет Маметали! Понимай, Маметали, дяд?— старательно выговаривал Бекболат.

— Это какой же Маметали?— Хозяин наморщил лоб, задумался.— Такого, парень, не знаю. А вот ногаец Магомет есть.

Бекболат уже слышал, что русские зовут ногайцев Магометами, и обрадованно закивал головой:

— Да, да, акай, Магомет, Магомет!

— Ну так бы сразу и сказал!— Сморщенное лицо сразу подобрело.— Знаю, знаю Магомета. Как не знать!

— Моя хочет говорить ему... Скоро говорить...

Хозяин весело рассмеялся, покачал головой:

— Ну и лопочешь ты, парень! Сразу и не поймешь что к чему. С гор, что ль? Видать, татарин...

Чтобы парень не заблудился, он сам привел его к дому, где квартировал Маметали.

— Вот я и нашел тебя наконец!— Бекболат крепко обнял Маметали.

— Откуда ты, из аула? А я тебя раньше весны уж и не ждал! Рад тебе! Молодец, что решился!..

— Бисмилла, в частливый раз!— сказал Бекболат, ступая в комнату.

«Сынок, — учила его Каний, — всегда, куда бы ни ехал, куда бы ни входил, всегда говори «в счастливый раз», и дорога твоя будет счастливой...»

Комнатка была небольшая. В переднем углу столик под клеенкой, около него — две некрашенные табуретки. Справа у стенки железная кровать, застланная серым суконным одеялом.

В ауле кровати у всех были деревянные, и только мурза Батока, говорят, завел необыкновенную — вся блестит, сверкают шары и шишки. Правда, Бекболат никогда не был в доме мурзы и теперь видел железную кровать впервые.

В левом углу — небольшая печка и вместо казана — плита с круглыми конфорками и набором кольцевых крышечек.

— Располагайся как дома! Теперь это будет и твой дом, — распорядился Маметали. — Хозяйка у меня добрая. Ну рассказывай, племянник, где пропадал? Я уж кое-что слышал.

Беседу их перебила, войдя, хозяйка — обликом, возрастом, ласковой речью она до того напоминала Каний, что у Бекболата сердце защемило, — всего полгода минуло, как похоронили мать.

Бекболат поднялся со скамьи — по ногайскому обычаю, когда в дом заходит старший возрастом, младшие встают.

— Садись, садись, сынок! — попросила женщина.

— Племянник приехал, Арина Петровна! Со мной жить будет, — сказал Маметали.

— Ну и хорошо, ну и ладно! Пойду принесу вам поужинать...

— Не беспокойтесь, Арина Петровна, мы чаю попьем.

— Нет, нет! — Женщина вышла и сразу же вернулась, принесла завернутый в тряпку чугунок с борщом и жестяную миску с картофельными оладьями. — Горячее еще, — сказала она, ставя все на стол. — Кушайте на здоровье!

— Да зачем же, Арина Петровна, мы и чайком общлись бы, — смутился Маметали.

— Как можно! Парень с дороги — поди устал, проголодался. А борщ наваристый. Принесли мне сегодня с бойни целую торбу костей...

— Да что ж вы стоите, Арина Петровна! — спохватился Маметали, подвинул табуретку.

— Спасибо, Магомет. Не буду вас стеснять, пойду... Племянник у тебя, смотрю, орел — что лицом, что всею статью...

Бекболат растерянно улыбнулся, на смуглом, обветренном лице проступил румянец.

— Ну кушайте на здоровье!

Арина Петровна ушла, а Маметали и Бекболат принялись за угощение.

Маметали с аппетитом уплетал густой, наваристый борщ, а Бекболат, впервые в жизни пробовавший это русское блюдо, прежде чем отправить ложку в рот, долго рассматривал ее, потом долго жевал, глотал с трудом. Выражение лица у него при этом было до того страдальческое, словно, болея, пил горячий отвар полыни.

Маметали весело рассмеялся:

— Не нравится? Ну ладно, еще привыкнешь! Пока ешь оладьи. А я сейчас чай вскипячу.

Оладьи Бекболату понравились, он с удовольствием съел несколько.

Спать легли рано — встать Маметали приходилось затемно. Он тотчас уснул, а Бекболат долго лежал с открытыми глазами. Встал, на цыпочках подошел к окну. Луна освещала соседние приземистые хатки, а за ними уже ничего не было видно.

Он снова лег. Вспомнил разговор с дядей...

Бекболат подробно рассказал о своих злоключениях. Маметали и подсмеивался над ним, и ругал, и печалился, и жалел... Больше всего жалел... Но когда слушал о жизни племянника среди абреков, было ему душно и тошно,— все видел Бекболат. «Будешь теперь жить со мной, работать я тебя устрою. И запомни: русские не гяуры-иноверцы, русские станут твоими друзьями, как стали моими. Привыкнешь к ним...» Этими словами закончил дядя разговор. Русские... Арина-аптей чем-то напоминает мать... С этой мыслью Бекболат закрыл глаза и увидел Каний. А когда он уснул, мать вошла в комнату. «Ну как, сынок, хорошо тебе на новом месте? Я рада, что ты пришел к дяде. В ауле ты бы погиб... Нет, нет, солнце мое, не думай мстить за отца. Убийцу накажет аллах... Это не русский... Это...» Голос ее ослаб и удалился.

— Абай! Не уходи! — закричал Бекболат.

Маметали тотчас проснулся: в свете луны, заливавшим комнату, он увидел Бекболата. Племянник сидел на кровати (сам Маметали лег на полу) с широко раскрытыми глазами, бледный, и смотрел на дверь.

— Что с тобой, Болат?— встревоженно спросил Маметали.

— Ничего... Сон увидел...

Когда Бекболат проснулся, за окошком светало. Маметали уже собрался на работу — натянул брезентовую куртку, такие же штаны. На ногах — яловые сапоги, в руках держал брезентовые рукавицы.

— Выспался?— спросил он.

— Выспался, агай.

— Тогда вставай. На плите чай и пирожки с творогом: тетя Арина угощает. В столе возьми сыр. Так что доживешь до вечера!— Маметали улыбнулся.— Ну, будь хозяином!— Шагнул к двери, у порога задержался:— Не скучай!

Дядя ушел. Бекболат рывком поднялся с кровати, распахнул оконце. Пахнуло утренним морозцем.

После завтрака Бекболат вышел за калитку. Улочка была кривая, узкая. На рассвете опять выпал снег, и улочка походила на их аульную, ту, где стояла родная сакля. Да и сам город здесь, на окраине, смахивал на большой аул, раскинувшийся среди оврагов и балок. Лишь вдали виднелись дома побольше и дымила высокая кирпичная труба.

По улице шли люди. Куда-то торопились, молчаливые и озабоченные.

Бекболат зашагал к центру города. Чем дальше, тем дома становились добротнее. Попадались и двухэтажные.

Шерстомойная фабрика Лапина расположилась на поляне, недалеко от места слияния Большого Зеленчука с Кубанью. Фабричное здание с высокой трубой, двухэтажный дом хозяина, контора, длинные навесы для сушки шерсти, склады, несколько приземистых барачков для рабочих — это все собственность Лапина, известного по всему Северному Кавказу богача. Большинство рабочих на фабрике — из Белоярска. Через город проходила железная дорога, связывающая Россию с Закавказьем...

Бекболат все никак не мог освоиться на новом месте. Его раздражали гудки паровозов и фабрики, шум вокруг. Все здесь не так, как в ауле. Люди с раннего утра до позднего вечера — одни моют шерсть, другие сушат, третьи пакуют в тюки, грузят в вагоны. И все время спешат, будто хотят всю работу закончить именно сегодня. Но работа, видно, все не кончается... Если кто останавливается, тотчас крик: «Быстрее!» И человек опять бегаёт, потный, усталый — работает.

«Откуда он берет столько шерсти, этот Лапин? — спрашивал себя Бекболат. — Что там шерсть с отары Батоки! Лапину на один день не хватит! В ауле Батокка — богач, по разве богатый он по сравнению с Лапиным?..»

— Не удивляйся, племянник, — сказал ему вечером Маметали. — Знаешь, кто дает фабриканту прибыль, деньги? Мы, рабочие. Мы работаем на него от зари до зари — все за гроши. Начал-то Лапин с небольшого — в молодости ездил, скупал по аулам шерсть, перепродавал с выгодой для себя. Постепенно богател, начал мыть шерсть и лет двадцать назад завел вот эту фабрику. Сперва была плотовая мойка, позже открыл и механическую. Поднимался ввысь Лапин, росло его богатство. Много людей работали на него. Люди шли из аулов. Людей было больше, чем работы, — и Лапин покупал их труд за гроши...

Однако еще не раз и не два говорил Маметали с племянником, прежде чем тот стал разбираться, отчего одни люди все богатеют, другие все беднеют.

Маметали устроил Бекболата в кузницу — подручным.

— Все лучше, чем таскать тюки с шерстью, и здоровее. А кузнец — знакомый, хороший человек, — сказал дядя.

На следующий день по приходе Бекболата Маметали вернулся с фабрики не один, привел знакомого кузнеца. Бекболат сразу узнал в нем лудильщика Сулеймана, который как-то был у них в ауле. Хотя внешне он не походил на Маметали — плотный и коренастый, было в них что-то. Оба — добродушные, степенные, неторопливые. Будто владеют каким-то секретом мудрости и все знают наперед.

— А, Болат! — воскликнул Сулейман еще с порога. — Вот и встретились! — Он шагнул к парню и первым подал руку. — Салам алейкум!

— Алейкум салам, Сулейман-агай!

Бекболат поспешил предложить гостю табуретку.

Сулейман сел. Маметали хлопотал у плиты, готовя чай.

— Слышал я, скончалась Каний. Однако и то помни, что не один ты на земле остался. Маметали тебя в обиду не даст. А мы тут с ним недавно похоронили друга, подручным у меня был. По годам-то ему бы жить да жить! Чахотка скосила... Место его не занято еще. Вот мы с Маметали и порешили взять тебя. Скрывать не буду — работа нелегкая.

— Ничего, — отозвался от плиты Маметали, — парень он крепкий, потянет пока, а там другое что-нибудь найдем.

— Ну как, согласен? — спросил Сулейман.

Бекболат кивнул.

— Вот и хорошо! — обрадовался гость. — Там у меня уже есть один, твоих лет. Из русских. Колька-Соловей. Вот и побратаетесь с ним, как мы с Маметали.

За чаем дядя Маметали и Сулейман говорили о заводе, о расценках, о погоде, о базаре. Вспомнили какого-то чудака с фабрики — как тот купил по дешевке на базаре великолепные, с жесткими лакированными голенищами сапоги. Сунул их под мышку, на радостях выпил, пришел домой, хотел перед женой похвастаться — глянь, а под мышкой одни лишь голенища из крепкого картона, головки-то отвалились по дороге!

Оба смеялись до слез. Бекболат тоже невольно улыбался, но его и удивляло, как такие серьезные и молодые люди могут хохотать по-мальчишески весело и беззаботно.

— И смех и грех! — вытирая тыльной стороной ладони глаза, повторял Сулейман.

Но вот он снова стал серьезным.

— Значит, так, Маметали: завтра приходишь на фабрику с Болатом...

НОВЫЙ ДРУГ

Кузница оказалась до черноты закопченной избой, с двумя маленькими, подслеповатыми оконцами — свету они пропускали до того мало, что, войдя с улицы,

надо было ждать, пока глаза привыкнут к полутьме. Главное место в кузнице занимали горн с огромными кожаными мехами — их по очереди раскачивали двое подручных: рыжеголовый русский парень и Бекболат, и посреди земляного пола две наковальни: одна большая, другая поменьше. От кузнечного угара и смрада у Бекболата, привыкшего к чистому горному воздуху, в первые дни работы кружилась голова.

Трудно привыкал Бекболат к фабрике. Поначалу утомлял его и сам город. Узкие улицы, суета, толчея, шум, грохот — все это ему, сыну предгорий, было дико. И по вечерам, после работы, у него не только болели руки, ломило плечи, спину, но и гудела голова.

В кузнице он целый день то нагнетал мехами воздух в горн, то подтаскивал к наковальне тяжелые горячие болванки, то отвозил на тачке готовые поковки. К вечеру от усталости едва не валился с ног.

Однако мало-помалу начал втягиваться в ритм городской жизни. Привык и к кузнице.

Второго подручного Сулеймана, напарника Бекболата, звали Николай. Рыжий, вихрастый, как подсолнух, с крупными золотистыми блестками веснушек по всему лицу, веселый, немножечко даже разбитной. Любил постоянно что-нибудь насвистывать — на фабрике его звали Колька-Соловей, а иногда и Соловей-разбойник. И в самом деле, случалось, веселость и добродушие его внезапно переходили в неудержимое буйство. Говорили, что однажды он чуть не с кулаками налетел на самого мастера, да удержал Сулейман, а потом просил за него управляющего, чтоб не увольнял парня: работник отменный, лучшего подручного не найти.

Вчера выдалось много работы. Сулейман спешил, торопил и подручных. Снимая с наковальни готовую, еще очень горячую поковку, Бекболат обжегся и уронил ее на пол. Николаю пришлось прямо по сапогу. Он схватился за ногу и, подпрыгивая, заорал:

— Ты что, ослеп, азиат проклятый?! Хочешь, чтоб по башке стукнули тебя этой железякой?

Бекболат побледнел от гнева и унижения — с трудом сдержался, чтоб не вцепиться обидчику в горло.

На следующее утро он до последней минуты не вставал с постели. Маметали уже вскипятит чай, нарезал хлеба, разделал селедку, а Бекболат все лежал на кровати, отвернувшись к стене.

Маметали встревожился: обычно племянник поднимался с ним вместе.

— Что с тобой, Болат? Или захворал?

Бекболату не хотелось рассказывать: не в его характере было жаловаться, выкладывать перед другими свои обиды. Однако дядя все же заставил его объяснить, что случилось.

Выслушав Бекболата, Маметали подошел, ласково потрепал по плечу:

— Не расстраивайся, дружище! Николай, обозлившись, назвал тебя азиатом, ты мог назвать его гяуром. Уж так повелось в империи. Ты должен понимать: царь и его чиновники натравливают одни народы на другие, разжигают вражду между ними — так легче держать в узде и тех и других. Конечно, кличка эта оскорбительная. Но Колька сказал с чужого голоса. Знаешь, он ведь и сам хлебнул горя — босяком, бродяжкой был. На станции в тифу подобрали... Правда, парень он с норвом. Но отходчивый. И душевный. Я поговорю с ним...

Маметали работал в паровой мойке. В обед Бекболат заглянул туда — увидел Кольку-Соловья рядом с дядей и тихонько ушел.

Обычно лицо Кольки-Соловья с задорно вздернутым носом, обсыпанным веснушками, казалось веселым. Но сейчас он был задумчив и грустен.

— Значит, обидел Болат? — повторил он. — А я ведь так, сдуру, без всякого значения брякнул. Пусть простит... И честное рабочее, дядя Маметали, клещами больше такого слова с моего языка не сорвешь!

— Верю, браток, — сказал Маметали. — Ты пойми, у Бекболата отца убили, и слух в ауле был, что казаки, мол, русские, спьяну... С ним помягче надо, чтоб привык он к русским... Рад буду, если подружишься с ним. А насчет слов — послушай вот, как ногайцы про злой язык говорят:

Земляной курган горой не станет,
Одинокое дерево садом не разрастется,
Обожженное огнем годы залечат,
Язык обожжет — на всю жизнь рана...

Парень покраснел:

— Я все понял, дядя Маметали, я теперь никогда...

— Машалла! — Маметали одобрительно хлопнул Кольку по плечу.

На другой день, когда вышли на работу, Колька-Соловей подошел к Бекболату, сказал смущенно:

— Не обижайся на меня... Мало ли чего под горячую руку сбрехнешь! Велика беда! У нас, у русских, говорят: хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну прости... Давай лапу! — Колька протянул свою широкую, всю в желтых твердых мозолях руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон! Согласен?

Они пожали друг другу руки.

Прошло немного времени, и Колька-Соловей стал лучшим другом Бекболата.

В свободное время Николай заглядывал к нему, звал на реку гулять. В воскресный день вместе ходили на ярмарку.

Бекболат бывал у Николая дома — тот жил в семье машиниста паровой мельницы, когда-то приютившего его, беспризорного сироту.

Приемный отец Николая — Василий Семенович Северов, голубоглазый, светловолосый, с коротко стриженными усами, ходил в кожаной куртке и кожаном картузе, ладный, подтянутый. Это особенно нравилось Бекболату. Вечерами Северов много читал, иногда вслух. Бекболат слушал его затаив дыхание. Впервые узнал он, какая мудрость таится в книгах. Ах если б он сам умел читать и писать! Сейчас послал бы в аул письмо. Написал бы всем: и Батырбеку, и Салимат, и Кеусар...

Николай видел, что друг его тянется к знаниям, и однажды вечером предложил:

— Хочешь научиться грамоте?

— Эх, если бы!

— Почему «эх»?..

— Потому что уже поздно, теперь она, грамота, мне в голову не ползет. У нас в ауле только детишки и учились...

— Ерунда это, учиться никогда не поздно!

— Да я знаю, грамота самое хорошее дело, без нее, говорил мой отец, человек слепой. Только где научиться-то?

И вот тут Колька-Соловей рассказал Бекболату — оказывается, Северов уже обучил грамоте несколько рабочих-подростков по своей доброй воле.

Бекболат взял в руки карандаш. Все свободное от работы время он теперь отдавал учебе. Приходил к дяде Василию и засиживался за столом до полуночи. Сначала выводил буквы. Буквы эти были не такие, каким он научился в ауле у муллы. И все же выводить их ему было

не так трудно, потому что он довольно ловко умел держать в руках карандаш. Но Северов считал это недостаточным и терпеливо показывал, как делать наклон, чтобы почерк был ровным и красивым. Когда Бекболат начал складывать буквы вместе, он радовался своему успеху, как ребенок желанной игрушке. И столько рвения было в нем, что вечером все никак не мог оторваться от стола:

— Еще напишу вот эту букву. Как напишу, так тут же и уйду...

На такие слова Северов отвечал:

— Сиди, сиди, ты нам не мешаешь. То, что можно сделать сегодня, никогда не откладывай на завтра. У завтрашнего дня и свои заботы есть. Трудно тебе сейчас, да без труда ничего не добьешься. Учись!

Бекболат прислушивался к каждому слову Северова, верил ему так же, как Маметали. А дядя Бекболата был Северову верный товарищ. От него парень узнал, что Северов пользуется большим авторитетом среди рабочих города. Да, Бекболат и сам видел — часто в доме Василия Семеновича собирались люди, не пили, не веселились, хотя стол бывал накрыт.

Что они делали, парень не понимал. Догадывался, что и эти, видать, чему-то учатся.

ПЕСНЯ ТУЛКИЛИ

Каждое утро видит Салимат табун мурзы Батоки — провожает его взглядом до балки Тулкили. Каждое утро чаще бьется сердце девушки... Но нет, не видно рядом с табуном ее орла. Улетел он от нее куда-то в далекие края. Салимат не знает, где он сейчас, здоров ли... Давно-давно нет вестей от Бекболата. Еле слышно, тихо поет девушка грустную песню:

Улетел ты в дальние края,
Поранив сердце мое.
Без тебя для меня светлый день
Темней, чем безлунная ночь...

Песня девушки летит к балке Тулкили, и там ее слушает чистый родник... А когда Салимат приходит утром к ручью Тулкили, вода напевает ей о ее любви, о ее далеком орле. Салимат садится на берегу, слушает. Шумит, бежит вода, повторяет девичью песню.

Только один человек в ауле знает о печали Салимат, только один человек понимает ее горе. И будь у него возможность, он бы все для нее сделал. Но...

— Нет вестей?— спрашивает у него при каждой встрече Салимат.

Он молчит, лишь покачает головой и, хмурый, уходит своей дорогой в горы.

— До встречи, Батырбек!

— До встречи, Салимат...

Салимат зачерпывает ведром холодную прозрачную воду Тулкили.

Чиста твоя вода,
Как девичья слеза.
Спешешь ты в неведомые края,
Не встретишь ли там моего Болат?

Ручей шумит, будто отвечает девушке. Салимат сидит на берегу, обхватив руками колени, печально смотрит на воду. Она думает о Бекболате. Где он сейчас, что с ним?

— Бекболат, слышишь меня, Бекболат?

Вокруг пусто, никого нет в балке Тулкили. Лишь в просторном небе парит большая птица. Ах, были бы у нее крылья, как у той птицы, унесли бы ее к Бекболату! Но нет у человека крыльев. Лишь в мыслях может перенестись девушка к любимому, увидеть его, говорить с ним...

Правда, заехал однажды в Кобанлы торговец. Сказал, что знает Маметали. Салимат дождалась, пока люди сделают покупки и отойдут, потом тихо спросила купца:

— Не видели вы вместе с Маметали парня, его племянника?

Торговец подумал и, чтобы не огорчать девушку, ответил:

— Да, с ним был какой-то парень. Молодой джигит. Жив и здоров он. Очень красивый...

— Спасибо, спасибо вам, гость!— радостно благодарила Салимат приезжего. Потом пошла еще к старухе Картабай и попросила погадать на бобах...

Долго не уходит Салимат от родника Тулкили, в мыслях своих разговаривает с Бекболатом. Он приходит к ней, и хорошо, легко делается у нее на душе.

— Не уходи, Бекболат, прошу тебя, не уходи,— просит девушка.— Я так давно не видела тебя, так соскучилась! Подойди ближе...

Вдруг она открывает глаза. Она одна, у ног ее журчит Тулкили. Оказывается, она разговаривает с родником. И Салимат с горечью в душе берет свои ведра и возвращается домой...

Дни ей казались бесконечно длинными, месяцы тянулись как годы. Чтобы время уходило быстрее, она много работала. Пряла, хотела подарить отцу черкеску. Мать Салимат — Райме была лучшей мастерицей в ауле. Бурки ее даже в ливень не пропускали воды. Теперь Райме учила мастерству свою дочь.

Но и работа не приносила Салимат радости, она тосковала, не зная, что с Бекболатом.

КОШКЕ — СМЕХ, А МЫШКЕ — СЛЕЗЫ

Счастье или несчастье пришло в его дом, этого Кабанбек и сам еще не мог понять. Опустив голову, ходил по двору, раздумывал. Со стороны могло показаться, что Кабанбек тяжело переживает смерть жены. Ханбийке болела недолго. В Кобанлы пришел тиф, скопил многих, очень многих аулчан. Постучался он и в дом Кабанбека. И через неделю умерла Ханбийке.

Однако теперешняя задумчивость Кабанбека не означала, что смерть жены опечалила его, нет, занят он был насущной заботой — хотел скорее жениться снова, и надо было решить на ком.

Кабанбек давно мечтал как-нибудь отделаться от молодой и некрасивой жены, да ведь не выгонять же было ее из дому! Ханбийке была дочерью мурзы Батоки, и мурза в случае чего мог запросто сжить Кабанбека со света, не то что выгнать из Кобанлы. Да и дом, где жил Кабанбек со своей Ханбийке, стоял во дворе у мурзы, так что скорее Ханбийке могла бы выгнать его.

Но сейчас — сейчас сам аллах помог ему избавиться от надоевшей, поблекшей жены. Всемогущий аллах знает и видит все! И он же должен теперь помочь в выборе новой жены. Кабанбек теперь не должен ошибиться. Он уже не прежний бедный уздень, теперь он первый бай в Кобанлы после мурзы. Какая красавица не пойдет за него, кто из аулчан не захочет породниться с таким человеком! Каждый захочет, — в этом Кабанбек уверен. Он выберет в жены первую красавицу не только в Кобанлы, но и во всей округе. Правда, для этого нужно время. Если сразу начать разговор о новой женитьбе, это вызовет гнев мурзы. Мол, не прошло еще и полгода

после смерти Ханбийке, а ты, сукин сын, жениться уже собрался,— так не положено, неблагодарный паршивец!.. Поэтому пока нужно лишь выбрать девушку, а пройдет полгода, он и женится. Такую свадьбу закатит — вся округа завидовать станет, да! Надо подыскать невесту — помоложе да попривоже.

Искать Кабанбеку пришлось недолго.

Как одичавший кот, увидевший лакомый кусок сала,— так начал поглядывать Кабанбек на юную Салимат. Нашел! Нашел красавицу! Разве не пойдет она за него? Он богат и знатен, а она кто? И что может ответить ему Камай? Будет рад, что Кабанбек хочет взять в жены его дочь, хочет породниться с ним. Какая честь для него!

Теперь Кабанбек уже не хотел ждать полгода. Времена-то какие настали! Опасные, беспокойные, кто знает, что может случиться завтра. Пожалуй, Батока сейчас не станет ссориться с ним — злиться будет, а ссориться, наверное, нет. Зачем в такое время ссориться? Он же не дурак. Надо только ему умно все объяснить, подать, так сказать. Он же сам мужчина, должен понимать другого мужчину. Кто же может сказать, объяснить все это мурзе? Как кто? Есть такой человек, а именно Кара-мулла, Кабанбек найдет способ отблагодарить его. Зная это, мулла на все пойдет. Сумеет поговорить с Батоккой и даже свяжет эту женитьбу с религией — представит делом, угодным аллаху.

Кабанбек так и поступил. Не прошло и трех месяцев со дня похорон Ханбийке, а он уже начал хлопотать о новой женитьбе. Нельзя, мол, ему жить одному. Трудно, хозяйство большое, а хозяйки нет! Куда это годится, жить без хозяйки!..

Родственники и зависимые от него люди бросились искать баю невесту,— как не угодить такому человеку! Да вот горе — ни одна из них не нравилась жениху. Имени Салимат никто не называл: разве могло родичам прийти в голову, что сорокапятилетний бай только о ней и думает — о семнадцатилетней дочери Камая?

— Думаю, лучше взять молодую девицу, не бывавшую в чужих руках, не умеющую хитрить,— сказал Кабанбек отчаявшимся сватам и свахам.— Ее можно воспитать по-своему. А попробуй-ка справиться со взрослой женщиной! Ногайцы говорят: «Если вовремя не согнешь пруттик, попробуй потом согнуть дерево».

— О да, конечно, золотые слова,— угодливо поддакивали родственники.— К кому же нам идти, чью дочь сватать?

— К узденю Камаю,— ответил Кабанбек.— К Камаю, больше ни к кому...

А вскоре бай и сам навестил Камая, облачившись в новую белую черкеску с газырями, в кубанку серого каракуля и мягкие сапоги... Ко двору подъехал на коне, украшенном серебряной сбруей. Как не пригласить было отцу Салимат такого гостя в саклю, как не расстелить перед ним лучший ковер?

И пошло, и пошло. Все дольше и дольше засиживался Кабанбек в доме Камая. Прямого разговора пока не заводили, все вокруг да около, но хозяина уже было не провести: он скоро понял, отчего зачастил к нему Кабанбек.

Ничего не подозревавшая Салимат свободно входила к ним, даже не раз присаживалась возле на тахту, а гостю это и нужно было: косился украдкой, разглядывал стройную фигуру, черные косы и нежные руки девушки — и замирал от восторга. Думал уверенно: «Ну нет, не будь я Кабанбек,— рано или поздно будешь ты в моих руках!»

Салимат и в голову не приходило, что Кабанбек появляется неспроста. Не догадывалась о намерениях бая и Райме. Угощала гостя бараниной, густым погайским чаем,— как не угощать такого человека!

Камай в душе молился аллаху: наконец в его дом стали приходиться и знатные люди аула, такие, как Кабанбек,— теперь не стыдно и отдать дочь.

«Слава аллаху!» — радовался он и, чтобы проверить свои предположения, рассказывал баю о своих нуждах, надеясь на его милость.

— Что там быки! — смеялся бай.— Возьмешь у меня пару быков. Еще я тебе подарю коня. Настоящий аргамак!

«Почему он так щедр? Нет, точно, он хочет сватать Салимат», — думал Камай, радуясь.

— Ты, Кабанбек, щедрый человек, очень щедрый. Потому и дал тебе аллах богатство — ырыскы, оллахый,— лукаво поглядывая на бая, ласково говорил Камай.— Пусть аллах удвоит твое богатство!

«Богатство-то мое удвоится и без твоей просьбы, Камай, а вот дочку ты мне отдашь», — думал Кабанбек, благосклонно выслушивая хозяина.

— Чем мне отплатить тебе, Кабанбек, за твою доброту ко мне? — спрашивает Камай.

Уже поздно. Поблагодарив хозяйку за чай, Кабанбек уходит восвояси. Через неделю опять наведывается под каким-то благовидным предлогом. И вот однажды наконец Кабанбек и Камай уединились в кунацкой. И там Кабанбек прямо сказал ему:

— Отдай за меня, Камай, свою дочь Салимат. Царницей у меня будет!

Камай сделал вид, что растерян, не ожидал подобной просьбы, и, вздохнув, лишь протянул:

— Да-а, Кабанбек...

Бай ждал ответа.

И без того узкие щелочки глаз Камая совсем закрылись. Неужели он все это слышит наяву? Ведь совсем недавно такое могло приключиться с ним лишь во сне. Всю свою жизнь мечтал он об этой минуте, и вдруг аллах внял его просьбам. В его дом валит богатство — само валит! Шутка ли, стать родственником такого богатого человека, как Кабанбек. Теперь Камай будет знаться только с такими, как Батока и Кабанбек, сам делается баем.

Камай не сдержал улыбки.

— Что, Камай, или я не нравлюсь тебе?.. — повысил голос Кабанбек, в упор глядя на хозяина дома.

— Что вы, что вы! Я просто...

— Думай быстрее, Камай.

— Разве, Кабанбек, моя дочь не достойна вас? Имею ли право отказать? Сам великий аллах желает этого, хочет связать нас родственными узами. Я доволен, слава аллаху. Я согласен, Кабанбек. Пусть аллах сделает вас обоих счастливыми.

— Бузу сюда, бузу! — радостно закричал Кабанбек. — Подавай бузу!

И, безмерно довольные друг другом, они обнялись. А после много раз чокались фарфоровыми пиалами, полными крепкой бузы из лучшего проса.

А за стеной на кровати, закусив угол подушки, билась в рыданиях Салимат. На этот раз она слышала, о чем говорил Кабанбек с отцом...

ТАЙНА КОЛЬКИ-СОЛОВЬЯ

Как ни прост, как ни откровенен был с ним Николай, Бекболат догадывался, нутром чуял, что друг что-то такое скрывает от него. Есть какое-то особое, тайное дело,

о котором он не говорит. Многие в его поведении озадачивало Бекболата.

Например. Гуляют они вместе по городу, и вдруг Колька вспоминает, что ему надо сбежать к какой-то знахарке, попросить для жены Северова трав на припарку: совсем занемогла. Или же, придя на работу, пошепчется о чем-то с Сулейманом и куда-то исчезнет.

Но особенно удивил Бекболата такой случай.

В прессовочном цехе попал рукой в машину рабочий-тюковщик. И вдруг оказалось — Бекболат тогда впервые услышал об этом, — что на фабрике Лапина есть независимый от хозяина рабочий комитет. Кто в него входил, Бекболат не знал, — да время-то было военное, и открыто комитет действовать не мог. Однако сразу же после несчастного случая к хозяину отправилась делегация с требованием немедленно принять меры по охране труда и выдать пострадавшему пособие. И что самое удивительное — в этой делегации был и Колька.

Наконец Бекболат догадался спросить обо всем дядю.

Маметали улыбнулся.

— Что ж, теперь ты наш, рабочий человек, и надеюсь, умеешь хранить тайну. Так ведь?

— Да, агай, — уверенно ответил Бекболат.

— Так вот, Николай выполняет поручения нашей рабочей организации, — уже серьезно сказал Маметали. — Придет время, узнаешь, что это за организация. А пока — учись. Грамоте учись, присматривайся к трудовому люду.

Хотя и появились у Бекболата новые добрые друзья и комнатка Маметали стала как бы родным очагом, он все же тосковал по аулу. Для человека, с раннего детства знавшего ширь звездного неба, орлиные скалы, вольные ветры, просторы степей, город был тесен и душен... Ах, оседлать бы сейчас Елетпеса и ветром лететь по степи...

По воскресеньям он уходил в степь. Взбирался на курган и долго глядел в затянутую голубой дымкой даль. Где-то там родные предгорья...

Возвращался домой грустный, молчаливый. Маметали догадывался, конечно, отчего парень смотрит печально. Как-то вечером, за чаем, он спросил:

— По аулу скучаешь?

— Да, агай.

— Понимаю. И я скучал тоже...

Маметали хорошо было знакомо это чувство. Вначале и он не находил себе места от тоски, но потом мало-помалу стал привыкать к городу. А когда подружился с Северовым, который вовлек его в рабочий политический кружок, а затем и в большевистскую организацию, в жизни его произошел крутой поворот. Теперь, решил Маметали, пришла пора и Бекболата понемногу приобщить к общему рабочему делу.

Все чаще по вечерам Маметали рассказывал племяннику о революционной борьбе рабочего класса, о партии большевиков. Пришла пора, и Бекболат услышал:

— У нас, в Белоярске, тоже есть большевистская группа. Руководит ею Василий Семенович Северов...

— Дядя Маметали!— не вытерпев, перебил Бекболат.— И ты тоже в этой группе?

— Да, Болат.

— И Колька?

— Нет, Николай пока в рабочем политическом кружке. Вот и тебе надо позаниматься в нем. Я потолкую с Василием Семеновичем. А пока то, о чем говорили сегодня, знаем лишь мы с тобой. Понял?

— Клянусь, дядя Маметали!

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

Бекболат не переставал удивляться: вот он, оказывается, какой Колька-Соловей! Давно уже в рабочем кружке учится, а помалкивает, только хитро улыбается. И теперь понятно, почему он вдруг исчезал неизвестно куда: видно, выполнял какие-то поручения Северова.

А скоро и сам Бекболат вместе с Николаем выполнили задание большевистской группы. Надо было встретить на станции поезд из Петрограда, получить «багаж» и доставить его в хату, где собирались члены нелегального рабочего кружка.

Поезд приходил в Белоярск вечером. А они еще за светом вышли к станции, принарядившись в самое лучшее, что у них было из одежды. Еще бы! Ведь они «работники» купца Петра Саввича Неверова. Идут встречать поезд, с которым должен быть прислан Неверову чай самого высшего сорта: его доставляют купцу по особому заказу.

Колька-Соловей — в полушубке нараспашку, в новом пиджаке, алая рубашка схвачена в талии пояском с кистями; картуз с блестящим лаковым козырьком, изпод него вываливается огненный чуб...

Колька толкает перед собой тележку на легких ресорах. Ее сделал в кузнице Сулейман. Попадется колдобина — тележка лишь мягко качнется, как лодка на волне, — право же, чудесный мастер Сулейман!

Бекболат идет рядом. И он одет, надо сказать, не хуже: добротный полушубок — подарок абреков, новая сатиновая рубашка и пиджак почти новый. На ногах — до блеска начищенные сапоги.

На станции Колька прокатил свою тележку по перрону, покрикивая: «А ну, посторонись! Эй, зашибу!» Кажалось, он нарочно старается привлечь внимание городского. А человека в железнодорожной форме, с красной фуражкой, он даже спросил:

— Господин начальник, прошу извиненьца: поезд не опаздывает?

К удивлению Бекболата, начальник ответил совсем серьезно и чуть ли не с почтением:

— Нет, нет, сударь, следует точно по расписанию.

Колька подмигнул Бекболату: мол, знай наших!

Когда вдали послышался шум и гудок приближающегося поезда, Колька кивнул Бекболату:

— Идем вперед. Багажный там останавливается.

Они прошли в самый конец перрона, где возились вокруг каких-то ящиков толстый господин в шляпе и высокий парень в брезентовом переднике.

Лавина шума, лязга и грохота надвигалась на станцию с невероятной быстротой. Слово кого-то предупреждая, сквозь этот шум и грохот прорвался протяжный, зычный голос паровоза: «Иду-у-у!»

И вот он, черный, огромный, стремительный, показался из-за поворота и, сбавляя скорость, уже подходит к станции.

Бекболат не раз уже видел паровоз, но и теперь с чувством благоговения перед чудом, сотворенным человеческими руками, следил за приближением поезда. И вместе с тем — со страхом: казалась, вот сейчас паровоз накатит слепо и сомнет его, как козявку. Это чувство прошло, как только поезд остановился, и снова родилось в душе восхищение перед чудом и добрая зависть к человеку в промасленной фуражке и с темными

от машинного масла руками, который высунулся из окошечка паровозной будки.

Тяжко отдуваясь, дыша дымом и паром, паровоз медленно, как конь после долгой скачки, прошел мимо, обдал теплом.

А вот и багажный вагон: он остановился точно напротив. Колька, видно, не в первый раз встречал поезд и знал место. Дверь вагона откатилась, и в проеме показался человек в железнодорожной форме.

— От купца Неверова! — сообщил Колька, протягивая железнодорожнику пакет. — Велено передать вам.

Тот принял пакет, спросил:

— Как здоровье супруги Петра Саввича, поправилась она?

— Уже чай с калачами пьет! — весело подхватил Колька.

— Вот и хорошо! А я как раз выполнил ее заказик: доставил ей самого наилучшего — черного, цейлонского. Прошу получить.

И принялся передавать Николаю картонные коробки с этикетками чайной фирмы.

— Все! — наконец сказал железнодорожник. — Петру Саввичу мое нижайшее почтение!

— Передам! — пообещал Колька и толкнул тележку...

В картонных коробках из-под чая были нелегальные брошюры. Их раздали членам политического кружка, рабочим шерстомойной фабрики, вальцовой мельницы, кожевенного завода, железнодорожного депо, бойни.

Одну Колька оставил себе. И теперь Бекболат, забежав после работы домой и наскоро перекусив, спешил к товарищу. Колька зажигал маленькую керосиновую лампу, доставал из надорванного матраца брошюру и, склонившись над столом вихрастой головой, читал вслух.

Бекболат внимательно слушал. Многое ему было непонятно, да и сам Колька нередко останавливался, скреб в затылке, раздумывал. Наконец объяснял:

— Ну, в общем, так: что наши русские буржуи и помещики, что ваши баи и мурзы — одинаковые паразиты! И всех их надо к ногтю... Ясно?

Бекболат кивал утвердительно. Колька читал дальше.

Иногда они обращались за разъяснением к Сулейману, Маметали, а если он был дома, то и к самому Василию Семеновичу Северову.

— Молодцы! — похвалил ребят Северов. — Овладейте нашей классовой наукой. Назревает новая революционная буря, к ней надо быть готовым...

Как-то в обеденный перерыв Колька шепнул товарищу:

— Василий Семеныч зачем-то велел тебе прийти...

Бекболат тут же положил ложку, снял брезентовый передник и побежал на мельницу. Дверь машинного отделения была раскрыта настежь. Бекболат остановился у порога. Он уже не раз был тут с Колькой, но никак не мог насмотреться на живое железное чудо. Большущий-пребольшущий котел, печь из огнеупорного кирпича, в ее круглом зеве бушует пламя. Железные локти-шатуны ходят взад-вперед, движутся блестящие от смазки стержни, крутится огромное колесо-маховик с широким приводным ремнем. Все это и есть паровая машина, которой управляет Северов. Сейчас он ходил возле машины с масленкой, тыкал в механизм ее узким длинным носом.

Бекболат кашлянул, Василий Семенович обернулся.

— А, Болат! Здравствуй! — Он поставил масленку, вытер руки паклей. — Присаживайся, — кивком указал на какую-то толстую трубу, сел сам.

— Вот зачем позвал тебя... Дел у нас прибавилось: теперь наша группа связана со всеми предприятиями города. Порою трудно бывает оповестить людей, а дела, сам понимаешь, случаются срочные. Вот я и хочу просить тебя — давай к нам в связные! А то одному Николаю трудно везде поспеть.

Бекболат вспомнил слова дяди Маметали: «Николай выполняет поручения нашей рабочей организации... Придет время, узнаешь, что это за организация».

Конечно же он без колебаний согласился быть связным, ведь эти люди — дядя Маметали, Северов, Сулейман, Колька — стали его новой семьей. И теперь редкий день проходил у него без какого-нибудь поручения.

Бекболат уже бегло читал по-русски и долгие зимние вечера, когда за окном бушевала непогода и некуда было идти, просиживал за книгами.

Чтение нелегальных брошюр, занятия в политическом кружке, беседы с Сулейманом, Маметали, Василием Семеновичем все глубже раскрывали перед Бекболатом жизнь, правду о ней. Он понял, что правда его маленького народа и правда рабочих и крестьян Москвы, Питера, всей России — одна. Теперь он невольно улыбался, когда вспоминал уверения Кара-муллы, что городские смутьяны-рабочие и Маметали с ними — это племя Тажела и несут они погибель горцам-мусульманам. Теперь он хорошо знал, кто враг горцев-бедняков, и с нетерпением ждал того дня, когда можно будет почитаться и с мурзой Батокой, и с Кабанбеком, и с их верными псами — муртазаками. Отомстить и за себя, и за отца, и за Нурыш-агая, за Батырбека — за всех бедняков аула.

ТОСКА

Проснувшись на рассвете, Салимат нетерпеливо смотрит в окно: пришел ли день? Спешит выйти во двор, быстрее узнать свежие новости своего аула. Схватив коромысло и ведра, спускается за водой к роднику Тулкили. Там здороваются с подругами, там узнает, что случилось в Кобанлы за минувший день.

Но сегодня, как и вчера, опять ничего не слышно о Бекболате.

Тоскливо у девушки на душе. Тихо, чтобы не расплескать воду, несет она ведра. Опустив голову, возвращается домой, завтракает, садится за прялку.

В тишине комнаты еле слышно крутится веретено — уршык, наматывая на себя шерстяную тонкую нить. Когда она обрывается, уршык падает на глиняный пол. От стука девушка вздрагивает, словно просыпаясь, оглядывается и снова берется за прялку. Тяжелые мысли кружатся в голове Салимат, тяжело у нее на душе. Проклятый Кабанбек... Додумался же... Она тяжело заболела, говорят: лежала несколько дней в горячке, бредила... Третий день, как поднялась с постели и жалеет, что поправилась... Уж лучше бы и не вставать, не видеть больше этот постылый свет...

— Нет, нет, абай! — припав к груди матери, плакала она. — Никогда этому не бывать! Лучше умереть, чем быть женой этого борова!..

Райме как могла успокаивала дочь, обещала поговорить с мужем. С тоской глядела в исхудавшее лицо до-

чери — знала, что своенравный Камай не отступится от своего слова; недавно он сказал ей:

— Вы, женщины, всегда плачете, выходя замуж, а потом вас и палкой не выгонишь из дома мужа. Все знают об этом. И ты сама точно так же плакала, когда выходила за меня. Отчего ж не ушла тогда? Молчишь? То же будет и с Салимат. Я дал слово Кабанбеку и свое слово сдержу, я мужчина. Салимат — моя дочь. Пусть попробует послушаться, не исполнить волю отца! Прокляну навеки! Поволнуется, наплачется, а потом и сама будет рада, что вышла за бая. Вот так-то! Всю жизнь будет благодарить меня — нашел ей такого жениха! Княжной будет! Не понимает она сейчас этого...

Узнав о решении отца, Салимат упала в глубокий обморок; вот тогда-то она и заболела...

«Ах, хоть бы на минутку увидеться с Бекболатом, — вздыхает девушка, наматывая нить на уршык, — рассказала бы ему обо всем, легче стало бы на душе». Но от парня все нет вестей. А в ауле чего только не говорят о нем! Послушаешь, с ума можно сойти. Сын Алима, мол, стал абреком, вором, занимается грабежом. Однажды, было это осенью, разлетелся по аулу слух, что ночью Бекболат вошел во двор мурзы и угнал его верховую лошадь. Счастье еще, что только коня взял, а ведь мог лишить жизни кого-нибудь из рода мурзы... Говорили же, что причастны мурза и Кабанбек к убийству Алима. Потом пронесся слух, что Бекболат живет в городе вместе со своим дядей, работает.

Промелькнула осень, пришла зима, снежная, метельная, холодная...

Холодно было и на сердце у Салимат.

«О милосердный аллах, — молила девушка, — сделай так, чтобы мы встретились, чтоб могла я рассказать... Прошу тебя, низко кланяюсь, исполни мою просьбу...»

Салимат откладывает уршык, встает, тихо выходит во двор. Там она подходит к яблоне и, опершись о ствол, долго смотрит на юг.

Горьким мыслям тесно в голове.

— Салимат, а Салимат, — слышится ласковый грудной голос матери, — где ты, доченька моя?

— Иду, мама, иду.

— Сходи к соседке, доченька, принеси сито.

Исполнив поручение матери, Салимат снова садится за прялку.

Так проходят ее дни. А к вечеру дает себя знать усталость, и сон успокаивает ее, прекращает кружение тяжелых дум.

Однажды Салимат увидела во сне Бекболата. Он торопливо шел к ней навстречу, потом что-то говорил, она же стояла как вкопанная, не могла сдвинуться с места. Потом радостно вскрикнула, кинулась к нему — и проснулась! Не успела обнять, ласково прижаться к его широкой груди... Эх, если бы сон не кончился!.. Как хорошо, когда видишь милого, хотя бы во сне!

ХОЛОДНАЯ НОЧЬ

Который уж раз за вечер Тотамаш, младшая жена мурзы Батоки, открывает дверь, выглядывает во двор, смотрит, потом возвращается обратно в дом. «Куда он мог деться, сквозь землю провалился, что ли!» — сердясь, она с силой захлопывает дверь. Не успокоившись все-таки, скоро опять выглядывает на улицу. Никого не видно. Лишь в стороне, у ворот, бредет с метлой в руках старик Алат. «Надо хоть у него спросить, может, он что-нибудь знает», — думает женщина и кричит старику:

— Алат, подойди-ка сюда!

Старик, удивленный такой просьбой, поспешил к младшей жене мурзы. Приблизился, молча посмотрел на полную молодую женщину и, давая понять, что слушает, склонил голову.

— Подойди, не стесняйся, отец, — тихо проговорила Тотамаш.

Старик и удивлен и смущен был добрым словом жены хозяина.

— Отец, найди Кабанбека, пусть поспешит ко мне. Передай только ему одному, не вздумай сказать людям.

— Исполню, кошенса¹, сейчас исполню, сейчас-сейчас, — заверил Алат и подтянул широкие штаны.

— Побыстрее...

— Хорошо, кошенса, хорошо, — старик, обернувшись, исчез во тьме.

Алат спешил к дому Кабанбека, глаза его блеснули и растерянно бегали по сторонам, а мысли как-то разбредлись, и не собрать их было. «Оллахый, меньшая жена и Кабанбек... значит, между ними что-то есть... Зна-

¹ Кошенса — княгиня.

чит, в то воскресенье, когда мурза поехал на базар, поздно из дома младшей жены выходил Кабанбек... Удивительно, еще как удивительно! Зачем Кабанбеку связываться с чужой женой? Сохрани аллах, мурза узнает про блуд младшей жены, заиграет кинжал над ее головой! Какой большой грех это! Астапыралла, астапыралла, какие люди грешные стали», — волнуясь, думал старик.

Всю свою жизнь Аамат прожил одиноким, и такое ему казалось невероятным: как это — младшая жена за спиной мурзы встречается с Кабанбеком?! Грех, большой грех! Он вспоминал свою жизнь. Быстро пролетела его молодость, ушла — как и не было ее. Он тоже мог найти себе жену и уже было нашел... Какая она была добрая, приветливая, простая, его Таужан. Не получилось у них счастья. Если на роду не написано, что поделаешь... Мурза попросил повременить, когда Аамат сказал, что хочет жениться. Что ж ему было делать, без кола, без двора? Конечно, он послушался мурзу: он же хозяин, если он дома не даст — с женой ведь на улице не будешь жить; если он хлеба не даст — чем жену кормить будешь? «Не сегодня, так скоро женишься», — подогревал его надежды мурза. А время не ждало. С утра до вечера стирала белье, прибирала дом мурзы Таужан. И вот случилось — заболела вдруг, будто ни с того ни с сего. И больше не поднялась. И надежды Аамата на счастье унеслись, будто смыло их горным потоком. После случившегося он замкнулся, ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал... Да, вот так и прошла его молодость. А теперь уж с головой окунулся в старость...

Возле дома Кабанбека Аамат остановился. Остановился и сказал себе: «В большую беду хочет вовлечь меня младшая жена...»

В это время послышался топот. Старик, вздрогнув, оглянулся: подскакал всадник, тяжело дыша и сопя, слез с лошади, Кабанбек! Старик, забыв в растерянности, что хотел сказать, молча глядел на зятя мурзы. Кабанбек удивился:

— Чего тебе, Аамат? — Голос его звучал так, будто Кабанбек решил обругать слугу.

— Ска-а-сказать хочу, мурза, — пролепетал старик и запнулся.

— Говори скорей, Аамат.

— Мурза, — старик опасно посмотрел по сторонам, — вас младшая жена зовет, затем и послала меня. Просила поскорее...

— Это еще что такое? — деланно удивился Кабанбек.

— Откуда мне знать, мурза? — ответил невнятно Алат.

«Ну ты посмотри на блудницу — не терпится ей! Да разве можно встречному-поперечному такое говорить! Что я, совсем исчез, что ли, — утром видела меня!» — подумал раздраженно зять мурзы, посмотрел на работника и сказал:

— Слышишь, Алат, на, отведи лошадь... — Бросил старику повод.

— Ах, зятек, — она тоже, как и мурза, называла Кабанбека зятем, — если я не позову, сам никогда и не придешь! — словно обидевшись, упрекнула Тотамаш Кабанбека и отвернулась от него.

Кабанбек обнял ее.

А в это время старшая жена, Берзахан, позвала к себе старика Амата и начала расспрашивать:

— Что такое, Алат, говорила тебе эта ведьма, а? — начала Берзахан.

— Ничего, светлая кошенса.

— Но что-то ведь она тебе говорила? Не скрывай, отвечай мне!

— Ничего она мне не говорила, только обругала за то, что плохо подметаю двор, — тихо оправдывался старик.

Сколько ни пыталась Берзахан выведать что-нибудь о Тотамаш, старик Алат ничего путного не сказал. Однако хоть он и не сказал ничего, подозрений старой женщины это не рассеяло.

Получасом позже Кабанбек вышел от Тотамаш и только направился к себе домой, как увидел въезжающего во двор Батоку.

С поникшей головой, с холодной вестью въехал мурза в свой двор. Думал о том, что никто в ауле не знает еще о событиях в Питере и что никому о них не надо рассказывать. Нерадостную весть сообщил сегодня мурзе атаман отдела... Вдруг, как из-под земли, вырос перед мурзой Кабанбек, но и ему не захотел довериться Батока. Кабанбек решил, что мурза спешит к младшей

жене, и про себя возблагодарил аллаха за то, что великий дал ему вовремя уйти из комнаты Тотамаш. Гордо усмехнулся:

— Дома соскучились по тебе, мурза...

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Маметали видел, что его племянник очень изменился за то время, что живет в городе. Бекболат вытянулся, раздался в плечах, пробились черные усики. Стал, как говорится, мужчиной. Если и раньше был немногословным, то теперь еще чаще задумывался, глядел внимательно. Многому научился, многое понял. Читал порусски книги, нелегальные брошюры. Любил послушать старших, опытных — Северова, Сулеймана ну и его, Маметали, конечно. Занимался в нелегальном рабочем кружке. О работе рассказывал дяде как мужчина мужчине. Маметали был рад происшедшей перемене. «Хорошо, очень хорошо, — думал он, глядя на Бекболата, — многое узнал, понял. Возмужал. Не даст себя в обиду. И может повести за собой таких же молодых, как он сам, наших аульских ребят».

А самому Бекболату после тишины аула жизнь в Белоярске казалась бурной. Железная дорога связывала городок с центром России, и в последнее время каждый день приносил что-то новое. Затяжная война истощила силы империи. В воздухе пахло грозой перемен.

Февральские метели — буйные, с обильными снегами — чередовались с ясными, солнечными днями, и тогда заводила свою звонкую и мелодичную музыку капель. В такие дни светлее становилось на душе у людей: кончается зима, впереди лето. Перемены рождали надежду на лучшую жизнь.

И похоже, надеждам этим суждено было сбыться.

Из Петрограда пришла потрясающая весть. Под натиском революционных сил пало самодержавие: царь Николай отрекся от престола! Создано Временное правительство, которое до созыва Учредительного собрания взяло власть в свои руки.

Колька, узнав новость от Василия Семеновича, влетел к Бекболату растрепанный до невозможности, его рыжая вихрастая голова походила на застывшее пламя.

— Ура-а! — закричал он. — Царя Николу с престола скинули! — Он тряс Бекболата за плечи и повторял радостно: — Чуешь? Чуешь, друг, что произошло, а?!

Его веселые, широко расставленные глаза, веснушки, зубы — все сияло и сверкало.

— Кто тебе сказал?

— Люди. Уж все знают!

Люди на площади поздравляли друг друга со свободой, обнимались. Мелькали красные банты. Среди толпы шныряли вездесущие мальчишки. Не было на площади лишь городских — попрятались от народного гнева.

На митинге выступали с речами. От большевиков говорил Северов.

Городок шумел. Каждый хотел сказать свое о свержении царя. Одни радовались, другие хмурили брови. Будущее представлялось неясным. Большевистская группа во главе с Северовым вышла из подполья, участники рабочего кружка выступали на предприятиях города.

Бекболат доказывал Маметали, что настало время идти в аулы, нести народу слова правды. Ведь это его дело, его долг — рассказать аулчанам о революции, о русских рабочих, о свободе. Сколько лет скрывали от темного народа правду баи и мурзы, их приспешники!

Там, в далекой России, крестьяне захватывают помещичьи земли, а здесь, в предгорьях Кавказа, такие, как Батока и Кабанбек, все еще сидят на шее народа, пьют его кровь. Долго ли можно терпеть? Нет! Пора идти говорить с аульской беднотой, пора рассказать аулчанам, что революция даст им свободу, даст им землю. Нужно, чтоб они сами поднялись против своих угнетателей!

Маметали одобрял стремление племянника вернуться в Кобанлы, но посоветовал не бросаться сломя голову, выждать — куда повернут события. Северов был согласен с ним.

Прошло несколько недель, и Бекболат сам увидел то, что раньше его поняли Северов и Маметали: все революционные преобразования после свержения царя ограничились здесь, на Северном Кавказе, незначительной сменой административных лиц. Земля оставалась у прежних владельцев, комиссары Временного правительства заявляли, что революции больше нет, в России, мол, она окончилась в три дня, и дали указание хранить

царские портреты до особого распоряжения. Войну надо было продолжать до победного конца. В состав уездного гражданского комитета, контрреволюционного по сути, вошли помещики, кулаки, офицеры, духовенство, представители буржуазной интеллигенции. С другой стороны, оформлялись легальные большевистские организации, и там, где они были сильны, Советы возникали большевистские.

Наконец пришел все-таки день, которого ждал Бекболат. В обеденный перерыв Северов через Кольку-Соловья передал Бекболату, что ждет его вечером. Когда он вошел в комнату Василия Семеновича, тот разговаривал с Маметали: спорил и что-то доказывал.

Поздоровавшись, Бекболат устроился у печки на табуретке. Не хотел мешать старшим. Наконец Северов встал, подошел к нему и, положив руку ему на плечо, сказал:

— Помнишь, Болат, говорил я, что настанет день, когда тебе нужно будет идти к своему народу и рассказывать ему правду... Думаю, время пришло. Твой дядя Маметали согласен со мной, он и сам отправляется в ногайские аулы... Хорошие новости: в Петроград из-за границы вернулся Ленин. Мы получили текст его выступления — это наша боевая программа!

Бекболат вскочил с табуретки.

— Да я в любую минуту...

— Сиди, сиди! — Северов улыбнулся. — Знаю, что хочешь сказать. Готов вернуться в свой аул! Это неплохо. Главное сейчас — разъяснить людям, что происходит вокруг, не дать баям и богатым казакам обмануть аулчан. Дело это нелегкое. Нужна осторожность. Ваш мурза наверняка сговорится с атаманом отдела... Думаю, тебе стоит объехать несколько аулов, побеседовать с людьми, разъяснить нашу программу...

Допоздна горел в этот вечер свет в доме Северова. Бекболат готовился к возвращению в Кубанлы.

РАЗВЕ МОЖЕТ НЕБО УПАСТЬ НА ЗЕМЛЮ?

Батока расхаживал по широкой светлой кунацкой из угла в угол, стараясь не наступить на скрипучую половицу. Был мурза задумчив, и было о чем ему задуматься. Устав ходить, пристроился на кресле у окна.

На дворе вечерело. Днем солнце светило по-весеннему ярко и пригревало уже. Да, посмотришь из окна — будто все в мире по-прежнему, никаких изменений, сегодня все то же и так же, как вчера, как позавчера. То же небо, те же приземистые сакли, крытые соломой или камышом, мечеть с минаретом...

Остановив взгляд на мечети, мурза думал: «Наверное, люди хотят быть ближе к небу, потому и строят высокие минареты, но и с такой высоты не долетают до нашего аллаха просьбы Шапу-эфенди и Кара-муллы, не слышит их всемогущий... Почему так? А желания безбожных босяков, похоже, начинают исполняться... О, прости мне кощунственные мысли, всевышний!..»

Мурза опустил голову на ладони, сжал виски. «Что делать, что делать?.. Что творится в этом мире? Ну можно ли равнять баев, хозяев земли, с голоштанниками-босяками? Расстояние между теми и другими — как от неба до земли. А разве небо может упасть на землю? Что за люди, которые хотят поставить на одну доску нас, известных всему миру мурз Тохтамыса, со слугами-рабами? Что творится в России? Что это такое — Временное правительство? Вернется ли царь? Что будет с землей? Против городских смутьянов помогут казаки, — это атаман обещал твердо. Но великий аллах, как допустил ты подобное? Слуги, рабы, кулы, голытьба, босяки голоштаные, грязь земли — свалили казавшийся неколебимым и вечным трон царя! Как могло случиться такое? И как теперь жить? В каждой отаре нужен хозяин — голова. Нет, нет, не бывает страны без царя, не может быть такого... В городе сборища, большевики какие-то объявились, говорят — нужно разрушить весь мир, потом, мол, новый построим. Было бы понятно, если б конец света... Но не конец, а хуже — прет непонятная сила. Смута в России, смута в городе, завтра может и здесь, в Кобанлы, начаться... Ох, голова разламывается от этих мыслей... Но нет, нет, сволочи! Никогда не бывать вам у власти, взбунтовавшиеся рабы! Подыдемся всем миром, все правоверные, соберем силу... Казаки помогут... А не сможем остановить заразу, пора, пора обратить взгляд к близкой единой Турции... Аллах поможет нам в этом... О аллах, помоги, услышь!»

Мурза поднялся в волнении и опять начал ходить из угла в угол. Потом подошел к окну и, будто желая увидеть что-то неизменное, постоянное, отрицающее всякие

перемены, поглядел на Кобанлы. В ауле все было тихо, из труб подымались столбы дыма: люди собирались ужинать. Батока смотрел на аул так, словно видел его впервые. Усмехнулся: «Взять наш аул. Что станется с ним, если не будет головы — хозяина, меня? Все пойдет прахом! Надо быть слепым, чтоб не видеть этого! В послушании, в подчинении раба хозяину — основа вещей, основа всякого порядка. Понимают ли это в ауле? До сих пор, кажется, понимали... А кто не понимал, того мы... Ходил слух, будто объявился в городе этот гаденыш, сын Алима... Но сейчас и не тронешь его, как раньше, — опасно... Выждать, выждать, пока прояснится, к чему повернула жизнь... Главное сейчас — не допустить заразу в аул... Таких, как Маметали, как сын Алима, их чтоб и духу не было! А Кара-мулла пусть поговорит с народом...»

Мысли Батоки прервал скрип открывшейся двери. Он оглянулся. В комнату, тихо ступая, вошла Берзахан. Сказала, склонив в поклоне голову:

— О чем задумался, мурза? Что делаешь? — Голос ее был тонким, высоким, как у ребенка.

Мурза молча смотрел на жену, словно не узнавая, потом нахмурил густые рыжеватые брови, сердито пробурчал:

— Что делаю, о чем задумался, не твое дело, старая.

Берзахан не обиделась, не ответила; сложив руки на груди, остановилась возле печи. Как можно обижаться, он ведь муж — хозяин очага. Берзахан слишком хорошо знала характер, своевольный нрав мурзы.

Батока шагнул к ней раз, другой — и остановился. Оглядел ее с ног до головы. Перед ним стояла худая, с увядшим, пожелтевшим лицом старая женщина. Ее большие темные глаза, когда-то сводившие его с ума, глубоко запали, из-под шелковой шали выбилась седая прядь. «Да, постарела», — недовольно подумал Батока и, ничего не сказав, отвернулся к окну, отошел, сел в глубокое кресло, вытянул ноги.

— Уже вечер, мурза, — с покорностью в голосе сказала Берзахан, — пора ужинать, я приготовила кувырдак¹, идем, а то остынет.

Батока, снова углубившийся в свои мысли, ничего не ответил, лишь взглянул холодно. Берзахан опустила голову, вздохнула.

¹ Кувырдак — национальное мясное блюдо вроде гуляша.

Батока сидел задумавшись, кажется, он не понял, что сказала ему жена, но ход его мыслей переменился. Он вдруг вспомнил слова Берзахан — то, что говорила она месяца два назад о младшей жене: «Уж очень она веселая стала, Тотамаш. Сегодня видела ее с Кабанбеком, долго стояли у ворот...»

Сейчас, вспомнив намек Берзахан, Батока подумал: «Права старая, что-то игривой сделалась в последнее время моя Тотамаш. Нужно проведать ее».

— Пойдем, мурза. Нельзя заставлять пищу ждать. Пойдем, я тебе кое-что скажу.

Батока удивленно вскинул голову, быстро поднялся с кресла и пошел за Берзахан.

Расстроенный новостями, тяжелыми мыслями и страхами, мурза ел мало. Рассеяннo покoвырял вилокoй кувырдак, потом оттолкнул тарелку и, словно говоря: «Я тебя слушаю», повернулся к жене.

Берзахан вздохнула и рассказала: как-то сама видела, что Тотамаш разговаривала о чем-то со стариком Аматом, а после к ней заходил Кабанбек. Вчера это повторилось. В подтверждение своих слов она поклялась на коране.

Батока слушал багровея. Накануне вечером он заходил к ней, к Тотамаш. Она лежала в пуховой постели и, когда муж вошел, даже не встала. Он еще подумал тогда: «Что с тобой, Тотамаш, что случилось? Почему так рано легла?» Батока вернулся во хмелю и, сев на постель молодой жены, протянул руку к ее груди. Но Тотамаш, сытая ласками Кабанбека, оттолкнула его:

— Больна я, мурза. Очень больна...

— Что с тобой, моя Тотамаш?

— Стесняюсь сказать, дорогой...

— Ну, ну... Я же муж тебе, чего там!

Тотамаш закрыла глаза и тихо ответила:

— Женское дело, дорогой мой старичок. Совсем нельзя...

— Вот черт! — пробурчал Батока, сдерживая нетерпеливое желание.

Тотамаш усмехнулась:

— А ты сходи к старшей жене...

Разговор этот произошел вчера, а сейчас мурза сердито спросил:

— И что дальше?

— Больше ничего, — Берзахан потупила взор и начала убирать посуду со стола.

— Что ж ты этим хочешь сказать?— Видно было, что у мурзы настроение совсем испортилось.

Берзахан составила посуду на полку и ответила:

— Я бы на твоём месте, мурза, последила бы за ней. Тотамаш на все способна...

«Ах вот оно что!— подумал Батока.— Старая ревнует меня к молодой. Бывает».

— Ну это не твоё дело, я сам знаю, как мне поступать. Да и не время этим заниматься. Есть дела поважнее. Светопреставление начинается...

Услышав такое, Берзахан всплеснула руками:

— Что говоришь, мурза, какое светопреставление?!

Батока коротко рассказал то, что сам знал уже давно: босяки требуют отобрать у баев землю, хотят стать хозяевами жизни.

— О аллах милосердный,— прослезилась Берзахан,— спаси нас от такой напасти... Что теперь с нами будет?..

— Не реви!— разозлился Батока.— И без тебя тошно.

Берзахан осеклась.

Батока поднялся из-за стола, сотворил молитву, огладил ладонями лицо и из комнаты старшей жены перешел к младшей, чтобы найти себе хоть какое-то утешение.

ПОКА ЗДЕСЬ ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ

Когда Батырбек узнал, что Кабанбек сватает Салимат, как он жалел ее, как проклинал ненавистного бая! «Смотри ты, что задумал, старый козел! Неужели Салимат выйдет за него? Ведь она любит Бекболата... Но... ее отец... И Бекболат пропал, полгода уже нет от него вестей. Что делать, как помочь Салимат?»

Каждый день проходит мимо дома Камая Батырбек, да что толку, девушки не видно! «Уж не случилось ли что, может, заболела?»— думает он. Побывал он и у ручья, где женщины брали воду, надеялся встретить ее там. Но Салимат и сюда не пришла.

Дни убегали быстро, как вода в реке. С тех пор как Бекболат ушел из аула, Батырбек лишь раз услышал весть, что его товарищ работает на шерстомойной фабрике. Эх, съездить бы туда! Куда там!.. Он же батрак, сам себе не хозяин. Паси скот ненавистного бая и много не рассуждай...

Как-то поздно вечером Батырбек устало брел позади стада, возвращаясь в аул; он вздрогнул, когда его дернули за полу черкески.

— Кто?

— Тише, Батырбек, не кричи, это я, Салимат, — услышал он тихий девичий голос.

Батырбек устало глядел на девушку. Что она делает тут, возле балки?

— Салимат, зачем ходишь в темноте? Что случилось? Давно не вижу тебя.

— Зачем хожу? Тебя жду... — Девушка низко опустила голову. — Слышал, наверное...

Батырбек вздохнул:

— Да, слышал... Знаю все, Салимат...

Заглянув в глаза Батырбека, девушка спросила:

— От друга ничего нет?

— Пока ничего. Но в Белоярск уехал Берслан Катукон. Обещал разузнать... Говорили, будто там Бекболат, живет с Маметали...

Салимат и этому была рада.

— Давно уехал?

— Третий день. Не сегодня, так завтра должен вернуться.

Девушка облегченно вздохнула. Хоть какая-то надежда.

Батырбек продолжал:

— Слышишь, Салимат? Прошу тебя, держись. Не горюй, все будет хорошо. У тех собак мечты не исполнятся. Как только получу весть о Бекболате, сразу найду тебя.

— Спасибо, Батырбек, дай тебе аллах здоровья. Кроме тебя, нет здесь человека, с которым могу поделиться горем. Спасибо тебе... Теперь я пойду, мать будет беспокоиться...

— Счастья тебе, Салимат...

Девушка исчезла, а Батырбек побежал догонять стадо.

Впереди показались огни усадьбы мурзы — там стоял просторный рубленый дом Кабанбека. Скоро Батырбек войдет в просторный, как площадь, двор, услышит голоса слуг и батраков бая, увидит его самого, — подсунув пальцы под золоченый пояс, ходит, покрикивая на слуг. Он уже не может не кричать, вошло в привычку. Потом Кабанбек уйдет в свой дом, богатый, на стенах и на полу ковры. Слуга принесет ему кувшин первосор-

тной бармажи, другой — пол-ягненка. Удобно устроившись на мягком толстом ковре, бай приступит к трапезе. Потягивая бармажи, насыщаясь мясом, он проведет час, а то и два. Потом, сыто отрыгнув, приляжет на подушки отдыхать, и тут придет время вспомнить о черных глазах, косах до пят и стройном стане Салимат. «Надо быстрее взять ее в свой дом», — подумает Кабанбек, с наслаждением потягиваясь. Потом он вспомнит о Тотамаш. О, вот женщина! Жаль, что она жена Баточки, а то... Представишь ее — дрожь пробирает, сон проходит. Кабанбек загорается, впадает в беспокойство, вскакивает с подушек и начинает бегать по комнате, приговаривая: «Собачий сын, а не мурза! Поди ж ты, никуда не выедет, дома засел». Он совсем распаляется и словно видит Тотамаш: полногрудую, из-под густых изогнутых ресниц дерзко смотрят зовущие черные глаза. Немного полновата, но зато и посмотреть есть на что и обнять есть что. Вот она подходит, покачиваясь, переваливаясь, как уточка, оглядываясь по сторонам. Обними ее, поцелуй в полные губы, Кабанбек. Смотри только, чтоб мурза вдруг не появился. Если узнает о твоей связи с женой, пропал ты тогда, прольется и твоя кровь, и кровь Тотамаш. Нет, нет, разве Кабанбек позволит себе такое... с Тотамаш... в открытую? Конечно, нет. Никто ничего и не подозревает, разве только старик Абат, батрак мурзы, догадывается кое о чем — раза два видел его с Тотамаш... В то время Ханбийке, жена Кабанбека, еще была жива. Да, старик будет молчать — небось понимает, что не его это дело соваться меж мурзой и Кабанбеком. С двух сторон получит плетью...

Ханбийке... Разве можно было сравнить ее с Тотамаш? Хоть Тотамаш не высокого, не княжеского рода, да красотой взяла. Увидев Кабанбека, Тотамаш всегда ласково улыбалась, краснела. Сравнив его со своим старым, холодным мужем, приходила в ярость. Когда встречались наедине, ругала Кабанбека: «Как можешь жить с такой женой? Доска, образина конопатая, а не баба!» Кабанбек отвечал, обнимая ее: «А как ты с мурзой?» — «Как ты, так и я, — прижималась Тотамаш к Кабанбеку. — Милый мой, я же тебя люблю, разве не видишь?» — «Вижу, дорогая. Сядь поближе...»

Когда мурза выезжал по делам, Кабанбек вспоминал о Тотамаш, старался встретиться с ней. Но как встретишься, когда старый хрыч дома? Мешает, особенно

в последнее время мешает, засел, никуда не ездит. Неужели старый осел что-то пронюхал?

Кабанбек любил вспоминать о первой встрече с Тотамаш.

...Однажды вечером, осматривая свой двор, он проходил мимо конюшни и вдруг увидел в углу что-то темное. Первой мыслью его было «вор», хотел было поднять крик, но тут сообразил, что это темное похоже на женщину. Осторожно подошел, спросил:

— Кто ты?

Женщина, закутанная в большую шаль, молча глядела на него и не двигалась.

— Почему молчишь, женщина? — уже увереннее спросил Кабанбек и, подойдя вплотную, с удивлением узнал младшую жену мурзы.

— Это я, Тотамаш... — прошептала она.

— Что ты тут делаешь?

— Тише, ради аллаха! — Женщина обняла его. — Тебя жду, милый.

Сердце у Кабанбека от этих слов подпрыгнуло, словно хотело взлететь в небеса. Он не верил собственным глазам, хоть и чувствовал горячее дыхание Тотамаш, силу ее рук. Словно во сне, обнял ее упругое тело. И вдруг ужаснулся, вспомнив мурзу, выпустил ее, отпрянул.

— Что делаешь, а если муж увидит?

— Да чтоб он сдох, этот мурза. Ты мне нужен, Кабанбек, ты...

И Кабанбек потянул ее в пустой по весенней поре амбар...

С этого вечера они и стали друг для друга медовыми ложками, как говорят ногайцы. Боялись лишь, как бы не узнал о их связи мурза...

Кабанбек расхаживает по комнате, бормоча под нос; он размышляет.

«Что же делать? Сын собаки, мурза, кажется, и сегодня дома... Привел бы к себе Салимат, да нельзя — мурза, вишь, подождать просит. Уляжется, мол, все... Проклятый мурза, чтоб ты сдох, как и твоя дочь! Была она мне непослушной, капризной женой... Значит, пока о Салимат и думать не стоит. Мурза за такое может выгнать со двора... Завидует он мне, что ли? Впрочем, Салимат, дочь Камая, никуда от меня не уйдет, будет моей... Камай ведь согласен, а раз он согласен, значит, и дочь. Но как быть с Тотамаш? О, эта змея — если ее

послушать, так и жениться не нужно. Знает лишь себя: «Мало тебе, что ли, меня одной?» Конечно, мало. Мне и Салимат нужна, и ты...»

Так, не находя себе покоя, разгуливает по комнате, говорит сам с собой Кабанбек...

Неспокойна сейчас и Тотамаш. Ее глаза то мечтательно влажны, то гневно сощурены. Эх, была б она свободна!словно птица, полетела бы в объятия Кабанбека! Но замужняя... Попробуй, не спросив разрешения, выйти даже во двор, без головы останешься. Дыхание ее тяжело и беспокойно, высокой груди тесно под платьем, воротник давит, жарко, душно... Что делать? Надо что-то придумать... придумать... Ты же хитра, изобретательна, Тотамаш... Думай!

Ходит по двору у дома Батоки и его батрак Батырбек. Он должен передать стадо бая ночному пастуху Матакаю, а тот почему-то не идет. Неужели, бедняга, заболел?

Как всегда, есть дела во дворе у старого Амата. Пожалев парня, он предлагает Батырбеку:

— Хочешь, принесу тебе айрана?

Батырбек молчит, неловко заставляя человека старше себя ходить за айраном.

Амат, понимая смущение парня, говорит:

— Иди сам на кухню, а я присмотрю за стадом.

Когда, выпив айрана, Батырбек возвращается во двор, оказывается, что и Матакай уже пришел.

Усталый Батырбек бредет по улице к своему дому. Там его ждет больной Нурыш.

Эх, отец, отец! Все ночь будет кашлять, ворочаться со стоном... Чем, как ему помочь? Эх, жизнь... собачья жизнь! Когда ты изменишься? Слышал, слышал он, что царя уже нет на престоле, что земля будет передана беднякам. Однако все осталось по-прежнему. Батока как был баем, хозяином аула, так и остался. А батраки остались батраками... И он сам был пастухом бая, пастухом и ходит. Батока косо смотрит на него, вечно ворчит, вечно недоволен. Правда, за последнее время он как-то присмирел, уже не грозит камчой... Может, чего-то опасается... Кто знает, что происходит на свете? Пока еще докатится до Кубанлы! А пока здесь все по-прежнему. Земля, скот, власть — все у баев.

Батырбек прибавляет шаг. Надо спешить. Ведь и завтра рано вставать. На рассвете он должен опять гнать на пастбище скот бая...

ЗДРАВСТВУЙ, КРАЙ РОДНОЙ!

Сняв шапку, Бекболат стоял на вершине холма и смотрел на родной аул. Налетающий с гор ветерок лохматил его темные волосы, отросшие за время жизни в городе, трепал полы черкески, раскачивал сухие стебли юсан-травы.

Отчий край! Кажется, нет в тебе ничего особенно-го — скалы, балки, взгорья, холмы, поросшие полынью, выгорающая за лето степь, но отчего же так замирает сердце?

С малых лет помнит Бекболат песню:

Всего дороже для джигита честь мужская
И край родной — очаг отцов...

И вот он снова стоит у порога родного очага. С вершины холма видит, как внизу катит свои серебристо-зеленые волны знакомая с колыбели река — милая сердцу Кубань. А на ее берегу — аул, низкие саманные сакли жмутся к земле, как напуганные ястребом перепелята. И только минарет мечети, как хозяин, как страж и повелитель правоверных мусульман, смело взметнулся, тянется к синеве неба.

Бекболат отыскал взглядом родительскую саклю, и сердце его сжалось от тоски и боли: домик покосился и будто осел, двор зарос бурьяном. Удастся ли ему когда-нибудь снова зажечь угасший очаг?.. Он невольно перевел взгляд на саклю Салимат. Долго смотрел на ее крыльцо, но никто из сакли не выходил, и с улицы никто не открывал калитку.словно и тут угас очаг, как в его родном доме. Тревога заполнила его душу...

Скорее, скорее в аул! Сначала — к тетке Кеусар, она наверняка знает, что случилось с очагом Камая, где Салимат...

Первым встретил его старый пес Барак, узнал Бекболата еще издали. Не успел тот войти в калитку, как пес с радостным визгом бросился к нему, лизнул руку, щеку.

— Ты еще жив, Барак! Машалла! — Бекболат ласково потрепал густую шерсть на загривке.

На крыльцо вышла Кеусар, всплеснула руками:

— Ва! Болат... Слава аллаху, жив! — По щекам ее покатались слезы.

— Зачем же плакать, аптей! — Бекболат обнял тетку.

Кеусар вытерла глаза платком.

— Ну дай хоть посмотрю на тебя... Совсем джигитом стал! Встретила бы где-нибудь на дороге, не узнала бы. Ах, увидела бы теперь тебя сестра Каний, как бы рада была, бедняжка!

Пришли соседки, поахали, порадовались, поудивлялись. Сын Каний и раньше был хорош собой, ну а сейчас просто загляденье! Высокий, плечистый, с маленькими красивыми усиками — настоящий мужчина! Глаза карие, как спелый орех. И глядит спокойно, уверенно. Речь ведет неторопливо, обдуманно. Только вот зачем он волосы отрастил, как русский.

Когда соседки ушли, Бекболат спросил Кеусар:

— Аптей! Что это никого не видно во дворе у Камая?

Кеусар сразу поняла, почему интересуется племянника узденя Камай.

— В степь, наверное, уехали, в поле. Вчера я видела Салимат.

У Бекболата отлегло от сердца. А Кеусар не знала, что делать, — сказать ли, что Кабанбек сватает Салимат, или не надо? Нет, нет, пусть отдохнет с дороги: зачем сразу расстраивать парня! И она захлопотала у очага...

Весть о возвращении сына Каний разнеслась по аулу.

— Вот так новость! А говорили, в абреках пропал!

— Такой молодец разве пропадет!

— Да он вовсе и не в абреках был — у дяди, у Маметали, в Белоярске.

— Совсем приехал или погостить?

— Кажется, погостить...

* * *

Прибежал Батырбек. Друзья крепко, по-мужски обнялись, расцеловались. Уселись рядом на крыльце, начались воспоминания.

— А помнишь, Батырбек, как мы с тобой еще мальчишками напугали Кабанбека, когда выбежали на дорогу в козлиных шкурах?

— Как же! Случается проходить там — смех так и разбирает!

И они смеются, беззаботно, как мальчишки. Кеусар слушает, и на душе у нее теплеет. Батырбек гладит свою бритую голову:

— Ты волосы отрастил... А что — так, пожалуй, красивее...

Бекболат немножко смущен: у ногайцев принято брить голову.

— Видишь ли... там, в городе, все так ходят, — объяснил он и посерьезнел. — Слушай, Батырбек, как живет Иса, что делает?

— Да все по-прежнему: и он, и Амурби батрачат у Батоки.

— А Салимат? — тихо спросил Бекболат.

Батырбек не сразу ответил.

— Почему молчишь, случилось что?

— Ее сватает Кабанбек! — выдавил Батырбек.

Бекболат сердито посмотрел на товарища:

— Плохо шутишь, Батырбек! У него ведь жена — дочь Батоки; разве мурза разрешит ему привести в дом вторую?

Батырбек присвистнул:

— Так ты не знаешь? От Ханбийке поди уж и косточек не осталось. Еще в прошлом году умерла!

— Да-а?! — Только теперь Бекболат понял, что другого не шутит. Значит, надо во что бы то ни стало завтра же увидаться с Салимат!

Кеусар позвала друзей пить чай. Поставила на сып-пыра пиалы, положила кусок сыра, чуреки.

— Наверное, соскучился там по нашему чаю, Болат?

— Конечно, аптей! Ко всему, кажется, привык, а вот городской чай до сих пор пить не научился!

— Пейте на здоровье: густой сварила — с перцем, со сметаной.

После чая Батырбек предложил другу пройтись за околицу.

Они вышли из аула. День выдался теплый, небо чистое, бездонное. На горизонте четко вырисовывались снежные вершины Кавказа, хорошо был виден двуглавый Карлы-тау. Бекболат соскучился даже и по нему, приветствовал про себя снежного великана: «Здравствуй, батыр!»

— Разговор у нас с тобой, наверно, долгий будет — вопросов у меня к тебе больше, чем у тебя волос на голове, — сказал Батырбек.

Они сели на камень в тени орехового дерева.

— Вот что скажи мне, друг, — сразу начал Батырбек, — что происходит в мире? Ты жил в городе — должен знать. У нас разное болтают. Временные какие-то,

потом Советы объявились... А мурза и атаман — на месте... Недавно Батока говорил: те, что царя скинули, русские, они абреки, бандиты, нас, ногойцев, ненавидят. А Кара-мулла только и твердит в мечети: кто на чужую землю зарится — те отступники, драконы. Большевиков каких-то ругал. Грозился: если только возьмут они власть, тут же наступит конец света. И с немцем войну вроде не хотят эти временные кончать...

Бекболат слушал друга и то не мог удержаться от улыбки, то хмурился — его густые брови сходились на переносье, как две волны.

— От баев, от муллы другого и ожидать нельзя. Ослепить хотят народ. Правду ты говоришь — вот царя свергли, а вы все живете в ауле по-прежнему. Почему? Да потому, что власть у нас, на Кавказе, осталась в руках у богачей. Сам видишь — Батока по-старому хозяйничает в Кубанлы, а у казаков — атаман. В России власть тоже прибрали к своим рукам буржуи да помещики. Вот против них и борются большевики... Эта партия рабочая. Хотят мир нам дать, и землю, и волю...

Долго еще рассказывал Бекболат о том, что происходит в России и у них, на Кавказе, чего нужно добиваться здесь, в аулах. Батырбек слушал и удивлялся и радовался: вот, оказывается, каким стал его друг! Судит мудро, как аксакал!

Потом они вышли к реке.

Кубань, как всегда, шумела и торопилась. Ее чистая, прозрачная вода хрусталем звенела в каменистом русле. Давно уже не пил Бекболат из родной реки. Он скинул чувяки, вошел в воду, зачерпнул полные пригоршни, припал губами. Ах, хороша!..

— Честное слово, Батырбек, нет воды лучше нашей... Вкуснее айрана!

Батырбек понимающе улыбался.

На той стороне реки виднелась казачья станица Беломечетская.

— А как живут станичники, что у них? — спросил Бекболат.

— Наши сейчас редко встречаются с ними, — сказал Батырбек, — кроме Батоки и Кабанбека. Эти каждое воскресенье ездят кутить к богатым казакам.

— Одна свора! Как говорят русские — «рыбак рыбака видит издалека»! Ну да придет еще время...

— Стоп! — перебил его Батырбек, придержав за руку. — Гляди!

По дороге из степи в аул медленно двигалась арба, впереди сидели мужчина и девушка.

— Камай с Салимат!

Первой мыслью Бекболата, первым желанием было броситься к арбе. Но вовремя одумался: разве что скажешь девушке при отце? Да еще просватанной! Лишь навлечешь гнев Камая!

Арба медленно проплыла мимо, скрылась в лощине.

— Слушай, Батырбек! Мне нужно увидеть ее, поговорить... Придумай что-нибудь — сходи к ней, скажи, что завтра вечером буду ждать ее в балке у ручья!

— Сегодня вряд ли получится — она отцу помогает... А завтра утром попробую...

Бекболат не ответил, молча глядел в сторону лощины, где скрылась запряженная волами арба.

СУЮНШИ

Солнце ушло уже за далекие вершины, когда во двор к Салимат вбежала соседская девочка Келди. Она любила приходить к Салимат, училась у нее вышивать, шить носки из тонкого войлока, прясть. Но обычно Келди появлялась утром или днем.

— Почему ты так поздно? — спросила Салимат.

Круглое смуглое личико Келди зарделось румянцем. Было видно, девочке не терпится сообщить Салимат что-то важное. Она опасливо оглянулась вокруг и таинственно прошептала:

— Салимат-аптей! Послушай, что скажу... Днем сегодня играла я во дворе — гляжу, идет по улице джигит. Высокий, красивый. Сапоги так и блестят, с солнцем играют. Под черкесской, как у русских, новенький пиджак. Сразу видно, не из нашего аула. Такой джигит, такой джигит... — Дальше девочка не могла подобрать слов, лишь глаза ее возбужденно светились.

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо подбадривала ее Салимат, чувствуя, как забилося сердце. — А куда он пошел?

— Пошел в Найман-ямагат. Мама сказала, он очень похож на сына Каний, на Бекболата.

Салимат, не сдержавшись, бросилась к девочке, обняла, расцеловала. Сняла с пальца расписанное золотом серебряное колечко:

— Келди! Это тебе суюнши... Бери, бери, не стесняйся!

Келди вспыхнула, зарделась, как маков цвет.

— Ой, Салимат! Разве можно такое колечко?.. Ты такая красивая, пусть оно будет у тебя.

— Нет, теперь оно твое: я так загадала!— Салимат взяла руку девочки и надела колечко ей на палец.— Ну а теперь беги домой: уже поздно, мать будет беспокоиться.

— Спасибо, аптей, за колечко!— выдохнула Келди и, как козочка, поскакала со двора.

Салимат смотрела ей вслед и улыбалась.

В дремотной тишине застыл аул. Давно ушло на отдых солнце. Притихла степь. Сонно булькает в балке родник. Спят уставшие за день люди. Улыбается во сне Камай. «Эй, хозяин!— слышит он зычный голос.— Принимай калым за дочку!» Выглядывает в окошко, а у ворот чуть не целая отара баранов! И стоит с ярлыгой сам жених — Кабанбек, в дорогой черкеске, в бухарской папахе, заломленной назад, поглаживает длинные черные усы, улыбается Камаю. Камай выскакивает во двор, распахивает ворота, и бараны, толкая друг друга крутыми боками, волоча жирные курдюки, теснясь, идут в загон... А работники Кабанбека пригоняют еще десять пар волов, запряженных в большие, четырехколесные арбы, груженные отборной кукурузой и пшеницей. «Ну, Камай, доволен калымом?— спрашивает, улыбаясь, жених.— Доволен, так что ж ты стоишь? Давай сюда дочь! Вон уж и кони нас ждут!» И в самом деле, словно изпод земли являются два великолепных аргамака: седла, уздечки горят золотом, сверкают серебром. Камай выводит дочь, Кабанбек сажает ее на коня, сам взлетает на другого и, поддерживая Салимат за талию, направляется к усадьбе мурзы...

Улыбается во сне Камай, спит сладким сном Райме, только Салимат не может сомкнуть глаз. Радостная весть, которую принесла маленькая Келди, заполнила все ее сердце... Но вдруг тревога, сомнение: «А может, джигит, которого видела Келди, вовсе и не Болат! Может, просто гость из города приехал к баям или к самому мурзе?.. Да ведь Келди так и сказала: «Сапоги с солнцем играют. Под черкеской, как у русских, новенький пиджак: сразу видно, не из нашего аула!» Салимат не выдерживает, приподнимается на постели,

минуту-другую думает, потом встает, идет к окну. В доме такая тишина, что Салимат слышит, как гулко и тревожно стучит у нее сердце. Прильнула к стеклу улочка, освещенная ущербной луной, пуста. Спит аул, дремлет над ним Аютау — Гора-медведь, будто охраняя человеческий покой.

Салимат торопливо надевает темное платье, на голову черный платок и, осторожно прикрыв дверь, выходит на улицу. Оглядывается — тихо, никого. Однако на всякий случай, чтоб никто не увидел, девушка скользит у самых плетеных заборов.

Она торопится, раза два спотыкается о камни. Останавливается, прислушивается и снова спешит. По шатким кладям переходит ручей, за которым начинается ямагат Найман. Вот и домик Кеусар, знакомая соломенная крыша. Салимат останавливается, нужно перевести дыхание, иначе помешает услышать стук собственного сердца... Помешает услышать голос Болат. В домике как будто темно. Девушка подходит к низкому забору, прислушивается — ни звука! Отчаявшись, Салимат приоткрывает калитку — тотчас раздается яростный лай. «Барак! Барак!» — ласково окликает девушка, а сама пятится назад. Собака, узнав, умолкает. Салимат поворачивается и что есть духу бежит прочь. Барак и не думает преследовать ее, и девушка останавливается. Смотрит издали на крыльцо Кеусар: не выйдет ли кто? Долго стоит, ждет, спрятавшись под акацией и кутаясь в платок. Нет, никто не выходит: Кеусар, видно, ушла в гости, а тот джигит, которого видела Келди, вовсе не Болат!.. Понутив голову, возвращается Салимат домой. Теперь уж она не прячется в тени заборов, не кутается в платок: теперь ей все безразлично...

А Бекболат тем временем сидел у своего оправившегося уже от раны друга — табунщика Амурби. Тяжким камнем лежала на его душе тайна той ночи, когда он привел абреков к табуну чистокровок, и один из них ранил Амурби. Теперь Бекболат чистосердечно рассказал все товарищу.

— Вот оно что! — удивленно восклицал Амурби, слушая исповедь друга. — Значит, ты и в абреках походил? Ну и отчаянная ты голова, Болат!

— Лучше скажи — дурная, безумная, — виновато возразил Бекболат. — Хорошо, быстро спохватился, ушел к дяде, а то аллах ведает, чем бы все кончилось!.. Как сейчас-то, не болит нога?

— Все в порядке!— Для убедительности Амурби даже потопал левой, раненой ногой.

— Надо собраться вместе с Исой и Батырбеком, поговорим о важном деле, — сказал Бекболат, когда заботы сегодняшнего дня отодвинули воспоминания. — Время такое — надо быть заодно...

Салимат убирала со стола посуду после завтрака, когда в саклю, запыхавшись, влетела Келди.

— Салимат-аптей! Надо сказать тебе по секрету!— выпалила она и тотчас закрыла рот ладошкой, смутилась.

Салимат бросилась к ней, обняла:

— Ну говори, говори... только тихонечко!

— Сейчас... к нам заходил... Батырбек, — торопливо, не отдышавшись, начала девочка. — Он сказал... он сказал: вечером, как только стемнеет, тебя будет ждать один джигит в балке, у родника Тулкили.

Салимат коротко вскрикнула и тоже, как минуту назад Келди, прикрыла рот ладонью.

— Ой, какие мы с тобой дурочки! — прошептала она на ухо девочке. — Кричим на весь аул, словно глухие... Спасибо тебе, Келди! — Она поцеловала девочку. — Вот, попробуй нашу халву — очень вкусная! Я сама готовила...

Келди положила на язык маленький кусочек и блаженно прикрыла глаза.

— Ой, прямо тает! — прошептала она и, проглотив угощение, облизала пальчики.

— Возьми с собой: братишку угостишь. — Салимат завернула в чистую тряпицу два кусочка халвы.

— Спасибо, Салимат! — И девочка со всех ног пустилась домой.

БУСЫ

Хотя солнце вот-вот должно было скрыться за горой, Салимат старательно продолжала стирать белье. Большой жестяной таз скрипел на табуретке, летели хлопья мыльной пены. В очаге ярко горели кизяки, над огнем висел на цепи большой казан, наполненный водой. Пар смешивался с дымом, улетал вверх через широкий дымоход. Радостно на душе у девушки, оттого так провор-

но стирают, скручивают, отжимают белье белые руки Салимат.

Не может не порадоваться, глядя на дочь, и Райме. Она ласково ворчит:

— Хватит, доченька, уже вечер наступил. Устала ведь... И завтра можно докончить.

Салимат молча поднимает взгляд.

— Устала, отдохни,— повторяет мать.

— Сейчас, абай,— отвечает девушка,— вот только это платье достираю...

— Хорошо, доченька...

Салимат не спешит. Уже и солнце скрылось за Аютау, уже и мулла призвал с минарета правоверных к вечернему намазу, а Салимат все стирает. В казане уже нет воды. Девушка снимает его с цепи, бежит к кадушке, а там лишь на донышке. Тогда Салимат возвращается в дом и, будто недовольная собой, жалуется матери:

— Оказывается, я всю воду израсходовала. Придется сходить к роднику, абай, пока не стемнело.

— Да ведь уже поздно, дочка,— беспокоится Райме.

— Ничего, абай, я быстро. Без воды ужин не приготовим.

Салимат берет ведра, коромысло и быстро вылетает со двора, так быстро, словно у нее крылья выросли. Она спешит к роднику, она знает, что встретит там половину своего сердца, что ждет ее там Бекболат.

За день Салимат извелась, не зная, чем занять себя, чтобы скорее шло время. Перебрала свои платья,— ведь хочется показаться милому во всей красе. После полудня затеяла стирку. А теперь, хоть мать и ворчит, побежала к роднику. Без воды как ужин сготовишь? Приходится идти по воду, хоть уже и вечер...

Салимат шла торопливо и, чтобы ведра не гремели, придерживала их рукой. Темновато все же! Она спустилась в балку, теперь и родник близко,— девушка всматривается в густеющие сумерки — нет, никого не видно у родника. Почему-то ей казалось сейчас, что идти по воду сегодня пришлось дальше, чем обычно. Запыхавшись, подошла к роднику, оглядела все вокруг, но ничто, кроме журчания воды, не нарушало тишину.

«Неужели не пришел?» — растерянно подумала Салимат, поставив ведра на землю, но вдруг испугалась и вскрикнула, увидев мужчину, появившегося из-за большого валуна.

— Не бойся, Салимат,— сказал, подходя к девушке, парень.— Это я...

Она уронила коромысло на землю и тихо повторяла:

— Бекболат, Бекболат...

— Вот я и вернулся к тебе...

Она прижалась к парню, опустила голову на его плечо. Потом взглянула ему в глаза:

— С приездом, Бекболат! Здравствуй!

— Здравствуй, моя Салимат!..

Бекболат показал на камень. Салимат, оправив платье, села. Бекболат сел рядом, обнял ее за плечи. Он с нежностью глядел на ее лицо: за время их разлуки Салимат похорошела. Ее черные глубокие глаза, казалось, притягивали к себе, и сейчас в них искрилась радость.

Салимат попросила:

— Бекболат, милый, расскажи, как ты жил... Хочу слышать твой голос...

Парень тряхнул головой, словно освобождаясь от наваждения, вздохнул и сказал:

— В городе жил неплохо. Работал. Кое-чему научился. Но в общем-то правильно говорят: «Хорошо там, где нас нет».

— Это верно,— прошептала девушка.

— Ну а ты?..

— Какая у нас здесь жизнь!— с дрожью в голосе ответила Салимат.— Не смей даже на улицу без спроса родителей показаться. Сегодня я обманула мать, чтобы прийти сюда, к тебе.— Она замолчала, прижалась к плечу Бекболата.

Тихо журчал родник Тулкили, на небе появились первые звезды, редкие среди облаков. И под ними, как одно большое сердце, стучали сердца двух влюбленных.

Бекболат ласково погладил волосы девушки.

— Говори еще, Салимат, я так соскучился по твоему голосу.

— Я... Меня...

Она опустила голову и тихо, горько заплакала.

Бекболат обнял ее.

— Не надо, милая... Я все, все знаю. Ничего у них не получится. Теперь я рядом с тобой. Не плачь, хорошая моя! Не бойся, все будет хорошо...

От его теплых, ласковых слов она начала успокаиваться, концом платка вытерла слезы, улыбнулась, прошептала:

— Спасибо, милый!

Потом, встрепенувшись, испуганно вскочила с камня:

— Ой, как долго мы тут!.. Побегу, а то мои хватятся.

— Подожди, Салимат.

Бекболат поднялся, сунул руку в карман и вытащил оттуда сверточек. Протянул его девушке.

— Возьми, это тебе.

— Ой, что тут?

Словно стесняясь своей смелости, парень объяснил:

— Подарок от меня, Салимат. Бусы...

Девушка прижала сверточек к груди, поднялась на цыпочки и легко коснулась губами щеки Бекболата...

Потом он наполнил оба ведра водой, Салимат взяла коромысло, и они медленно двинулись в сторону дома Камая. Парень нес ведра — и не чувствовал тяжести.

Вдруг Салимат остановилась, шепнула:

— Подожди. Смотри, видишь, кто-то идет.

Бекболат взгляделся.

— Верно. Кажется, женщина.

— Иди, милый! Спасибо, что помог донести...

— Ну это чепуха.

— Нет, не чепуха. Ну иди. Нас не должны видеть вдвоем.

— До свидания, милая!

— До свидания, Бекболат!

Через мгновение Бекболат растворился в темноте, а Салимат понесла ведра дальше, навстречу женской фигуре.

Через минуту послышался голос:

— Салимат, это ты?

«Мать ищет меня, хорошо, не увидела Бекболат...» — обрадовалась девушка.

— Я, абай.

— Что так задержалась, доченька? Не случилось ли чего? — спросила тревожно Райме.

— Ничего, абай. Шайдат у родника встретила, разговорились, вот и задержалась.

— Ну тогда ничего. Пошли, доченька. На счастье, отца еще нет дома, а то бы задал он нам обеим. Пошли скорее!

В последние дни Райме видела радостную перемену в настроении дочери; когда посватался Кабанбек и Камай дал ему согласие, Салимат призналась ей, что любит сына Алима, уехавшего в город; и вот недавно па-

рень вернулся в аул. «Быть беде», — испугалась тогда Райме, беспокоясь, даже страшась за дочь. Она хорошо знала мужа, сурового скупца, знала, что никогда он не отдаст дочь за бедняка. И особенно за Бекболата, преследуемого родом мурзы.

Мать и дочь спешили к своему очагу, и мысли их были об одном и том же — о Бекболате.

...Бекболат, спрятавшись за большим камнем, видел встречу Салимат с матерью, слышал их разговор. Успокоенный и встревоженный одновременно, он долго размышлял о том, что могло бы помочь им с Салимат уломать Камая. Потом встал и тихо побрел по тропе в аул. Прошел мимо дома Камая, и ему снова показалось, как тогда, возле родника, что он слышит биение сердца Салимат. Наверное, она в эту минуту думала о нем, а может, даже и прислушивалась, чувствуя где-то рядом на улице шаги любимого.

ИМЯ БАТЫРА

Сказок о могучих и непобедимых батырах у ногайцев неисчислимое множество. Стоит им сойтись вечером где-нибудь у плетня, у костра на пастбище, у очага в гостеприимной сакле — и вот она, эта сказка. А ежели рассказчик умелый попадетсЯ, как не заслушаться, не взгрустнуть, не забыть о сиюминутном.

...Стонут люди горьким стоном под гнетом поселившегося в ближнем ущелье огнедышащего злого дракона — аздага. Чтобы не высасывал из них, живых, кровь, не отбирал лучших девушек, не пожирал их детей, откупаются от него дорогой ценой: чистым золотом, драгоценными камнями. Ничего не жалеют, все отдают — сохраняют люди себя и детей своих.

Год, два, три — и наконец наступает час, когда у людей за душой не остается и медной полушки. Что делать? Рыдают женщины, царапают лица, рвут на голове волосы; мужчины ходят угрюмые — ведь завтра злой аздага выползет из ущелья и скажет: «А ну, где ваши жены, где ваши девушки, где малые дети?»

Стон стоит в народе, страх владеет людьми, рождает отчаяние, — и тут вдруг из дальних краев появляется, вылетает из горных теснин на красивом и резвом скакуне спаситель-батыр. Выхватывает из ножен булатную каму, бесстрашно бросается наперерез появившемуся уже проклятому аздага. Вихрь ожесточенной борьбы —

качается и дрожит под тяжестью битвы земля. И видят люди — о радость, о счастье! — как отлетает у аздага одна голова, другая, третья, и вот и последняя. Еще минута — и проклятое чудище испускает дух. Храброму батыру остается лишь сбросить его поганое тело обратно в ущелье...

То, что рассказал позавчера, сидя на завалинке, приехавший навестить свою старую тетку Бекболат, напомнило аулчанам сказку, сказку об избавлении людей от злого, непобедимого дракона.

Да нет, куда там сказке, разве можно было раньше выдумать такое: отдать власть не паше, не шаху, не князю, не мурзе — отдать ее народу, вернуть ему землю, волю и честь! Однако само сердце угадывало, что сын покойного Алима принес кобанлычанам правду. Нет, нет, не добыта свобода, земля еще у баев, но есть люди, вставшие на защиту народа, есть батыр, поднявший руку на угнетателей! И хоть нет у батыра ни вороного коня, ни булатной камы, сильнее булата его слово — горячее, как огонь, и светлое, как солнце. Слово потрясающей старый мир правды! Стоит дать людям эту правду, и в бездонное ущелье летит не один — десяток проклятых аздага. Народ освобождается от злодейского произвола всюду, где бы ни появился этот новый, ничуть не сказочный, но оттого лишь более могучий батыр.

Кто-то из стариков спросил Бекболата:

— Услышим ли и мы его голос, узнаем ли правду батыра?

И тому, что ответил сын Алима, тоже нельзя было не поверить:

— Как же не услышать, если мы, ногойцы, угнетенный и бедный народ? На нашем горбу столько аздага, что не хватит пальцев пересчитать! Кто только не сосет кровь из наших натруженных жил! Чиновники, атамань, помещики, князья, бан и мурзы — все они здесь, на Кавказе, властвуют, как прежде. Но голос могучего батыра долетит и сюда, до аула Кобанлы! Долетит непременно!..

— Оллахый, сын Алима привез нам хороший хабар! — одобрили речь Бекболата аксакалы аула.

А молодые парни слушали его с горящими ожиданием глазами.

«Вот о каких аздага надо еще напомнить аулчанам, — зло подумал Бекболат, когда Жамбай, задев прикладом дверной косяк, прогрохотал по ступеням крыльца. — Продажные шкуры! Тоже ведь у бедняка на горбу!»

Бекболат вернулся к столу. Внутри у него все кипело. Он заново переживал разговор с прислужником мурзы.

— Тебе, Бекболат, нужно покинуть аул. Это мой совет как земляку! — хитровато щуря узкие глаза, говорил Жамбай.

— Не понимаю тебя, Жамбай, — сдержанно отвечал Бекболат.

— Понимать здесь нечего. Так велит мурза. Это он меня послал.

— Почему же он велит изгнать меня, ты можешь мне сказать? — В глазах Бекболата, в голосе было презрение.

Жамбай почувствовал это и перебросил из руки в руку винтовку, как бы напоминая, что сила за ними, за мурзой. Однако ответил:

— Ты же говоришь с аулчанами как гяур, городской смутьян. Времена сейчас недобрые, люди и без того злобные, а ты их еще будоражишь!

— Ты разве был там, когда я говорил с аксакалами, слышал мои слова, Жамбай?

— Не я, так другие слышали.

— Донесли, значит, мурзе? И мурза испугался моих слов, потому что в них правда?

— Как, как?! — встrepенулся муртазак. — Плохо тебе будет, надо слушать мурзу!

Бекболат засмеялся:

— Я сам знаю, кого мне слушать, Жамбай!

— Ах так! Ты, сын Алима, понимаешь ли свое место в жизни? Знаешь, что можем сделать с тобой?

— Ничего вы со мной не сделаете. Времена не те, ушло ваше время! Я в своем ауле и никуда отсюда не уеду. А теперь ты, без зова пришедший в мой дом с оружием, уходи сейчас же!

Муртазак вскипел обидой, грозно выругался. Бекболат встал:

— Уходи по-хорошему, Жамбай!

— Ты что, хочешь напасть на меня, разбойник?! — закричал муртазак, потрясая винтовкой. — Да я тебя сейчас же возьму в управу!

Бекболат, протянув руку, перехватил ружье.

— Застрелю, как собаку! — кричал Жамбай.

Бекболат с силой вырвал винтовку из рук охранника. Жамбай, как перепуганный заяц, шарахнулся к дверям, споткнулся, присел на коротких ногах, боясь подняться.

— Не трусь, Жамбай, ты же мужчина! Возьми свою винтовку и скорее уходи, не то несдобровать тебе. Видишь, не боюсь вас!

Жамбай не шел, а бежал из дома Кеусар...

Бекболат обдумывал случившееся.

Нет, ничто не заставит его покинуть родной аул — ни угрозы мурзы, ни провокации его псов. Главное сейчас — рассказать аулчанам правду. Маметали предупредал, что мурза постарается выгнать его из аула. Предупреждал и об опасности... Да, самому за оружие браться рано — не пришло еще время. Затем он и вернулся в аул, чтобы ускорить приход этого часа, — когда придет пора, вырвав оружие из рук муртазаков, повернуть его против бывших хозяев жизни... В крайнем случае, в случае явной опасности, он скроется у своих друзей. Их здесь уже немало и, что ни день, будет все больше и больше. В этом Бекболат твердо уверен. Хоть и темные люди его аулчане, да все ж начинают понимать, откуда им ждать избавления от извечной нужды, от горя и слез.

Нет, не надейся, мурза, взять Бекболата на испуг! Бекболат уже не тот мальчишка, каким ты его помнишь! Время, которое он прожил в городе, научило его многому, мурза. Отчего ты грозишь расправой, это он понял сразу. Страшно тебе стало, потому и прислал муртазака. Страшишься ты назревающего в ауле людского гнева.

В думах провел Бекболат вечер, не заметил, как наступила ночь. Тетка Кеусар уже давно спала, спал и весь аул, лишь в их сакле еще светилась лампа. Чувство опасности напомнило Бекболату — окно глядело на улицу, без занавески, и оттуда, из тьмы, могли ударить из винтовки — промахнуться за двадцать шагов по нему, сидящему у света, было невозможно.

Лампу следовало погасить сейчас же, но Бекболат не сделал этого. Пусть горит. Пусть люди видят залитое

светом окно. Пусть поймут, это не только дерзкий вызов мурзе Батоке и его муртазакам, но и знак нового времени: смотрите, люди, огонь в окне сакли старой Кеусар отныне неугасим. Свет правды достиг аула Кобанлы!

Но чьи это шаги у ворот? Идет не один человек, их много. Несмотря на позднюю пору, в дом тетки Кеусар идут люди. Вот они уже во дворе, вот на крыльце, вот постучались в дверь.

Взяв лампу в руки, чтобы лучше видеть, Бекболат высоко поднял ее над головой.

— Заходите!

* * *

Во всех сказках, какие приходилось слышать аулчанам, долгожданный батыр-избавитель приходил с гор, с юга, а этот должен был явиться с севера. И не на поединок, зачем ему выходить на поединок, когда лишь от слова его правды все аздага валятся в тартарары? Ну и задал загадку сын покойного Алима! Может, молодым она и ясна: у них зоркий глаз и добрый слух, а вот как быть старикам, у которых глаза уже не видят дальше порога сакли, да и уши не слышат: с трудом различают они даже предутренный крик петуха на своем дворе?

Рассказ приехавшего в аул Бекболата и взволновал старых кобанлычан-аксакалов и озадачил в то же время. Многие прожили уже чуть не по сто лет, а вот про такого батыра слышат впервые в жизни. Не задумал ли сойти на грешную землю сам великий пророк?..

— Ведь все это возможно, правоверные, — объяснял кто-то. — В одном китабе — религиозная книга, помнится есть такой сказ, будто наступит на земле мирная, райская жизнь: волки рядом с овцами, воробей несет яйца на спине барана. Но она будет короткая, всего сорок лет... Придет, придет такая жизнь, только нам ее уж не видать как своих ушей.

— Мы не беда, пусть хоть наши дети, наши внуки увидят!

Над Аю-тау всплыл изогнутый, как серьга в ушке девушки, полумесяц. Улицы посветлели.

Долго беседовали старики аула Кобанлы. Заскучав возле них, уходила молодежь, а они, задумчиво оперев подбородки на сложенные руки, а руки — на свои суковатые палки, все продолжали спорить: сказочный ли это батыр или впрямь настоящий; сам это пророк Магомет

или не пророк, а кто-то другой, но посланный самим аллахом, чтобы взять их, несчастных, забитых и темных, под защиту от кровопийцы Кабанбека и недоброго мурзы Батоки.

Участвовал в беседе стариков и отец Батырбека, Нурыш. Говорить ему очередь еще не вышла, поэтому он молчал, слушал. Сказать в кругу аксакалов требовалось не только умное, но и мудрое, иначе зачем было присаживаться на этой завалинке. Такой у ногайцев порядок, такой обычай.

Был уже поздний вечер, когда старики обернулись в сторону Нурыша. Он уже решил, что скажет им. И сказал:

— Мы можем тут спорить хоть до утра. Но посмотрите вон туда, — в сакле старой Кеусар и сейчас горит лампа. Раньше такого у нее не случалось. Она ложится спать сразу, как подоит корову. Значит, это Бекболат не спит. Пойдемте к нему. Лишних ушей там не будет, и я уверен — он все расскажет нам, растолкует что к чему.

Таких, которым слова Нурыша пришлось бы не по душе, на завалинке не оказалось. Все аксакалы разом поднялись на ноги.

Их-то шаги и услышал Бекболат у ворот.

— Не спится, акай? — с улыбкой спросил Бекболат Нурыша, вошедшего первым.

— Мы свое уже отоспали, сын Алима, — ответил Нурыш. — Сидели — говорили, сидели — гадали. Ну и решили прийти к тебе, чтобы в наших головах просветлело... Растолкуй нам без утайки, что делается в России. Лишних ушей здесь нет.

— Что ж, рад вашему приходу — не скрою. Проходите, садитесь, уважаемые аксакалы. Сейчас вас чаем угощу. Кеусар густой чай сварила...

— Не беспокой свою аптей, Болат, ничего нам не надо. Мы пришли поговорить с тобой. Многие из нас всю жизнь не покидали родного аула, а ты уже, в твои молодые годы, жил в городе. Чему научила тебя эта жизнь? Разные разговоры приходится слышать нам, но кому можно верить в смутное время? Расскажи нам ты и начни с того, кто он, тот батыр, который правдой по-

беждает зло? Чей он сын, знаешь ли его имя, придет ли он в наши края, скоро ли ждать его?

— Чей он сын, не знаю сам,— начал свой рассказ Бекболат.— Имя его — Ленин. Он аксакал, как и вы, он вождь трудового народа России, и правда его скоро придет в наши края!

Когда это было в Кобанлы, чтобы старики, собравшись, слушали молодого парня! Но долгая жизнь научила их отличать свет от тьмы, правду от лжи. И в словах Бекболата виделся им свет большой правды русского аксакала.

ГОРЕ РЕБЕНКА — ГОРЕ МАТЕРИ

Присев на низкую скамеечку у очага, Райме разжигала огонь. Кизяки были сыроваты и разгорались плохо. Однако больше, чем сырые кизяки, раздражали Райме торопливые шаги мужа, его брань и жестокость.

— Тьфу ты, мать, смотри, что получается! Как будто других парней нет! Не могла найти получше, чем сын Алима, сын раба Батоки! — кричал на всю комнату Камай.— Да не бывать этому никогда! Выйдешь, выйдешь, за кого скажу, на то я и отец тебе!

Салимат, завернувшись в черную шаль, молча придулилась к стене у широкой деревянной кровати. Изредка поднимала голову и взглядывала на мать. Камай то бегал по комнате, расшвыривая попадавшие под ноги скамейки, то усаживался на кровать и кричал без остановки:

— Мать-перемать, разве можно жить после этого! Позор на мою голову! Нашла! Ведь он же безбожник, вор и разбойник. Все так говорят, попробуйте закрыть рот людям! Чего молчите, ну?

Райме сердито дует на тлеющие кизяки, дым заставляет ее чихать и кашлять. Разгоняет дым руками, молчит, не отвечает мужу. Думает: «Покричит, покричит и перестанет». Молчит и Салимат.

Камай разошелся уже всюю:

— Вы что, оглохли обе, что ли? — Он подбегает к жене, дергает ее за плечо.

Райме чуть не падает со скамейки, встает, молча выходит из комнаты в сенцы, несет оттуда хворост на растопку. Спокойно усаживается на свою скамеечку у очага, ломает хворостины на кусочки, подкладывает в огонь, будто ничего перед этим не случилось.

Большая пестрая кошка подбежала к Салимат, мягко начала тереться о ее ноги, словно хотела успокоить.

Салимат нагнулась к ней, подняла ее на руки, погладила, улыбнулась сквозь слезы: «На сердце кошки скребут, снаружи кошка ласкается».

Камай стоял посреди комнаты, видимо, не зная, что же делать дальше, но, взглянув на дочь, снова вышел из себя.

— А ты, негодяйка, чего молчишь?

Салимат от крика вздрогнула, кошка упала с ее рук на пол и обиженно забралась под кровать. Оправившись от испуга, Салимат прямо посмотрела на отца:

— Акай, прошу тебя, не кричи. Я уже не маленькая. Сама знаю, кто мне нужен...

— Что, что?!— заорал Камай.— Да ты посмотри, как она с отцом говорит! Да как ты смеешь, паршивка! Тебя не только ругать — такую мерзавку убить мало! Это же из-за тебя я кричу, ты мне жизнь портишь!

Тут уж не выдержала и Райме; поднялась со скамейки, не забыв, однако, сунуть последние хворостинки в жарко разгоревшееся пламя очага, подошла к мужу, положила ему руку на плечо.

— Отец Салимат,— сказала она, вздохнув,— опомнись, какие слова ты говоришь, стыдно слушать!

— И ты... и ты...— чуть не задохнулся Камай,— на ее стороне! Ладно, за ругань извиняюсь, но, пока я жив, клянусь, что не нарушу своего слова. Я сказал — и баста! Выйдет за Кабанбека!

Салимат с плачем кинулась на шею отца:

— Акай, акай, зачем говоришь так? Пожалей, акай, чем я виновата?..

— Стой, говорю, стой!— Камай не знал, куда деть руки.— Не плачь, ну!— Он погладил дочь по голове, посмотрел в ее глаза и тихо попросил:— Если хочешь успокоить мою душу, доченька, забудь про этого парня. Я прошу тебя как отец! Забудь и не вспоминай! Голодранец паршивый, богоотступник!

Райме вступилась за дочь:

— Отец Салимат! Успокойся, пожалуйста, прошу тебя. Подумай сам: ну чем плох тот парень, сын Алима?

— Цыц, не с тобой говорю!— прикрикнул на жену Камай.

Салимат, услышав слова матери, подняла голову:

— Акай, ты не прав. Хоть он бедняк, тот человек, о котором говорим, зато не трус, не хвостун, не боится

сказать правду в лицо! Пусть бедный, да разве нет у него рук, чтобы работать, сердца, чтобы любить, разве он не человек?!

Салимат хотела еще что-то сказать, но не успела — дрожа всем телом, всхлипывая, упала на кровать.

Мать кинулась к дочери; увидев ее в обмороке, крикнула мужу:

— До чего родную дочь довел! — и бросилась за водой.

Через несколько минут Салимат очнулась, ничего не понимая, посмотрела на мать, потом на отца... Услышала голос Райме:

— Ну что, доченька, солнышко мое, очнулась?

— Что, абай? — Голос Салимат был едва слышен.

— Слава всевышнему! Жива доченька! — Райме склонилась над ней, обняла за плечи. Обернувшись, сердито бросила Камаю: — Ну еще что-нибудь скажешь?

— Я бы, может, и согласился, чтобы моя дочь вышла за голодранца, — уже спокойно ответил Камай, — если б не знал, что не сегодня завтра он угодит в тюрьму. И это самое лучшее, что может с ним случиться.

— Почему, акай? — похолодела Салимат.

— Отвечу. Он, оказывается, не признает ни власть, ни аллаха, ни наши адаты. Мутит народ, особенно таких же голодранцев, как сам. Не слушает мурзу. А мурза не такой человек, чтобы простить ослушника, да еще и кровь Асланбека ему припомнит! Не долго осталось ему жить на свободе, сыну раба, слава аллаху!.. И видит аллах, я помогу мурзе и Кабанбеку — вот этой рукой помогу!

У Салимат сердце чуть не оборвалось, она прошептала:

— Акай, если ты ему что-то плохое сделаешь, я себя...

— О милосердный аллах! — вскричала Райме. — Как ты допускаешь такие разговоры! Отец Салимат, что ты говоришь? Доченька, а ты?

Не успел Камай ответить жене, кто-то постучал в дверь. Все трое молча тревожно переглянулись. Дверь отворилась, и в комнату ввалился муртазак Жамбай.

— О Жамбай! Заходи, заходи, — обрадовался Камай. — Гостем будешь!

Хитрый Жамбай сразу заметил, что перед его приходом в доме был какой-то спор, это было видно по багровому лицу хозяина и бледным лицам женщин.

— Спасибо, Камай!— ответил он. Глянул на Райме, которая снова присела у очага, и, улыбаясь во весь щербатый рот, спросил:— Что с тобой, сестра? Не больна? Почему плохо горит огонь в очаге?

— Садись, садись, дорогой Жамбай!— льстиво попросил Камай и сам подвинул стул.— Сейчас и огонь разгорится, и ужин будет готов. Садись, дорогой!

— Нет,— ответил важно Жамбай,— нет у меня времени рассиживать. Спешу, за тобой пришел.

— За мной?— Камай с деланным удивлением вытаращил глаза.

— Ага, за тобой!— Жамбай усмехнулся понимающе.— Тебя Кабанбек зовет.

— Интересно, зачем?— еще пуще удивился Камай, хватая одежду и шапку.

— Там узнаешь.

Жамбай с Камаем вышли на улицу.

Салимат, понимая, что замыслил Кабанбек, зачем вызывает ее отца, со стоном упала на кровать и горько заплакала, вздрагивая всем телом.

Райме кинулась к дочери, начала успокаивать ее, глядя по голове, приговаривала:

— Не надо убиваться, доченька. С помощью аллаха все образуется!— Однако и ее сердце сжалось в предчувствии подступающей беды.

Потом мать и дочь сидели, обнявшись, на кровати, и уже Салимат утешала Райме:

— Абай, абай, милая моя, не мучай себя, все будет хорошо. Ничего со мной не случится, не бойся!

Райме встала с постели, вернулась к очагу. Снова начала разжигать огонь. Уголком платка вытерла слезы. Сырые кизяки в очаге тлели и дымили.

Помолчав, Райме обратила к дочери заплаканное лицо:

— Береженого аллах бережет, доченька. Сейчас оденусь, схожу в дом Кеусар. Скажу ей, чтоб поберегла племянника-то.

ВЕЧЕРНИЙ ВСАДНИК

Всадник въехал в Кобанлы на закате. Конь его был весь в мыле, бока потемнели и провалились. Видно бы-

ло, что и сам всадник — молодой парень с огненно-рыжим чубом — притомился — зная, дорога выдалась неблизкая.

Встретив мужчину, везущего на ишаке хворост, приезжий спросил, где живет тетушка Кеусар.

— А вон там сакля, что смотрит окнами на курган, — показал ему.

Всадник направил коня к дому. Залаяла собака. На крыльце показался Бекболат и тут же со всех ног бросился к калитке:

— Николай!.. Какими судьбами?

Колька-Соловей устало спрыгнул на землю и попал в крепкие объятия друга...

До поздней ночи беседовали они, а на рассвете вместе выехали из аула. Их провожали Батырбек, Иса и Амурби.

Николай привез радостную весть: в Петрограде произошло вооруженное восстание. Временное правительство свергнуто — вся власть перешла в руки Советов. Образовано правительство во главе с Лениным.

Это была Октябрьская революция.

Когда Бекболат добрался до Белоярска — Николай должен был заехать и в другие аулы, — город бурлил, как горная река в пору таяния снегов. Он сразу же отправился разыскивать Северова.

— Будем готовиться к окончательному штурму старых порядков и здесь, у нас, — сказал Василий Семенович. — Вот получено из Петрограда обращение Советского правительства.

Бекболат взял из рук Северова отпечатанную в типографии листовку. Крупным шрифтом было набрано:

**«КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬМАНАМ РОССИИ
И ВОСТОКА»**

Бекболат с волнением прочитал:

— «Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Он поднял глаза на Северова.

— С этим срочно надо ехать в аулы! Вот она, ленинская правда! «Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно... Знайте, что ваши права... охраняются всей мощью революции...» — повторил Бекболат слова Обращения.

Василий Семенович хорошо понимал радость парня.

— Да, заря занялась, Бекболат! Но чтобы наступил день, нам здесь, на Кавказе, еще придется поработать. Атаманы и мурзы добровольно власть не отдадут. Пока сила у казаков — они хорошо вооружены, организованы. Да беднота за нас, и с фронта солдаты возвращаются — те знают почему фунт лиха. Будем создавать вооруженные отряды.

Северов знал то, чего еще не знал Бекболат. Ни у Советов, ни у контрреволюционной казачьей Рады не было в настоящий момент сил, чтобы установить единовластие. В конце октября Войсковое правительство, опираясь на казачьи отряды, ввело на Кубани военное положение. Белые офицеры, богатые казаки не хотели признавать Советскую власть. Они искали опору и среди горцев. Начали возникать «добровольческие» части из казаков и горцев в поддержку контрреволюции.

— Медлить нельзя, Болат, возвращайся теперь же в аул, — сказал Северов. — Во что бы то ни стало надо сорвать планы белогвардейцев, не дать им обмануть народ. Возьми с собой листовки, используй Обращение Совнаркома. Сплачивай людей, Болат. Жди, к тебе придет Маметали — поможет.

Было уже поздно. Город спал. Ночь выдалась тихая, теплая. Бекболат шел не торопясь и мысленно был уже там, в родных предгорьях. Что ждет его на этот раз?.. Борьба предстояла не на жизнь, а на смерть.

КЛЯТВА

Бекболат пришел первым. Место для встречи с друзьями выбрал сам, и не только потому, что здесь их не могли выследить муртазаки. Приехать в родной аул и не побывать тут он не мог. Здесь, у скалы Тик-кая, он любил бывать с детства. Сюда приходил с Салимат, прощаясь перед долгой разлукой, когда бежал в горы. Много говорил его душе вид, открывающийся отсюда, с высоты. Изломанный контур хребта громоздился над горизонтом, как исполинский сугроб ослепительно бе-

лого снега. Карлы-тау виделся совсем рядом, казалось, в каких-нибудь ста шагах. Отчетливо виден был и Казбек, если его остроконечная вершина не растворялась в густой синей мгле. Прочеркнув долину стремительной дугой, недалеко струилась Кубань, а за ней, словно собираясь перейти вброд ее гремучий поток, толпилась стайка стройных пихт и сосен. Там же, где Кубань прорывалась сквозь теснину уже отполированных водой каменных глыб, то и дело всхлестывали буруны, а над ними в облаке водной пыли стояла радуга. Берега реки казались живыми и подвижными, оттого что вода, ежеминутно меняя свой пенистый уровень, опускалась и вновь поднималась, то будто тяжело вздыхая, то переводя дух.

Сама скала Тик-кая, почти отвесная, напоминала гигантский обелиск, на гранях которого дождь, ветер и солнце оставили свой разрушительный след. Лобовой скат ее обрывался прямо в реку и заставлял Кубань круто свернуть на запад, как раз туда, где пихты и сосны толпились, будто отыскивая брод...

Но долго любоваться красотой родного края Бекболату не дали. За спиной его вскоре послышались шаги. Из аула поднялись его друзья — Батырбек, Амурби и Иса. Здесь они могли говорить без помех.

Бекболат рассказывал горячо и быстро. Он был ровесником своих товарищей, их другом детства, но сейчас казался им намного старше — столько он привез из города умных и добрых слов. Он привез из города Обращение ленинского Совнаркома. Таких светлых слов не слышали еще в ауле Кубанлы!

— В России революция, власть перешла в руки рабочих и крестьян. Съезд Советов принял декреты о мире и о земле. Там теперь новая, не похожая на прежнюю, жизнь! Почему же мы терпим Батоку и Кабанбека, почему не отберем землю и скот, не раздадим народу?

Бекболат смотрит на друзей. Батырбек сидит возле, облокотился о камень, мечтательно глядит вдаль, в сторону родного аула. О чем он задумался? Может, видит уже будущее счастье своего народа? Видит богатую и вольную землю и свободных людей на ней — хозяев всех ее богатств? Но как, когда сбудется это счастье?

Словно отвечая мыслям друга, продолжает говорить Бекболат:

— Ни один бай не отдаст землю народу, не отдаст добром. Мурза позовет на подмогу казачий отряд, соберет муртазаков, соберет богатых, соберет послушных... Где найти такую силу, чтобы одолеть всех этих баев, офицеров, казаков и тех, кто обманут ими? Наша сила — в силе народа. Сила богачей — в количестве обманутых. Значит, мы должны научиться объяснять бедным, угнетенным ногайцам, что большевики не хотят их бедности и угнетения, а хотят свободы, богатства и счастья. Сумеем повести за собой людей — и у нас будет громадная сила. Ее никто не сможет одолеть...

— Сумеем ли мы сплотить эту силу, поверят ли нам люди? — В руках у Батырбека тоненькая ореховая палочка, он задумчиво чертит что-то на рыхлой земле. На той самой земле, которую так хотят получить его отец Нурыш, его аулчане, молодые и старые. — Ты прав, Бекболат. Надо суметь объяснить, убедить людей...

— Должны убедить! — повторяет Бекболат. — За нами — сила правды, правды большевиков и Ленина! Правде люди должны поверить!..

Бекболат поднимается на ноги, за ним остальные. Кругом тишина, даже ветра нет, лишь внизу, под скалой, шумит река. Бекболат подошел к самому краю скалы, к обрыву, и посмотрел вниз, на родную Кубань. Сколько веков несет она здесь свои воды? Несет, и нет им конца, как нет конца жизни.

«Но только той жизни, которой мы живем сейчас, должен быть конец, — думает он. — И мы приближаем его...» А вслух произносит:

— Будем бороться!

Батырбек подходит к Бекболату, становится рядом:

— Именем аллаха — клянусь бороться!

Бекболат пожал руку друга:

— Именем отца и матери!

— Именем этого белого дня! — сказал Иса.

Затем к их рукам протянулась рука Амурби. Четыре джигита стояли рядом, четыре сильные руки крепко сжимали друг друга.

— Именем аллаха, именем отца и матери, именем белого дня! — слились в один голоса друзей.

А слышали этот голос высокая скала Тик-кая, да звонкая, чистая река, да кормящая земля, и еще вот эти камни, ущелья, и горы, и чистое голубое небо над ними.

Голос клятвы. Голос верности. Голос правды...

Вернувшись из Белоярска с вестью об Октябрьской революции, Бекболат по поручению Северова начал создавать боевую группу. Ездил по аулам, подбирал надежных людей. За минувшие два месяца приезжал несколько раз, и все вечерами, скрываясь от муртазаков, дядя Маме-тали. Рассказывал Бекболату новости из России, — а советская власть побеждала повсеместно, и Северный Кавказ не мог и не должен был оставаться в стороне, — советовал, подсказывал, на кого можно опереться в соседних аулах, как вести себя в Кобанлы, что говорить... Очень обеспокоило его — правда, неудавшееся — нападение на Бекболата.

...Как-то вечером, уже затемно, Бекболат возвращался домой вместе с Батырбеком — и, не доходя, услышал яростный лай собак в своем ямагате. Ускорил шаг. Вот и взгорок, Найман-ямагат и — уже близко — дом тетки Кеусар. Лай доносился оттуда. Бекболат побежал, Батырбек за ним.

Кеусар, встревоженная и испуганная, сутулясь, ходила по двору.

— Что случилось? — с трудом переводя дыхание, крикнул Бекболат.

— Да вот кто-то залез к нам во двор — только сейчас, перед твоим приходом. Что ему нужно было, ума не приложу...

Но Бекболат уже знал, кто это мог быть и что ему было нужно. Он бросился на улицу: когда подбегал ко двору тетки, заметил тень, мелькнувшую у соседнего плетня. Батырбек, поотставший, задержавшийся возле Кеусар, видел, как наперерез Бекболату выскочил в темноте казавшийся высоким человек, замахнулся колом. Подбежал и другой... Бекболат ловко увернулся от удара, отскочил в сторону. Через мгновение он держал мужчину за воротник.

— Камай, ты? — Изумлению парня не было предела.

— Я, я, кто ж еще — не видишь? — Пожилой мужчина вертел головой — видно, ворот душил его; кол Бекболат успел выхватить и отбросить в сторону. Со вторым из сидевших в засаде справился Батырбек: муртазак Жамбай вывернулся было и побежал, да Батырбек догнал и повалил.

— Ты, Камай, отправляйся домой! — распорядился Бекболат. — Стыдно, позоришь честь мужчины, напада-

ешь из засады! Мурза натравливает тебя, как собаку, сам хочет остаться в стороне... Твоими руками жар хочет загребать, значит, а ты и рад! Эх ты, Камай...

Жамбай стоял на коленях и умолял:

— Это я, Жамбай, отпусти меня, сын Алима! Мы шли мимо, да вот...

— Врешь, негодяй! Отвечай, что делал в моем дворе?

— Клянусь аллахом, не заходил туда, не заходил!

— Клянешься аллахом? Аллах говорит: если убить предателя, греха нет. А ты предатель народа! Молись аллаху в последний раз, собака!

Неизвестно, что бы еще сделал Бекболат, да Батырбек успокаивающе положил руку ему на плечо. Бекболат послушался друга: сейчас не время было начинать открытую борьбу. Мурза, вероятно, сознательно провоцировал его на драку, а может, и на худшее, чтобы очернить перед лицом народа... Нужно было соблюдать осторожность.

— Ладно, встань, — сказал Бекболат муртазаку. — Иди. Прощаю в последний раз. Но помни: еще раз подойдешь к моей сакле — гнить тебе в земле! Задушу без всякой пощады! — И так сильно наподдал Жамбаю под зад ногой, что тот, споткнувшись, снова растянулся на земле, как гнилое бревно...

А теперь мурза, видно, решил зайти с другого конца. Кеусар была дома одна, когда, постучав длинной палкой в дверь, вошел в саклю Кара-мулла. Это было так неожиданно — никогда прежде не заходил он в бедный дом Кеусар, — что хозяйка растерялась. Не знала, что делать: надо бы испечь баурсак, а пшеничной муки нет.

От вороватых глаз муллы не ускользнуло ее замешательство, он ласково сказал:

— Не затрудняй себя, Кеусар: не обязательно сейчас угощать меня баурсаком. Я зашел просто так: вспомнил Каний — дай, думаю, прочту «Ясин» на помин ее души.

Кеусар обрадовалась:

— Ой, мулла, пусть великий аллах отблагодарит тебя за доброе дело!

Кара-мулла совершил омовение и принялся читать коран.

Кеусар приготовила чай. Но мулла отпил лишь несколько глотков и поставил пиалу на столик. Оглядел бедную саклю, тяжело вздохнул:

— Плохие времена настали, сестра! Оллахый, плохие!

— Что и говорить!— поддакнула Кеусар, тоже тяжело вздыхая.

— Люди озлобились друг против друга,— сокрушенно продолжал мулла.— Забывают шариат, забывают обычаи и заветы предков. Оллахый, придет несчастье и в наш аул: не потерпит аллах отступничества от веры, всех накажет!

Кеусар горестно покачала головой.

Кара-мулла перевел дух. Потом, перебирая сухими пальцами волосы реденькой бородки, объявил:

— Я не поверил, когда услышал, что сын Алима сошел с пути правоверных. Достойный человек был Алим, истинный мусульманин. И мать, Каний, бывало, без совета с аллахом слова не вымолвит. Как может быть у таких родителей плохой сын?

Кеусар низко склонила голову.

— Он всегда слушался родителей... Я знаю, он не может делать плохое людям, мулла. Сердце у него доброе...

— Я не говорю, что он свернул с пути по злобе,— мягко возразил мулла.— Жизнь — она что горная тропа. Тут легко заблудиться, я буду просить аллаха, чтобы он вывел сына Алима на дорогу истины...— И вдруг, впившись маленькими острыми глазками в лицо Кеусар, гость спросил:— А где он сейчас, сестра?

Кеусар растерялась под пристальным взглядом мутлы.

— Разве молодого парня удержишь дома, Кара-мулла! Кажется, уехал в горы наниматься на работу к какому-то баю.

Мулла недоверчиво покачал головой, задумался.

— Зачем далеко ехать, ведь у мурзы сколько хочешь работы?

— Не знаю...

Потом Кара-мулла долго рассуждал о том, что хотя жизнь нелегка, но каждый правоверный мусульманин должен помнить: человек на этом свете лишь гость. Вечная его жизнь на том свете, и потому человек должен делать лишь то, что велит аллах, должен строго соблюдать все предписания корана и шариата. Пусть сестра Кеусар напомнит об этом племяннику, ведь наставников у него больше нет. Старший брат ее, Маметали, дядя Бекболата, говорят, стал гяуром-безбожником,

сошелся с русскими смутьянами-большевиками, его ждет суровая кара аллаха.

Кеусар обещала в ответ, что день и ночь будет молить аллаха, дабы вразумил он Бекболата и не дал бы ему ступить на ложный путь.

Мулла, сутулясь, вышел из сакли...

Бекболат действительно ездил в горные аулы, но, конечно, не наниматься батраком к тамошним баям.

Вернулся домой веселый, довольный.

— Как давно я не был в горах, аптей! Соскучился по горным пастбищам, горному воздуху! Жаль, работы пока не нашел. Но один знакомый все же обнадежил: обещал известить, как только буду нужен... Ох, проголодался я!

Кеусар поставила на столик чашку кислого молока, подала кукурузные чуреки, а сама села пряхть. В ее умелых и ловких руках веретено ходило, как юла, кольцо за кольцом ложилась на него пряжа.

Сидя на низенькой скамеечке, Кеусар нерешительно поглядывала на племянника и наконец сказала:

— Болат, к нам приходил Кара-мулла. Сказал, что видел во сне Каний, твою абай, и захотел прочесть «Ясин». А ведь раньше не появлялся, даже когда звали. Видно, ангелы запели в его душе, слава аллаху!

Бекболат насторожился:

— А про меня он не спрашивал?

— Спрашивал, мой милый, как же, конечно, спрашивал!

— А что именно?

— Совсем ты вернулся в аул или на время. Чем занимаешься. Кто приходит к тебе, не было ли людей из города...

— Та-ак, ясно... — Густые брови парня сошлись на переносице. — Знай: не твою сестру, не мою абай пожалел Кара-мулла — мурза Батока послал его выведать у тебя обо мне... Ах, продажная тварь! А впрочем, чего хорошего можно ждать от нашего муллы, он слуга мурзы, не аллаха.

— Ох, сын Алима! — Кеусар вздохнула грустно. — Нельзя так говорить о святом человеке: аллах покарает тебя!

— Кара-мулла такой же святой, как ишак — мусульманин! Видела, как ишак вертит хвостом, когда его

кормят чуреком? Так и мулла вертит своей совестью. Все сделает для мурзы, если тот угостит его пиалой бузы... Но недолго, аптей, осталось им властвовать и глумиться над народом, недолго!..

— Что ты говоришь, Болат! Разве это твое дело — судить муллу! Не лезь своим бастабалаком туда, где не для тебя готовится баста! — просит Кеусар, боясь за судьбу племянника.

Бекболат глубоко вздохнул.

— Аптей, разве это не мое дело — тяжелая жизнь моих односельчан? Ведь грабят, обируют их и мурза, и Кабанбек, и мулла! Если я в чем-то смогу помочь угнетенным, разве это против справедливости?

Кеусар задумалась.

— Разве плохо помочь другому, если он нуждается в этом?

Кеусар подняла голову, печально посмотрела на племянника:

— Нет, Болат, конечно, нет... Но я боюсь за твою жизнь.

«БОГАТСТВО — ЧТО ГРЯЗЬ НА РУКЕ»

Салимат сегодня рано погнала телят, и, задумавшись, ушла с ними дальше, чем нужно: обычно она доводила телят до спуска в балку и поворачивала домой. А сегодня шла да шла, миновала балку, поднялась наверх. Ноги и руки ее сами делали все что нужно, а в голове, как рой пчел, вились думы о Бекболате.

Почему он так беспокоен, почему не может жить, как живут другие: тихо, мирно? Конечно, это дает уважение людей, даже старики приходили поговорить с ним... Но страшно... Мурза будто и не преследует открыто — значит, жди удара в спину... Хорошо, хоть друзья у Болата верные, охраняют его...

Салимат миновала балку, завернула телят на ложбину, а сама поднялась по кособору наверх. Легкий ветерок коснулся ее лица, поиграл косынкой. Она подставила лицо неяркому солнышку и посмотрела в горы. Над Кубанью огромной глыбой нависала Тик-кая. В холодном голубом небе кружились дикие голуби. Ветерок принес запах засохшего чебреца.

Скала Тик-кая. О ней в ауле ходили страшные слухи. Какой только нечисти не водилось там, по рассказам аулчан: и волки, и джинны, и абреки... В детстве Сали-

мат пугалась этих рассказов. Боялась. А сейчас... Сейчас там часто бывает половина ее сердца, сейчас там бывает Бекболат, она знает — встречается у Тик-кая с друзьями. И тайник у них там какой-то. Бекболат ее не сидит на месте, везде успевает: то в горных аулах, говорит, был, а на той неделе успел побывать в городе. Где он берет столько сил? Ведь и на хлеб зарабатывать нужно. А я вот сижу дома и не могу закончить вышивать башлык для него. До тепла далеко, да и в горы Бекболат ездит — башлык ему нужен. Хороший получился, пушистый, мягкий. На этой неделе обязательно надо кончить.

Началось с того, что Салимат делала башлык для отца. Сама пряла шерсть, сама ткала и заодно решила тайком сшить еще один башлык — для Бекболата. Ночью, когда уже и мать засыпала, она садилась за работу. Ложилась спать в эти дни только со вторыми петухами. А утром рано вставать — надо доить коров, помогать матери по хозяйству.

Салимат посмотрела на дорогу, уводившую в горы. Где сейчас ее Бекболат? Уже почти неделя, как не видно его. Она замечталась — как вернется ее любимый, как встретятся они... И вздрогнула, услышав четкий цокот копыт. Вверх по балке поднимались всадники. Салимат быстро спустилась с пригорка, присела за кустом терновника. Верховые были уже совсем близко. Салимат осторожно выглянула из-за куста и тотчас спряталась снова.

По дороге ехали двое. Видно было, что торопятся. Переднего, в богатой папахе, тучного, мешком сидевшего на красавце скакуне, она узнала. Это был Кабанбек, ее горе, ее смерть, злодей, изъявивший желание купить ее, как покупают скот, сделать своей рабыней...

«Нет, нет, не бывать этому! — Девушка крепко сжала губы. — А кто же второй? — подумала она и тихо, неслышно привстала. — А, это же его верный пес Жамбай! Куда ж они так спешат?»

Всадники повернули коней на дорогу в Белоярск.

У Салимат даже сердце кольнуло — сразу вспомнила жгущие слова отца, связала с поездкой этих двоих.

«...Вот придут скоро вооруженные казаки с аписаром, офицером, тогда смутьянам конец. Конец и этому кулу Бекболату...» — так говорил Камай.

«Кто сказал тебе это, отец?»

«А тебе зачем?»

«Так просто, отец...»

«Так, так... Я дело говорю. На днях Кабанбек собирается к атаману отдела. Мурза посылает... А то больно много говорить стали голодранцы, в табун сбиваются, с оружием — чисто абреки. — Камай не мог забыть, как Бекболат держал его за воротник. Ах, позор! — Да, придут казаки, всем им скоро конец!»

Салимат поднялась, посмотрела на дорогу. Но всадников уже и след простыл.

Собрав телят, девушка поспешила вернуться в аул. Из головы не шли слова отца: «Всем им скоро конец...» Почему отец так ненавидит Бекболата, будто кровника? Что он ему сделал? Ничего. А отец пошел с Жамбаем подстеречь его, стоило Кабанбеку пожелать — и пошел. Конечно, их всех натравливает мурза. Хорошо еще, что все так обошлось. А ведь могли бы убить Бекболата, и он, защищаясь, мог убить отца. Отец никому не рассказал о неудавшейся засаде и своем позоре, даже матери, — держит в секрете... Но с того вечера ходит какой-то подавленный, угрюмый. Зачем же он так? Чего ему не хватает? Все ведь есть у отца: и лошадь для верховой езды, и волы, и железный однолемешный плуг... Зачем отцу богатство? Для кого хочет нажать его? Ведь у него же нет сына, никого нет, кроме нее, Салимат. Зачем все эти унижения, вражда? «Для тебя собираю», — говорит. Зачем мне все это? Не богатство главное в жизни. Ведь правильно говорит народ: «Богатство — что грязь на руке. Водой сполоснешь — и нет его...» Неужели отец не понимает этого? Нет, не богатство ей нужно...

Салимат торопилась. Она должна скорее сообщить обо всем Бекболату.

В тот же день маленькая Келди вошла в дом старого Нурыша, чтобы передать Батырбеку слова Салимат. Батырбек должен был рассказать все Бекболату.

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Аул засыпал. Тиха была эта мартовская ночь. Над камышовыми, над соломенными крышами саклей низко проплывали разорванные в клочья тучи — уходили куда-то на восток. Может, к утру соберется дождь, размягчит землю, — умоется она дождевой водой, сделается еще рыхлее, пушистее, бархатистой, станет обильнее. Как хороша, как мягка, как сладка родная земля — глаз

не оторвать... Плывут низкие тучи, словно пухом окутывают аул.

Поздний вечер. Лишь кое-где нарушает тишину аула лай собак. К дому старого Нурыша спешит по темной улице мужчина, высокий, плотный, в черном шепкене, в черной папахе. Он торопится — его ждут, а он, придя в аул, завернул прежде всего к сестре Кеусар; пока поговорили, время ушло. Спешит Маметали: этой же ночью должен он оставить Кубанлы. Показываться здесь ему нельзя. Но сегодня вечером его ждут, и он тоже ждет встречи с нужными ему людьми.

Сакля Нурыша, отца Батырбека, стоит у самого обрыва над Кубанью. Всегда слышен в его доме шум течения, плеск волн, бьющихся о прибрежные камни.

По шуму реки Маметали определил, что уже дошел до места. Осмотрелся. Вот и нужная ему сакля. В оконце нет света. Маметали, не приближаясь к калитке, огляделся еще раз, постоял немного. Вдруг отворилась дверь сакли, кто-то вышел. Прошел по двору. Кашлянул. Маметали по кашлю сразу узнал Нурыша и в ответ тоже кашлянул.

В маленькой, с низким потолком комнатке, кроме Бекболата, было еще четверо парней. Трех Маметали знал, это были Батырбек, Иса, Амурби; четвертый был незнаком ему. Парни встали навстречу Маметали, Бекболат обнял дядю.

— Привет тебе от Северова, он сейчас большие дела заворачивает, — сказал Маметали племяннику. — И от Николая тоже.

Нурыш поставил на сыпыра пиалу с чаем.

— Спасибо, Нурыш. Только что пил у сестры...

— Не выпьешь — обидишь, ты же гость!

— Ладно уж. Только приходится спешить, мне нужно этой ночью успеть еще в аул Алакай.

— Вот он из Алакай, дядя, — сказал Бекболат, показывая на парня, сидящего возле печки. — Звать Азаматом.

Парень встал. Среднего роста, крепкий, широкоплечий, глаза острые, нос чуть обвислый, коротко стриженные черные усы.

— Садись, джигит, — попросил Маметали, — хорошо, оллахый. — А сам подумал, что с таким парнем можно поехать и на край света, крепок, не подведет.

Азамат тоже внимательно посмотрел на Маметали.

— Ну давайте поговорим, — начал Маметали. — Сначала расскажу вам последние новости.

В сакле было тихо, лишь со двора слышались шаги старого Нурыша.

На столике потрескивала самодельная свеча из овечьего жира с ватой, освещала комнату неверным светом. Маленькие оконца занавешены войлочными ковриками, свет из сакли наружу не проникал.

— Советская республика помнит о нас, — говорил Маметали. — По предложению Ленина ВЦИК послал на Кубань большую группу петроградских рабочих-большевиков, они еще крепче сцементировали ряды революционных борцов Северного Кавказа. К нам в Баталпашинский отдел прибыл из Петрограда большевик товарищ Палетайнен, вместе с нами агитирует и организует массы на борьбу за установление власти Советов. С Турецкого и Западного фронтов возвращаются воинские части, большевистски настроенные солдаты снабжают нас оружием. Тридцать девятая стрелковая дивизия, расположенная по линии железной дороги от Армавира до Тихорецкой, поддерживает нас, снабжает наши отряды вооружением и боеприпасами.

В Армавире в начале февраля состоялся Первый Кубанский областной съезд Советов, там были товарищи от нашего отдела, трое вошли в состав Кубанского облисполкома — большевики Пузырев, Борисенко и Шовгенов. Съезд признал власть Советского Совнаркома, принял решение о взятии на учет и немедленном распределении между нуждающимися всех помещичьих, казенных, войсковых, церковных, монастырских, причтовых и других земель с живым и мертвым инвентарем.

Кубанский облисполком готовит вооруженные силы для установления советской власти по всей области.

Атаманская власть здесь, в отделе, расшаталась, усиливается агитация за советскую власть и среди казачества. Казаки двух хоперских полков, вернувшиеся с Западного фронта, разошлись по домам.

В ногайском ауле Карамурзин — вы это знаете уже и сами — установлена советская власть.

И, наконец, съезд представителей от населенных пунктов нашего отдела в станице Баталпашинской пошел за большевиками. Седьмого февраля по новому стилю съезд признал власть Совнаркома и провозгласил власть Советов в нашем отделе. Но это еще не победа,

товарищи. Борьба предстоит тяжелая. В ту же ночь белоказахьи отряды напали на делегатов съезда, красногвардейцев и сторонников советской власти, заняли станцию... Пока в нашем отделе перевес сил за контрреволюционерами. Мы рассчитываем на вооруженную помощь Кубанского облисполкома — там формируют красные силы, но и мы здесь не должны сидеть сложа руки. Нужно запастись оружием, готовить боевые группы. Впереди — вооруженная борьба за советскую власть. Нужно продолжать агитацию, разъяснять цели и политику советской власти. Особое внимание, я думаю, все мы должны уделить дню сабантоя. Соберется народ, неизбежны выступления за и против советской власти, видимо, неизбежны и столкновения... Один из главных вопросов здесь, у нас на Кавказе, — вопрос о земле.

— Мы готовы, — не выдержал Бекболат. — Большинство бедных аулчан в этот день вместе с нами выйдут в поле — делить земли баев. Большинство! — повторил он с гордостью.

Разговор продолжался до тех пор, пока на дворе не запели вторые петухи.

— Поздно уже, — сказал Маметали. — Пора мне уходить. И вот еще что. Выделите людей, отправьте в город к Северову — он передаст вам оружие. Не забыл вас, призапас немного и для вашего аула. Это нужно сделать немедленно, завтра же. Вечером, как стемнеет, ваши люди должны появиться в городе и ночью же вернуться обратно.

Бекболат кивнул.

— А кони где? — Маметали посмотрел на Азамата.

— В кутане, у соседа. Оттуда безопаснее выезжать, — ответил Иса.

Маметали попрощался с хозяином дома, с Бекболатом и его друзьями.

Когда в Кубанлы прокричали третьи петухи, два всадника в бурках уже поднимались в гору по узкой тропинке, ведущей к аулу Алакай.

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ

Буйная и ранняя выдалась весна в этом году. В конце февраля сошел с полей снег, и бердази — двухнеделье перехода от зимы к весне — не бушевал метелями. Набухли речушки в ущельях, наполняя теплый воздух шумом и плеском. Кубань вышла из берегов, зато-

пила прибрежные луга. Вернулись с юга птицы, принесли новые песни — о весне, о буйной весне восемнадцатого года.

Необычно взбудораженным встретил аул Кобанлы эту весну. Старики аксакалы с нетерпением пробовали землю: брали на ладонь, разминали, нюхали — решая, не пришло ли время пахоты.

Торопились аулчане. Готовились к пахоте. Готовились к празднику первой борозды — сабантою.

* * *

Сабантой!

Кто из ногайцев не ждет всей душой этого дня? Так повелось испокон веков: забурлят переполненные тальми водами с гор речушки и реки, окутается парком освободившаяся от снега земля, зазеленеют, заискрятся под ярким и ласковым весенним солнцем кусты и деревья — выходи поутру всей семьей в лучшей своей одежде на аульную площадь — майдан: пришла пора танцевать и петь песни, играть и балагурить, а выпадет случай — так и угоститься рогом сладкой, как мед, и красной, как кровь, давно перебродившей бузы — бармажи.

Сабантой — самый желанный, самый радостный праздник в году: наконец-то пришла весна — время пахоты и сева, время надежд на урожай, время надежд на новые, лучшие дни...

Праздник сабантой всегда был так красив, живописен и весел, что в него невольно втягивались и те, кто совсем не имел ни собственной земли, ни, уж конечно, надежды на урожай. Старый Нурыш, тот непременно оказывался организатором праздника. Хотя у самого никогда не было и клочка пахотной земли, первым обряжался в козлиную маску с рогами и бородой и до смерти, до коликов в животе смешил собравшихся на площади аулчан.

Да, были в ауле Кобанлы люди, ожидавшие столь же веселого сабантоя и в этом году. Что ж из того, что надвигается из России смута, что люди озлобились, даже среди бела дня не хотят расстаться с отцовскими, вновь до блеска наточенными о прибрежные гранитные плиты камами? Разве может смута остановить весну, помешать ей явиться в горы — в знакомом наряде, в прежней красе? Да ведь и земля вроде осталась той же, что

и всегда: мягкой и нежной, с терпким запахом свежего укропа — таким знакомым, таким родным сердцу каждого хлебороба. Ничто не переменилось в Кобанлы в этом году, все идет по-старому, как и раньше, в чередѣ многих минувших дней.

Только все ли?

День сабантоя вот-вот должен был наступить, а на аульском майдане до сих пор не видно праздничных приготовлений. Никто не тащит дрова для костров, никто не устраивает линейки для джигитовки, не огораживает площадки для игр и танцев. До начала весеннего светлого праздника осталось совсем немного, а майдан по-прежнему тих и пуст. Если и появится аулчанин, так вовсе не затем, чтобы делом своим напомнить людям о близком дне сабантоя, — лишь для того, чтоб услышать новый хабар, узнать, что делается вокруг, не приехал ли кто, не привез ли новостей.

Наконец день праздника настал.

И едва поднялось над горой Туе-тау солнце, брызнуло на аул весенними лучами, собралась на майдане толпа кобанлычан. Окруженный толпой, резко взмахивая рукой, убежденно и горячо говорил с людьми Бекболат. Левая рука его держала повод стройной гнедой лошади. Аулчане слушали.

— Земля — наша кормилица! И она должна быть наша! Так сказал самый большой, самый справедливый батыр... Там, в России, она уже отдана крестьянам! — звучал звонкий голос Бекболата.

Слова его повторили люди здесь, на майдане, слова взлетели над Кобанлы, быстрокрылой птицей достигли аулов предгорья. Эти слова резанули слух мурзы Батокки. Он зло окликнул Жамбая, собрал остальных муртазаков и поспешил на майдан. Но людей там уже не было — успели разойтись. Держа руку на позолоченной рукояти своей камы, мурза проехал по аулу: показывая аулчанам, что пока он здесь хозяин, пока его власть держится здесь. За Батоккой следовали его муртазаки.

Собрал людей в мечети и Кара-мулла. После каждого намаза рассказывал старикам о смутьянах, безбожниках, которые хотят осквернить веру, принести в аул порядки, выдуманные гяурами...

Странное творилось с Нурышем. То, бывало, за неделю до сабантоя успевал побывать в каждом дворе, договориться с аулчанами об играх, танцах и джигитовке, а теперь будто провалился сквозь землю. Отсиживался

он дома или куда уехал, никто не знал. Вспоминали только, что незаменимый запевала праздника «первой борозды» в последнее время ходил по аулу невеселый, озабоченный тяжелой и суровой думой...

Да, в природе все было неизменно, все извечно повторялось капля в каплю, но в самой жизни кобанлычан что-то произошло. Это почувствовали, увидели, поняли все, и одним из первых сам мурза Батока.

Мурза был неглуп и видел намного дальше своих приближенных, муртазаков и домашних. Нет, не в гости к родным приехал бывший пастух Кабанбека, этот кул Бекболат! Собрал вокруг себя таких же, как и сам, голодранцев. Не зря ходил из дома в дом, не просто собирал вокруг себя народ... Слухов вон сколько летит из России: беднота отобрала у помещиков и землю и скот, самовольно делит чужое богатство... Кружат непутевые головы какие-то большевики, для которых, как рассказывают, все нипочем: ни вера, ни обычаи, ни вековой закон. Один из дальних родственников Батоки, хозяин имения в ногайских степях, поплатился уже своей жизнью: убили его, когда попытался с камой в руках защитить свою княжескую честь и достояние...

Похоже, докатилось уже и сюда, в аул Кобанлы!

Мурза решил быть начеку. Еще позавчера позвал к себе Кабанбека и Кара-муллу и сказал им:

— Вы глупы, как ослы. Почему ваше оружие до сих пор в чехлах? В ауле назревают непорядки, а вы, один аллах знает, чем занимаетесь! Не бойтесь выйти на площадь — ты, Кабанбек, затем, чтобы не спускать глаз со смутьянов, видеть, что творится вокруг, а ты, Кара-мулла, чтобы омыть своими речами загрязненные людские души! Поторопитесь! Приближается сабантой — ох, как бы этот день не обернулся для нас лихом! Лучше б потише... Не понимаете разве, отчего никто не готовится к празднику? Не готовятся к сабантою потому, что к другому готовятся!

Выпроводив из управы Кабанбека и Кара-муллу, мурза позвал Жамбая и велел ему тотчас седлать лучшего коня и, скрываясь, поспешить в станицу, к атаману отдела, чтоб по давней договоренности тот прислал на день сабантоя в аул надежный казачий разъезд...

Что говорить, Батока и в самом деле оказался осторожнее и зорче своих советчиков. Кабанбек и Кара-мулла не видели того, что почуял мурза. Подивившись мудрости Батоки, Кабанбек и мулла сходили сразу же,

напуганные, на аульскую площадь, однако ни тревожного, ни страшного ни в чем не усмотрели. Все, на их взгляд, было по-прежнему: при встрече кобанлычане здоровались как обычно; Батырбек, стоявший у калитки своего дома, показался таким же простым, мирным и доброжелательным, как и раньше: не выказал ни малейшей враждебности, даже просил, чтоб непременно приходили на сабантой, — несмотря ни на что, на празднике будет очень весело. Весело как никогда...

Батока, когда ему передали эти слова, еще раз подумал, что попросил у атамана казачий разъезд весьма кстати. И в тот же вечер по-своему приготовился к сабантою: как только наполнила тьма и аул притих, погружаясь в ночной сон, мурза уложил на тачанку свои тайные бурдюки с золотыми монетами царской чеканки и тихо, так тихо, что не проснулись даже в своих сторожевых будках ни Жамбай, ни дворовые псы, выехал через задние ворота, направляясь к облюбованному уже заранее месту тайника.

На послезавтрашнем сабантое будет весело как никогда! Пусть этому верят Кабанбек и Кара-мулла, а Батоку не проведешь. Он не то что эти ослы: хорошо понимает, почему там будет весело как никогда...

Важно, чтобы атаман не нарушил своего слова, чтоб казачий разъезд появился в ауле в нужный час. Пусть вылезут из нор смутьяны, пусть повеселятся! А потом подоспеют казаки с шашками, да нагайками, и с винтовками, и с пулеметом! А главного заводилу, этого пса Бекболата, надо было еще тогда, когда пас стадо Кабанбека, тихо прикончить где-нибудь под кустом таволожника...

ПЕСНЯ ЗЕМЛИ

— Все на майдан! Все на площадь!

Кто это кричит на улице, кобанлычане узнали сразу. Сколько уж лет день сабантоя начинался для них голосом Нурыша!

Но было и странное сегодня. «Все на площадь!» — нет, так рано на сабантой не приглашают. Праздник всегда начинался позже, а сейчас солнце еще не поднялось над горизонтом и в рост человека. Да и сам голос Нурыша был не тот, каким привыкли его слышать в день праздника. Раньше приглашение на площадь он пересыпал веселыми шутками и прибаутками, люди

держались за животы, когда он надевал маску козла с длинной бородой и рогами, напяливал большую козлиную шкуру с хвостом и показывал «игру козла». Больше всех веселились ребяташки. К Нурышу они обращались не иначе как: Теке-атай — Козел-атай. Игру свою Нурыш сопровождал шуточными песнями про Козла-батыра, немножко трусоватого:

...Жил когда-то Козел-батыр,
Ростом был как большой катыр¹,
Разом выпивал бурдюк айрана,
Бегал по горам быстрее джейрана...

— Спой, спой, Теке-атай! — просили дети.

Взрослые мужчины угощали Нурыша пиалой бармажи, девушки дарили ему вышитые золотыми нитками кисеты и платочки, женщины угощали халвой.

Славно веселил людей старый Нурыш.

Но сегодня он был серьезен и строг. Напрасно дети просили его защелкать соловьем или спеть, напрасно хозяева зазывали его во двор, приглашая отведать праздничный баурсак...

Старого Нурыша словно подменили, и уже одно это заставило людей понять, что день аульского сабантоя будет совсем не таким, как прежде. Что-то в этот день должно случиться. Что именно — многие в ауле знали. Муртазаку Жамбаю не удалось незаметно от людей уехать из аула за подмогой к казачьему атаману. Не укрылось от глаз людей и то, что сам Батока перестал появляться в мечети один — обязательно при муртазаках. Да и Кабанбек — ну разве непонятно, отчего стал таскать с собой карабин!

Не зря, конечно, боялись наступающего дня мурза и его приспешники. Слишком много гнева накопилось в душах бедняков. И слова Бекболата находили слишком много благодарных слушателей. И в самом деле: одни купаются в масле, а другие редко видят даже кукурузный чурек. Для одних вся жизнь — сплошное празднество, сплошная гульба, а другие гнут спины и надрываются в тяжком труде. Одни владеют землей от края до края, а другие не имеют ее и клочка... Кто придумал, кто установил такой жестокий, черный закон?! И закон ли это? Нет, это рабский гнет и грабеж!

¹ К а т ы р — осел.

— Да, — судили аулчане, — хоть и молод Бекболат, хоть до бороды ему еще далеко, однако говорит он верно и мудро, ох как верно и мудро!

И когда рано поутру слышали кобанлычане призывающий голос Нурыша, они поверили, что сейчас там, на площади, их всех ждет именно Бекболат. Ждет для того, чтобы сказать свою горячую правду всему аулу.

Запоздавших не было — площадь стала тесной почти мгновенно, и, когда появился на крыльце аульского правления Бекболат, многим пришлось влезать на плетни и заборы. Были здесь, конечно, и пришедшие из любопытства, но большинство — бедняки, ожидавшие перемен.

Нет, не ошиблись в своих ожиданиях жители аула Кобанлы, слышали такое, что коснулось сердца каждого. С сегодняшнего дня в Кобанлы приходит власть народа! Довольно терпеть угнетение, произвол Батоки, Кабанбека и их приближенных! Довольно этим кровопийцам одним владеть почти всей аульской землей! Земля — собственность всего народа! Советская власть в России приняла Декрет о земле — и у кобанлычан, как у всех хлебопашцев Северного Кавказа, есть законное право отобрать землю у мироедов! Отобрать всю без остатка и поделить между собой. Поделить сегодня же, ведь время не ждет — на дворе весна, и пора уже выезжать в поле...

Несогласных с Бекболатом не нашлось.

— Да, да! — послышалось над площадью, когда он умолк. — Да, ты дело говоришь, сын Алима! Идемте в поле сейчас же!

И, сомкнувшись вокруг спрыгнувшего с крыльца Бекболата, люди двинулись по переулку за аул, в поле, на земли Батоки, куда они раньше и ногой ступить не смели.

Земля! Что может быть дороже тебя, что желаннее для бедняка! Ты для него как родная мать, как само солнце! Если ты не чужая, если будешь кормить его, он влюбится в тебя, как в красавицу невесту! Ведь раз ты безраздельно принадлежишь ему, значит, больше не придется думать о куске хлеба! Сам тебя вспашет, сам внесет в твои разрыхленные борозды пшеничные или кукурузные зерна, — и конец его вековечной нужде, его страданиям!

Да! Бекболат хоть и не был сам хлебопашцем, не мог теперь, в поле, не нашел сил удержать радостные слезы.

— Отмерь, Амурби, — дрогнувшим голосом сказал он другу. — Отмерь первым Исхаку...

Среди собравшихся, несмелый, оттесненный к краю, стоял мужичонка лет за пятьдесят в старой лохматой барашковой шапке. Из-под шапки пугливо смотрели на людей узкие темные глаза. Они вроде видели все, что происходит на поле мурзы, но сердце еще не верило. Исхак не мог понять, как это можно такое — делить байскую землю! Происходящее казалось ему чем-то вроде игры. В ауле его звали за бедность «Ярлы Исхак» — «Нищий Исхак». В Кобанлы больше половины дворов были бедняцкими, но такого бедного человека больше не было. Ни кола ни двора, ни жены, ни детей. Вечный раб мурзы Батоки. Сейчас Исхак просто боялся вмешиваться, боялся участвовать в дележе земли. Вдруг появится сам Батока или Кабанбек — и все собравшиеся отведдают плетки. Робея, он хотел спрятаться за спины более сильных.

— Исхак-агай, идите сюда, — позвал Бекболат.

Исхак встрепенулся. Впервые его называли не ярлы — нищий, а почтительно: «агай» — старший брат. В растерянности Исхак оглядывался на аулчан.

— Иди, иди, Исхак. Вот это твоя земля, твоя, верь нам! — говорил Амурби, отмеряя саженью землю. — Вот твоя межа... Иди не робей...

Ярлы Исхак неуверенно, будто во сне, шагнул к своей меже... Видно было — он не верит, что все это происходит наяву.

Амурби шагал все дальше и дальше, отмеряя участки. Люди шли за ним, радостные, окрыленные. Весеннее солнце щедро согревало землю. Легкий парок вился над ней.

Получившие землю бедняки стояли каждый у своей межи, и глаза у них были счастливые, словно впервые увидели белый свет. А старый Нурыш, после того как Амурби и Бекболат указали ему, где будет отныне его поле, старый Нурыш опустился на колени и, набрав в ладонь горсть рыхлой земли, поцеловал ее.

ЗАБОТЫ КАМАЯ

Все эти дни, предшествовавшие сабантою, Салимат не находила себе места. Одна мысль не давала ей покоя: не случилось бы плохого с Бекболатом! В день сабантоя, услышав голос Нурыша, она, с разрешения матери, по-

шла на майдан. Смотрела на толпу взволнованных словами Бекболата людей, прислушивалась к их разговорам. Увидела и своего Бекболата, но не хотела показаться ему, боясь отвлечь и помешать. Бекболат увидел ее сам, и сердце его встрепелулось. Однако он попросил Батырбека пойти сказать Салимат, чтобы возвращалась скорее домой.

Отец Салимат Камай в это утро никуда из дома не выходил, сидел хмурый возле очага, курил самокрутку. Камай думал о дочери, о смутных временах, о Кабанбеке. «Что будет дальше?» — сотый раз спрашивал он себя. Сегодня в ауле бедные без спроса делят землю, а он, Камай, даже не вышел на площадь; он знает, что вся эта затея — пустое дело, обманывают люди сами себя. Земля должна принадлежать тем, кто владеет ею испокон веку. Вот когда Кабанбек женится да выделит от своей земли участок ему, Камаю, тогда и у него земли будет достаточно, и земля эта будет его собственная по закону, никто не посмеет тронуть ее... Только скорее бы смутьянов повывести, уничтожить всех этих большевиков. Говорят, полковник Шкуро их уже вешает... Переведутся большевички, вот тогда он будет спокоен. Ждать уже недолго осталось. Так обещает Кабанбек, а он умный джигит, его будущий зять. Жаль, мурза все не дает ему разрешения взять в дом Салимат. Повремени, мол, не до свадеб сейчас. Наверное, злится, что у Кабанбека будет молодая красивая жена. Его-то дочь Ханбийке лицом не вышла... А у самого две жены, одна, правда, старая...

Тянется время для Камай. Те, что вышли в поле делить землю, поди уж и пахать начали, — кто сумел добыть волов... Что-то долго мурзе подмога не идет...

Тянется время для Салимат. Как там ее Бекболат? Что происходит в поле? Без разрешения отца ведь не выйдешь, не побежишь смотреть. Хоть бы уж он сам пошел узнать...

Салимат из-под ресниц смотрит на отца. Тот сидит понурив голову, часто затягивается, дымит самокруткой.

— Ты, отец, сходил бы, на свет посмотрел, что дома сидишь?

— Чего я там не видел? Скоро все успокоится, тогда и выйду.

— А что, скоро успокоится?

Камай искоса смотрит на дочь:

— Сегодня же. Разгонят бунтарей, дадут нагаек — и все. Атаман пришлет казаков.

— Откуда ты знаешь?

— Люди сказали. Да и сама скоро увидишь.

Сердце Салимат бьется беспокойно. Неужели отец говорит правду? Неужели мурза действительно позвал казаков? Она выходит во двор и спешит к калитке, смотрит в сторону гор — там владения Батки, там аулчане делят сейчас землю. Вдруг люди в поле сбиваются в кучу, толпой бегут назад, в аул.

Слышатся чьи-то крики:

— По домам, прятаться!

— Казаки!

Салимат не замечает, что отец вышел из сакли, стоит рядом с ней. Увидев всадников, не может скрыть радости.

— Сказал же, придут казаки. Теперь пусть попробуют делить землю, ха!

Камай выходит на улицу, гордо поднимая голову. Его правда взяла!

Салимат бежит в хату, бросается на кровать, и подушка становится мокрой от девичьих слез...

И опять все затихло в ауле. Казаки ушли, взяли Батырбека. Бекболат где-то прячется. Его ищут, отец говорил, хотят пристрелить, как собаку. Салимат молит аллаха, чтобы помог любимому укрыться от врагов, чтобы не нашли его, не убили...

— Великий, всемогущий аллах, все в твоих руках, — шепчет Салимат, — спаси его, сделай невидимым, закрой, затумань глаза его врагам!

Так молится она весь этот несчастный день сабантоя, потом просит аллаха, чтобы не сбылись желания кровопийцы Кабанбека. Когда она слышит это имя, делается ей страшно.

Как-то Кабанбек прислал своей невесте в подарок позолоченные браслеты. Салимат ни разу даже не взяла их в руки. Когда принесли их, тут же положила у своих ног на землю и не подняла больше. «Подними их, дочка, — просила Райме, — не гневи отца!» Но Салимат так и не послушалась.

В конце концов Райме спрятала браслеты подальше, чтоб не попадались Салимат на глаза.

А вот эти простые стеклянные бусы кажутся Салимат золотыми, она их носит не снимая, с того самого дня, как Бекболат подарил в день встречи... Любит эти бусы, любит смотреть на них — ей кажется, что они сверкают, как драгоценные камни. Любит гладить их тонкими длинными пальцами. На ощупь бусы кажутся ей не стеклянными, а мягкими, пушистыми и теплыми...

«Бекболат, где ты сейчас, милый, услышь меня! — зовет Салимат. — Ты один сейчас, где-то прячешься, тебя ищут казаки, ищет мурза... Я боюсь за тебя, милый...»

ПОЕДИНОК

Высокий и худощавый пожилой человек смотрит на широко раскинувшуюся степь. Легко у него на душе — добрый, славный выдался сегодня день, день сабантоя, праздник первой борозды. Первая борозда на своей, на отнятой у мурзы земле! Какими словами рассказать о ней!

В мозолистых ладонях Нурыша — блестящий от многолетнего употребления чистик. Он наклоняется к земле, пробует чистиком выковырнуть из земли маленький камешек...

Рядом с Нурышем — Батырбек. Сегодня он впервые видит отца таким взволнованным и счастливым.

Задубелое от ветра, омытое дождями и обожженное солнцем лицо Нурыша светится радостью. Наклонившись, поднимает горсть земли, мнет ее, молча рассматривает.

— Ну что ж... начнем работать, сынок, — говорит он. — Будем свою землю пахать... Рыжего поставь слева, недаром говорят: «Старый вол борозды не испортит».

— Хорошо, агай, — Батырбек идет к волам. Своих волов у них с отцом нет, пришлось просить у соседа, — спасибо, не отказал.

Нурыш творит молитву, поглаживая бороду, потом поворачивается к сыну:

— Ну, трогай... В добрый час...

...Волы не спеша тянут однолемешный плуг, монотонно скрипят колеса. Нурыш, склонившись над рукоятками плуга, смотрит вниз, на пласты маслянисто-жирной земли. Борозды тянутся ровно, словно по

шнурку. Иногда Нурыш чистит лемех, мнет налипшую землю пальцами. «Ох, хороша! — думает он. — Теперь ты моя, с божьей помощью я тебя обработаю, мягче пуха будешь, родимая...» Потом Батырбек идет за плугом, а Нурыш мысленно делит свой участок, прикидывает, где что посеет: «За курганом посею пшеницу, вон там кукурузу, там немного проса...» Потом перед его глазами возникает большая чашка с каймак-соком (блюдо из жареного проса со сметаной) — Нурыш пригласил гостей, всё теперь есть у него на столе, с удовольствием угощаются люди...

Волы тяжело переставляют ноги. Теперь их ведет Батырбек. Он оборачивается с улыбкой, услышав, что отец начал напевать — тихонько, себе под нос:

В стороне кубанской широко
Раскинулась степь,
И в той степи ногаец
Стал хозяином земли...

Потом Батырбек переводит взгляд на дорогу, и тут в глазах его появляется тревога: размахивая плетью, скачут в их сторону два всадника. Батырбек всматривается, не узнавая еще гостей, но, поняв, что всадники мчатся к ним, останавливает волов.

— Что случилось? — спрашивает Нурыш, вытирая пот со лба.

— К нам едут двое... — отвечает Батырбек.

Нурыш не спеша снимает острым чистиком землю, налипшую на лемех плуга, затем, прислонив ладонь ко лбу, прикрывая глаза от солнца, смотрит на мчащихся людей и тихо говорит:

— Трогай, сынок. Кто б это ни был, трогай. Не будут же они орать на нас, как раньше мурза... Трогай, у нас нет времени говорить с этими людьми — волов-то ведь нужно скоро вернуть.

Но Батырбек разглядел наконец, кто едет, и вздрогнул от предчувствия беды: размахивая плеткой, что-то громко крича, на великолепном Елетпесе, отобранном когда-то у Бекболата, мчался к ним Арсланбек, сын мурзы Батоки. За ним поспевал телохранитель — муртазак.

Подскакав, Арсланбек заорал, стараясь достать Нурыша плеткой:

— Голоштанники, босяки, на чьей земле хотите быть хозяевами? Собачье племя! Никогда вам не быть владельцами нашей земли... Я вас...

— Брось, мурза, угрозы, — стиснув зубы, ответил Нурыш, сжимая в руках чистик. — Прошло твое время!

— Я тебе сейчас покажу время! — рявкнул Арсланбек, выхватывая из-под полы бурки обрез.

Когда дуло поднялось на уровень его груди, Нурыш взмахнул чистиком...

Над степью прокатился звук выстрела.

И тут же Батырбек коршуном бросился на врага...

Послышался еще выстрел: стрелял муртазак, целясь в парня, да рука дрожала, промахнулся.

Нурыш лежал на земле, рядом с ним с проломленной чистиком головой, подвернув под себя руки, так и не выпустив обреза, — Арсланбек...

На выстрел бежали от аула люди, держа в руках первое попавшееся оружие. Телохранитель Арсланбека, бросив ружье, улепетывал с поля...

Земля. Многострадальная земля. На ней лежали двое. Словно и после смерти ненавидя друг друга, полегли головами в разные стороны. Двое, вся жизнь которых была поединком. Один любил землю с малых лет, любил, как мать, ухаживал за ней, обрабатывал, — был ей верным сыном, но не был хозяином... Другой же пользовался чужим трудом, ни разу не коснувшись ручки плуга; брезговал взять в руки горсть земли — боялся испачкать их, но зато не боялся сказать, что он хозяин этой земли...

Земля...

Долго стояли над телами убитых прибежавшие на выстрелы люди, стояли молча, опустив головы, словно боясь нарушить тишину, из мирной, полдневной ставшую вдруг кладбищенской.

Потом из толпы вышел седобородый старик и, опираясь на свою палку, тихо, но твердо сказал:

— Ямагат! Эта земля принадлежит Нурышу. Народ — хозяин всей земли, — так будет всегда, и никому мы не позволим другого!

ЛЮДИ УЖЕ НЕ ТЕ...

Весть о том, что в Кобанлы бедняки захватили и поделили меж собой байскую землю, разлетелась по ногайским аулам быстрее ветра. На это Бекболат и рассчитывал. «Для одинокого и ясный день темен», — говорят ногайцы, а Кобанлы в утро сабантоя, как всякий зачинатель, был какое-то время одинок. Конечно, Бек-

болат и его товарищи хотели скорее увериться, что и в других аулах люди последуют примеру Кобанлы, что и там праздник первой борозды станет праздником бедняков.

Как возликовал Бекболат, когда к полудню ему принесли весть, что и в соседних аулах — в Канглы и Алакае — бедняки вышли на праздник не с гармониями, а с камами и делят байскую землю. Нет, не зря объезжали Бекболат, Маметали и Батырбек ногайские аулы — в утро сабантоя беднота Кобанлы была не одинока.

Но, похоже, торжествовать победу было рано. Это Бекболат понял не сразу, а лишь после того, как Амурби шепнул ему, чтобы поскорее поднялся на ближний курган. С вершины кургана оба соседних аула видны были как на ладони — их крайние дома кое-где добежали до межи кобанлыкских земель. Уж лучше не глядеть было туда! Как раз эти крайние дома Канглы и Алакая горели, а между ними, по улочкам, по дворам, садам и огородам в бешеной скачке металась какие-то всадники. Нет, они не тушили пожар, над их головами кружились нагайки, а кое-где вспыхивали под солнцем оголенные клинки сабель.

Стиснув зубы, Бекболат молча смотрел на расправу. До чего же прав оказался Северов! Неделю назад, провозжая парня в родной аул, он сказал: «Помни, Бекболат: ногайские баи слеплены из того же теста, что и русские помещики и капиталисты. Никогда они не отдадут по доброй воле ни власть, ни землю. Будут биться с оружием в руках, позовут казаков, позовут турок — станут хвататься за любую соломинку! Плевать им на нищету своих соплеменников. Хоть сами — ногайцы, для бедноты вашего небольшого народа они злейшие враги!»

И вот она, правда: в соседних аулах баи уже начали расправу. Чтобы вернуть власть и землю, в ход пущены не только плети, но и сабли. Ими загоняют в прежнюю кабалу аульскую бедноту, заставляют ее надеть на шею ярмо — ради праздной жизни ногайских баев!

«Ну, ничего, будет и на нашей улице праздник! — думал Бекболат. — Недалек день, когда и за нами будет стоять сила! Придет могучая подмога с севера, из России, и тогда мокрого места от вас не останется, убийцы народа!»

Понимая, что времени терять нельзя, Бекболат поднял над головой правую руку и громко, так громко, что на его голос оглянулись самые дальние, прокричал:

— Ямагат! Сейчас всем нужно разойтись по домам — вот-вот налетят казаки. Алакай уже горит! Но помните, земля эта все равно будет ваша! Она ваша!

Аулчане смотрели на Бекболата, как бы спрашивая: что будет дальше.

— Люди! Советская власть победила уже на Кубани, скоро она придет и сюда, к нам! А сейчас расходитесь по домам!

— Бекболат, тебе ни в коем случае нельзя оставаться в ауле, уходи, спрячься у Тик-кая, — говорит Амурби.

Бекболат печально смотрит на друга.

— Да, против казаков мы не выстоим, ты прав, Амурби. Встретимся на старом месте, у Тик-кая...

* * *

Аулчане смотрели в маленькие окошки саклей и отворачивались. На улице хозяйничали вооруженные саблями и винтовками казаки, мурза находился среди них, что-то громко кричал, размахивал руками. Отряд был небольшой — человек двадцать. Мурза направлял их то в один двор, то в другой. Обшарили и саклю старой Кеусар, а когда не нашли Бекболата, мурза, показывая на вооруженных казаков, сказал ей:

— Видишь, за мной сила! Любого, кто противится власти, ждет могила! Найдем и твоего безбожника, найдем и пристрелим, как собаку!

Кеусар плакала, молила аллаха, чтобы помог ее племяннику не попасться на глаза преследователя. Казаки во главе с мурзой обошли все бедные дворы, и все, кто выходил утром в поле делить байскую землю, отведали плетей муртазаков. Казаки только посмеивались, глядя на расправу. Потом по аулу проехал верхом Жамбай, скликая людей к правлению.

— Ямагат! — орал он хриплым голосом. — Выходите, все на площадь!

Но люди не показывались, прислушиваясь к крикам на улице и звукам расправы.

— Все на майдан!

Мурзе удалось собрать несколько десятков аулчан, главным образом зажиточных. Выступая с крыльца

правления, Батока вопил об опасности, которую представляют для аула бунтари вроде Бекболата.

— Не было б смутьянов — и казаков звать бы не пришлось. Они взбудоражили весь аул, заставили вас делить землю, и вот к чему все это привело. Хорошо, что казаки, которые были в нашем ауле, не поступили так, как казаки в станице Бекешевской.

— А как там поступили? — раздался чей-то голос.

— Как? — Мурза выдержал паузу. — На днях в станице Бекешевской отряд Шкуро захватил членов земельной комиссии, деливших помещичью землю. И на спине председателя комиссии, большевика, вырезали слова «земля и воля», а потом казнили. А после Шкуро сказал станичникам, что это ожидает каждого, кто посягнет хотя бы на сажень помещичьей земли. И если мы не прекратим беспорядки, то и к нам придут эти казаки, и тут уже бунтовщикам не будет пощады...

Собравшиеся взволнованно зашумели.

— Теперь люди! Надо найти сына Алима и выдать его казакам. Если мы этого не сделаем, позор ляжет на наши головы! — кричал мурза.

Люди на площади молчали, пожимали плечами. Зажиточные с утра сидели дома, не видели сына Алима, а бедные были согнаны на площадь плетьюми, и ждать от них помощи мурзе не приходилось.

Бекболата, как главного зачинщика «беспорядков» в ауле, искали вместе и казаки и муртазаки. Саблями протыкали даже стога сена, но свежей крови на клинках так и не увидели. Бекболат словно сквозь землю провалился.

— Говори, собака, где он спрятался, этот гяур? — орал мурза, сдавливая горло скрученного по рукам и ногам Батырбека. — Говори! Кожу с живого сдеру!

Батырбек ничего не сказал.

* * *

Восстановив власть мурзы, казаки покинули Кобанлы. Когда отряд скрылся уже за ближним холмом, вдогонку ему пронеслась по улице тачанка Батоки с двумя муртазаками при карабинах. Кого они увозили с собой под черной буркой, догадаться было нетрудно. В тачанке лежал связанный Батырбек. Его увозили для того, чтобы передать в руки казачьему атаману и какому-то страшному полевому суду.

Нетрудно было понять и другое: отчего так рано, не дожидаясь часа вечернего намаза, закричал на минарете Кара-мулла. Нет, не к молитве призывал он сегодня аулчан — звал к раскаянию. «Станьте перед аллахом на колени, грешные, и аллах сохрани вас еще раз посягнуть на земли мурзы Батоки и других уважаемых баев аула!»

Кара-мулла кричал с минарета над притихшим аулом, и оттого голос его был слышен за версту.

Даже Бекболат и его товарищи слышали голос муллы у скалы Тик-кая, где они укрылись от преследователей.

— Ошибаешься, Кара-мулла!— сказал Бекболат, разобрав слова, летевшие с мечети.— На колени теперь никто уже не станет! Люди в Кобанлы не те, что вчера, даже не те, что сегодня утром. Хоть полдня, а были хозяевами земли, хозяевами жизни. Такое не забывается!

Так закончился в ауле Кобанлы день сабантоя — праздника первой борозды.

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Через день после столь памятного сабантоя, на закате, в час, когда из степи потянулось стадо, со стороны Беломечетской в аул Кобанлы снова въехала группа казаков — на этот раз небольшая, человек пять. Возглавлял их офицер, пожилой есаул в небрежно наброшенной на плечи бурке. Напив у ручья лошадей, казаки мирно выждали, пока уляжется пыль от бредущих мимо коров, а затем неторопливо направились к дому мурзы.

Батока увидел казаков из окна своего дома, но встречать не спешил. Офицер был ему незнаком, да и вид его не слишком радовал: усталый, не молодевавший, без серебряных газырей, весь какой-то помятый, обтрепанный, исхудавший,— такой гость не мог привести в аул хорошие вести.

Батока вышел ему навстречу только после того, как офицер громко и настойчиво постучал рукоятью плети в окошко.

— Вы мурза?

— Да, я,— ответил Батока.— Чем могу служить?

— А мне говорили, что ногайцы — гостеприимный народ.— Есаул оглянулся на сопровождавших его казаков, тоже измятых, обтрепанных и невидных, и оскла-

бился. — За них воюешь, кровь проливаешь, а они — вот вам: чем могу служить!

Только тут Батока понял, что за казаки перед ним и почему обтрепаны, и заторопился. Поклонившись есаулу, отступил на шаг и настежь распахнул перед ним дверь дома.

— Прощу, прошу! Прощу в дом. Откушаете, чаю попьете. Дорога, видно, дальняя была...

— Пока — дальняя, — не без насмешки согласился есаул. — Только как бы она не сделалась очень короткой! Два шага — и тут, у вашего порога...

Батока понял, слишком хорошо понял казачьего есаула. Неужто говорит правду? Неужто так сильны большевики, что их не могут остановить даже кубанские казаки и отборные джигиты-горцы? «Два шага — и тут, у вашего порога». От таких новостей Батоке стало плохо, он почувствовал неприятную пустоту где-то под ложечкой. Ведь, если советская власть придет в Кубань, ему, Батоке, несдобровать. Что-что, а плети позавчерашние, а казаков вызванных аулчане ему припомнят! Припомнят в первую очередь... А уж потом и остальное...

— У вас же сила — винтовки, шашки, — решился порасспросить Батока, усадив изголодавшихся гостей за стол. — А там босяки, голодранцы. Неужто не задали им жару?

— Пробовали, — с непонятной улыбочкой объяснил есаул. — Только сверкали при этом не шашки наши — нет, пятки сверкали. Хоть и в лаптях большевики, а задали нам под Тихорецкой!

— И что же, выходит — отступаете?

И на этот вопрос есаул ответил шутливо-уклончиво: отступать, мол, пока не отступаем, да вещички собираем.

К серьезному разговору с мурзой офицер приступил лишь после обеда. Отослав сопровождавших его казаков во двор, к лошадям, он без приглашения пересел на мягкую, покрытую дорогим ковром тахту и, как-то сразу преобразившись, сделавшись строже и значительней, заговорил повелительно:

— Слушайте, господин мурза! Гостить я у вас долго не смогу — до утра, потом в путь, — у меня впереди еще дюжина таких же аулов. Потому позвольте уже сейчас вручить вам предписание окружного атамана — вот оно.

Хватит вам сидеть за нашими спинами и ждать, пока казаки сами отбросят большевиков. Да, хватит!

Батока вытаращил глаза:

— Предписание? Так мы же ногайцы! Нас не брали и в царскую службу. Мы раньше несколько джигитов посылали, так то добровольно...

— Царь не брал, а мы возьмем! — Есаул стукнул себя кулаком по колену. — Большевики прут, и к чертям старые законы! Горская дивизия есть, ряды ее давно поредели...

— Поредели?

— Да! Или что — у вас нет джигитов?

Батока уже не узнавал своего гостя — таким он казался ему грозным в эту минуту. Но хоть и струсил мурза не на шутку, а не скрыл обиды: кривя в злой усмешке рот, ответил:

— Ошибаетесь, господин есаул! Есть и у нас джигиты, достойные защищать честь своего народа! Сколько вам нужно?

— Не меньше полусотни, при конях и седлах...

— Хорошо. Утром соберем ямагат.

НОЧНОЙ НАЛЕТ

Пещера у Яман-кая (Плохая скала), где укрылись от преследования Бекболат, Амурби и Иса, оказалась теплой и пригодной для жилья. С трех сторон убежище обступали неприступные скалы, с четвертой открывалась глубокая пропасть. С внешним миром пещеру, укрывшую трех оказавшихся на положении абреков парней, соединяла лишь узкая тропа, проходившая по каменному карнизу...

Место было такое, что сам черт побоялся бы сунуть нос. Здесь можно было спокойно отсидеться какое-то время. Однако Бекболат не искал покоя. Да и какой может быть покой, когда в опасности жизнь друга, жизнь Батырбека.

Как его спасти? Это была сейчас первая забота. Их в пещере укрылось трое, все крепкие, смелые, хорошо вооруженные, — но что могут сделать трое?

Ночью Иса ходил в аул — он и принес Бекболату вести о том, что случилось в Кобанлы после их ухода. Рассказал о поединке Нурыша с Арсланбеком на отобранной у мурзы земле — Бекболат не знал об

этом — и о том, что муртазаки увезли Батырбека в станицу, к атаману отдела.

Товарища нужно было выручить из беды любой ценой. И Бекболат решился. Когда-то он проделывал такое вместе с абреками.

* * *

Было пустынно и тихо, словно все здесь вымерло в этот поздний час.

Казачья станица спала.

Бекболат остановил коня в тени придорожных акаций, обернулся к друзьям и тихо сказал:

— Сейчас повернем налево. Когда покажется выбеленный дом, подам знак, и все спешимся. Следите, чтоб не звякнули стрёмена.

Держась подальше от дворов, где подавали голос собаки, они скоро вышли к зданию атаманской управы. Бекболат не знал точно, где держат Батырбека, но начинать следовало здесь. Остановились в кустах бузины, замерли. Вот и зарешеченное окошко. А есть ли часовая?

Да, есть! Сидит на ступеньках крыльца и курит. На боку шашка, меж коленей держит карабин.

Кажется, без шума не обойдешься. А это плохо — будет погоня.

Парни ждали затаив дыхание. Часовой докурил, встал, прошелся перед зданием.

«Не отойдет он от дверей, — понял Бекболат. — Надо что-то придумать. Иначе можно дождаться утра».

Часовой опять сел, низко опустил голову, — видно было, клюет носом.

— Спать хочет. Задремлет — тихо подойдем и свяжем, — шепнул Бекболат Исе.

Они подождали еще несколько минут, потом, сняв обувь, босиком двинулись к управе.

Часовой оказался пожилым; сонный, он и не сопротивлялся особенно. Быстро связали, рот заткнули кляпом.

Дверь была на замке. Подойдя к окну, Бекболат сквозь решетку толкнул створку окна — она подалась.

— Батырбек, друг! Батырбек, отзовись! — тихо звал Бекболат.

Чернота комнаты не отзывалась. Бекболату на мгновение стало страшно: а вдруг с Батырбеком уже рас-

правились? Или, может, его держат где-то еще? Но где? Как найти?

— Батырбек, слышишь меня? Это я, Бекболат!

И темнота отозвалась, Батырбек кинулся к окну, как подраненный орленок:

— Друг!..

— Ну, скорее, скорее...

И никто не услышал в станице, как тихо прошли несколько человек сонной улицей и как раздался стремительный цокот копыт на дороге, уводившей к предгорьям.

ДЖИГИТЫ ОСЕДЛАЛИ КОНЕЙ

Ямагат! Нет для ногайца слова священнее, — может быть, только слово «коран». Приходи на аульскую площадь и решай свою судьбу сам. Вооруженные до зубов муртазаки там лишь для порядка.

Ямагат — это честь и совесть ногайца, его правда и право. Право, собравшись одной семьей на площади родного аула, единодушно решить любой спор. И все, что решит ямагат, становится незыблемым законом в жизни аула.

Ямагат для ногайцев, свободолюбивых и гордых, как орлиный взлет собственного сердца. Куда хочу, туда и лечу! Хочу — падаю в пропасть, хочу — взмываю ввысь, под облака, не оглянувшись ни разу на землю...

Да, может, и было когда-нибудь подобное в ногайских аулах, только что-то никто не помнил этого славного времени, даже самые старые, самые седобородые из аксакалов. Орлиный взлет сердца!.. Людям на площади было не до воспоминаний — они мысленно рассчитывали: сколько шагов до ближайшего забора. И не слишком ли он высок, можно ли перепрыгнуть его, если вдруг мурза прикажет своим муртазакам хватать и вязать каждого, кто не согласится с его предложением. Ведь рубцы от недавних плетей еще не зажили. Сухой коркой еще не покрылись эти рубцы.

Впрочем, сегодня вроде ничего страшного не предвиделось. Тот казачий офицер, который сидел сейчас за столом рядом с Батоккой, не был похож на позавчерашнего, разгонявшего с помощью нагаек и шашек аульскую бедноту, посягнувшую на байские земли. Обликом был нестрашен: сгорбленная спина, усталые жилистые руки, обвислые усы. Да и само предложение мурзы —

разве оно сулило дурное? Наоборот, обещало сытую жизнь! Ногайцу разрешается сесть в боевое седло и опоясать себя камой, шашкой и карабином. Найдется бурка, надо брать с собой и бурку, а о патронах никакой заботы — в станице каждому дадут столько, сколько сможет забрать.

Конь под седлом, шашка, винтовка и бурка — что еще нужно ногайцу, в жилах которого лихая кровь! Тем более такому, у которого ни кола ни двора, кто за один лишь кусок хлеба от зари до зари гнет спину на чужом поле... К этому сводился смысл предложения Батоки. Молодые, сильные джигиты — ну кто первый, кто самый смелый, самый крепкий? Кто готов защитить родную землю, веру отцов, жен, детей и матерей от гяуров-большевиков? Нашу землю, наши сакли, наши горы?

— Пиши меня первым, мурза!

— И меня... И меня...

Добровольцев становилось все больше, и есаул светлел с каждой минутой. Батока косился на него и со злой радостью думал: «А ведь все это благодаря мне! Если бы не я, не мое обращение к аулчанам, черта с два бы кто пошел за ним, за этим краснолампасным воякой! Ну да ничего! Поменьше останется смутьянов в ауле. Две выгоды сразу: и здесь жить станет спокойнее, и на большевиков дружнее будет напор...» То, что джигитов берут в горскую дивизию и отправляют защищать казачьи станицы от советской власти — это должен был объявить есаул, когда «добровольцам» уже не будет ходу назад.

Но что случилось? Почему казачий офицер вдруг как бешеный выпрыгнул из-за стола и бросился к своему коню? И куда вдруг исчезла вся его охрана? Да и стоящих вокруг муртазаков словно ветром сдуло.

Пока Батока удивленно оглядывался вокруг, казаки во главе с есаулом ретировались вскачь — пыль вдоль улицы поднялась до самой околицы. А толпа людей перед мурзой, та самая толпа, которая только что казалась ему всего лишь глупым овечьим стадом, как-то сразу насупилась, потемнела и заворчала, сделавшись вдруг похожей на тучу, на страшную тучу, прячущую в себе гром и молнию. Куда подевались покорство и смирение в лицах аулчан? Теперь люди, собравшиеся на площади, глядели на Батоку так мрачно и зло, что по телу мурзы пробежала дрожь.

— Жамбай, Жамбай!— растерянно закричал Батока, хватаясь за серебряную рукоять своей камы.

Но и Жамбай, вернейший из верных его муртазаков, словно провалился сквозь землю.

— Кабанбек! Жамбай!— в истерике звал Батока.

— Ну, кончай, мурза, свой хабар!

Сказано было за его спиной. Батока оглянулся было на голос, но приставленное меж лопаток дуло винтовки заставило его съжаться, пригнуться к столу. Он наконец понял, что происходит: в ауле появился Бекболат — и не один, а с вооруженными людьми. Был бы он один, не пустились бы в бегство казаки, не попрятались бы за плетнями и кустами его муртазаки.

— Ямагат!

Теперь уже кто-то другой уперся дулом винтовки в спину Батоки, а Бекболат, выехав на коне вперед, в пространство между столом и толпой, поднял над головой руку, призывая людей к спокойствию и тишине.

— Ямагат!— повторил он, и от этого по-новому гордо прозвучавшего слова, от ощущения свободы, заключенной в обращении Бекболата, легко сделалось на душе у людей. Впервые почувствовали они, что есть у них, дали им право, гордое право граждан аула самим решить свою судьбу. Когда было такое?— Ямагат! Родные мои аулчане! Вас обманывают здесь, на площади нашего аула! Вас хотят заставить воевать против той самой власти, которая несет вам избавление от вечной нужды, от произвола и гнета помещиков и баев! Обманывают, подло посылая на смерть, ради богатства и власти Батоки и Кабанбека, богатства и власти русских помещиков Мамонтовых и им подобных! Большевики, защищающие советскую власть, хотят одного: чтобы все мы были равны, чтобы никто не имел права замахнуться на другого плетью, чтобы земля стала собственностью всего народа! Чтобы каждый безземельный получил свой участок земли, чтобы каждый бедняк и батрак не чувствовал себя больше подневольным, не был под сапогом мурзы! Воевать надо идти не против большевиков — наоборот, против этих кровопийц-баев, таких, как Батока и Кабанбек...

Толпа вокруг Бекболата сдвигалась все плотнее и плотнее, люди обступили его так тесно, что он не мог бы и тронуть своего коня с места, если бы захотел. Но Бекболат сам чувствовал себя частью этой тол-

пы аулчан, его место сейчас было здесь, на площади.

— Ни одного добровольца, ни одной камы против советской власти! Красные отряды на Кубани бьют и гонят белых казаков! Скоро советская власть придет и к нам, в Кубанлы. По всем предгорьям заколышутся красные флаги Советов. День этот уже недалек! Ямагат, вы понимаете меня?

— Да, да, сын Алима!

— Подскажи, что нам делать, и мы исполним твой совет и наказ!— послышались голоса из толпы.

— Кто желает бороться с баями и атаманцами, пусть седлает коня и идет с нами!

— Записывай меня, Бекболат!

— И меня тоже! Конь у меня добрый!

— И я бы пошел, да коня у меня нет!

— Кони будут! И оружие достанем!— уверенно ответил Бекболат.

— Тогда пиши и меня!..

Когда запись добровольцев окончилась, Бекболат подошел к мурзе:

— Где Елетпес?

— В конюшне стоит, сын Алима, в конюшне... Я покажу...— поспешно ответил Батока, косясь на кобуру, висевшую у Бекболата на ремне.

Едва из конюшни вывели Елетпеса, он узнал голос своего хозяина, звонко заржал, вырвался из рук работников и вскачь пустился к Бекболату.

— Салам, друг, салам!— приговаривал Бекболат, ласково трепля коня по холке.— Наконец опять мы вместе, дружок! — Тут же Бекболат перекинул седло со своего коня на Елетпеса, затянул подпруги.

Со стороны степи показался табун чистокровок — вздымая пыль, мчался к загону. А спустя несколько минут джигиты Бекболата выбирали себе лучших коней. Амурби с помощью Исы и Батырбека пригнал тот табун, за которым прежде приглядывал сам.

...И вот наконец все было готово к походу. Бекболат приподнялся на стременах, оглядел конников, скомандовал:

— За мной, джигиты!

Отряд выехал за околицу, направляясь к соседним ногайским аулам.

Бекболат вел свой отряд к аулу Кара-тюбе, как вдруг навстречу показался вдалеке обоз — не меньше двух десятков подвод. Его сопровождали конные казаки. «Провиант для белых! — понял Бекболат. — В ауле награбили!» Он приказал отряду спешиться, укрыть коней в балке, а самим залечь в кустарнике вдоль дороги.

Когда ехавший впереди офицер поравнялся с засадой, Бекболат одним выстрелом снял его с седла. Увидев, что они в ловушке, казаки побросали оружие.

— Куда путь держите, станичники? — спросил Бекболат возницу с первой подводы — старого усатого казака.

— В Баталпашинскую... Провизию везем, собрали по распоряжению атамана.

— Пусть ваш атаман катится к...! — распорядился Бекболат. — Поворачивайте обратно, раздадим продукты людям, у кого что взяли. Ясно?

— Ясно, как при солнышке! — весело подхватил казак. — Только как доложить старшине?.. То есть кто распорядился?

— Командир красного революционного отряда Бекболат Ораков от имени советской власти. Так и доложите своему начальству.

— Есть так и доложить! — Казак подкрутил усы и гаркнул: — А ну, поворачивай!

Отпустив обезоруженную охрану, Бекболат с обозом въехал в Кара-тюбе и приказал тамошнему мурзе собрать ямагат. Как и в Кубанлы, он рассказал аулчанам правду о советской власти, о Ленине и большевиках, о наступающих красных отрядах.

— Аулчане! Не поддавайтесь обману мурзы и баев: не давайте белоказакам ни джигитов, ни коней, ни хлеба. Все это обернется против вас, бедняки. Против вас, уздени... Вы слышите меня, аксакалы?

— Слышим, сын Алима! — отвечало сразу несколько голосов.

Пока атаманские власти собирали погоню, чтобы расправиться с большевистским горлопаном и его конниками, Бекболата и след простыл. Он уже собирал ямагат в ауле Тесик Тас...

Дерзкие рейды отряда Бекболата, налетавшего внезапно на аулы и станицы предгорий, встревожили атаманский отдел. Была срочно вызвана казачья сотня со

станковым пулеметом на тачанке. В помощь ей мурзы и старшины аулов направили хорошо вооруженных муртазаков.

Бекболат решил не подвергать людей опасности и повел свой отряд на соединение с красным полком Балахонова, действующим в степях Ставрополя.

Под прикрытием ночи конники двинулись в путь. Бекболат покидал родные края. Надолго ли — он и сам не знал.

Заехать в Кобанлы, проститься с Салимат и теткой Кеусар ему не удалось.

РАССЫПАННЫЕ БУСЫ

Опять гордо поднял Батока свою голову-тыкву на длинной шее, опять лихо сдвинул набекрень богатую папаху бухарского каракуля.

— Наша всегда верх возьмет! Кто хотя бы мизинец поднимет против нас, тот совсем без руки останется! — важно объявил он ямагату, когда отряд Бекболата ушел из предгорий, сгинул неизвестно куда. Мурза поспешил объявить о том, что отряд красных босяков наголову разбит.

Вернулась прежняя гордость и к Кабанбеку. Сейчас он наконец-то сможет осуществить свое намерение — привести в свой дом Салимат. Дело, сам не зная того, решил Камай. Как-то за чашей бузы он, желая по сильнее обругать Бекболата, пожаловался Кабанбеку, что этот кул, этот батрак мурзы, смел помышлять о его Салимат, его красавице, достойной самого лучшего джигита в ауле, такого, как уважаемый Кабанбек. Когда Кабанбек рассказал это мурзе, тот, горя желанием отомстить Бекболату, сразу же дал согласие на свадьбу.

Кабанбек тотчас созвал своих приближенных, родичей и зависимых людей и объявил им: пора готовиться к свадебному тою. Большому тою, какого еще никто никогда не видел в Кобанлы. Все ногайские аулы должны понять, как крепка и непоколебима власть мурзы и Кабанбека в Кобанлы.

— Готовить сорок ведер бармажи, резать сорок баранов, нарядить невесту в сорок платьев, — так распорядился Кабанбек, правая рука мурзы в ауле.

Красных прогнали — кто теперь посмеет противиться ему, Кабанбеку? Никто, кроме аллаха! А верный слуга аллаха Кара-мулла с радостью совершит брачный

обряд в соответствии с требованиями шариата. За это он получит соответствующее вознаграждение от жениха — и баранов, и хлеб, и одежду.

— Пусть радуется уздень Камай, — такой большой, такой богатый, умный человек женится на его дочери, — говорил мулла Кабанбеку.

Подбадривал он и Камай:

— Нет на этом свете никого счастливее тебя! Вступаешь в родство с самим Кабанбеком! Сделаешься теперь одним из самых почитаемых людей в ауле!

В доме Кабанбека полным ходом шли приготовления к свадьбе.

Готовился к тою и Камай. Ласковее говорил с дочерью. По несколько раз в день справлялся о ее здоровье. Приказал Райме сделать все необходимое.

— Готовь дочку, жена! — весело кричал Камай. — Шей для нее новые платья!

Сам заказал кумисши (мастеру-ювелиру) золотое колечко к свадьбе. Ожидая радостного дня, не знал ни сна ни покоя... Ходил теперь по улицам аула гордо, не как раньше — понуриив голову. И не в поношенном шепкене — в новом сером и надевал новую барашковую шапку. Как хотелось, чтобы люди уже сейчас говорили ему вслед: «Видите, кто идет? Один из почтеннейших людей аула!» Но аулчане что-то не спешили оказывать почет будущему тестю Кабанбека.

А Салимат не знала, куда деть себя. Дни казались ей темными, ночи тянулись без сна.

«Что делать, как спастись?» Этот вопрос мучил ее день и ночь. Райме жалела дочку и плакала по ночам, но разве могла женщина в ногайском ауле перечить воле мужа?

Каждый вечер прибегала к Салимат маленькая Келди и, видя горе девушки, по-детски жалела ее. Жалела, но не могла принести Салимат весточку от того джигита, что как-то раз позвал девушку на свидание к роднику Тулкили. Далеко сейчас был этот джигит, и только плакать о нем, только надеяться и ждать возвращения красного отряда могла Салимат. Однако красные были где-то далеко, а в ауле хозяйничали мурза и Кабанбек.

Как и прежде, Салимат решила оттянуть время, — ссылаясь на болезнь, упросить родителей отложить день свадьбы. Она вдруг слегла в постель, вся горела, иногда теряла сознание. По три раза в день приходила проведать больную знахарка бабушка Картабай. Читала мо-

литвы, заклинала джиннов — нечистую силу, вошедшую в Салимат. Но девушке все что-то не становилось лучше, здоровье ее как будто ухудшалось, она не поднимала головы от подушки.

А меж тем в больших кадушках в доме Кабанбека бродила и пенилась крепкая буза — бармажи. В кутанях Кабанбека бляели сорок баранов. Хозяин их по нескольку раз в день посылал узнать насчет здоровья своей юной невесты.

Но Салимат не вставала, лежала в постели...

* * *

Многолюдно и шумно во дворе у Камая. Вчера Кабанбек сообщил, что сегодня приедет забрать в свой дом Салимат.

Выдала Салимат все та же Картабай, помогавшая ей притворяться больной. Когда Кабанбек, заподозрив неладное, пообещал старухе шерстяное платье и барана, если сумеет быстро «вылечить» его невесту, бабушка сдалась.

И вот Салимат оказалась здорова, и жених сегодня должен был приехать за ней.

С первыми петухами встал с постели Камай.

Надо было хорошо подготовиться к встрече жениха — ведь он должен не только привезти подарки, но и пригнать скот — калым за невесту.

Надев свою лучшую черкеску, Камай беспокойно расхаживал по двору. Подумать только: его зятем станет сегодня самый знатный, самый богатый человек в ауле после мурзы. Такая честь выпадает на долю не каждому, ох не каждому!

То, что Салимат не хочет выходить за Кабанбека, Камая вовсе не смущало. Плачет, ну и что ж! Лить слезы женщине разрешено самим аллахом. Пусть льет хоть в три ручья, свадьба все равно будет сыграна сегодня. Ведь о таком богатом калыме Камай даже и не мечтал. Столь многоголового стада, которое пообещал дать Кабанбек как выкуп за невесту, Камай не видел даже во сне!

Однако ошибался Камай: Салимат уже не плакала. Высохли ее слезы, и сменила их решимость. Раз отец хочет продать свою дочь ненавистному Кабанбеку, обменять на скот, она должна отплатить ему полной ценой. Как именно — это было уже решено. Она выберет

удобный момент, когда никого не будет в комнате, и убежит через окно. Лес от дома недалеко, а в таком густом лесу ее не найдут и муртазаки.

Что с ней будет дальше, Салимат не знала и старалась даже не думать об этом. Смутно надеялась каким-то образом найти Бекболата, либо, скрываясь, дожидаться его скорого — она верила в это — возвращения в аул. Но как бы там ни сложилось дальше, одно знала твердо: домой она не вернется. Лучше умереть, чем стать женой ненавистного Кабанбека!..

...Исчезновение невесты заметили не сразу. Сперва думали, что Салимат где-то спряталась, но, обыскав весь дом и не найдя ее, поняли, что она убежала. Убежала, но куда? К кому?

Камай что есть мочи рванул дверь, влетел в комнату, заглянул под кровать, под столик. Выбежал во двор.

— Салимат!.. Дочка!..— сначала тихо, потом все громче и громче звал он. Не услышав ответа, бросился в саклю, к Райме.— Дочь... Где дочь, спрашиваю?!— хрипел он.

— Аллах мой!— плакала Райме.— За что так наказываешь, за что позоришь нас?!

Камай бросился из дома в балку, к роднику.

Он хорошо понимал, что дочь сбежала, и надежда на то, что Салимат ушла по воду, лишь соломинка, за которую хватается утопающий.

Спотыкаясь, падая, Камай прибежал к роднику.

— Салима-ат! До-очка-а!— кричал он, совершенно обезумевший от горя и отчаяния.— До-очка-а-а!— Потрясая кулаками, вопил:— Вернись, негодная,— проклян!

Но только эхо неслось в ответ.

Камай обессиленно опустился на камень, стиснул ладонями голову. Все, все пропало: калым, богатство, знатное родство...

Нет, не мог примириться с этим Камай. Вскочил и снова угрожающе затряс кулаками:

— Врешь, змея! Далеко не уйдешь! Найдем! Живой или мертвой, а будешь ты в руках того, кто сватал!.. Я слово дал!

Он бросился к усадьбе мурзы, к дому Кабанбека. Через несколько минут все там было поднято на ноги.

Муртазаки и работники оседлали коней. Рванули поводья, кони вздыбились и с места пустились вскачь.

К вечеру они объехали все соседние аулы и ближайшие станицы, но беглянку не нашли.

* * *

Салимат знала, что за ней будет погоня, и потому побежала к лесу не по дороге, а напрямик, через овраги и балки. Ах, как она бежала! Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Спотыкалась, падала, тут же поднималась снова, чтобы бежать и бежать. Дома она не могла сменить праздничное длинное платье на простое, и теперь подол путался в ногах. И пестрое оно, за версту углядеть можно! Ах, предаст, предаст ее это платье!

Но все как будто обошлось благополучно: она добежала уже до леса, а погони пока еще не слышала. Однако останавливаться сейчас было нельзя. Давно уже деревья скрыли от нее аул, а Салимат все бежала. Она задышалась, в ушах у нее шумело; ни крик отца, ни топот погони сюда не долетали.

Наконец выбилась из сил. Задыхаясь, ухватилась за ствол дерева, сползла на землю. Нет, кажется, ее не догоняют! Видно, ищут на дороге. Значит, она спасена, теперь ее не найдут, не поймают! Но оставаться здесь опасно, лес рядом с домом... Салимат с трудом поднялась, ноги ее дрожали, в груди ломило. Было трудно дышать. Поднеся руку к горлу, коснулась нитки стеклянных бус — подарка Бекболата. Сняла с шеи, с нежностью поглядела на них. И сразу легче сделалось на душе — вроде и не одна уже в лесу. Ах, если б вещи могли говорить, если б бусы могли рассказать, где сейчас самый дорогой для нее человек, куда бежать ей, где искать защиту! Салимат не отрывает взгляда от стеклянных шариков, но они лишь немо блестят.

Вдруг доносится неясный шорох. Девушка вздрагивает, быстро надевает бусы на тонкую шею, стряхивает с платья землю и торопливо идет вперед, в глубину леса. Она сама не знает, куда направляется, помнит лишь одно: из леса надо выйти в сторону степей — там, по слухам, бьется с белыми ее милый Бекболат.

В лесу быстро темнело, над головой зажглись звезды, вечерний мрак заполнил и без того сумрачную чащу. Сил — не бежать уже, нет, — сил просто идти у Салимат не оставалось. Она шаталась от усталости, во рту

пересохло, и больше всего на свете хотелось ей сейчас припасть губами к ручью, ключу — любой воде, и пить, пить... Но воды нигде не было, она шла и шла, а набрести на спасительный ручей ей так и не посчастливилось. От страшной жажды девушка почти теряла сознание. Шла вперед как слепая, как в бреду, а под ногами была все та же сухая земля.

И тут она услышала голос, оглянувшись — увидела тени: ее догоняли люди. Собрав последние силы, Салимат бросилась бежать.

Она не успела заметить обрыв под ногами, не успела и ухватиться за спасительную ветку — как подстреленная птица, полетела куда-то вниз головой. И сразу будто уснула глубоким сном.

Это была не погоня — охотники поздно возвращались в аул и случайно набрали на Салимат. Услышав шум падения, они поспешили к обрыву и там, внизу, на камнях, с изумлением увидели лежащую с запрокинутой головой девушку в цветастом, праздничном платье. На земле вокруг нее были рассыпаны стеклянные бусы.

ЗОЛОТОЙ ПОЯС

«Да потухнет твой очаг!» — самое страшное проклятие у ногайцев. Вот по этому проклятию, похоже, и складывалась сейчас жизнь мурзы Батоки. Уже несколько дней он не выходил из дому.

Все уже, видно, знают... слышали... А может, нет? Там ведь, кажется, кроме него самого были только Кабанбек и старшая жена Берзахан... Больше никого не было. Потом уже, на крик, заглянул в комнату старик Алат. Да этого бояться нечего, никому не сболтнет, приучен... Кто ж тогда сказал всем?.. А может, никто и не говорил? Стыд, стыд — куда спрятать теперь седую голову? Позор! Позор на весь род мурзы Батоки! Нелыханный, до седьмого поколения позор!

Батока до боли сжимает зубы, мычит, качает головой. Словно каму вогнали ему под ребро!

Что теперь скажешь, мурза Батока, а? Что скажешь тому, кто знает о твоём позоре? Астапыралла, астапыралла, вот жизнь настала! Все свихнулось, летит куда-то! Кто бы мог подумать — ведь зять, можно сказать, близкий родственник, и...

Нет, нет, это ни на что не похоже... Такого не знает ни религия, ни обычай народа. Хотя живи, хоть умри теперь. Зять, которому ты отдал в жены свою родную дочь, и так поступил! О аллах, как допустил ты подобное! Не дай аллах, узнают в ауле — стыда не оберешься! И спрятаться ведь некуда, не лезть же в пещеру...

Батока со стоном схватился за голову, пересек комнату, не раздеваясь упал на кровать. Перед глазами стояла картина его позора.

...Узнав о том, что красные заняли уже Армавир и Белоярск и идут в предгорья, Батока в ярости и страхе гнал коня до самого аула.

Спешившись, бросил повод Амату и поспешил в дом.

«Ай-яй-яй, — подумал Агат, глядя в спину мурзе, — загнал такого коня!»

Обычно, возвращаясь из гостей, Батока сначала заходил в комнату старшей жены. Но на этот раз что-то заставило его изменить привычке, и он завернул к младшей. Подойдя к двери, хотел было открыть, да дверь не поддавалась. Мурза удивился: в его доме жены не запирали свои комнаты, ибо кто, кроме хозяина, мог войти к ним? Он еще раз дернул на себя дверь, потом постучал кулаком, крикнув погромче:

— Слышишь, открой! Это я!

И тут Батока уловил в комнате подозрительный какой-то шорох, услышал тихий говор. Разъяренный, он заорал:

— Открой, или выломаю дверь!

Услышав крик мурзы, Кабанбек шепнул Тотамаш:

— Попались мы...

Тотамаш дрожала всем телом и шептала одно:

— Быстрее, быстрее...

— Куда? — наспех одеваясь, спросил Кабанбек.

— В ту комнату. Быстрее.

Кабанбек метнулся в дальнюю комнату и притих, словно заяц, удревший от волка.

Батока яростно барабанил в дверь. Тотамаш подошла, повернула ключ и, сладко потягиваясь, проговорила:

— Этот мурза не дает своей жене покоя ни днем ни ночью. Я так крепко спала, что не слышала тебя, милый мой.

Батока, не отвечая, оглядел комнату, подошел к постели. И вдруг...

В изголовье железной с шишками кровати он увидел красивый, шитый золотом пояс.

Не веря в случившееся, мурза закрыл, потом открыл глаза.

Несколько секунд он стоял в оцепенении, не отрывая взгляда от пояса, потом медленно поднял его, пощупал зачем-то. Тишина в комнате накалилась, Батока с ненавистью смотрел на жену...

Давно это было, давно... Три десятка лет минуло. Молод был Батока, кровь его играла, заставляя творить чудеса храбрости и подлости. Сильным был тогда, многих силачей клал на лопатки. Славился на бегах и на скачках. На красивых девушек смотрел как на добычу.

Однажды со скуки поехал на Горячие воды, конечно, не один, а с телохранителем. Всему удивлялся: ваннам, толстым генералам, женщинам с перьями на голове. Там, на Горячих водах, и познакомился с Мурадбием, сыном известного ногайского бая. Целую неделю не раазлучались новые друзья — пили, гуляли, веселились. И как-то вечером Мурадбий позвал Батоку в дом своей невесты. Мурза, конечно, согласился.

Многих девушек знал Батока, но красота этой ослепила его.

— Знакомься, мурза Батока, моя будущая жена.

Батока поклонился девушке, назвал себя. Девушка оглядела его с интересом и, тоже поклонившись, ушла к подругам.

Мурза смотрел ей вслед и думал: «Где справедливость? Красавицы достаются таким уродам, как мой приятель!»

Ночь он не спал и другую тоже, после чего, встретившись со счастливецем-женихом, сказал ему:

— Завтра, дорогой мой Мурадбий, собираюсь ехать домой. В знак уважения к твоему роду, чтобы знакомство наше было крепким и долгим, я, сын мурзы и сам мурза, приглашаю тебя, дорогой, в гости в мой аул. Мои родные будут рады познакомиться с тобой. Прошу тебя от всей души...

Мурадбий принял приглашение...

Словно во сне слышит Батока жалобный крик Мурадбиа:

— В чем я виноват, мурза?

— Ни в чем, — ответил тогда Батока, — кроме того, что я полюбил твою девушку...

Когда все было кончено, он приказал телохранителю:

— Поддай сюда его пояс. Нельзя оставлять такое богатство на земле.

Тело Мурадбиа осталось лежать у озера Тамби и сделалось добычей воронья да голодных волков.

А золотой пояс, что змеей свернулся сейчас в руках у мурзы, был подарен им Кабанбеку, когда тот женился на его Ханбийке...

Много лет прошло с той поры, много раз разливалась Кубань...

Убийство удалось скрыть, красавица невеста Мурадбиа сделалась женой Батоки. Уже и состариться успела, пришлось жениться на молодой. За эти годы стал Батока хозяином рода и сумел показать себя: сколько людей разорил, сколько из-за него ушло из жизни, одному богу известно. Всегда ставил зависимых от себя ниже скота, так как скот все же имеет цену. И всегда все проделки мурзы оставались для него без последствий, умел совершать преступления, не оставляя улики. Подозрений-то было немало, да что подозрения? Как говорится, не пойман — не вор. И вот вдруг — расплата, неожиданная, как удар камой в спину.

— С-с-ука! — взревел мурза, швырнув пояс на пол. Тотамаш прислонилась к стене, белая, как айран, и дрожала мелкой дрожью, сложив руки на груди и всхлипывая от страха.

— Отвечай, кобыла, где Кабанбек?

Тотамаш молчала.

— Ах так! Тогда получай! — заорал Батока и, схватив каму, бросился к жене.

— Караул! Помогите! — хрипло закричала Тотамаш, бросившись от мурзы через комнату.

Услышав крик любовницы и сообразив, что мурза может ведь и зарезать жену, Кабанбек выскочил из задней комнатки. Увидел занесенный над Тотамаш кинжал и в испуге крикнул:

— Батока! Остановись!

— А, это ты, бандит! — И Батока бросился с кинжалом на зятя.

— Молчать! — вдруг рявкнул Кабанбек.

Мурза остановился в изумлении, на него кричали первый раз в жизни.

— Не ори!— повторил Кабанбек, видя растерянность мурзы.— Не делай глупостей. Ты что, хочешь, чтобы весь аул узнал? Позора не оберешься. И так уж мир перевернулся. Молчи, мурза, молчи, а я уеду биться с красными. Опомнись, мурза! Молчи!

— Как это — молчи!— взъярился Батока.— Сотворил позор на мою голову, а я — молчи? Ах ты, свинья!— Мурза бросился к Кабанбеку с кинжалом, но тот увернулся и спрятался за дверью.

Поднятая кама ударила Тотамаш...

На крик прибежала старшая жена Берзахан, потом старик Амант. Увидели мурзу с камой в руках, на полу в луже крови — Тотамаш. Берзахан всплеснула руками, запричитала, заохала.

Батока зашипел злобно:

— Молчи, карга, и без тебя тошно! И чтоб никто никому ни слова, поняли? А эту... посмотрите, кажется, жива. Такие... не скородохнут...

ГИБЕЛЬ ОРЛА

Весна набирала силу. С каждым днем торопливее и шумнее становилась Кубань. В зеленое убранство оделись горы. Птичий гомон наполнял ущелья. Пестрым ковром цветов покрылись предгорья, ярко светило солнце.

Посветлело и на душе аулчан: красные прижали белоказаков к горам, к ногайским аулам движется отряд Балахонова, а в том отряде — верный помощник командира, сотник Бекболат, сын Алима, бывший батрак мурзы Батоки.

Чем радостней становилась аульская беднота, тем мрачней глядел Батока. Он-то хорошо понимал, чем все кончится, если в аул войдет со своими конниками этот красный гяур. И потому Батока спешно сколачивал большой отряд из зажиточных горцев, муртазаков и послушных ему аулчан. Соседние бан поддерживали Батоку, слали людей. Сел на боевого коня и Кабанбек.

Собрав две сотни сабель, мурза вместе с частями Кубанского казачьего войска двинулся навстречу Балахонову...

* * *

Летят по ковыльной степи всадники. Орлиными крыльями распростерлись на ветру полы бурок. Тах-тух! Тах-тух! — бьют землю копыта горячих коней.

...Казачи под руководством опытных офицеров занимали лучшие позиции, их было больше, и они были уверены в победе. Кто против них? Голытьба, не умеющая держать шашку.

— Ура! Бей босяков! — с боевым кличем лавой хлынули белоказаки на позиции красных.

Но «босяки» не дрогнули и не побежали. Близко подпустили казачью лаву — и тогда заговорили пулеметы... словно коса смерти прошла по наступающим. Атака белых захлебнулась, уцелевшие повернули обратно — и тут вдогонку вылетели красные кавалеристы...

Бьют землю копыта горячих коней, ничто уже не может остановить огненную лавину красных конников. Сверкают сабли, гремят выстрелы.

Бекболат на Елетпесе — впереди, обогнал друзей. За ним летят Батырбек, Амурби, Иса. Врываюся в самую гущу обороняющихся белых. Неотразимы удары клинков молодых джигитов... Интернациональный красный отряд Балахонова приближался к предгорьям.

Вечер. Конники отдыхают. Выставлены дозоры. У костра — Балахонов и командир первой сотни Бекболат Ораков.

— Скоро уже, Болат, увидишь родной аул, встретишься с земляками. С невестой встретишься. Как, говоришь, зовут-то ее? Салимат? Красивое имя. По-русски, наверное, Александра, Саша. Побьем белых и всем полком отпразднуем твою свадьбу...

Не знал Бекболат, что страшная весть ожидает его в ауле.

— Завтра будем атаковать Ивановку, — продолжает Балахонов. — Потом Беломечетскую. А там рядом и твой аул.

Наутро снова бой...

Отряд Балахонова наступал в направлении Кобанлы. Высланный вперед разъезд донес, что навстречу дви-

жется конный отряд горцев численностью не меньше ста сабель.

У Бекболата вспыхнула в жилах кровь: чуяло сердце, что ведет белую сотню кто-то из его давних врагов — Кабанбек или сам Батока. Настал наконец час, пришла пора отплатить и за отца, и за Нурыша, за всех бедняков аула, за унижения, пережитые им самим...

Бекболат попросил у командира разрешения выступить со своей сотней навстречу врагу.

Балахонов, не сомневавшийся в победе Бекболата, направился с главными силами на Беломечетскую. Медлить было нельзя: по данным разведки, к станции подходил крупный отряд белых, надо было во что бы то ни стало опередить его, овладеть одним из опорных пунктов белоказаков, гнездом контрреволюции в предгорьях.

Однако не один, как донесла разведка, а три отряда горцев двигались навстречу красным конникам. Только шли они разными дорогами. Один отряд вел Кабанбек, другой — сам мурза Батока. С ними должен был соединиться отряд черкесского князя Гирея...

С отрядом Кабанбека и столкнулась вначале сотня Бекболата, столкнулась в неширокой долине у кургана Кос-тюбе.

Бекболат еще издали узнал Кабанбека. Словно не на бой, а на праздничные скачки или свадебный той выехал зять мурзы — в новой белой черкеске с серебряными газырями, в мягких сапогах дорогого сафьяна, в бухарской шапке. Сбруя и оружие горели серебром.

Кабанбек тоже узнал Бекболата и приказал муртазакам держаться поближе. Он знал еще со времен аульских праздников, как ловок его противник в джигитовке.

Некоторое время оба отряда, как бы приглядываясь друг к другу, держались на расстоянии четверти версты. Первым повел в атаку своих конников Бекболат.

— Слушайте меня, джигиты! — обратился он к бойцам. — Впереди наши родные аулы. Там ждут нас отцы и матери, сестры и невесты. Так расчистим клинками дорогу к родным очагам! За мной, джигиты!

Он дал шпоры Елетпесу, конь вздыбился и вихрем понесся вперед. За Бекболатом рванулись его друзья.

Кабанбек успел рассредоточить свой отряд и двинулся навстречу.

И вот сшиблись кони, засверкали клинки.

Бекболат, рубя направо и налево, пробивался к Кабанбеку. За ним неотступно следовали Батырбек и Амурби, охраняя своего командира.

— Вперед! — скомандовал им Бекболат, а сам придерживал Елетпеса.

Батырбек и Амурби вместе с подоспевшими конниками разрубили кольцо противника, и в него на всем скаку влетел Бекболат, направляя Елетпеса прямо на Кабанбека. Тот рванул свою лошадь в сторону, и, когда Елетпес проносился мимо, Кабанбек чуть не рассек ему круп.

«Хочет спешить и зарубить на земле, — мелькнуло в голове Бекболата. — Но нет, так нас с Елетпесом не возьмешь!»

Батырбек и Амурби рубились с муртазаками, а Бекболат снова повернул Елетпеса. Вот его клинок описал стремительную дугу, но Кабанбек снова рванулся в сторону, хотел уйти под защиту муртазаков. Но тех теснили Батырбек, Иса и Амурби.

Кабанбек явно избегал боя. Но Бекболат снова и снова навязывал схватку. И вот наконец кони их сшиблись, скрестились, лягнули клинки и снова разошлись.

Елетпес грудью налетел на коня Кабанбека и чуть не сбил с ног. Чудом удержался в седле Кабанбек. Оправившись, он в ярости сам пошел в атаку.

Как бы растерявшись, Бекболат придержал коня. Но в тот момент, когда Кабанбек занес саблю для верного удара, Бекболат рванул Елетпеса в сторону — сабля Кабанбека молнией рассекла воздух. В тот же миг Бекболат повернул Елетпеса, оказался за спиной противника и, когда Кабанбек начал разворачиваться для новой атаки, клинок Бекболата, опущенный сильной рукой, чуть ли не до пояса рассек бывшего хозяина аула.

Бекболат поспешил на помощь друзьям, а по долине битвы метался конь Кабанбека, таская за собой застрявшего ногой в стремя седока...

Увидев смерть своего командира, муртазаки дрогнули и в панике бросились отступать. Их настигали конники Бекболата и точным ударом клинка одного за другим снимали с седел. Лишь части врагов удалось спастись, во весь опор пустились они туда, где их ждало спасение, — на соединение с отрядом Батоки.

Бекболат увлекся преследованием.

А тем временем к сотне мурзы присоединился отряд черкесского князя Гирея, шедшего с гор на помощь белоказакам...

Поредевшая уже в бою сотня Бекболата, преследуя отступающих, с ходу ворвалась в расположение врага у скалы Тик-кая и оказалась в стальном сабельном кольце противника.

Но мурза почему-то медлил с атакой.

Бекболат понимал, что шансов на спасение нет. Он приказал Батырбеку взять несколько конников и, как только начнется бой, прорвать окружение и спешить с донесением к Балахонову.

— Джигиты!— обратился к своему отряду Бекболат.— Не посраим чести горца: будем биться, как туры! Умрем, но не сдадимся белякам! Вперед, орлы!

Стремительным веером развернулись красные конники.

Бекболат увидел Батоку. Его окружало с десятков всадников — личная охрана.

На помощь Бекболату поспешили Иса и Амурби. Трое вступили в схватку с десятью. Муртазаки не выдержали стремительного натиска, начали отступать.

— Собаки!.. Трусливые бараны! От кого бежите?! За мной!— вопил мурза.

Как горный снег под лучами жгучего солнца, таял отряд Бекболата под сабельными ударами превосходящего в числе противника. Уже лежал с рассеченной головой на окровавленной земле Амурби. Кружа возле мертвого хозяина, пронзительно ржал конь, словно призывая джигита проснуться, сесть в седло и снова броситься в схватку. Но не слышал Амурби ни зова своего четвероногого друга, ни лязганья клинков.

Разрубленный саблей, свалился с седла Иса.

Один за другим полегли в яростной схватке красные орлы. По десятку врагов приходилось уже на каждого из уцелевших джигитов — но не думал сдаваться никто, все рубились до последнего.

И вот сшиблись грудью кони мурзы и Бекболата, вскинул Бекболат клинок для верного удара — и лежать бы мурзе на сырой земле, да вдруг рука Бекболата опустилась, повисла, как плеть,— пуля ударила ему в плечо.

Теперь уже Бекболат рванул коня, чтобы уйти от сабли мурзы, и, может быть, сумел бы пробиться к уцелевшей горстке своих джигитов, отчаянно рубившихся у подножия Тик-кая, да вторая пуля настигла Елетпеса. Бекболат едва успел освободиться от стремян и оказался в кольце муртазаков. Взметнулись сабли...

— Не сметь! Взять живым! — заревел мурза.

Бекболат огляделся: он был один. Все до последнего полегли его джигиты, никто не сдался живым.

Мурза злорадно улыбался: сейчас он прикажет привязать красного гюра арканом к седлу и везти в Кобанлы. Пусть смотрят аульские бунтовщики, что ждет каждого, кто поднимет руку на законную власть! Провести по аулу, собрать на площади ямагат и на глазах у кобанлычан вздернуть гюра!

Их взгляды встретились. И мурза не смог смотреть в горящие глаза Бекболата, не выдержал острого, непокорного взгляда своего бывшего батрака.

Бекболат подошел к Елетпесу, опустился на одно колено, здоровой рукой коснулся остывающей головы лошади:

— Прощай, друг!

Он посмотрел вперед — прямо перед ним возвышалась скала Тик-кая. Там собирал он свою первую боевую группу, там еще мальчишкой с Батырбеком, Исой и Амурби играл в благородных абреков, заступников бедных и обездоленных. Двое из его друзей полегли здесь, в последнем бою у Тик-кая. Сумел ли вырваться, добраться до Балахонова Батырбек?

С Тик-кая хорошо виден аул Кобанлы. И в эти последние минуты Бекболат захотел взглянуть на родное селение, попрощаться с ним.

Он поднялся и, шатаясь, истекая кровью, сделал несколько шагов по тропе, избежавшей на скалу.

Муртазаки вопросительно глянули на Батоку. Тот ухмыльнулся; он знал, что другой тропы с Тик-кая нет и пленный никуда не денется. Напоследок он хотел еще и поглумиться — будто бы упустить пленного, а потом еще раз поймать.

Зажав ладонью рану, Бекболат, преодолевая боль, взобрался на вершину скалы. И только теперь мурза сообразил, что упустил-таки бунтовщика.

— Взять! Схватить! — заорал он.

Бекболат окинул взглядом аул, увидел родительскую саклю, заросший бурьяном двор, домик Кеусар, саклю

Камая. На миг ему показалось, что видит на крыльце Салимат — в том же цветастом платье, в котором встретил ее когда-то впервые у родника Тулкили.

От потери крови у него кружилась голова, темнело в глазах.

— Салимат! — прошептал он, чувствуя, что теряет сознание.

Муртазак уже изловчился было схватить его за черкеску, но Бекболат вдруг взмахнул одной здоровой рукой, будто орел с подбитым крылом, и бросился с высоты вниз — туда, где в камнях шумела Кубань.

* * *

Звенела земля под копытами бешено скачущих коней, ветер свистел в ушах рвущихся вперед всадников, гулко стучали горячие сердца, полные ненависти к врагу. Скорей, скорей на выручку товарищам.

Впереди на огненно-рыжем жеребце — Батырбек. По правую руку его — Маметали.

Скорее, скорее!.. Впереди уже видна Тик-кая. У подножия — отряд Батоки. Мурза заметил красных конников и, не принимая боя, начал отступать, стремясь уйти в горы.

Батырбек выхватил саблю:

— За мной! Наперерез!

Батоку и его отряд перехватили у самого входа в ущелье.

Не видели предгорья такой яростной сечи. Сшибались кони, звенели сабли, гремели выстрелы. Потерявшие лошадей схватывались врукопашную.

Окруженный муртазаками, Батока трижды пытался прорваться в ущелье, но каждый раз Маметали с группой джигитов оттеснял его.

И Батока и Маметали с Батырбеком понимали — это их последняя встреча, последняя схватка, последний, смертный бой.

Все плотнее прижимал Маметали врага к отвесной скале, все теснее становилось сабельное кольцо вокруг мурзы. И наконец окруженные муртазаки побросали оружие и, спешившись, подняли руки. Трясущийся, обмякший мурза грузным мешком сполз с седла.

— Взять под охрану! — приказал Маметали, а сам ринулся в гущу сверкающих сабель, — там красные конники во главе с Батырбеком теснили отряд Гирея.

Трясущийся от страха мурза показал Маметали и Батырбеку, где лежит Бекболат.

Саблями вырыли могилу, опустили тело.

Один за другим подходили красные кавалеристы, прощались с товарищем, бросали горсть земли...

Когда над могилой поднялся холмик, прозвучал прощальный салют, а за ним команда «По коням». Отряд двинулся к аулу Кобанлы.

А над скалой Тик-кая, распластав могучие крылья, парил горный орел, словно и он отдавал почести джигиту, не знавшему страха в борьбе с врагом.

Вольные горные ветры обдувают скалу Бекболатская. Солнечный луч высвечивает высеченную на ее крутом склоне надпись:

ДЖИГИТ УМИРАЕТ — ПОДВИГ ЕГО ОСТАЕТСЯ

И путник ли пройдет мимо Бекболат-кая, проедет ли всадник — на минуту остановится в молчании, склонив голову перед могилой героя.

СОДЕРЖАНИЕ

СОЗВЕЗДИЕ ПЛЕЯДЫ. Книга первая . . .	3
БЕКБОЛАТ.	213
Часть первая. Аул Кобанлы.	218
Часть вторая. Скала Бекболата	331

СУЮН ИМАН-АЛИЕВИЧ КАПАЕВ

СОЗВЕЗДИЕ ПЛЕЯДЫ

Редактор *Н. М. Квливидзе*. Художественный редактор *М. Н. Гуров*. Технический редактор *Е. Б. Спрукт*. Корректор *С. Б. Блаштейн*

ИБ № 6912

Сдано в набор 23.08.89. Подписано к печати 05.03.90. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 24,10. Тираж 100 000 экз. Заказ № 294. Цена 1 р. 80 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

**ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»**

СКУИНЫ 3.

**Мужчина во цвете лет.
Мемуары молодого человека.**

Романы. Пер. с латыш.— М.: Сов. писатель, 1990
(III кв.).— 33 л.— ISBN 5-265-01371-7 (в пер.): 2 р. 70 к.,
200 000 экз.

Романы народного писателя Латвии Зигмунда Скуиня отличаются злободневностью в лучшем смысле этого слова, изяществом письма, увлекательным сюжетом, им свойственно глубокое осмысление народной жизни, серьезных социальных проблем. Таковы выбранные для этой книги романы, уже издававшиеся в переводе на русский язык и получившие широкое признание.

Герой первого романа, известный инженер-изобретатель, делает фаустовскую попытку прожить вторую жизнь, начать все сначала: любовь, семью, свои планы... Еще более плотный поток событий обрушивается на молодого человека, пытающегося в своих «Мемуарах» осмыслить мир и самого себя.

ДОНЖАШВИЛИ Т.

Гонджаура.

Роман. Пер. с груз.— М.: Сов. писатель, 1990 (III кв.).— 18 л.— ISBN 5-265-01355-5. 1 р. 40 к., 30 000 экз.

Роман Тины Донжашвили «Гонджаура» написан четверть века назад, а опубликован в сокращенном виде на русском языке лишь недавно в журнале «Литературная Грузия». Длительная задержка с публикацией романа объясняется тем, что он посвящен коллективизации и сталинско-бериевским репрессиям. Гонджаура — это прозвище главного героя Алекси, председателя колхоза в Кахетии, и означает что-то вроде образины, страхолюдины. Но несмотря на внешность, герой обладает редким человеческим обаянием. Наиболее яркие картины сложного житея и скудного быта ссыльных в Казахстане, в поселке, как бы в насмешку именуемом Цветочным.
